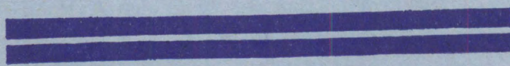


ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ МИР

9



1983

НОВОБЫИ МИР

1983



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 9

Сентябрь, 1983 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|--|------|
| ГОЛОСА ПОЭТОВ АФРИКИ И АЗИИ — Махмуд Дервиш. Бейрут. Отрывок из поэмы. Перевела с арабского Римма Казакова | 3 |
| ЮРИЙ ЧЕРНЯКОВ — Бригада, повесть. Предисловие Владимира Карпова | 9 |
| ГОЛОСА ПОЭТОВ АФРИКИ И АЗИИ — Алекс Ла Гума (перевел с английского Феликс Бурташов); Гоити Мацунага, Коё Ёсида, Сумако Фукуда (перевел с японского Анатолий Мамонов); Те Хань, Хоанг Минь Тяу, Тхань Тхао, Нгуен Тхюу Кха, Чан Данг Кхоа, Ха Фыонг (перевели с вьетнамского Илья Фоянков, Е. Раевский) | 39 |
| ГЕОРГИЙ ПРЯХИН — У окна, рассказ | 49 |
| АРКАДИЙ САХНИН — Неотвратимость, повесть | 63 |
| ДЖЕЙМС ПЛАНКЕТТ — Один зеленый цвет, рассказ. Перевела с английского Л. Беспалова | 117 |
| ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ | |
| ВЕРОНИКА ТУШНОВА — Поэма памяти. Предисловие Михаила Львова. Публикация Н. Ю. Розинской | 137 |
| ОВСЕЙ ДРИЗ — Не плачу, не смеюсь, стихи. Перевел с еврейского Владимир Цыбин. Публикация Л. С. Ионовой | 150 |
| ПУБЛИЦИСТИКА | |
| ЮРИЙ ОСТРОВИТЯНОВ — Критика без надежды. Социологический пессимизм и неомарксизм | 153 |
| НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ | |
| Б. АСОЯН — ЮАР: у последней черты | 169 |
| Г. ВАСИЛЬЕВ — Город автокороля | 184 |
| ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ | |
| А. С. БЛАНК — Пленники Сталинграда | 205 |

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

| | Стр. |
|---|------|
| ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА | |
| Г. БЕЛАЯ — «Стиль памяти». Проблема традиции в наших спорах | 227 |
| М. Б. ХРАПЧЕНКО — Язык художественной литературы. Статья первая | 235 |
| КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ | |
| <i>Литература и искусство</i> | |
| | 249 |
| Н. Юрьев. Ядро таланта. | |
| Иван Драч. Приближение к Паруйру Севаку. | |
| Михаил Дудин. В родстве с необозримым миром. | |
| Владимир Савельев. Дорога сквозь века. | |
| <i>Политика и наука</i> | |
| | 259 |
| Дм. Биленкин. Под знаком гипотезы. | |
| В. Милютенко. Удача приходит к сильным. | |
| КОРОТКО О КНИГАХ | |
| Александр Панков.— Владимир Муссалитин. Восемнадцатый скорый Повести ♦ | |
| Лев Разгон.— Р. Рубина. Вьется нить. Рассказы. Повести. ♦ | |
| Нина Габриэлян.— Ольга Чугай. Судьба глины. Стихи. ♦ | |
| Дм. Молдавский.— Алексей Павловский. Память и судьба. Статьи и очерки ♦ | |
| Ю. Орфеев.— Александр Войскунский. Я говорю, мы говорим... Очерки о человеческом общении. ♦ | |
| М. Аджиев.— А. Спиридонов. В служенье ремеслу и музам | 267 |
| КНИЖНЫЕ НОВИНКИ | 272 |

ГОЛОСА ПОЭТОВ АФРИКИ И АЗИИ



ПАЛЕСТИНА

МАХМУД ДЕРВИШ,

*лауреат Международной Ленинской премии
«За укрепление мира между народами»*

БЕЙРУТ

Отрывок из поэмы

Яблоко у моря. Мраморный нарцисс. Каменный мотылек. Бейрут,
ты — таков.

Отражение души. Облик первой женщины и запах облаков.

Бейрут из усталости и золота. Серебро. Пена.

Андалузия и Шам. Заветов земли голубиные перья.

Смерть колоса. Между мной и тобой, моя любовь Бейрут, бродит
звезда.

Я раньше не слышал никогда,

как от имени любви, спящей у меня в крови, моя кровь говорит...
а она спит...

Мы нашли это имя у дождя над морем, у апельсина и вкуса осени.

Пришедшие с юга, как наши предки, мы идем в Бейрут, чтобы прийти
в Бейрут..

В лачугах из дождя, пригвожденные ветром, ничего не просим мы —
в глиняных наших землянках, в муравьиных норах, в плену
у привычных пут,

пленники этой поры упадка,

поем, как будто так было всегда:

Бейрут — наша палатка.

Бейрут — наша звезда.

...Мы пустили захватчиков в наши семьи.

Мы не старались зубами хвататься за землю,
чтобы защитить память и свадьбы.

Наши песни — у часовых в засаде.

Пленники этой поры печальной,

только о кровь свою спотыкаемся мы отчаянно.

Никогда султан народным не будет,
никогда тюремщика не полюбят,

никогда не будет ни в чем наша суть видна,
 кроме нашей крови, в которой — эта стена...
 Мы поем украдкой,
 как будто так было всегда:

Бейрут — наша палатка,
 Бейрут — наша звезда.

За окном — моря свинцовые воды.
 Нас всех захватывает улица и песня народа.
 Прекрасней, чем поэма души его и сути,
 Бейрут с новыми алфавитами связывает вас, люди,
 он — строки, просто и кратко
 протянутые к вам, города, —

Бейрут — наша единственная палатка,
 Бейрут — наша единственная звезда.

Может быть, Бейрут, для нас ты мера, предел,
 чтобы вспомнить тела, смытые морем с наших тел.
 Мы пришли в Бейрут от первых звуков детства.
 Мы ищем границы юга, сосуды сердца...
 Кровоточит сердце, кровоточит...
 Может быть, оно мерой оков и руин север измерить хочет?
 Склонилась тень длинная-длинная,
 склонилась надо мной, разбила меня и раскидала...
 Да очнется дерево, забывшееся устало,
 которое очнется для того, чтобы снять с наших шей
 гроздья невинных жертв...
 Мы пришли из страны без страны.
 Руки праведные утомлены.
 В развалинах эта земля —
 и приткнуться нам негде! —
 протянувшаяся от дворца эмира до тюремных камер,
 от наших первых мечтаний до... нефти!
 Дайте нам хотя бы одну стену,
 чтобы мы видели горизонт и окно, охваченное огнем,
 чтобы мы повесили на ней свои печали,
 чтобы мы кричали:
 «О, Бейрут!» — ночью и днем.
 Дайте нам стену, одну хотя бы,
 чтобы тот, кто продает нефть и араба,
 услышал, привыкший спать сладко:

Бейрут — наша последняя палатка,
 Бейрут — наша последняя палатка!

Наш горизонт заслоняет другой, неизвестный, свинцовый.
 Дороги случайностей кружат по дороге нашей бедовой.
 От океана — к аду,
 от ада — снова в его громаду.
 И везде — справа, слева, посередине
 только виселица видна,
 виселица с веревкой
 для миллионов шей —
 одна!

Бейрут, свидетель сердца моего...
 Я ухожу от себя и от улиц его
 путем бесконечной поэмы
 мимо зданий и голубей...
 Не умирает огонь поэмы моей.
 Сворачиваю город, будто кипу исписанных листков.
 Несу маленькую землю как узелок облаков.
 По этим тропинкам воздушным подъем уповательно крут...
 Бейрут тумана и камня,

спасибо тебе, Бейрут!
Сказители и захватчики
веками спорят про это:
что будет тут из камня —
государство влюбленных
или государство-гетто?

...Длится песнь, непрестанна.
В сердце стучащем моем
то болит от копья рана,
то становится сама копьем.
Я спускаюсь и поднимаюсь по лестнице бесконечной.
Умираю и вновь рождаюсь на дороге рождения вечной.
В хаосе, беспорядке
смутных, смятенных минут
шепчу бедуинской палатке,
что весь и навеки я — тут.
Лицо мое темно от печали.
Язык стряхнул чужих словес пыль...
Я спрашиваю ислам:
что было вначале —
была нефть
или гнев был?

...Мы идем к далекой песне,
в тот мир, где свобода воскреснет.
И воздух становится осязаемым
и кормит, как любовь — влюбленных.
И голубеет заря
на кронах деревьев зеленых.
Мы поднимаемся
раз,
три раза,
сто раз,
тысячу раз
во имя народа, спящего в этот час.
К рассвету, к рассвету — льется поэма,
и на ступенях рассвета хаос сникает немо.
Благословенна жизнь
и благословенны живущие на земле,
а не под властью тирана,
в слепоте и во мгле.
Да здравствует жизнь!
Да здравствует жизнь!

...Ни основания, ни смысла,
нелепо в воздухе повисло —
так, что рассыпалась весна:
война.
Разве Бейрут — зеркало,
чтобы в осколки его разбить
и самим осколками быть?

Мы шагаем под прицелом снаряда.
Может, мы к смерти привыкли? Не надо...
— Мы привыкли к жизни, а не к смерти.
Эта страсть бесконечна, поверьте!
— Была напрасной наша поэма?
— О нет! Да и не исчерпана тема.
— Тогда почему война ее опережает?

— И все равно она ничего не решает...

— Что ты видишь на горизонте?

— Другой горизонт.

— Неужели это опять — фронт?..

— Ты знаешь всех убитых?

— Да, но, признаться,
и тех, которые родятся.

Они рождаются

под деревом,

они рождаются

под дождем,

они рождаются

под кустом,

они рождаются

под мостом,

они рождаются

из скал,

они рождаются

из зеркал,

они рождаются

из мечетей,

они рождаются

из тебя, ветер,

они рождаются

из бутонов,

они рождаются

из смеха и стонов,

они рождаются

из поражений и побед,

они рождаются

из радостей и бед,

они рождаются

из начал и концов,

они рождаются

у матерей и отцов —

бесконечно рождаются, вырастают, чтобы опять

убивать и рождаться, рождаться и убивать!

И отсюда следует:

Бейрут (море — война — чернила — прибыль).

Море: белое, свинцовое, голубое, а в апреле зеленое на вид,

но становящееся в каждом месяце красным, если гневно бурлит.

Море: богатство, на моей крови настоящее,

образ всего, что любви достойно.

Война: провал нашей пьесы; давайте играть без текста и книги,
без шпаргалок.

Война: память о новичках и бывалых.

Война: начало ее — кровь.

Война: конец ее — воздух.

Война: сверлит нашу тень, чтобы пройти от ворот до ворот грозно.

Чернила: для праведников, для ведущих,

для тех, кто пьет наших песен горе,

для созерцающих печальное море.

Чернила: божьи коровки или черные муравьи.

Чернила: надежный перешеек, поэт, во владенья твои.

Прибыль: производное от войны,

все время возвращающейся на свои круги
с тех самых пор, когда мы оставили плуги,
с первой охоты на газель
до подъема социалистов в Азии и Африке,
продолжающегося досель.
Прибыль правит нами, как разбойник,
от предметов и слов нас гонит,
нашу плоть крадет
и продает.
Бейрут, рай мгновений,
ложе из птичьих перьев,
базара откровенье,
рестораны, отели...
Его геометрия — линии, тянущиеся к новым рынкам.
Он покупает и продает с привычным риском.
Поднимается, потом падает, как цена доллара
или унции золота, которая поднимается или падает
согласно ценам на восточную кровь:
дешево или дорого?
Так вопрос решается.

Нет... Бейрут — это компас тех, кто сражается...

...Мы сожгли наши корабли, наши звезды по стенам развешаны.
Мы стоим на огненном рубеже и говорим врагам не поверженным:
Бейрут — яблоко
и сердце, которое бьется, улыбаться пытаюсь,
наша блокада — оазис,
в этом гибнущем мире
мы заставим площадь отдаться веселью
и обручимся с сиренью.
Мы сожгли наши паруса и обняли наши автоматы.
Разве в этом мы виноваты?
Мы разбудим эту землю, которую поит наша кровь,
мы разбудим ее, и омоет любовь
волосы жертв слезами своими прозрачными,
живою водой, чтобы мертвые стали горячими, зрячими,
чтобы вернулись на землю, которую мы защитим,—
ее каждую пядь, и пшеницу, и все, что в ней видеть хотим.
Корабли наши здесь сожжены.
Мы обращаемся к вам, что в прах обращены.
Мы зовем вас,
и возвращается эхо страной,
мы зовем вас,
и возвращается эхо плотью родной.
Корабли наши здесь сожжены.
Наши палатки — на ветру войны.
И если даже целые армии сюда
поднимутся по этой человеческой стене,
от географии вашей крови не отступим мы никогда.
Мы стоим на огненном рубеже
и говорим в который раз уже:
— Мы не покинем окопы,
пока не уйдет прочь
ночь.
Бейрут — перед прыжком,
а наши глаза —
у мешков с песком.

...Яблоко в море. Кровь, замешанная на радугах.

Шахматы слов самых разных.
Остаток духа. Крики о помощи. Тяжелая тишина.
О каменную скамью мрака разбивается вдребезги луна.
Бейрут. Яхонт раны кричаще горячей на спине мира-голубя.
Лилия развалин и первый поцелуй. Мечта неприступно гордая.
Плащ для моря и убитых. Поэма камня вещая.
Жаворонки чувств, в груди неумно трепещущие.
Как женщина, погорявшая сына,
небо на камень присело, задумавшись сурово.
Роза внимает Бейруту... Всесильно
между мечом и жертвой —
Слово...

Зима 1981.

Перевела с арабского РИММА КАЗАКОВА.



ЮРИЙ ЧЕРНЯКОВ

★

БРИГАДА

Повесть

Советский Союз ведет настойчивую борьбу за сохранение мира на земле, за предотвращение ядерной катастрофы. В свое время нам пришлось для самозащиты в противовес американскому атомному шантажу начать производство ракетно-ядерного оружия. Не мы повесили этот дамоклов меч над человечеством и планетой Земля. Теперь общеизвестно, как американская военщина создавала атомную бомбу и испытала ее на городах Хиросима и Нагасаки, уничтожив при этом сотни тысяч мирных жителей. За США несомненный приоритет в создании и применении этого варварского оружия массового уничтожения. Вот что пишет дочь бывшего президента США Маргарет Трумэн: «Мой отец тщательно обдумал вопрос о том, как и что сообщить Сталину об атомной бомбе. Он решил сказать ему как можно скорее, но ограничиться замечанием самого общего характера... Он подошел к советскому лидеру и сообщил ему, что Соединенные Штаты создали новое оружие «необыкновенно разрушительной силы». Премьер Черчилль и государственный секретарь Бирнс находились в нескольких шагах и пристально наблюдали за реакцией Сталина. Он сохранил поразительное спокойствие... Мой отец, г-н Черчилль и г-н Бирнс пришли к заключению, что Сталин не понял значения только что услышанного».

Сталин, конечно же, все понял. Советское правительство приняло необходимые меры для обеспечения безопасности нашей страны. Теперь известны имена и дела создателей нового оружия — их можно найти в энциклопедиях. Но ракеты делали не только ученые. В трудные послевоенные годы, когда надо было восстанавливать народное хозяйство, рабочие, инженерно-технические специалисты были главной силой, которая возрождала промышленность, они же были теми умельцами, которые в невероятной трудных условиях создавали и осваивали первые наши ракеты.

Как это было нелегко и не просто, как трудолюбивые, золотые рабочие руки были приложены к делу безопасности нашего отечества, рассказывает повесть Ю. Чернякова «Бригада».

ВЛАДИМИР КАРПОВ.

Основные эпизоды и сам сюжет этой повести возникли на основе моих личных впечатлений и того, что я услышал в разное время от разных людей, с которыми мне довелось работать. Ведь для литературы важны не только сами факты, тем более уже ставшие общеизвестными, но и то, что остается от фактов в людской памяти. То есть это не запись воспоминаний какого-то конкретного лица, а попытка воссоздать обобщенную судьбу обобщенного героя — участника тех давних событий.

Впрочем, некоторые эпизоды я предпочел передать нетронутыми со всеми неизбежными — как это случается, когда они передаются из уст в уста, — преувеличениями и подробностями, ибо в них есть и своя романтика, и свой драматизм, и, главное, дух времени.

Э то уже потом, лет через десять, «Волгу» себе купил первого выпуска, дачу в Здравнице. Квартиру в Черемушках получил, обставил всю. Жену и ребят одел, обул. Теще золотые зубы вставил и себе... во... видишь? Ни одного натурального. Да, а волосы

уже не вставишь. И почками до сих пор мучаюсь. От воды, говорят. Там вода знаешь какая? Чайник закипит, плеснет из-под крышки — и белая полоса на боку остается. Я, бывало, как в Москву приеду. прямо на кухню сразу иду. К крану присосусь, оторваться не могу. До чего же сладкая в Москве водичка! Столько лет прошло, всё быльем поросло, а вкус той воды как вспомню, так разом все печенки занюют.

А поначалу и думать не думал, что так все обернется... Вызывают меня к директору. Прямо перед обедом. Прихожу, а там двое военных. И директор, гляжу, озабоченный, в сторону смотрит. Вы, спрашивают, Сидоров Сергей Алексеевич? Ну я, говорю. Собирайтесь, поедете с нами. Это куда еще? — спрашиваю. Там узнаете, отвечают, нам приказано вас доставить, а все узнаете на месте.

Я к директору: как так, Павел Александрович? Что, мол, за дела? Сам же только-только на собрании от имени наркома благодарность объявил, лучшим слесарем, гордостью завода называл. Что же теперь-то молчишь? Вот потому, говорит, что ты лучший, что ты наша гордость. Поезжай, Сидоров. Тут все как надо делается. Ты ж фронтовик, ордена имеешь, а вопросы задаешь, как новобранец какой... Значит, так надо, понял? Иди переоденься и никому ни слова. А то, что ты лучший слесарь, так никто у тебя этого не отнимет.

Посадили меня это, значит, в машину и погнали. А я сижу и грехи свои перебираю. И так и этак прикидываю. Недоумение, словом, полное. Смотрю, пригород начинается. Долго ехали. Места сплошь незнакомые, лес кругом. Даже вздремнуть успел. Потом слышу: приехали. Вылезаю. Домики меж сосен в снегу стоят, вроде городок офицерский, дальше корпуса видны здоровенные и недостроенные, а кругом все колючей проволокой обнесено. Солдат там наверху работает — видимо-невидимо! Бетон кладут, кирпич таскают... А внизу штатские и офицеры спуют.

Ну, сдали меня куда надо. Потом с сопровождающими еще куда-то повели. Я уже еле ноги волочу. Пожрать хоть дадут, думаю, нельзя ж человека целый день без жратвы таскать! Привезти-то привезли, а чтоб поставить на довольствие — небось никто не почесался!

Заходим к какому-то полковнику в кабинет. Он на меня ноль внимания. Злой сидит, хмурый. Вот что, Сидоров, говорит, с этого дня будете здесь жить и работать. Один пока, без семьи. Койку вам предоставят. Как так, говорю, а если я не желаю? Как так можно человека не спрося от семьи отрывать? Все-таки я не штрафник какой, разведзводом командовал, награды имею, благодарности...

Вот ты на фронте был, говоришь, а, видно, забыл уже, как в сорок первом от фашистских танков драпал? Опять хочешь, чтобы это повторилось?.. Потом рукой махнул. Много, мол, вас тут, и все права качают. Некогда каждому разобъяснить. Вот оно что, думаю, — наверно, всем, кто отступал, какое-то наказание вышло. Так что иди и работай, говорит. И не забывай фронтовую заповедь: больше пота — меньше крови. И бумаги мои сопровождающим отдал. Потом меня еще в какую-то комнату потащили пропуск оформлять.

Наконец привели меня в один ангар. Недостроенный еще. Наверху солдаты крышу кроют. И снежок сверху сыплет. Там-то я и увидел ее, родимую... Сначала подумал — самолет. Нет, не похоже. Вроде снаряд от «катюши», только раз в двадцать больше. Лежит на стапеле. А кругом народу что муравьев. Штатские, военные. И солдаты кругом с «папашами» через плечо. Мои провожатые опять мои бумаги стали кому-то показывать. А у меня уже в глазах рябит от этих бумаг. Вдруг один штатский, сам полный такой, в пенсне и шапке бобровой, бумаги мои когда увидел — и ко мне. Товарищ Сидоров? — говорит. Наконец-то! Обрадовался мне, как земляку в госпитале. Руку протянул, подняться на стапель помог. Вы, голубчик, очень

очень нам нужны. Без вас, мол, мы пропали совсем. И любуется на меня, как на облигацию выигрышную. А военные в сторонке стоят и на часы поглядывают. И генерал среди них. Коренастый такой, хмурый. Руки за спину заложил и поверх голов смотрит. Тоже на часы посмотрел и этому, в пенсне, говорит: давайте, мол, побыстрее, товарищ... ну и по фамилии его назвал. Тот кивает, да, да, одну минуту, сейчас, только товарища Сидорова в курс дела введу.

Подводит он меня, значит, и показывает на открытый люк. Там, говорит, стоит один блок. Нужно отстыковать от него высоко-частотные кабели, а они в самом низу находятся, под блоком, и никто у нас до них добраться не может. А сделать это нужно очень аккуратно, чтобы ничего там не повредить. Мы уж совсем было отчаялись. Хорошо я вспомнил, что ваш директор, Павел Александрович, хвастал как-то, что есть у него на заводе один слесарь, который не то что блоху — палочку Коха подкует! Тебе-то хорошо, сосватал меня, Павел Александрович, вовек тебе этого не забуду, сосватал меня, нечего сказать. Только сунул я свой нос в люк, а туда еще двое переноски направили, светят мне. А этот, в пенсне-то, спрашивает: видите блок? Я смотрю, а там — мама родная! Жгутов этих, кабелей всяких, труб разных — видимо-невидимо. Палец не просунешь. Что ж, говорю, ваши конструкторы так постарались? Куда они-то смотрели? Он опять руками разводит. К сожалению, говорит. Дело-то совсем новое... Просмотрели компоновщики. Тут один штатский в заячьей шапке и в валенках голос подал: так нам же аппаратурщики документацию согласовали и вы сами, Алексей Витальевич, ее утвердили! Генерал опять на часы взглянул. Долго это будет еще продолжаться? — спрашивает. Алексей Витальевич этот опять руками развел. Так что выручайте, голубчик. Иначе нам придется корпус автогенном резать. Времени-то у нас в обрез. Сами знаете, что сейчас делается...

Как не понять, говорю. Только чем же я работать буду? Как чем, удивляется, чем вы у себя в цехе работали? Инструментом, говорю, собственного изготовления. У меня этого инструмента и приспособлений всяких знаете сколько? Как у зубного врача. Он только руками всплеснул. А что же вы его с собой-то не взяли, какой же вы слесарь без инструмента? Тут и я в бутылку полез. А мне сказал кто-нибудь, куда меня забирают?

Очень я ерепенистый был по молодости. Хорошо генерал вмешался. Подошел, взял за локоть. Ладно, говорит, Сергей Алексеевич, кто тут виноват, мы еще разберемся... Вам сейчас дадут бумагу, и вы быстро напишете перечень необходимого вам инструмента. Мы отправим за ним машину в Москву. Слушаюсь, говорю, товарищ генерал. Только как я этот перечень составлю, если я сам не знаю, как они у меня называются? Ладно, говорит, тогда заберут все, что есть на вашем рабочем месте. Тут я совсем обнагел. А у меня, говорю, он не весь на рабочем месте. У меня его еще дома полно. Они, смотрю, переглядываются. А вам очень нужно то, что находится у вас дома? — меня спрашивают. Во, показываю, позарез! Да вы не беспокойтесь, говорю. Я жене записку напишу, и она вам его весь отдаст. Генерал усмехается, головой крутит. Ладно, говорит, под мою, мол, ответственность, если не возражаете. Сразу видно, что человек в разведке служил. Пишите своей жене, что все, мол, в порядке, нахожусь в ответственной командировке, пусть не беспокоится, а придет срок — увидите. И ничего лишнего.

Написал я. Все как он сказал.

Офицер, смотрю, откозырял и бегом от ангара. А дело уже к ночи. Когда еще машина с моим инструментом придет... И никто не расходитя. Попробуй уйди. Это не теперешние, скажу тебе, времена. Стоят и ждут. Холодно, мороз уже пробирает, а стоят. Ну а мне-то

чего стоять? Взял переноску и в лок свечу. Соображаю, как под тот блок ловчее подобраться. Подлез под него кое-как. Щупаю. И другие туда же смотрят, чтоб я, значит, никакого вредительства втихомолку не причинил. Мешают, понятное дело, да разве чего скажешь... Это сейчас ребятишки из ПТУ приходят и в изделия ключом орудуют, как ложкой в тарелке. Пощупал я это все основательно и к этому Алексею Витальевичу обращаюсь. А что это хоть за штука такая, как хоть называется? А один, сам из себя строгий, хмурый, коротко так, будто отрезал,— изделие, говорит. Не твое, мол, дядя, дело. Ну а я тоже, знаете, не люблю, чтоб со мной так разговаривали. Не, говорю, это не по моей специальности. Тут электрик нужен. Замок или часики я б вам починил. А тут я без понятия. Генерал опять нахмурился. Ты, говорит, на фронте кем служил? Разведчиком. Ну, говорит, так ты что, только на брюхе ползал? А машину водить не мог? А языка не брал? А за сапера не был? В том-то и дело, говорю, что я не привык вслепую работать. Хочу все до тонкостей знать и осмыслить, прежде чем браться-то. Этот Алексей Витальевич аж руками всплеснул. Так зачем вам это все знать? Вам только отстыковать высоко-частотные разъемы! А дальше уж мы сами проверим, почему он не работает. А я свое гну. Извиняюсь, мол, за свою бестолковость, но там ведь еще какой-то кабель болтается двухжильный. Сверху-то его не увидишь, но так-то прощупывается. И разъем вроде на корпусе открытый. Может, он и ненужный, я-то не знаю, на всякий случай спрашиваю. Любил я тогда при случае дурачком прикинуться, над начальством покуражиться, что и говорить. За меня начальство держалось знаешь как? Вот и избаловался, известное дело... Он слова сказать не может. Потом кинулся к люку и меня за рукав тянет. Где? — говорит. Не может, мол, того быть... Тут другие штатские набежали, на меня сверху навалились, где, мол, покажи им всем... Чуть не раздавили. Еле выбрался из-под них. А они давай друг на дружку орать. Это ты не состыковал, это ты не проследил, это вы не проверили... Известное дело, если на каждую гайку по человеку приходится, тут не то что разъем забудешь состыковать, тут вместо самолета паровоз можно собрать.

Ладно, говорю, потом выясните. Ну так пристыковать его, что ли? Давай, говорят. Полазил я по карманам. Шпильку нашел какую-то, гвоздик. Согнул его. Пальцы поободрал, но вставил эту вилку в разъем, значит. И еще закрутил. Они аж рты разинули. Так вот, знай наших. Запустили они этот блок. Есть картинка! — кричат. Они ее по осциллографу увидели. И ну меня тискать да по плечам хлопать. Вот что значит свежий глаз, говорят. А меня тут зло взяло. Неужто, говорю, сами-то разобраться не могли? Вон вас тут сколько! Я бы сейчас дома дрых давно. Расхлебывай за вас... Они замолкли сразу и на меня уставились. И у Алексея Витальевича, смотрю, челюсть задрожала. А мы, говорит, за кого здесь работаем? Да мы четвертые сутки из ангара не вылазим! Я и то гляжу: очумели они здесь совсем, рожи у всех от холода синие, глаза красные... А хоть неделю здесь сидите, говорю, мне-то что? Я уж как заведусь, бывало, не остановишь... У вас своя работа, у меня — своя... Я-то вас в помощь к себе не требую? Генерал до того молчал, а когда этот, Алексей Витальевич, к нему обратился, он только зыркнул на него и прочь со стапеля спрыгнул и к выходу пошел. Разбирайтесь, мол, сами. И все военные за ним.

Я на штатских рукой махнул, я-то вижу, кто здесь главный, следом спрыгнул и кричу: товарищ генерал! Он сразу остановился и ко мне повернулся. Да, я вас слушаю, говорит. Дело-то, говорю, из-за которого меня сюда забрали, я сделал, верно? Нельзя ли меня по такому случаю домой отпустить? Я всегда так. Чуть что не по-моему, к самому большому начальству обращаюсь. Нет, говорит, именно поэтому не отпускаю тебя. Если бы не справился — выгнал бы. Здесь

и так лишних полно... Передовая здесь, фронтовик, окопы! Что будет, если с передовой все к своим семьям двинем? Война надвигается, понимаешь? А от «летающей крепости» штыком да гранатой уже не отобьешься. И уехал. Так я и остался там. В этих окопах.

Самого-то завода, считай, еще не было. Крыши, говорю, даже не настлали. А изделие это, первое самое, давай-давай. К празднику.

Директор наш, Алексей Витальевич, помню, в сердцах тому генералу сказал, да при всех: не знаю, мол, как там по газетам, а по мне война эта еще не кончилась. Совсем как на Урале. Не успели с колес сгрузиться, а продукцию давай... Ну ладно... День-другой покантовался, потом все-таки домой отпустили на сутки. Отдохни, мол, и за дело. Это изделие без тебя сдадим, а ты готовься к новому. Оно куда сложнее будет. Бригаду тебе наберем слесарей. С любого завода, самых-самых. Вот как тебя самого. Будете выполнять особо ответственные работы по созданию оборонной техники. О зарплате не беспокойся. Согласен? Что ж, говорю, теперь спрашивать, согласен или не согласен. Раз уж по уши влез... Только спрос, спрашиваю, с кого весь будет? С меня, поди? С кого ж еще... Ну тогда, говорю, я лучше себе сам бригаду наберу. Ишь, говорят, какой. Сам... Артель, что ли, сколачиваешь, шабашничать собрался? Почему, мол, так вопрос ставишь? Все потому, говорю. Мне с ними работать, а не вам. До Алексея Витальевича дошло. Да ты не бойсь, говорит, что ты, в самом деле. Не котов же в мешке покупаешь. А с рекомендациями, с характеристиками. Я ни в какую. Черта мне в этих характеристиках! От иного, может, отделаться не знают как. А мне с ним мучиться... Я вообще так привык: ты мне о нем лучше ничего не говори. Ты покажи, как он работает. Как-нибудь со стороны покажи. Вот тогда я тебе сам скажу, что в твоей характеристике по делу, а что видимость одна.

Алексей Витальевич рукой махнул. Ох и упрям же ты, говорит. Чувствую, прибавишь ты мне еще давления не хуже заказчика... Ладно, говорит, набирай сам. Но начни с рекомендованных. Не забывай, чем мы тут занимаемся. Это люди проверенные. Ну, пару, тройку выбери сам, так и быть. И что ты думаешь? Тех, кого сам тогда выбрал, те со мной и остались. А остальные, умельцы-то, рекомендованные, сами разбежались. Вот так. Мне говорили, что, мол, выжил я их. Может, и выжил... А что прикажешь делать, коли они воду мне мутили? Мастера, по правде сказать, были настоящие. Ничего не скажешь. Ну и каждый о себе понимал. Каждый с гонором. Это ему не скажи, это не подкажи. А это не по его части. Плюнешь иной раз, лучше сам все сделаешь, лишь бы нервы с ним не трепать...

Но это легко сказать: выбери, мол, сам. Поездил я по московским заводам, насмотрелся... Сплошь старики да пацаны. Мужиков-то фронт повыбил. Только Пономарева Витьку да Сашку Горелова еще через год присмотрел. Мы Пономарева больше Рыжим звали. На его лохмы посмотришь — так зажмуришься... Вот. Прихожу я в цех, где он работал, и ведут меня на участок, где один рекомендованный работал. Совсем другой. Фамилии-то уже не помню. Гляди, говорят, вон тот. Любуйся, а наше, мол, дело маленькое. Хочешь — бери, хочешь — нет... Со мной везде так разговаривали. Думаешь, охота им ценный кадр отдавать? Ну, смотрю. Старичок какой-то. Аккуратный, в очках. Токосъемники они там вроде собирали. Это так я сейчас понимаю. Кольца медные да збонитовые на длинные, метра в полтора, шпильки надевают и каждый слой гайками затягивают. Нудная, скажу тебе, работа. Пока эти гайки на полтора метра навенешь, а их сколько, да шпилек с десятков, уснуть можно глядя. И любой пацан справится. Ну смотрю, ну работает, что особенного-то? Уснуть, говорю, можно. Потом слышу визг. Ага. Девки там мо-

лодые, тоже чего-то собирают, а около них малый рыжий-рыжий, длинный такой, нескладный вертится. К одной нагнулся, на ухо что-то шепчет, а сам руку подсовывает... И сразу в сторону, спину свою колесом подставил. Она кулачком-то двинула по его горбу мослатому, заохала, а сама рада, поди, хоть такому вниманию. Парней тогда по одному на десяток было. Потом уж narосли...

Мастер их не выдержал — неловко перед посторонним, — гаркнул на него. Когда, мол, работать будешь? Полдня прошло. А я вас, говорит, ждал. Отпроситься хочу. Тот еще пуще. Пока, кричит, все свои блоки мне не завинтишь, вообще не уйдешь! Рыжий в затылке чешет. А если, говорит, до обеда сделаю, отпустите? До обеда... да ты хоть половину собери до вечера. Нет, а если соберу? Отпустите? Мастер рукой машет: вот трепло, мол....

И ведь чуть не сделал, что ты думаешь! Схватил круг полировальный — войлочный такой, плотный, на вал моторчика насажен, — вставил его между шпильки и моторчик включил. Все аж рты разинули. Круг-то войлочный все гайки разом закрутил, и они, глазом моргнуть не успели, до самого низа опустились. Только подтянуть осталось. В минуту блок собрал. Потом за другой принялся. Доволен — дальше некуда. Девки-то смотрят во все глаза. И зазевался. Вдруг — трах! Моторчик из рук вырвало, шпильки погнуло, закоротило, видно, аж дым пошел. А он за пальцы схватился, меж коленок зажал. Я его за руку схватил, подними, мол, повыше, кровь все ж хлещет. Кости-то целы? А мастер опять орать. Поломал, балбес, испортил, то да се... Я его за плечо взял. Угомонись, говорю, так и быть, беру. Да нет, не умельца вашего. Он еще до утра будет колупаться... Этого беру, балбеса. Да вы что, говорит, он же еще напильник, как ложку, держит. Ничего, говорю, у меня будет ложка, как напильник... Научится, куда денется. Мне мастера ни к чему. Я сам мастер. Мне как раз такие и нужны. Умельцы эти мои почему разбежались, говорил уже, нет? Ну вот... Беру, говорю. Да он прогульщик, говорят. А сами, гляжу, счастьем своему не верят, подгалкивают друг дружку от такой радости. Это у вас, говорю, прогуливал, у меня в цеху ночевать будет. Тут Рыжий рот раскрыл. Ему, паразиту, пальцы бинтую, а он на меня же баллон катит. Я, мол, дядя, к тебе и не пойду. Без понятия еще, конечно... Он не пойдет. Ага. Бегом, говорю, побежишь и еще меня обгонишь. А пальцы-то у него, смотрю, длинные, тонкие. С такими пальцами куда хочешь подлезешь. Не то что мои обрубки. Натерпелся я с ним потом — по самое некуда... Баламут был. шалопут и глотник. А все ж зла на него никогда не имел. Ну, бывало, конечно, всякое.

Но ничего. До сих пор вот в гости ходим, семьями дружим. А чтоб зло на него иметь — никогда.

Один он рос, понимаешь. Детдомовский. Тоже понимать надо. Хлебнул в войну среди чужих людей. И жена его под стать, тоже детдомовская. Нинка зовут. Смех один, как на них посмотришь. Сама маленькая, черненькая, ершистая. А в руки его, длинного, взяла будь здоров. А он — хоть бы что. Они, детдомовские, знаешь как друг друга держатся? Один раз я дома у них был, задрались они было при мне, я его в сторону толкаю, так она в меня вцепилась, чуть глаза не выцарапала. Я, помню, раскричался на них, а они смеются. Довольны оба дальше некуда. Я тоже не выдержал, засмеялся. И рукой махнул. Детдомовские, что с них возьмешь? Они тогда еще в бараке жили. Сейчас про эти бараки забыли вовсе. А тогда, после войны, этих барачников было видимо-невидимо. Идешь по коридору — там примус, здесь керогаз, на веревках белье мокрое болтается, ребятшки плачут, бабы орут... Сейчас-то они в трехкомнатной живут, хоромы, можно сказать, а все такие же...

Но это так, промежду прочим. Я тогда больше к самому изде-

лию приглядывался. Трудно оно шло. Только-только начали собирать. На коленках, можно сказать. И так и этак пробовали. Допоздна над ним засиживались. Технологии толком еще не было никакой. В смысле порядка сборки. А сборка такая, что ой-ой-ой. Чего там только не понакручено. Тут тебе и автоматика, и гидравлика, и радиотехника. И все завязано. Механики-то чистой с гулькин нос. И все ведь с понятием надо делать. Попробуй, к примеру, не так высоко-частотный разъем завернуть. Полетит, родное, куда его не ждут. Только держись... Ладно, думаю, чего уж теперь... Делать так делать. Научимся, куда денемся.

Я так начальству и сказал. Мои, мол, должны уметь все. Только тогда от нас толк будет. Это когда уж освоим да технологию распишем, тогда сажайте всех на отдельные операции. Но это еще когда будет. Давай, говорят, попробуй, если сможешь...

Собрал я своих. Так и так, говорю. Такие вот дела. И умельцы эти сразу меня за горло взяли. Мы что тебе? Фезеушники? Ерфилов тогда на меня особенно налег. Тебя кто просил? Что ты, мол, вообще из себя меня строишь? Перед кем, мол, выслуживаешься? Кто ты, мол, такой, чтоб нам указывать? Я ж говорил уже, от этих умельцев одна только смута шла. Какой я им начальник? Каждый на равных себя мнит. Сколько раз говорил я этому Ерфилову: давай, мол, на мое место. Так нет, он на это не согласный. Ему снизу меня сподручней шпынять. Я, говорит, беспартийный. Меня в сорок первом исключили, когда из плена прибежал. Тогда помалкивай, говорю, и не высывайся, окруженец...

Тут и побежали первые. Самые старички. Больно надо им на старости-то лет переучиваться. Их и так где угодно с руками и ногами... Ладно. Эх, думаю, мне б таких, как Рыжий, пяток хотя бы. И тогда бегите вы хоть все — не заплачу.

И Рыжий, гляжу, такое дело учуял и тоже, понимаешь, мне как начальству подпевать стал. Совсем обнаглел. Со старшими, гляжу, разговаривать стал на равных. То глазки опустил, слово боялся сказать, а тут гляди-ка, прорезался. Ну я его быстро укоротил. Мне шакалы в бригаде не нужны, говорю, понял? И чтоб я больше не слышал, как ты над передовиками, заслуженными людьми куражишься. Соплив еще. И подзатыльник еще отвесил.

А тем временем, считай, уже половина разбежалась.

Ладно. Засели с остальными за чертежи да схемы. И за паяльники. После работы, ясное дело... Ерфилов, смотрю, сопит, но держится. Выступал больше всех, а заявление не подает. Сидим, бывало, уже поздно, так и этак кумекаем. Хитрое это дело, электрика. А паяльник? Это только кажется, что делать нечего...

Вот так и получилось. Работать еще толком не работали, зарплаток обещанных и не видно, только учимся, как студенты, на одну стипендию... Еще двое-трое заявления строчат. Тут я, помню, психанул. А хоть все бегите! И Рыжий тоже выдал. Он-то быстрее всех нас наловчился. И в пайке и в регулировке. А меня, говорит, регулировщики к себе зовут. У них повыше тарифы-то. Ну этого я всегда на место поставлю. Цыкнул на него разок. Сиди, мол, где сидишь, и не дергайся.

Потом гляжу — а кто у меня остался-то? Я да Рыжий. Ну еще Ерфилов. И еще двое-трое. Фамилий уже не помню. И они того гляди подорвут. Что делать, а? Впору самому заявление писать, пока не попросили за развал. Что-то, думаю, здесь не так. Черт его знает. Сорвал людей только с места... А какое у меня такое право, чтобы навязывать то, что не по душе? При чем здесь работа? Работа для нас или мы для работы? То-то и оно... К Ерфилову, помню, тогда же вечером в барак зашел. Вызвал покурить. Мы с ним часто так: сядем, скажем, на планерке, а потом вечером на бревнышках меж собой отношения выясняем... Сели с ним, значит, махру раскопча-

рили... Да... Сидим, как девки на посиделках, на луну мечтаем. Вообще-то я его побаивался, что ли... Ну не то чтоб очень, а уважал скорее, вот. Мужик он основательный, степенный, зря рот не раскроет. Но вредный, собака. Что ж, говорю, Степаныч — его Петром Степанычем зовут, — заявление-то уже написал или как? Вот думаю, говорит. Ну думай... Тебе-то, говорю, сам бог велел, тебе бы свою бригаду сколотить, чем мои указы выслушивать.

Он сигарку сплюнул. Много чести, говорит, чтоб из-за тебя еще заявление писать. Ты тут вообще ни при чем. Как так? А вот так. Ты, Алексеич, в сорок первом где воевал? Это он у меня уж сотый раз спрашивал. Удовольствие ему было слышать, как я до сорок второго на Дальнем Востоке отсиживался, самураев стерег. А что? — спрашиваю. А то, говорит, что пока ты там прохлаждался, я от самой границы драпал. И все пешедралом. И окружение прошел и плен. Слышали, говорю, и не раз. Ну и что? Один ты, что ли? А то, говорит, что мечтал я тогда хуже, чем о бабе, от такого-то позору, что счас вот, налетят наши соколы да начнут их драть, мать их в душу... Ночами аж зубами скрипел... Снилось, понимаешь, что сам на кнопки какие-то нажимаю... Ну как пулемет какой здоровенный, а ихние танки да самолеты, как коробки спичечные, пыхают... А проснешься утром где-нибудь в луже, увидишь, что все с той же родимой образца девяносто первого года в обнимку, и так занует... Не в тебе, говорит, дело. Много чести. А в этих изделиях, будь они неладны. Охота увидеть, понимаешь, как наяву это будет.

Стало быть, остаешься, говорю? Стало быть, так. Опять молчим. Сидим, смолим. Вот говорят, что крут я больно, говорю. Точно, кивает, как дурной кидается. Только на меня где сядешь, там и слезешь. Ты это помни. И другое тоже пойми. Не в мои годы перучиваться. У меня от твоих проводков да клемм в глазах уже рябит. Лучше я так слесарем при тебе и останусь. Ладно, говорю, оставайся, раз такое дело. Только пока что, сам видишь, навар у нас небогатый... когда еще наши изделия пойдут. Он молчит. Потом вздыхал. Я-то думал, Алексеич, ты все ж поумней будешь, а ты все про то же. Ладно, говорю, все ясно... Спасибо и на том.

Мне тогда и вправду легче сделалось. Утром-то как раз на ковер вытаскивали по причине утечки кадров. Вызвали и давай меня... Вдоль и поперек. И в хвост и в гриву. Какие, мол, специалисты ушли. Я молчу. А что тут скажешь? Все правильно. Специалисты-то уходят...

А потом не выдержал. А они что, говорю, ко мне нанялись? Сезонники, что ли? А раз корм у меня плохой, так к другому хозяину наладилась. Я их у вас не просил, сами навязали. И куда вы их столько набрали? А я предупреждал. Коль поставили бригадиром, так под меня и кадры подбирайте. А как же вы думали? Черта они мне нужны такие! Лучше мне молодых дайте. А эти старперы ваши у меня уже вот где сидят! А не нравлюсь, так другого дурака поищите спецами вашими командовать...

Молчат, смотрю, переглядываются. Алексей Витальевич хмурится, пальцами барабанит. Да это понятно, говорит. Каждый из них цену себе знает и сам же ее назначает... Ты другое нам скажи. С кем работать будешь, вот вопрос. Это когда еще молодых выучишь. А работать уже сегодня надо.

Как с кем? А с Ерфиловым, с Пономаревым... И все? — спрашивают. Ну все... Мой начальник цеха рукой махнул: с Пономаревым... Он же разгильдяй, безответственный тип, у него ветер в голове.

Все тут зашумели, закивали. Алексей Витальевич их унял и говорит: не боги, конечно, горшки обжигают, но если б о горшках шла речь...

Тут его заместитель — здоровенный такой, лысый — встрял. К людам, говорит, подход надо иметь, ладить с ними как-то... А ты при-

вык рубить плеча! Мы-то с тобой сейчас как разговариваем?

Алексей Витальевич, гляжу, хмурится, бумагу карандашиком черкает. Извини меня, говорит, Сергей Алексеевич, но, по-моему, ты забываешь, какая у нас с тобой работа. От нее сегодня, можно сказать, наше существование зависит... Сам знаешь, то, что мы сделаем, уже не переделаешь. Это Егорыч мой машину посреди дороги остановит и колесо или там свечу поменяет и дальше поедет. А изделие уже не остановишь... Каким сделаем, таким и улетит... Вот и скажи, только по совести, как коммунист, можно ли такую особую работу таким, как твой Пономарев, доверить?

А кому, спрашиваю, ее доверять? У меня других-то нет! Другое-то, спецы ваши, разбежались! Они ж деньгу пришли зашибать, им изделие наше, что народу защиту дает, побоку. А Пономарев-то что-то не сбежал, хоть и разгильдяй. Начальник мой опять рукой махнул: молчи уж... Попробовал бы он. Ты б ему при всех штаны снял и выдрал ремнем за милую душу.

Тут все засмеялись. А я еще больше озлился. Особая работа? Так особых и ставьте. А у меня — какие есть! Ты-то сам, Алексей Витальевич, так прямо директором и родился? Может, в пеленки никогда не мочился, а сразу в сортир бегал? Тут его замы да помощники зашумели. Безобразие, мол, то да се... Алексей Витальевич, гляжу, морщится, пальцем под затылком трет, карандашиком стучит. Ну-ну, говорит, и что? А то! Где ты найдешь этих особых, если они сами здесь не вырастут?

Может, ты и прав, бригадир, говорит и еще сильнее под затылком трет, мне вот тут предлагают вернуть этих твоих, сбежавших. Как думаешь, стоит? А право у меня такое есть. Дело ваше, говорю, вам видней. Нет, говорит, это тебе видней. Тебе с ними работать. Я о другом сейчас подумал. Может, через год-другой твоей бригаде цены не будет. Только мы этого пока не понимаем. Дело затеяли огромное, такого еще никогда не было, а работаем по-старому. За каких-то дезертиров цепляемся... Вот и получается, товарищи, что кадровый вопрос он лучше нас с вами понимает. И болеет за дело побольше нашего... Но и ты, бригадир, смотри. Бригада твоя разбежалась, а спрос с тебя тот же. Понял? Вот с этим твоим... как его... Пономаревым и кто там у тебя еще есть — работайте за всех. У меня все... Только время у человека отняли. Вот так он сказал.

А через год он умер. Прямо в кабинете удар хватил... И опять все сначала... Новому начальству объясни, что, да почему, да как так... Пока на полигон не попали. Вот тогда все вопросы кончились...

Про Сашку-то Горелова? Расскажу. Работал он на авиазаводе. Я и раньше о нем слышал. Мол, есть такой умелец, каких не бывает.

Съездил пару раз, посмотрел... Работает молча. Что ни поручат, кивнет только и за дело. Все что ни сделает — в высших кондициях, эталоны сплошные. Только тогда мне его не отдали. Слава про меня такая пошла, что я только голову людям морочу и бегут все от меня. А мне запало, понимаешь, как он работает. Ни от чего не отказывается! Халат на нем всегда чистенький, глаженный. Руки — вот никто не верит — с мылом перед работой мыл. Инструмент у него всегда блестит. Его так хирургом и прозвали... А вот пальчики его частенько дрожали, да... Слаб был насчет водки. И как выпьет — сразу дуреет. Не буянит, нет. Он и пьяный молчун был. Только в беспамятство впадал. Черт те где, бывало, ночь проспит, но на работу, как всегда, в белом халате и с чистыми руками. Какая-то нехорошая история с ним приключилась. То ли на глазах у большого начальника отвертку в головку винта вставить не мог, то ли еще что... Обычно там как? — напился, ну и мотай с объекта в двадцать четыре часа! А его, говорят, сам Сергей Павлович тогда отстоял под свою ответственность. И меня потом за него просил. Рассказал, что у Саши, а он нас всех, считай, по именам знал, во время войны жена ушла с

сынишкой к какому-то тыловику. А Горелов узнал о том, когда только с фронта вернулся. И запил. Приобщи его, тезка, к делу, говорит. Давай ему работу посложней, поинтересней, чтоб забылся поскорей. Вот ведь какой человек... Не его, кажется, дело. У Горелова своих этих начальников — хоть пруд пруди. Было кому плакаться. Не каждому, конечно, расскажешь, тоже верно...

На полигон-то поначалу мы без него приехали. Со своими изделиями. Пятеро нас, кажется, было... Значит, я, Рыжий, Ерфилов, потом Панкратов и Савин.

Эти двое потом уволились. Жалел я о них очень. Работящие были мужики и мастера классные. Панкратов скоро не выдержал — здоровье у него было слабое. А у Савина мать одна оставалась старая с двумя его детьми. Жена, кажется, еще в войну умерла. Пришлось отпустить...

...Так вот, приехали мы туда, на полигон этот, вот тут-то, смотрю, бригада моя скуксилась. И есть отчего. Степь без краю, колючки, не на чем глазу зацепиться. И палатки одни. Изделия первое время и то в палатках держали. Ни ангаров, ни техничек тогда и в помине еще не было. Не то что сейчас.

Солдат полно. Взрывы гремят, пыль столбом — там ведь камень сплошной да солончаки... И нам сразу же ломы и лопаты вручили. Давай-давай, мол, тоже интеллигенты приехали, все готовое им подавай. А изделием ночью будете заниматься, когда жара спадет. Солнце там, скажу тебе, хуже артобстрела. Не спрячешься. Голову, плечи жжет сил никаких нет, а начальство над ухом: давай-давай, что ты, как мертвый, возишься... Иной свалится, отташат его в тень, воды на лоб плеснут, но так, чтоб немного — ее нам за сотню километров возили, — очухается, снова встанет и за лопату. А куда денешься? Вместо перекуров нам газеты читали. То там, то здесь американцы свои базы создают с атомными бомбами, а мы, мол, здесь работаем кое-как, а за нами Россия вся, как в сорок первом!..

Уж на что я здоров был, отощал и почками да давлением до сих пор мучаюсь. Этой ночи, как воскресенья, ждали. Выходных-то не было... Ночью хорошо, ветерок обдувает. Ветер, он и днем есть, только б лучше его не было. Дует как из печи, да еще с песком и пылью... Ясное дело, не все выдерживали. Мы-то фронтовики, чего только не видели, а и то... Солдат молодых — вот кого было жалко. Его только от мамы забрали, иной лопату сроду в руках не держал. Один, помню, приехал только, их часть развернуться не успела, спросил у меня по-тихому: где, мол, здесь туалет, дяденька? Из культурной семьи, видно сразу.

А другой по ночам плакал, все маму звал. Мы-то с ними рядом жили, в палатках... Разбудишь его, дашь ему закурить и расскажешь, как на войне бывало, там куда, мол, страшнее, вы здесь горя не знаете. А сам думаешь: сидел бы я сейчас где-нибудь в землянке своей под Гомелем. Наверху дождик идет, травой да грибами пахнет... Что с того, что немцы? А здесь скорпионы да тарантулы! Я этих скорпионов хуже танков боялся. Лучше с «тигром» дело иметь, я так тебе скажу. Там уж от тебя все зависит. А тут, главное дело, и не увидишь его! Ужалит, проклятый, и ходу... Скольких ребят перекусали. Меня фаланга какая-то за палец цапнула. Ну, я ей так это не оставил. Поймал и на медленном огне зажарил на сковородке прямо. Пока в пепел не обратилась. А палец, хоть и прижег его головешкой, раздуло — как рука, толстый стал.

Ну а зимой там тоже не лучше. Особенно в буран. И морозы за тридцать. Рассказываешь иному солдатику, мол, как в Карелии зимой тяжело было, а у самого зуб на зуб не попадает...

Но какая бы трудная работа там ни была, хуже нет bestолковщины, так я тебе скажу. А ее по тем временам тоже хватало.

Был у нас там один начальник участка. Фамилии его не помню уже... То ли Плавин, то ли Клавин. Потом-то убрали его от нас. Но крови всем попортил дай боже... Откуда только берутся такие, вот что удивительно! Носился как угорелый. Орет на всех, руками машет. Набаламутит, запутает всех, что за неделю не расхлебает, и убежит. И не найдешь его. Веришь, даже лица его не помню. Других, кажется, всех помню, а его нет. зуб золотой, помню, сам низенький такой... Черт его знает, совсем из головы вылетел...

Как-то прибегают он к нам. А у нас аврал был. К сборке изделия стапель готовили и тельферы на балки устанавливали. Посмотрел на нас и за голову схватился. Сидоров, орет, а ну иди сюда! Подхожу. Ты погляди, кричит, как у тебя люди работают! А что, спрашиваю, чем они плохо работают? Да где ж у них каски, где монтажные пояса и пристяжные ремни? Почему электросварка без ограждения производится? И понес и понес... Я гляжу на него, ни черта понять не могу. Что это на него нашло? С луны, что ли; свалился? Раньше и не такое еще бывало, вообще дым коромыслом стоял. И ничего. Где я их возьму тебе, каски да ремни? Куда в этих касках да ремнях подлезешь? А ограждения эти сварщики себе на голову поставят, что ли?.. Если все соблюдать, то вообще хоть не работай. Наконец, вон оно что, вот в чем дело, оказывается. Комиссия из самой Москвы приехала, по ангарам ходит. Вот он и мечется как наскипидаренный. Что ж, говорю, они раньше не приезжали? Когда мы в солончаках уродовались да со скорпионами в обнимку спали? А нас с тобой не спрашивают, говорит. Потом в затылке почесал и рукой махнул. Ладно, говорит, пусть твои ребята на обед идут. Прямо сейчас. И чтоб ни один сюда носа не совал, пока комиссия не уйдет! А сам пройди, говорит, по ангару, проследи, чтоб ни одна балка незакрепленная над головой не висела, чтоб все обеспокоено было.

Только я это, значит, ребят своих отослал, комиссия заходит. Человек пять и председатель — важный такой, лысый, в очках... Та-ак, говорит, а где ж народ? Так их на другой участок перебросили, начальник наш отвечает. Что-то я смотрю, у вас со всех ангаров людей на другие участки перебросили... А это кто? — и в меня пальцем тычет. Почему он без каски и монтажного пояса? Так это посторонний, начальничек мой нашелся, а мне страшные глаза делает: сгинь, мол. Председатель свой палец на члена комиссии навел и говорит: запиши это. В рабочее время посторонние люди на производственном участке находятся. А если его по незнанию током ударит, кто отвечать будет? И опять на меня палец нацелил. А вы что здесь делаете? Разве не знаете, что здесь важный, оборонного значения объект? А вы тут без дела болтаетесь, только мешаете. Где работаете? Кто ваш начальник? А ну марш отсюда! Ухожу, ухожу, говорю. Повернулся и ушел. Назавтра, смотрю, приказ уже висит. Бригадиру Сидорову строгий выговор. За то, что на его участке в рабочее время посторонние шляются.

Ребята смеются, проходу не дают. Мне тогда же наш смежник Огнев Витька — хороший мужик был! — сказал: береги нервы, воспринимай этого типа как стихийное бедствие. Вроде наводнения. Сиди на крыше и жди, когда схлынет.

Наводнение, говорю, еще куда ни шло. Не поймешь его, главное. То, бывало, таким фон бароном выступал, что ты! Не подступись! То, наоборот, особенно если сроки поджимали, ходит среди нас, папиросами угощает, всех по имени называет. А то еще матом пустит. Чтоб, значит, совсем своим считали. А ругаться-то толком не умел. Вроде как иностранец все слова выговаривал. Вот этого я особенно терпеть не мог! Я и сам для связки слов так иной раз припущу — только держись. И другого, если по делу, выслушаю. А когда начальство при нас да для форсу матюкается — противно слушать.

Тошнит прямо. Его Сашка Горелов раз при всех осек. Когда он начал на них орать. А ну кончай базар, говорит, работа и так стоит, опять, что ли, в воскресенье выходить? Тут все разом смолкли. Уж если этот молчун заговорил... И начальник наш тоже остолбенел. Он-то, я думаю, Сашку вообще в первый раз услышал.

Это ты кому говоришь? — спрашивает. А тебе — Сашка, смотрю, затрясся даже. Чего смотришь? Тебе и говорю. Ах, ты так! — тот орет. Я-то тебя за пьянки твои покрываю, а ты мне вон какие слова говоришь, начальник ярится, да я тебя мигом отсюда выставлю! Обидно ему, видишь, стало. А выставляй! — Сашка даже инструмент свой бросил. Сам уйду, только чтоб тебя не слышать.

Ну, я, понятно, дела этого так оставить не мог. Я в это время с нарядами да процентовками у себя возился. Подошел к ним. Оба, гляжу, как петухи взьерошенные. Если выгоните его, говорю, то мы все отсюда уйдем, ясно? И нечего на моих рабочих матом орать! Вот так. Мы с тобой отдельно, Сидоров, поговорим, грозится. Распустил ты их! А сам из ангара уже пятится. Я это тебе припомню, грозится. Ничего, ничего, думаю, приползешь еще ко мне в конце месяца.

Мы в конце месяца что делали? Нужно, скажем, изделие отработать. Мы его соберем, состыкуем, проверим — все честь по чести. Но Рыжий обязательно какую-нибудь закавыку по части регулировки оставит. Начальник-то начнет орать, а я руками только развожу, стараемся, мол, а никак... Он тогда ублажать начинает. Ей-богу, не вру! Он за свое место знаешь как дрожал? Я Рыжему говорю: кончай, мол. А сам думаю: а как еще его выпрешу от нас? И на этот раз приполз. В одиннадцать вечера тридцать первого числа. Как сейчас помню. У Рыжего один параметр будто не регулировался. Ага. Алексеич, скулит, выговор сыму, благодарность повешу... Да помешали на этот раз. Работал с нами один новый инженер. Только-только из Москвы приехал. Николай Иванович звали. Я сначала никак его возраст определить не мог. То ли тридцати еще нет, то ли под пятьдесят уже. Глаза-то молодые, черные. А волосы уже белые совсем. И длинный, худющий — в чем душа держится. Всегда сосредоточенный, говорит медленно, каждое слово выговаривает. А так больше молчком. Все что-то по своим схемам и записям прикидывает, считает. Если по технике что спросишь, все всегда разъяснит и покажет. Иной раз увлечется, что уже не понимаешь ни черта в его инженерской науке, тоска берет, а все равно киваешь, поддакиваешь... Вздохнешь разве от собственного невежества, но так, чтобы незаметно, конечно. Так вот смотрел он, смотрел на фокусы Рыжего, подошел к начальству и говорит: да что вы, мол, так переживаете! У вас, наверно, столько более важных вопросов, которые решить, кроме вас, некому, а вы здесь с нами только время зря теряете. Мы сами разберемся, вот увидите. Очень культурно с ним поговорил. Тому и сказать нечего. Опомился, поди, когда за воротами оказался. А Николай Иванович к нам подошел, стоит, нас разглядывает. Что ж вы, говорит, ребята, забыли уже, для чего здесь работаете? Разве вы тут личную машину для начальства собираете? Или дачу ему строите? Вы же прекрасно знаете, как это изделие ждут в армии. И головой покачал — ну, если действительно, говорит, не можете этот параметр отладить, так мне скажите. Я вам помогу. И покажу, чтоб в дальнейшем затруднений не было. Я, помню, стою вот так и чувствую, как уши мои докрасна накалились. А Пономарев тут сдуру брякнул: да вы не думайте! Мы можем! Мы так только, над ним покуражиться. А параметр мы мигом, сейчас отладим. Он даже руками своими длинными развел. Не понимаю! — говорит. Столько вы над этим изделием работали, столько мучились... Не понимаю! Ну проберите вы его на партийном собрании. На дуэль его вызовите! Но при чем здесь изделие — вот никак понять не могу!

Я потом у знакомого кадровика насчет него специально узнавал. Что за человек, мол... Два института кончил. На авиазаводе после увольнения работал. Потом его как лучшего специалиста к нам взяли.

...А все ж таки еще труднее там без семьи было, одному. Это уж по себе знаю. Очень я свою жену любил. И сейчас, уж старый стал, ее уж схоронил, а все как-то так чувствую, что все она для меня, что повезло мне, что такую, как она, встретил.

Я ведь ее с мальчонкой взял. Как раз когда уволился и в Москву возвращался, увидел их. Красивая она была! Это передать невозможно. Много около нее нашего брата крутилось. Но уж так она себя поставила: никто ее не то что тронуть, лишнего слова сказать не мог. Отказала она мне поначалу. Я в сердцах рукой махнул и уехал... А сам чувствую: нет, тянет к ней мочи нет. Так она умела в глаза смотреть, скажу тебе, ну не объяснишь словом... Я ночью с поезда сошел и опять к ней. Снял там угол, устроился на станции работать. Так и жил около нее. И никого, смотрю, к себе не подпускает. Только или на дежурстве своем сидит, или с мальчиком возится. И тут мне ее жалко стало. По-хорошему жалко. Прить-то поубавилась, по-человечески на нее и сынишку ее смотреть стал... И вот так это получилось, да... Привык ко мне мальчик. Тянуться стал. Она когда на дежурство в больницу уходила, бабке соседской его оставляла, а он — нет, к дяде Сереже хочу. Так она сама ко мне пришла. Если хотите, говорит, я выйду за вас замуж. Она со мной еще долго на «вы» разговаривала. Я ведь не мужа себе ищу, говорит, а отца Семену. Буду вам верной женой, Сергей Алексеевич, только знайте: любила я отца Семена, и жду его, и забыть не смогу. Так что не обесцудьте. Я ей говорю: что ты, Галочка, не надо, раз такое дело. Уеду я лучше. Может, еще дождешься... И уехал. А в Москве опять себе места не находил. Письма ей писал... Она не отвечала... А потом сама приехала.

Потом, много позже, у нас уже свой сынок родился. Но Семен этот для меня все равно как старший сын, хоть не похож нисколько.

И когда на полигонах да объектах разных жил, очень тосковал по ней. Писала она часто. Очень хорошие письма присылала. И, с одной стороны, радость вроде, а с другой — еще сильнее к теплу ее тянуло... И никогда, сколько ни жили, ни в чем ни словом, ни попреки ее не обидел, хоть знал — не забывает она того, первого своего...

Но и это еще ничего! Все стерпеть можно. А вот когда поставят изделие на старт, все ведь забудешь. Пот твой, ночи невыспанные, скорпионов этих да суету бестолковую — забудешь все. Семью и ту забудешь. Глядишь на нее и только что не крестишься. Лети, мол, родненькая. Только поработай как следует. Уж сколько из-за тебя здесь уродуемся. Сколько от себя отрываем и тебе отдаем. Взлети только... А оно, бывало, шарах!.. И на куски разлетается. И все сначала начинай.

...Я про Главного еще не рассказывал? Вот, скажу тебе, был мужик! Таких только там и увидишь... Главным-то он не сразу стал, конечно, а когда нас в отдельную фирму выделили. Он у Сергея Павловича то ли в замах, то ли в помах ходил. Он его и выдвинул.

Я еще раньше слышал, будто какая-то сволочь над нами жужжит, а мы ее достать не можем. Нет, то еще до Пауэрса было... Зло всех тогда взяло: прямо ведь над головой летает, и ничего с ним не сделаешь! Вот тогда-то и стали организовывать фирмы вроде нашей. И задача была поставлена: создать такие изделия, чтоб сбивали все, что летает. И в самые короткие сроки. Лучшие кадры, лучшее оборудование, любые средства — все туда бросили. Ничего не жалели! А как же иначе? Иначе никак. Тут уж не

до экономии... Лишь бы знать точно, что это изделие любой самолет, который с водородной бомбой на нас летит, наверняка собьет!

Вот такие дела были... Такая, скажу тебе, запарка началась, что не приведи бог еще раз пережить... Мы-то ладно, начальству доставалось, вот кому. Уж сколько их у меня на глазах сменилось — не перечесать... Кто удерживался — тот, глядишь, Генеральным конструктором стал или там академиком. А другие не вытянули... Как тот, Алексей Витальевич, помнишь, рассказывал? Ну вот. Не всякий выдержит, известное дело...

Только такие, как Главный, и устояли. Здоров был, как комод, голова — вот такая, шапки только на заказ шил. Выпить тоже не дурак был, но чтоб себя потерял когда, такого не помню... И чем-то на Сергея Павловича похож был. Подражал ему, вернее.

Этот зря руками не размахивал. Этот как отрубил иной раз, хоть министру, хоть маршалу, да при всех, хоть стой, хоть падай. Я с ним столько лет на полигоне прожил. Так он мне там много чего порассказал.

Работал он после войны на одном авиазаводе. И сконструировал там привод для пулемета, что в хвосте самолета стоит. Раньше туда специально стрелка сажали за турель. А здесь все управление у пилота в кабине. Только следи по радиолокатору за целью и на кнопки нажимай. Поставили этот привод на новый сверхдальний бомбардировщик. Самый первый был, только-только сделали. И тоже в хорошую копеечку обошелся... Дышать на него боялись. Чуть не языком его вылизали весь. Все испытания прошел, все режимы полета отработал. А вот когда стал боевые стрельбы в полете вести, что-то с ним случилось. В штопор сорвался и в землю со всем экипажем. И выпрыгнуть никто не успел. До самой земли все старались его выровнять да посадить...

Стали расследование вести. Высокую комиссию собрали и все бумаги, как положено, все факты и все, что от самолета осталось, собрали. Только что тут скажешь... Каждый выгораживался как мог.

Так и получилось. Когда самолет в штопор сорвался? Во время стрельбы из хвостового пулемета. Ага... Вот тут и копай. Раньше-то, пока не стреляли, все нормально прошло... Так в выводах и записали: вероятной причиной катастрофы, дескать, послужила недостаточная отработка гильзоотвода хвостового пулемета, в результате чего рулевые тяги были заклинены попавшими под них гильзами. И вот такое заключение наверх послали. Оттуда его сразу же вернули. Что, мол, значит «вероятной причиной»? Скажите точно и определено: кто виноват? Тут вся комиссия вразнос пошла. Совесть-то у многих заговорила. Одно дело — самому выкрутиться, а другое дело — своему же товарищу ножку подставить. Уже слово «вероятной» убрали, а подписывать все равно никто не хочет. И так и сяк это дело склоняли... Да и как тут определено скажешь? Главный чувствует — дело керосином запахло. Со всех сторон уже обложили. Только не на того напали... Он письмо написал. Теперь уже на самый верх... Если, мол, виноват, то меня следует расстрелять. Но чтоб с пользой погибнуть, прошу при последующих испытаниях поместить меня в хвосте испытуемых бомбардировщиков без парашюта и с кинокамерой. Чтоб, таким образом, заснять работу привода пулемета и гильзоотвода в полете и тем самым подтвердить или опровергнуть выводы комиссии. И разрешили ему, что ты думаешь... А то уж собрались весь привод снимать и снова туда стрелка сажать. Оставили все как есть.

Раз сорок взлетали и садились. Главный говорил, что половину своего веса он там оставил. Его пленки потом целый месяц анализировали. Приняли самолет. Вместе с приводом. А на прежних выводах комиссии кто-то написать уже успел наискосок резолюцию... Так

эта резолюция, Главный сам видел, была перечеркнута синим карандашом, и синим же было написано: «Дать ему мою премию».

Я к чему все это тебе рассказываю? По телевизору или в газетах только и видишь: космические корабли летают, стыкуются там, исследования всякие проводят. Вроде как ковры-самолеты. И уж на Марс собрались лететь. Вроде как ничего не было — и вдруг все само собой по шучьему велению образовалось. И все идет как по маслу. Верно, как по маслу... Это сейчас как по маслу. Да и то... И заводы — посмотришь: дворцы стоят. Шапка с головы валится, как наверх посмотришь, глазам больно делается, так стеклами отсвечивают. Красота! Только чем выше дом, тем глубже фундамент, верно? Вот, по моему разумению, и во всем так: чтобы выше подняться, глубже копать надо.

Я вот, к примеру, балет не люблю. Не понимаю его по серости своей. А у меня племянница в самом Большом театре танцует. Не заглавные партии, как она говорит, нет. Фей каких-то изображает. На одних пальчиках, как бабочка, порхает. От силы час-полтора всего-то на сцене. Но вот посмотрел я раз, как она работает... Откуда у ней, бедной, мужичьей выносливости только берется, вот что удивительно! До седьмого пота ведь себя гоняет, чтоб часок попорхать потом. Совсем другое отношение у меня к балету после этого появилось. Не понимаю, нет, а вот уважение к ним, к работе их сразу почувствовал.

Вот я и думаю... В любом деле, в любом достижении вся ценность в фундаменте заложена. Когда только узнаешь, почувствуешь, что за фундамент в земле лежит, тогда только и цену поймешь настоящую. И кораблям космическим и всему прочему... Ну летают. Ну будут летать еще дальше и выше. Ко всему привыкнуть можно. А вот ты покажи, коль взялся, все как есть покажи, как до этого космоса одни на кораблях летели, а другие на карачках добирались и чего все это стоило. Да не в деньгах... А в поте и жизнях. И не бойсь. Поймут, увидят, что это за чудо такое! А то — как в сказке... Верно я говорю? И вроде нового ничего не сказал, так? Вроде всем все давным-давно понятно. Так-то так... Сейчас все грамотные...

Ладно, дело прошлое... что уж теперь... Отвлекся опять, вот черт! Ну ты внимания не обращай, ты слушай, что было.

Приехали, значит, и начали свое изделие проверять. Да. И начальство в панику. То то не работает, то то не в допуске, то другое. В дороге, пока трясись, все регулировки и полетели. И вообще. Здесь ослабло, там отошло, а тут не контактит. Машина сложная, капризная, только-только слепили на коленке к какой-то дате... Специалисты эти только плечами жмут. Каждый ведь по своей части. А тут все завязано в один узел. Отчего да почему, сразу и не поймешь. Или, понимаешь, электрика не срабатывает из-за пиротехники или пневматика не фурычит из-за механики. Что делать-то? Хоть назад вези. Или наоборот, весь завод сюда гони. Таких, кто с понятием, ну двое-трое от силы, кто сообразит, где подтянуть, а где ослабить... А что они одни смогут? Изделие-то здоровенное, приборов вон сколько, за всеми не уследишь вдвоем-то... Ладно, говорю, дайте нам его. За сутки в норму приведем. Да вы что, орут, такая ответственность, такой риск, а вы не аттестованы еще, то да се!.. Да понимаем, говорю, и про ответственность и про риск. Только делать что? Звонят на завод. Алексей Витальевич им: Сидоров-то? Этот сделает. На мою ответственность. Заказчики переглядываются. Им что. Ты предъяви им в полной кондиции, а кто и как — им без разницы. Ладно. Делать так делать. Мы с Рыжим больше по электрической части, а Ерфилов с остальными по механике.

Гляжу — за Рыжим-то не утонишься. И там подкрутит и сям, и на прибор прибежит посмотрит, и обрыв найдет, и сам же подпаяет.

Во кадр, думаю. А сам только кряхчу да поддакиваю с умным видом. А он мне еще экзамен устроил. В схему тычет. Как, мол, скажи ему, эту цепь прозвонить? Ведь знает, паразит, только вид делает. Как, говорю, ее прозвонишь, если она разомкнута? Так она ж через реле, говорит, разомкнута. Поддай на обмотку +26 и звони.

Эти, которые с понятием, инженеры-то, посмеиваются, на нас глядя. Поначалу. А потом не до смеху им стало. Сами иной раз обмозговать не успевали, а Рыжий уже все находил, что и как.

Я вообще всегда их и потом сравнивал. Кто лучше. И до сих пор не пойму. Каждый хорош-то. Но все равно что-нибудь да не так. На спор как-то стали мы точить пробки для керосина. Это, если знаешь, по высшему разряду работа. Керосин-то где угодно протечет, верно? Ну вот.

Сашка Горелов самый первый свою пробочку притер. Потом я. А Рыжий самый последний. У Ерфилова через два часа потекло, у меня через четыре. У Горелова и на другой день сухо, хоть белым платочком проверяй. Ну а у Рыжего потекло сразу, как из худого крана.

Ерфилов, смотрю, насупился весь, инструмент швырнул, будто он в чем виноват, и ушел в курилку. А Рыжему хоть бы что. Нужно мне больно, говорит. Я и не хотел. Скучно, мол, пробки эти притирать. Он такой и сейчас остался...

Если что сделать, то лучше Сашки вообще никто не мог. От души работал. Да и Ерфилов тоже. На Степаныча я всегда как на себя. Сашка-то нет-нет да «протечет». Придет на работу, морда красная, глаза бегают, но чем хорош был — всегда признавался. Ты, говорит, Алексеич, мне чего попроси дай. Не в форме я, мол. Завтра все путем будет. А сегодня — извини.

Рыжий любил что поинтересней, где исхитриться как-то надо. Сам, глядя на меня, приспособлений себе наделал, да таких, что Николай Иванович увидел как-то и за голову схватился. Вы что, говорит, ребята? Домушничаете, что ли, в свободное время? Этим же любой замок открыть можно. И ведь как в воду глядел. Но про это потом.

Словом, сделали мы все. Ну не за сутки, конечно, а за неделю. Да. Отработали мы изделие как часы, все только рты разинули. Ну и ну. Ай да Сидоров. Мне, помню, сам маршал руку пожал. А Рыжего заело. Он-то больше всех, конечно, расстарался. И самое ответственное, можно сказать, да тонкое... Что, Алексеич, говорит, теперь неделю руку мыть не будешь? Вот такой, да... Ну а там еще изделие и еще. Вызывает меня начальство. Сергей Алексеевич, говорит, надо. И срочно. Это последнее. Ладно. А потом еще одно... И опять вызывают. И опять последнее. Да вы что? — говорю. Да мы ж отсюда так и не уедем никогда. Как я своим скажу? А кто, спрашивают, кто отработает? Это они меня спрашивают. Ага. Смотрю я на них, и обидно стало, ну хоть плачь. Да не за то, что на нас все ввалили. Это уж как водится... Кто тащит, на того и наваливают. Нет, я о другом подумал. Что ж вы, думаю, вчера еще меня и вдоль и поперек строгали за мою бригаду развалившуюся, один Алексей Витальевич поддерживал, а теперь что? Вроде как ни в чем не бывало? Вроде как так и задумано было?.. Ладно, думаю, что теперь считаться. Делать так делать.

Ничего им не сказал. Махнул рукой и ушел к своим. Так и так, говорю. Выходит, что, кроме нас, некому. Рыжий сразу, конечно, горло драть. Он теперь себя незаменимым считал. Вообще долго я с ним еще мучился...

Попробуй ему, к примеру, не доплати. Что ты! Не приведи бог. У людей как? Ты ладно, мол, кончи дело, потом глотку дери. А этот нет. Чуть что не по его, сразу права качать. Машину бросит раскрытой, инструмент раскидает как попало — и к начальству руками ма-

хоть. С ним у меня как-то уже потом случай такой вышел... Да... Ну ладно, раз уж начал... С этим делом там плохо было. То есть сухой закон в полном смысле. Как-то наши ребята съездили за сотню километров за сайгой. На машине. И привезли под сиденьем пару-другую бутылок... Ну, собрались мы у себя, вроде все свои, да... Сайгачину я запек с горячей картошечкой, с холодку-то вот сели, выпили по-скорому — мало ли кто зайдет... Ну, а как захорошело, разговоры всякие пошли. Это уж как водится. А как стали рассчитывать, этот горлопан опять завелся: а почему столько? Тут я не выдержал. Тем более что давно уже не прикладывался и на хорошем взводе был. Забыл, говорю, за сухим законом, почем она нынче, родимая? И все из-за тебя, охламона. Как так из-за меня? — тарачит. А вот так. Забыл, как из-за тебя изделие вовремя не сдали? А в другой раз чуть пуск не сорвали? А что, говорит, я один, что ли, виноват? Не ты, так другой. Не другой, так третий. Тот гайку недовернул. Тот при пайке соплю посадил. Третий рассчитал чего-то не так. А государству чего прикажешь делать? У него карман-то один. И тот не резиновый. Вот и приходится новые средства вкладывать, никуда не денешься. Чтoб таким, как ты, глотку заткнуть... А где их взять? Может, на молоко цену поднять, на ребятишках отыграться? Ты-то, я знаю, тебе чего... Только рад был бы. Только никто не позволит этого, ясно тебе? От тебя же, черт недоделанный, все зависит. На кого жаловаться-то? Вот так! И лучше молчи! И чтоб я не видел больше, как Сашка за тобой доделывает и убирает! Очень я разгорячился тогда. Не знаю, чего вдруг нашло. Говорю, а сам вроде со стороны себя слушаю, сам себе удивляюсь: ну Сидоров, ну даешь, откуда слова только берутся... Очень злой, помню, был. Тем более что давно не прикладывался. Только толку — чуть. С ним что говори, что не говори... Ухмыляется, рожу корчит и посмеивается: не психуй, Алексеич, прорвемся!

Но это я опять отвлекся. Сказал я это им, значит, а у них челюсти отвалились. Ерфилов Рыжему рот заткнул быстро, а сам головой качает. Что ж ты, бригадир, бригаду свою так подводишь-то? Это ж мы вообще отсюда не выберемся. Так-то ты о нас заботишься?

Ну, у него одна песня. Бригадир, мол, никудышный. Ну что ж, говорю. Пишите заявления. Все по домам... Только потом пусть никто не плачет, если начнется, что опять одной голой ж..., как в сорок первом, танки пугать будем. Ага?

Ерфилов, смотрю, набычился весь, потемнел. А ты что предлагаешь? — говорит. Гробиться здесь? Без крыши, да всухомятку, да без бани, да без сортира? А другие пусть там в свое удовольствие прохлаждаются?

Другие не умеют, чего умеем мы, говорю. Их бы пожалеть, неумех, говорю, а ты завидуешь. А Рыжему, гляжу, больше всех невтерпеж. Он, поди, уже отписал своей очередной: жди, мол, вот-вот буду...

Может, год еще, говорю, а может, больше, кто знает, здесь проторчим.

Так ты ж говорил сам, говорил вчера: последнее отработаем и двинем отсюда с песнями! — Рыжий опять насел. Последняя у попа жена, отвечаю. Не слышал, что еще серия на подходе? Одних телеметрических штук пять... Это начальство, чтоб нас не напугать, по одному добавляет. То это последнее, то следующее... А тебе свое соображение иметь не мешает. Так что вот так. Ну а насчет баньки там или теплого сортира, тут я с вами согласный. На все сто. Вот и давайте. Сделаем себе и баньку и сортир.

Чего-чего? — Рыжий аж привстал. Того, говорю, домик себе построим. С отоплением, с душем, со всеми делами. Да ты что? — Пан-

кратов, кажется, теперь встрял. Хочешь, чтоб нас совсем здесь закопали? Да нам тогда каждый скажет: вот и оставайтесь, раз уж корни тут пустили. Вот тогда заявления и напишем, говорю, я первый и напишу. Понял? Только никто нас держать здесь не будет. Опять же, кто на смену придет, рваться так отсюда не будут, дадут нам дома побыть. И еще спасибо за домик скажут. Ну? Вопросы есть? А почему мы? — опять Панкратов спрашивает. Вон тут строителей сколько. Начальству-то уже построили целый коттедж. Почему все мы да мы? А кто, спрашиваю? Удивляешь ты меня не знаю как. Добро бы этот молодой глупые вопросы задавал, а ты ж самостоятельный рабочий человек. Кто сделает-то? Чужой дядя? А ты знаешь, кто этот чужой дядя? Ты. И Степаныч. И я. Ну, Рыжий еще не вполне. Это другие на тебя надеются, а нам с тобой надеяться уже не на кого. Мы не сделаем — никто не сделает.

Ерфилов рукой махнул. Ладно, говорит, хватит пустоболить... Завтра и начнем. После работы. А в выходные? — Рыжий подскочил. Опять без выходных? Там поглядим, говорю, насчет материалу бы еще договориться... Думаю, не откажут, раз уж остаемся. И хватит, говорю, на сегодня. У меня от начальства башка трещит, а тут еще с вами...

Домик мы этот отмахали будь здоров. И сейчас стоит. Кого хочешь спроси там про домик Сидорова. Улицу, номер не знают, а домик наш знают. Ну да, там теперь улица целая. Другие фирмы-то, на нас глядя, тоже строиться стали. И получше и повыше, а все ж мы первые...

И готовил я на всех. Кастрюль закупил, сковородок. Я и дома любил скотлить. Жена, правда, обижалась. Ей тоже иной раз хотелось нас чем побаловать... Вот. А жили мы там колхозом. То есть деньги там, продукты — все в общий котел. Ну и другие тоже, на нас глядя, стали организовываться. И в каждом колхозе хоть один такой вот вроде меня кормилец был. Бывало, друг у друга кормильцев сманивали. А ушел кормилец — все, развалился колхоз, ешь всухомятку. К нам так Ермоленко потом пристроился. Сам спросился. Возьми, говорит, Алексеич, язва у меня да гастрит с колитом. Только у тебя в гостях и отхожу. Он-то с нашего завода был, с другого цеха. Взял я его. Что ж... Мужик толковый, работающий, хоть и электрик, слова о нем плохого не слышал. А вообще-то просились многие. Наслышались про наши заработки. Но больше я — никого. Ни-ни. Мне со своими бы разобраться. А лишних я вообще терпеть не могу. И Главный тоже, это когда нас в его фирму перевели, к нам зачастил. А поесть он любил. Не то слово. Потом уж вообще заказывать стал. Провел к нам в домик телефон и чуть что — звонит: Алексеич, как там насчет пообедать? Ага. Бывало, с утра отправишь всех на техничку, сам у плиты в переднике, кастрюли кипят, сковородки скворчат, а тут опять звонок. Главный орет: ты почему там, почему не на месте, без тебя тут все стоит, работать никто не может, безрукие они все у тебя!.. Так я ж обед, говорю, готовлю. Какой обед! Чтоб здесь был! Машину высылаю! Все! И трубку бросит. Что тут поделаешь? Огонь загасишь и в машину. За борщ свой любимый он еще простит, а за изделие такого леща выдаст, что лучше не вспоминать...

А и то сказать: подобрел он, ребята говорили, как я его домашними обедами стал кормить, совсем другой человек стал.

И сколько раз так бывало. Ночь просидишь в отсеке, провозишься, а утром опять домой. На всех готовить. Не успеешь закончить, а за мной машина. Давай-давай, орут, ждем тебя! И обратно на техничку везут.

Очумел я совсем от такой жизни. А Главный — ничего, ничего, говорит, я, говорит, Алексеич, скорей весь полигон разгоню, а тебя не отпущу. Хоть тут разорвись...

Но это я опять забегаяю. Только мы, значит, домик отстроили, а к нам смена едет. Ага. Мы и пожить-то не успели, обновить то есть. Даже обидно стало. Но ничего. Домой все же. Приезжаем. Денег — вот по такой пачке отвалили. За что про что — вообще непонятно. Аж в глазах потемнело.

Рыжий сдуру на такси в Ленинград поехал. А как дело было? Ехал-то он к поезду, да опоздал. Ночь где-то всю гудел, а наутро чуть очухался. Поезд ушел, а он сидит в такси, в тепле, музыка играет, а на улице дождь, а рядом Нинка его, а под сердцем пачка греет... Гони, говорит, товарищ водитель, в северную Пальмиру. Плачу! Тот смотрит на него: ну ты, мол, сопляк, то да се... вылазь да расплачивайся. А как Рыжий пачку показал, так враз скорость врубил. Месяц целый, Рыжий говорил, там мотался, но только полпачки и истратил. Чуть не плакал, говорит. В рестораны его ленинградские не пускали, пока Нинка его в универмаг не загнала и не приодела по-человечески. Да и потом вообще-то не очень пускали. Ему ведь капли достаточно, чтоб окосеть. Это он для виду кричит много, что, мол, сухой закон его замучил, а пил-то не больше наперстка. И то еще убежит на двор, а потом весь зеленый, с глазами выпученными является. А потом как понюхает, так опять бежит...

Я вот тоже: домой приехал, а что делать с деньгами — не знаю. И вот, как Рыжий, чувствую — не истрочу пока, не успокоюсь. Молодой еще был, известное дело... Ну, пошли все четверо в магазин. Всего набрали, еле дотащили. А зудит все одно. В Сочи едем, говорю. Жена говорит: может, не надо, Сережа? Я и то смотрю — что-то больно тихая она да бледная стала. Ты что, говорю, как не надо, да ты на себя посмотри, измоталась вся. Поедем, в море искупаемся, винограду поедем, ну! И пацаны в один голос: на море, на море... Поехали в Сочи. Тогда там посвободнее было. Сняли пару комнат. Купаемся, загораем, фрукты едим, в ресторанах кушаем. Люди и то косятся. Работяга вроде, а хуже нэпмана. А мне, главное, истратить их поскорее, прямо пальцы жгут, будто чужие. Только наблюдаю — Галя моя все в тени держится. И вообще бледенькая какая-то. Сводил ее к врачам. Силой пришлось. Те переглядываются. Ее бы, говорят, в Кисловодск куда-нибудь... Ладно. Едем в Кисловодск. Там она повеселела вроде, но, в общем, все то же. Ну, думаю, в Москву приедем — всех профессоров пройдем.

А в Москве телеграмма ждет. Опять давай-давай... Мне бы задержаться тогда хоть на недельку. Самому к врачам сводить. До сих вот, кажется, что если сам сводил бы ее — все по-другому обернулось бы...

Я вот все думаю... Только и слышишь: вот у них там порядок, организованность, вот они там работающие. Не то что мы, лопухие. Непонятно только, как у нас вообще что-то есть. Возьми вот Рыжего. Ему бы с его руками да головой эту самую ихнюю организованность — цены бы не было! А с другой стороны — может, он работал бы тогда не так, по-другому? Скучную работу он не терпел. Ему б что-нибудь такое, чтоб под лопатками чесалось. Поехали мы как-то отрабатывать стыковку изделия со стартом. Гнали нас в хвост и в гриву. Мол, там все готово, а вы тут колупаетесь. Приехали, помню, под майские праздники. Сначала самолетом, а потом вертолетом. Чуть живые добрались. А нас там и не ждут. Их самих тут тоже — давай-давай, изделие везут, давно уже готовое, а вы тут колупаетесь, ничего не готово... Ну, как обычно.

Ладно. Пока начальство отношения выясняло, мы мало-помалу огляделись. Смотрю, а Рыжий уже какую-то патлатую обнюхивает. Вот кто на баб легкую руку имел! Жалели они его, черта, что ли... Куда ни приедем, пока туда-сюда, не успеешь повернуться, а у него уже все поварихи да официантки из офицерской столовой да продавщицы военторговские знакомые.

Отпустил ее и к нам на доклад. Мол, и здесь мужики маются. Сухой закон, никуда не денешься. А так — прямо сейчас в офицерскую столовую. А уж там чем бог послал. Легко сказать, если после самолетов с вертолетами желудок наизнанку выворачивается... Послонялись чуток, делать нечего, пошли. Приходим, и точно — рассталась та патлатая. Сначала мы помялись маленько, а потом ничего, чуть живые из-за столов вылезли. Начальство наше навстречу злое, голодное, а мы в зубах ковыряем. Где ходите? — орет. Давай, Сидоров, на совещание к командиру! Ну, пошел. А о чем совещаться-то? Старт-то не готов. Мы-то работать прилетели, а не совещаться. Приходим. Ну, а там как обычно. Сыр-бор. Все друг на друга валят. Никому неохота праздники на площадке встречать. Командир-кавказец ладонью рубанул: короче. Шахта есть, начинки нет. К празднику успеем? Штатский, главный, видно, стал пальцы загнать. Нам бы то, нам бы другое, нам бы пятое, нам бы десятое... Командир усмехается в усы. Застраховаться, говорит, хочешь, если не выйдет? Где ж я тебе сейчас возьму еще один трубоукладчик? Скажи спасибо, что я тут в радиусе тридцати километров сухой закон пробил... А людей где возьму? Вот, на нас кивает, если товарищи с завода помогут, а так только солдат дать могу. Хоть целый батальон. Я и рта раскрыть не успел, а мой начальник вперед высунулся: конечно, поможем! Он поможет... Ладно. Первый день ствол в шахту ставили. А мы больше кабелями занимались да трубопроводами. Начальство повеселело, глядя на нашу ударную работу. Глядишь, и успеем. На другой день до обеда готовились платформу ставить. Поехали на обед. Гляжу, а где Рыжий? А он остался, Горелов говорит, а сам в сторону косит, не хочет ехать. Ладно. Приезжаем после обеда — что за черт! Где тракторист? Ни тракториста, ни Рыжего не видно. Пока туда-сюда, а часовой на лес показывает. Вон туда вроде пошли. Сказали, скоро будут. До ночи ждали. Начальство на себе волосы рвет. Без тракториста платформу не подвезешь. Только спать собрались — и вдруг являются. Оба чуть живые — полдня по лесу блукали, пока нас нашли. Они, видишь ли, в селпо ближайшее бегали. Ну, там им три бутылки из подсобки и отсчитали. Прораб эти бутылки об пень. Все три. Аж под сердцем екнуло. И орет: так, мол, и так и к чертовой матери с площадки! Обоих! Завтра же. Рыжий, гляжу, побелел весь. На меня, как на икону, смотрит. Уж сколько раз его, черта, выручал, привык, нахалюга! И тракторист, гляжу, дрожит, глазами хлопает. Сами-то, правда, трезвые. Мы рукой махнули и спать легли. Утром встаем, а Рыжий, гляжу, не шевельнется. Я его толкаю: вставай, обормот. А он как мертвый. И трясем его и усаживаем, а он мычит, головой только мотает и снова падает. А уже вертолет, слышно, стрекочет. На нем было велено Рыжего нашего с оказией отправить. Так сонного и загрузили. Смотрю — и тракториста этого в той же кондиции волокут. Что за черт! Всю ночь, что ли, пили? Вроде не пахнет. Приезжаем на площадку, а там вообще все непонятно. Все только руками разводят. Платформа-то стоит. В лучшем виде. Кто? Как? Только эти двое. Больше никому. И прожектор сами включили и кран подъемный, и трубоукладчиком платформу подтаскивали...

Двое? Никто не ведет. Тут десяток за день не управится со всей техникой. А кто позволил? Кто энергию подал? Смотрят, а дежурный электрик на подстанции спит. И водкой от него несет. Где они эту бутылку припрятали — ума не приложу. Электрика к чертовой матери... Но платформа-то стоит! Все глазам своим не верят. Хоть сейчас изделие ставь и стыкуй. Начальник мой сзади за локоть щиплет: неужели твой Пономарев, а? Как это он сумел? Кто ж еще, говорю, не сама же платформа туда влезла... Вот так, а говорите... Самый ценный наш кадр. Как я теперь без него справлюсь, ума не приложу. А сам на командира поглядываю. Тот услышал, обернулся, гро-

зно так глянул через брови свои кавказские, потом улыбнулся, пальцем погрозил. Вы мне бросьте, говорит, справитесь и без него. Чтоб к обеду изделие стояло. А этого пьянчугу вашего на пушечный выстрел сюда не подпущу! Да хоть бы пьянчуга был, говорю, а то видимость одна... Пробку понюхает — и готов...

А тут эту продавщицу сельповскую доставили. Боевая баба! Ей что генерал, что ефрейтор. Сразу заладила: у вас план и у меня план. Кой месяц без прогрессивки сижу. А как услышала его кавказский говор, враз язык прикусила. Он сказал как отрубил. Еще раз случится такое — к чертовой матери сельпо со всем содержимым снесу. Но потом он ничего, отошел... Больше нас не поминал. Все мы сделали в лучшем виде. И поставили, и подстыковали, и проверили. А когда ведомость составляли премиальную — я сам проследил, — Рыжего тоже не обидели. Какие могут быть обиды, если к празднику и отпрапортовали.

И все равно ведь доигрался! Рыжий-то. Уж сколько говорилось ему: берись за ум, берись за ум! Уж сколько я его, паразита, выручал. Одних телег на него больше пришло, чем на всех остальных. Там-то режим строгий. А ему хоть бы что. А работал как? Никакой серьезности. И балаболит, и балаболит! И зубы скалит, и других цепляет. Степаныча, правда, побаивался. Того не очень-то разыграешь. У него рука тяжелая. Это Сашка все стерпит... Вот и приходится за ним доглядывать, как бы чего не пропустил. А он еще обижается... И ведь так и вышло, ведь как чувствовал! Изделие отработывали экспериментальное. Ох и здоровенное! Ангар для него специальный из Москвы доставили. С хитрым замком, с сигнализацией. Такой замок, говорят, что диверсантам не позавидуешь. Ну нам это без разницы. Замок и замок. Раз закрывается, значит, и открыть можно. Проверяем мы изделие, все путем, все в норме, вдруг один параметр не в допуске. Чуть не самый последний. Смотрим и так и этак. Николай Иванович по схемам покопался, говорит, что микромодуль какой-то не в режиме. А сам этот блок безразборный, ремонтировать нельзя, только заменить его весь.

Заказчики руками разводят: меняйте, мол. Легко сказать. Через неделю если только. Пока из Москвы пришлют. А им что? Это у нас конец квартала, у нас план этим изделием закрывается. Что делать, а? Рыжий, смотрю, загорелся. Вы, говорит, прикройте меня от них получше. А я попробую микромодуль прямо в блоке заменить не разбирая. Николай Иванович головой только покачал. Авантюризм, мол.

И сделал ведь, черт рыжий, что ты думаешь! Сам блок он не разбирал, только болты отвернул и из отсека чуть вытащил. Мы его окружили. Усердие изображаем. А заказчики тоже вид делают, что ничего не видят.

Так Рыжий — подумать только! — с другой стороны платы все двенадцать ножек у микросхемы выпаял, а потом отмычками своими, как Николай Иванович скажет, сбоку через дырку в плате вытащил. И через нее же другую просунул, поерзал ею по плате вверх-вниз, пока ножки в дырочки свои не вошли. И запаял. Все двенадцать. Вот так. Знай наших. А то — нельзя. Кто не может, тому и нельзя. Николай Иванович руками только развел. Ай да Виктор! Он один его по имени звал. Зовет заказчиков. Давайте, говорит, еще раз проверим. По-моему, мы на приборе ноль не выставили. А сам улыбается хитро и на них смотрит. А те с серьезным видом кивают: да, мол, конечно, давайте перепроверим.

Ноль выставили, дали команду — стрелка стоит как влитая, прямо в номинале, не колыхнется. Николай Иванович говорит тогда: может, на другом стенде проверим, мало ли... Нет, нет, говорят, этот стенд проверенный, не надо. А друг на друга и не смотрят. И хоть бы улыбнулся кто. Расписались в журнале и ходу из технички.

Николай Иванович говорит: вот так, мол, учитесь, ребята, все видеть, но не все замечать.

То есть изделие сдали заказчикам все честью по чести. Тридцать первого числа. Начальство нам на радостях сэкономленный спирт выделило... Ты только не подумай, чего доброго, что мы его там канистрами сэкономили. Нам в год раз присылали строго по норме для промывки контактов.

Ребята, бывало, контакты протирают и смеются: не много ли чести, чтоб каждый вот так тереть? Может, лучше самому стакан принять, потом дохнуть на все разом — и хорошо, пусть просыхают.

А так — сухой закон, по всей строгости. Ну вот. Рыбки наловили, почистили, пожарили. Сайгачью ногу я в золе запек. Все в лучшем виде. Все довольны. Да... особенно Витька Рыжий расчувствовался. Ты, говорит, как отец нам родной и как мамаша вроде. Я только тебя и Николая Ивановича здесь уважаю. И целоваться полез. А под конец, когда уже расходиться стали, на рыбалку, помню, собиравшись, подходит ко мне опять, глаза в сторону, то да се, бормочет... а что, мол, к примеру, будет, если в изделие посторонний предмет попадет? Я сразу почуял недоброе. Говори, черт рыжий, трясу его, чего натворил? Сознался наконец. Как родному одному тебе скажу, вздыхает. Ключ он семнадцать на двадцать два в приборном отсеке оставил. Накинул он этот ключ на гайку снизу, когда блок на место ставил, чтоб другим ключом сверху затянуть, да так и забыл его там. Только когда уже весь инструмент собрал, хватился. А изделие уже проверили, опломбировали и прокрутить успели на наличие посторонних предметов. Так ключ и не звякнул. И ведь сколько народу, и заказчики эти, носы в этот отсек совали! И хоть бы кто заметил. Рыжий-то язык и прикусил. Попадет ведь, если скажешь. А так не скажи, и не узнает никто. От изделия-то потом и винтика не сыщешь...

Я как услышал про такое дело, чуть голоса не лишился. Да ты не переживай, Алексейч, это он меня утешает, все нормально будет. Его там будь здоров как затянуло.

О чем, скажи, с дураком говорить? Уж, кажется, сам понимать должен. Ведь как начнутся эти вибрации да перегрузки, как начнет этот ключ электронику молотить... А с другой стороны, что делать-то? Это еще хорошо, что сказал... Что всем нагорит, это еще ладно. И что целому заводу квартал не зачтут и тысячи людей без премии останутся — это полбеды. А вот что пуск сорвем — это да. Бывало такое. Не часто, но бывало. Пуск такого-то числа, в такое-то время. И точка. И попробуй не уложись. Что, почему — не важно, не нашего ума дело. И чтоб из-за какого-то разгильдяя все сорвалось! Вот так стою и думаю: а сам-то, сам куда глядел? И что теперь делать, ума не приложу! Время позднее, изделие опечатано и под охрану сдано. Не станешь же часовому втолковывать что да почему. Хоть сам туда лезь. А только и остается что на преступление идти. Пулю схватишь — туда тебе и дорога, будешь знать, как разгильдяя покрывать!

Я Витьке говорю: молчи, мол. Никому ни слова. А сам на технику побежал, в караул. Прибегаю, а там начальником капитан знакомый. Да я их, считай, всех там знал. И меня знали. А с этим я вообще вместе воевал, в одной дивизии. Я в разведке, а он в артиллерии. Рассказал я ему все начистоту. Как хочешь, говорю, а к изделию меня допусти. Я только ключ этот, будь он неладен, на глазах твоих вытащу — и все нормально будет.

А ему вот-вот на пенсию идти. Ему только таких вот приключений не хватает. Косится на меня подозрительно и к запахам моим банкетным принохивается. И головой качает. Нет, Серега, вздыхает, и не проси. Ничем тебе не могу помочь. Часовые знаешь какой ин-

структаж получили? До утра никого к ангару с изделием не подпускать. Кто бы ни был. И вообще — действовать без лишних предупреждений. Вот как. Изделие-то тебе лучше знать какое. У меня там сейчас Хабибулин стоит, а сменят его Шарипов и Нечипоренко. Эти инструктаж слово в слово выполняют. Я и сам туда лишний раз сходить боюсь. Так что иди спать, говорит, утром голова свежее будет, разберетесь. И замолк. Он всегда такой был. Пока слово вытянешь — сам упаришься. Да нельзя до утра, горячусь, — утром пуск назначен. А ему хоть бы что. Ему хоть лоб расшиби, он свое твердить будет: хочешь обижайся, хочешь нет, а не могу. Устав есть устав. Махнул я на него рукой. Артиллерия, одним словом, говорю, на все точные целеуказания нужны. Никакой инициативы. Здорово меня, помню, разозлила эта его непробиваемость. Ладно, про себя думаю, сам справлюсь. На фронте еще не такое бывало... Ну, до свидания, прощаюсь, пойду спать, раз такое дело. Вот-вот, кивает, только не обижайся. Какие могут быть обиды...

Из караульного, помню, вышел, прожектора вовсю светят, у часовых под сапогами камешки хрустят. А я — раз, пока никто не видит, под проволоку и к ангару пополз. Под парами еще был, известное дело. Только чем дальше ползу, тем больше с меня этот хмель сходит. И уж клянусь себя и в бога и в мать. Куда лезу, а? Да на черта мне это нужно было! Да пропади она пропадом, ихняя премия!.. Хорошо бы работали — без премии бы не сидели!.. А врежет сейчас Хабибулин из «калашникова» и в отпуск на родину поедет за хорошую службу. И уже, смотрю, что назад поворачивать, что вперед ползти — один черт! И так всю дорогу — плачу, а лезу... А тут вдруг прожектора погасли. Ползу дальше. Дополз кое-как. Замок этот — плевое дело. Отмычки свои, как Николай Иванович говорит, достал и открыл. Залез в этот ангар. В темноте, на ощупь брезент откинул, изделие вскрыл, люк снял и только тогда спичкой вовнутрь посветил. Увидел этот ключ треклятый, сверху его и вправду не сразу заметишь... А уж светать стало, я заторопился и звякнул, когда вытаскивать стал. Минут десять лежал, дыхнуть боялся. Потом загерметизировал все как положено, залючил, пломбу заказчика на место приладил — все как было. И, чувствую, сил уж никаких нет. Залез под ступень, брезентом другим накрылся — и меня нет. Вмиг заснул. А днем меня подняли. Что, мол, за дела? Как вы сюда попали? Так и так, говорю. Сам, мол, по своей воле. Смотрю, и бригада моя вокруг собралась, глаза на меня таращит. А изделия нет. Не слышал даже, как вывезли. Да ты как сюда попал? — тоже изумляются. Мы ж тебя обыскались! А у Рыжего, гляжу, морда, как самовар, сияет. Алексеич, орет, да ты ж все проспал! Пуск-то уже был! И все в лучшем виде прошло. Я ж говорил, что все нормально будет, а ты чего каркал? Такую красотищу проспал, эх ты! Разоряется. И рассказывает мне, чего видел: вначале, знаешь, будто звезда падать стала, а потом будто солнце вспыхнуло. И нет звезды. А мы как раз уху пробовали из судаков. А мне, спрашиваю, ухи-то не оставили? Да какой там! — машет. Ты что... день уж прошел. Но мы завтра еще сходим. Ты только смотри не проспай, и по плечу меня хлопает.

Значит, интересно было поглядеть? — допытываюсь. А он, сукин сын, еще скалится. Такого в кино, говорит, не увидишь. Я было развернулся, да ребята меня за руку схватили. За что, мол, ты его так? А за то, что ухи мне не оставил, говорю. И ключ этот из кармана выхватываю. Сейчас, сейчас, приговариваю, сейчас тебе еще не такие звезды привидятся! Ребята меня опять схватили, да ты что, в самом деле, говорят, на него-то накинулся? А он ключ свой увидел, рот разинул — и ни с места. Я было замахнулся, потом бросил ключ на пол, сплюнул и прочь пошел. А он за мной сразу побежал. Алексеич, только не гони, ноет, лучше дай как следует, только из брига-

ды не гони. А я только твержу: уйди, мол, по-хорошему, уйди от греха...

Я в курилке посидел чуток, в себя пришел и снова в караул направился к тому капитану. А он на меня глядеть не хочет. Слышь, говорю, покажи ты мне этого самого Хабибулина. Охота мне на него взглянуть. А вон, говорит, видишь, у окна чернявый такой, автомат чистит? Теперь видел? Скажи спасибо, что он тебя не видел. Мне спасибо скажи!.. И нечего на меня тут глаза пялить! — орет. Я ж как знал, как толкнул меня кто! Минуты не прошло, за тобой вышел. Гляжу — точно: ползет разведка, инициативу проявляет! Лысина под прожекторами, как луна, сияет, а ректификатом вообще за километр несет. И орать уже нельзя, и назад тебя тащить поздно, сам еще под пулю попадешь. Счастье, что сигнализацию да прожектора отключить успел. Хорошо, он еще там, за ангаром, шел... Я к нему, туда кругом обежал и минут сорок у него противопожарное оборудование проверил, пока ты там скребся... А сам злой еще дальше некуда. Иди отсюда, говорит, по-хорошему. Я, понятное дело, только руками развел. Что тут скажешь... Ему, оказывается, уже приказано было караул сдать и под домашний арест до выяснения. И меня потом куда надо вызвали. Пиши, говорят, объяснение. Написал все как есть. И сразу к Сергею Павловичу кинулся. Он все бросил и прямо к начальнику гарнизона поехал. Еле отстоял капитана, а то уж совсем трибуналом запахло. А Витюля наш только на вторые сутки заявился. Где он шляется — черт его знает! Отощал, гляжу. Бумажку мне сует какую-то мягкую. А там заявление — по собственному, мол, желанию. Держать-то я вообще никого не держу. Не в моих правилах. А тут озлился. Ты, говорю, мне сначала весь инструмент сдай как положено и халат. А пока не сдашь, я с бумажкой твоей знаешь куда схожу? Тащит инструмент. А там одного ключа не хватает. Того самого. Где, спрашиваю, опять, что ли, в космос наладил? Молчит, мнется и глазки опустил. Потом, гляжу, из кармана достает. Он, видишь ли, хотел его себе на память оставить. Ну, тут я вообще из себя вышел. Чуть на месте его не пришиб. А ну положи на место, ору, и почистить мне его весь как положено! И халат мне накрахмаль, чтоб стойма стоял! Он как пуля выскочил. Да... Считай, лет двадцать прошло, даже больше, а до сих пор вот как вспомнишь, так вздрогнешь. Хоть на войне и похлеще бывало.

Ну а потом... лучше уж не вспоминать... Третий месяц, помню, сидели мы там безвылазно. Изделие за изделием. Но все вроде гладко проходили. Надежные, как часы. Научились, ничего не скажешь...

И вот сижу как-то у стенда, тумблерами щелкаю. Все в норме, все в допуске. И вдруг орут: Сидоров, телеграмма! Какая еще телеграмма, думаю, тут оторваться нельзя, совмещенная проверка все же и заказчик тут же, не отойдешь. Потом скажет: все сначала проверь. Опять орут: Сидоров! Отвяжись, кричу, пока не кончу, не отойду.

А ко мне сам Главный идет с той телеграммой. Сергей Алексеевич, говорит, ты оторвись, прочти... И кому-то рядом вполголоса: а ну быстро мою машину. Не помню уж, как меня в эту машину усадили. И на аэродром. Что ж ты, Галя, думаю, хоть бы дождалась. Продержись, мне только бы успеть. А смерти я тебя не отдам. Приезжаем, а самолет на Москву уже улетел. Следующий только утром. Поедем, говорят, ночь переспать, утром привезем. Я им не помню что ответил. Может, и ничего. Иду, ничего не вижу. Лишь бы подальше от всех. Сел на какой-то бугорок. Ночь всю просидел. Звезды, помню, здоровенные, как осветительные ракеты. Даже шипели будто. А так тихо было, без ветерка. Только под утро теплым дыхнуло в лицо... А может, показалось.

В Москву прилетел, да уж поздно... Той же ночью и умерла.

Что делать? как жить? — ничего не знаю... Что ж, думаю, такое, а? Ведь за пять минут мог бы долететь, ну за десять! На этих своих изделиях, будь они трижды прокляты! Для чего я их сделал столько? Ведь не к человеку чтобы прилететь да спасти, а наоборот совсем, так ведь выходит? А пропади они пропадом! Сколько ж можно... Жизнь-то, считай, твоя кончилась. Вон сыны без матери остались. Без отца росли, а без нее теперь остались. Нет, думаю, хорош. Ужели не заслужил? Смерть ведь как змея! Прячется до поры, будто и нет ее вовсе, чтоб вообще про нее забыли. А потом как ужалит! И не понять, для чего жил, даже подумать не успеешь. Назад уже лечу, а себе одно твержу: хватит! Как заведенный... Прилетаю и к Главному с заявлением. Главный ко мне выбежал, обе руки тянет. Что ж ты мне раньше ничего не сказал? Что ж ты молчал? Да я б в Москве всю медицину на ноги поднял!

Молчал... Если я сам от нее слова добиться не мог. Все хорошо, говорит, даже лучше, устала просто. А мне и приглядеться некогда. Туда-сюда и назад лечу...

Вы, говорю, заявление лучше прочтите. Читает, гляжу, хмурится. А ребята, говорит, твои как же? Это про которых спрашиваете, голос повышаю, про тех, с кем я, как нянька, здесь столько лет возился, или про тех, кто сейчас одни дома, без отца и без матери, у соседок живут?

И про тех, отвечает, и про других. Мне б твои заботы... У меня даже таких вот нет... Вот что, Алексеич, вези-ка ты сюда своих пацанов. В лучшем виде устроим. Вырастим. выучим, а? Теперь-то здесь жить можно. Вон молодые-то лейтенанты как расплодись, видал? А бригаду свою не бросай. Ты за них тоже отвечаешь. Уж коль собрал их да столько лет здесь продержал... Тем более сейчас. Вовремя, понимаешь, ты вернулся. Уж хотели тебе телеграмму давать. Изделие одно нужно отработать. Очень срочно. А они все срочные, говорю, не помню, чтоб не срочные были.

А это самое срочное! — кричит, а сам кровью налился, набычился. Вот и возитесь с ним сами, я тоже на крик перешел, а с меня хватит. Дезертировать вздумал! — орет и кулаком по столу. А это как хотите, говорю, всё, будет... Укатали сивку крутые горки. Ну и... катись к такой-то матери, орет, давай, где твоя писулька?! Схватил заявление, расписался, а у самого пальцы дрожат, и мне швырнул. Спасибо и на том, говорю. И к дверям. А ну давай его назад! Я там дату не поставил... Ты ж две недели должен отработать? Ну вот. А я еще на две недели вперед дату поставлю. Понял?

Тут Николай Иванович заглянул. Что, мол, за крик? А вот, Главный говорит, любуйся, бежать от нас вздумал. И в такой момент! Николай Иванович головой покачал, вернул мне заявление, молчит, на меня смотрит. Вас можно понять, говорит, такое горе. Даже не знаю, что и посоветовать... Но, может, действительно лучше, чем мы, никто вас не поймет и не разделит ваши переживания. Ведь вас здесь все знают и любят. Что вы будете делать сейчас в Москве? Сыновей ваших мы срочно переправим сюда. Понимаете? Вам сейчас надо быть среди близких людей, забыться в работе, не знаю, что вам еще сказать.

Главный говорит: да все верно, Николаша, ты сказал. И за плечи меня обнял. Уж я-то, Серега, тебя как родного люблю. Ты уж не обращай внимания, что я тут орал. Обидно за тебя стало и страшно. Ну куда ты сейчас пошел бы? Куда ты без нас? Сядь лучше, успокойся... Нужно это, понимаешь? Как никогда. Сергей Павлович из Москвы звонил. Через сутки сам будет. И чтоб все готово было. В Кремле, говорит, спать не будут. А дел невпроворот... Дайте ему очухаться, Николай Иванович усмехается, — что вы его сразу в оборот взяли? Да погоди ты, не мешай! — Главный вскипел. Тебя вообще

кто сюда звал? И опять за меня взялся. Перестроить, понимаешь, надо успеть гировертикали и гиروهоризонты. Магнитные усилители и электронные. Всю схему опять переделали. Блок радиокоррекции еще бы перестроить... Что еще? — у Николая Ивановича спрашивает. А я уж и не слушаю. Что они мне там говорили — не знаю. Такое нашло... Выходит, никуда не денешься. Делайте, думаю, со мной что хотите. Раз уж попал сюда, так что теперь... А Главный мне все талдычит про изгибные колебания да про белые шумы... Хватит, говорю, уговаривать-то. Кого хочешь ведь уговорите... Сделаем, раз надо. Но потом все. Распрощаемся. А потом все, Главный говорит, потом, может, и я заявление напишу. Старушку себе подыщу, прямо с внуками чтоб была.

Оказывается, два пуска сорвалось. Из-за контура стабилизации, как я понял. Крутило изделие на старте, и вообще не туда летело. Пока умные головы не додумались про эти самые белые шумы в электронных усилителях. Тогда еще лампы стояли... А Главный за бортовую аппаратуру отвечал. На него и навалились. Его Сергей Павлович сам отстоял и на академиков своих нажал, да так, что они всю эту науку про белые шумы выдали... И еще на своей машине смоделировали и проиграли.

Собрал я к вечеру бригаду возле изделия. Ребята на меня во все глаза смотрят, будто видят впервые. Николай Иванович им опять про то же толковать стал, да Главный его сразу остановил. Некогда, говорит, ликбезом заниматься, нечего им мозги засорять. Алексеич со своими орлами все сделает как надо. Верно я говорю? И по плечу его хлопнул. Николай Иванович даже заикаться стал. А я считаю, говорит, что человек лучше справляется со своей работой, когда работает сознательно, зная цель своей работы. Главный усмехнулся. Ты считаешь... А я знаю! Что каждый должен знать до тонкостей свой участок и не соваться в чужие дела. И хватит об этом. Пока я здесь командую, будет так, как я считаю, понял? И вообще, Николай Иванович, поезжай к себе в гостиницу. Поезжай... Отдохни. Ты нам завтра будешь нужен с ясной головой и не такой дерганый. Ясно? А то у меня сейчас с ребятами предстоит крутой, мужицкий разговор. Не для твоих ушей. Завтра в семь ноль-ноль чтобы был здесь. Все, разговор с тобой закончен. А мы отсюда уйдем, только когда сделаем, ясно?

И к нам повернулся. Что, мужики, не нравится? — спрашивает. Еще хуже не понравится, это я обещаю... А сам будто от удовольствия руки потирает. Кровью харкать будем, а не уйдем. И смотрит так, как только смотреть умел, когда в кураже был. Потому что все, дальше уже некуда нам с вами отступать. И всех нас к чертовой матери разогнать надо! Не умеем работать — вот что я вам скажу. Тут Рыжий, как всегда, в бутылку полез. А мы при чем? — спрашивает. Конструктора напутают, а мы за них расхлебывай? И другие загомонили, как, мол, так, всегда все делали как надо. А Главный еще хлеще. Дерьмо вы, а не слесаря. Халтурщики. За что вам только деньги платят! И еще по-матерному добавил. Да я бы, говорит, разогнал вас давно, безрукие! Тут уж и меня заело. Тоже, помню, раскричался, руками махать стал. Потом плюнул и к выходу повернулся. И ребята за мной.

А Главный как гаркнет: стоп! Я еще никого не отпускал! Ты что, Алексеич, на фронте тоже, если ротный матюкнет, из окопов уходил, а? А ну кто мне скажет, почему мы немца победили? Ну-ка ты, Пономарев, у тебя глотка самая луженая, скажи, почему мы Гитлера раздолбили? Рыжий почесался, на меня смотрит. И замямлил: ну, да ну, да это, да еще это... Верно, Главный говорит, как с трибуны, по-писаному выступаешь. А кто еще скажет? Ну-ка, ну-ка? Кто еще мне одну главную причину назовет? Молчите? Тогда сам скажу. Разозлились мы, русские, очень. Да не на немца... На него чего злить-

ся. На себя! Французы и англичане на Гитлера очень злы были, да что толку. На себя мы разозлились, вот в чем дело. Верно я говорю? Алексеич, верно я говорю? Вот так... Помнишь, как в сорок втором каждый волком выл от злости этой? Да что ж это такое?.. Да сколько ж можно, а? Чтоб этот фриц нашего русака пересилил? Да чтоб фашист этот нашего большевика в дугу согнул? Да сколько ж можно? И вот когда каждого — и кто в окопе сидел, и кто в штабах операции разрабатывал, и кто в тылу танки и самолеты строил — злость такая проняла: да неужто мы лучше «мессера» истребитель не сделаем? И сделали! И лучше и больше. Вот так, мужики. Так уж мы, русские, устроены. Здорово разозлиться нам надо, чтоб дело большое сделать... Мне сейчас злые нужны. Очень злые. Не на конструкторов и ученых. На себя! Это ж надо сколько миллионов, страшно сказать, мы здесь зазря сожгли! Вон оно лежит. Ждет вас! Неужто не одолеем?.. Ну, завел я вас, а? Или еще добавить? Видели, как ваш Николай Иванович задержался-то? Вот так... А не сделаем — самое нам с вами место в артели инвалидов. Детские соски делать. Такие дела, мужики... Очень важно это. В Кремле сегодня спать не будут. Это я вам точно говорю. Или мы американцам нос утрем, или... В общем, все, за дело...

Я его эту речь до сих пор помню. Как и те двое суток. Жара стояла, как назло. Решили работать прямо через люки, вниз головой, не разбирая изделия. Время поджимало. И сейчас иной раз, веришь, ночью снится. Провода, провода всякие, разноцветные, пайки, катушки, лампы эти... Так во сне и работаю. Этот проводок пинцетом отожмешь, паечка блеснет, ты ее паяльничком аккуратненько, а соседские проводки оправкой пластмассовой отгородишь, чтоб не дай бог изоляцию не поджечь или распаять... И вот висишь вниз головой, в глазах круги красные, лицо кровью наливается, дышать тяжело... А вылезти нельзя: ждешь, когда олово потечет, чтоб сразу проводок освободить. В голове шум волнами, и вот видишь — олово уже задержалось, заблестело, тут не зевай, смотри в оба, не дай бог на соседние пайки натечет... И все, вся работа насмарку. Потом вылезешь, тампоны из ушей, носа вытащишь, легче дышать сразу делается... Тампоны зачем? А как же! А если пот или кровь из носа туда, на контакты, капнет? Электроника штука тонкая. Одна капля — и все, вся работа насмарку... Кое-как отдышишься, тампоны из ваты новые скатаешь и снова лезешь. Меня только Горелов подменял. Сашке я как себе доверял... Рыжий, правда, обижался, но уж тут не до него было. И то как-то, смотрю, Сашкины ноги из люка торчат и не шевелятся. Уже минуты три прошло как залез. Вытащил его, а у него лицо посинело. Водой побрызгали... Ничего, оклемался. И сразу опять полез. Я его назад. Погоди, Сашка, отдохай. Моя очередь. А у него глаза, смотрю, дурные совсем уже сделались. Оттащили мы его подальше, уложили... Намучились мы с этими усилителями... Легко сказать — перестроить... Ерфилов-то поставил их в лучшем виде и быстро. А регулировки эти чего стоили?.. Торчишь в этом люке, кряхтишь, в глазах уже плывет все, а отвертку не выпускаешь. А Главный все свое тадычит. Ну Алексеич, ну дорогой, ну еще чуток поверни. Влево... вправо... Ну все, отдохай... Вылезешь, сядешь на корточки, а они у осциллографа столпились, вздыхают: нет, не то. Главный подойдет, присядет рядом. Алексеич, еще, говорит, надо конденсатор один поменять. Глубину обратной связи еще бы изменить. Видишь, на осциллографе пучок этот треклятый, никак его не уберешь... Лезешь опять. Тампоны из ушей вытащил, чтоб слышно было. Алексеич, ты в параллель ему такой же подпаяй, в параллель, сейчас подадим. Теперь покрути... Вот-вот... Нет, теперь убавь... Теперь прибавь. Лежишь, не шелохнешься, каждый палец, как у пианистов, занят. Этим конденсатор придерживаешь, этим резистор, этим пинцет и отвертку держишь. Только зубы свободны.

В зубы другой конденсатор возьмешь, потом его пальцем перехватишь и туда его, к первому, в параллель... Опять не то... Отдыхай, Алексеич... Сядешь на закорки и уснешь... Потом тормозат. Глянешь на них, и страшно делается. Рожи у всех почернели, глаза впавшие... А Главный, откуда только силы у человека берутся? Врешь, говорит, сделаем! А сам и за слесаря и за оператора... Потом я вроде стал сознание терять. А может, засыпал так, не знаю... Есть-то почти ничего не ел. Обед привезут, а ничего в горло не лезет. Возили за тридцать километров. Все уже прокисшее. Главный больше всех ругался. Он термоса схватил и прямо в ворота выбросил. И солдата, что привез их, взашей вытолкал. Потом самый главный интендант приехал. С походными кухнями, с молоком сгущенным, шоколадом.

Раз не выдержал я и слезу пустил. Самый форменным образом. Только-только я до двойного триода, помню, дотянулся, надо было ножки его отпаять и на магнитный усилитель провода перекинуть — полдня ковырялся, все проводки перебрал, пока до него добрался, — а меня вдруг за ноги схватили и выдернули из люка, как редиску из огорода. Думали, я там сознание, как Сашка, потерял. Я на цемент сел, слезы текут, остановиться не могу... Что ж вы, подлюки, наделали, а? Ведь я полдня туда добирался, уже в руках держал, уже распаивать начал, а теперь мне что же, все сначала начинать? Чистая истерика сделалась. Главный испугался, сел со мной рядом, обнял. Да ты что, Серега, успокойся, да у тебя ж вон кровь из носу хлещет! Мне ж твое здоровье дороже всех изделий! Да пропади они все пропадом! И на Николая Ивановича давай орать: ты что наделал? Ты почему мешаешь ему работать? Мало ли что тебе показалось! Он тебе не барышня кисейная, чтоб в обморок падать, он всю войну прошел! И опять ко мне. Ну, Серега, ну еще чуток, а? Ты ведь молодец, Серега, и ребята твои орлы. Таких, как вы, во всем мире нет. Ну еще чуть-чуть. И отдыхай... Я снова полез. Шатаюсь, а лезу. Рыжий крик поднял: не лезь туда, Алексеич! Давай я! Что ж это такое, кто это такие сроки нам дает? Пусть, кричит, кто сроки давал, тот и делает. Главный красный сделался, как рак, выкатил на него глаза, вон, кричит, чтоб духу твоего здесь не было! И по-всякому его стал костить. Ну, я-то позволить этого не мог. Это уж и меня касалось. Если он уйдет, говорю, я тоже уйду. Главный сразу остыл. Рукой махнул. Будто мне, говорит, больше всех надо. Не на меня работаете... Хотя все катитесь отсюда. Сам все сделаю! Вот так мы базарим, время теряем... Один Николай Иванович, будто его это не касается, осциллограф свой крутит, записывает. Потом сам полез в люк, подкрутил там что-то и опять к осциллографу. Вот так уже лучше, говорит, значительно лучше! Молодец, Сергей Алексеевич! Главный — да ну! И к нему сразу кинулся. И все сразу — инженеры какие были, слесаря — к осциллографу бросились. Николай Иванович встал, место Главному уступил, смотрите сами, говорит. И к Рыжему подходит. С самого пот градом, но держится:

Что вы, Виктор, зря нервничаете? — спрашивает. Это начальству за его переживания большие оклады положены, а вам совсем за другое платят. Ну а что касается сроков, то никто их с потолка не назначал. Газеты читаете? Знаете, наверное, какое через несколько дней открывается совещание? Так вот мы здесь для наших дипломатов козырного туза готовим. Сделаем наше изделие, запустим его в заданный район — вот тогда с нами сразу по-другому заговорят. Они только такие доводы во внимание принимают... А без нашей работы нынче любая дипломатия гроша не стоит. Так что вы эти разговоры оставьте... Дипломаты ваши гайки крутить не будут. Не умеют они этого. И вас на их место не посадишь. Там криком никого не возьмешь. Так что мы все здесь не просто так работаем, чтоб изделие сдать и деньги за это получить. Мы с вами важную дипломатическую миссию выполняем. Так бы сразу объяснили, Пономарь заговорил,

а то сроки, как прокурор, дают непонятно почему, никто толком объяснить не может... Я его подталкиваю, ладно, ладно, дипломат, шевелись, лезь теперь ты в изделие, мы-то с Сашкой всё, дошли уже, не бойся фрак-то испачкать...

Да... Вот такие дела были. Не помню уже, как кончили. И очнулся уже в автобусе. Главный сидит надо мной и по волосам меня гладит, увидел, что я глаза открыл, и сразу руку убрал. Лежи, Серега, хрипит, теперь лежи. Отдыхай. На-ка вот коньячку. Армянский, видишь? Такого Черчилль не пил. Мне этот генерал-интендант дал для вас. Отхлебни, сразу оживешь... Приедете и отсыпайтесь. Сколько влезет. Трех суток хватит? Ну вот... А потом на охоту поедем. На сайгаков. Всех твоих ребят возьмем. Выпил я коньяку из крышечки, чувствую, и правда в себя прихожу. Голова еще кружится, в ногах слабость, но так ничего вроде... Ребята, смотрю, все как наповал спят. А мне уже и спать не хочется. Когда приехали, ребят еле растолкали. Они только до коек добрались и опять все полегли. А на меня нашло что-то. Ну ни в одном глазу! Не хочу спать, и все! А как глаза прикрою, так опять эти провода, провода — синие, белые, зеленые, — резисторы красные, конденсаторы желтые, пайки серые так и мельтешат... И в носу вроде опять канифолью потягивает. Что делать? А как раз суббота была. Пошел в Дом офицеров. Иду, пошатываюсь... Смотрю, «Карнавальная ночь» идет. Мне о ней сынки раньше мои писали. Посмотри, мол, батя, обязательно. Умора такая, что ой-ой-ой... Пришел. Взял билет. Сел на свое место и сразу отключился. И проснулся через сутки у себя на койке. Кто меня тащил, кто раздел, кто уложил — без понятия... Ребята тоже по одному просыпаются. Сидят молчком, позевывают, курят... Попробовали в домино или в шашки сыграть — не играется, душа не лежит.

Пошли на улицу. А куда пойдешь? Будний день. Все закрыто. Народу никого. Думали, может, пиво в бане будет, жарко все же... Так нет. Баня закрыта. Слоняемся, как сонные мухи, руки в карманах, чего-то хочется, вот не хватает чего-то... А чего — сами не знаем. Пошли в Дом офицеров. Кино только по вечерам показывают. В читальне газеты и журналы полистали — опять неохота наша. Встали, пошли... Вижу, на одной двери написано «Кинемеханик» и «Посторонним вход воспрещен». Толкнулся туда. Сидит там такой опухший от сна малый и коробки с лентами по одной перебирает. Воротничок расстегнут, во рту сигаретка, а глаза аж запыли. Слышь, говорю, солдатик, уважь людей, покажи нам «Карнавальную ночь». А то мы ее, понимаешь, проспали позавчера. Меньше пить, говорит, надо. И дверью, дядя, когда закрывать будешь, не очень хлопай. Сашка Горелов меня за рукав тянет, да ладно, говорит, Алексеич, пойдём от греха подальше.

Давай-давай, кинемеханик говорит, а то сейчас патруль вызову, пусть разберется с вами, почему в рабочее время тут шатаетесь. Рыжий, понятное дело, взвился. Ах ты салажонок неумытый! Да ты с кем разговариваешь, а? Да я тебе сейчас за такие слова... Я его за рукав схватил, из будки тащу, а к нам в это время какой-то подполковник незнакомый — он мимо проходил — подскочил. Что за шум? А ну тихо! Кто такие?

Кинемеханик тот как сидел — с места не сдвинулся. Да вот, товарищ подполковник, говорит, промышленники тут ходят, матерятся. Требуют, чтоб я им кино показал. Угрожают еще...

Подполковник нас спрашивает: вы из какой организации? Кто ваш ответственный? Почему в рабочее время здесь ходите? Где ваши документы?

Мы струхнули, конечно, порядком. Показали ему документы. Он их посмотрел, ах вот вы кто, говорит. Вернул нам и кинемеханику — покажи им все, что у тебя есть. А тот головой качает: не,

товарищ подполковник. Не буду я им ничего показывать. У меня приказ есть, чтоб в рабочее время кино не показывать. Буду я еще из-за них аппаратуру вскрывать и пленку гонять.

Подполковник спокойно ему так — за это я, мол, отвечу кому надо, а ты покажешь им все, что они захотят. Даже то, чего у тебя нет, достанешь и покажешь. И чтоб они всем довольны были, понял? А теперь повтори приказ.

Киномеханик нам с перепугу до самой ночи картины крутил, «Карнавальную ночь» так три раза смотрели. Очень ничего фильм. И сейчас бы с удовольствием посмотрел... Мы и потом — Рыжий недоумил, кто ж еще — как чуть освободимся, так прямо к кинемеханику в будку. В любое время. Желаем, мол, кино посмотреть. Без звука показывал... То есть звук-то был, но не гоношился уже... Да, а изделие то в воскресенье запустили. Прямо в заданный район, за тысячи километров угодило. Это мы уже потом от Главного услышали, когда с ним на охоту ездили. В воскресенье-то без задних ног дрыхли...

И совещание в верхах прошло как надо. Это уже во всех газетах было.

Словом, так я там и остался. Во второй раз. И вот думаю...

Незаметно это как-то происходит. Вроде как внуки подрастают. Они уже и ростом и умом тебя превзошли, а все кажется, что еще детишки малые, только-только с рук сошли. Вот так и в нашем деле. Изделия все сложнее, все непонятнее. По-старому — давай-давай да на коленке — их уже не сработаешь. И видишь: около них уже молодые крутятся. И грамотные все ребята, серьезные. Не по себе даже стало. Привык, понимаешь, чтоб все через мои руки проходило... Спихватился, да уж поздно. Годы не те, чтоб снова за парту садиться и в электронике нынешней разбираться.

Сижу, бывало, себе в домике, обед стряпаю. На пуски эти меня зовут, а я ноль внимания. Едут без меня. Или рыбку на берегу ужу. Спиной еще повернусь. Пустят и пустят, мне-то что. Вот так сижу и равнодушные изображаю.

Сглазить, говоришь, боялся? А может. Может, и так. Только когда загремит, екнет во мне что-то, сидишь и думаешь: ну не дай бог рванет, не дай бог... Должно, с тех первых пусков такое осталось. Уже сколько их проводил, а все как первый раз замужем...

Витька Пономарев еще работает. Сам теперь бригадирствует. Героя ему дали. Не подступишься. Ну а Сашка и Степаныч со мной до самой пенсии трубили. Видимся. Не часто, правда... Тоже, поди, вспоминают. Только каждый про свое. Это уж как водится.

ГОЛОСА ПОЭТОВ АФРИКИ И АЗИИ



ЮЖНАЯ АФРИКА

АЛЕКС ЛА ГУМА

Реквием ушедшему товарищу

Давно остановилось
Твое сердце, старый друг, —
В тот день, когда казнили Сакко и Ванцетти,
Когда затянулась петля
На горле Вуйсили Мини¹,
Когда поцеловала смерть Этель Розенберг²;
И namного, namного раньше —
Когда неукротимый отец Джон Болл³
Взошел на эшафот,
Когда упал в песок Йоханнес Нкоси⁴
И Че, израненный, погиб в последней схватке...
Давно остановилось
Твое сердце, старый друг, —
Тогда, у Стены коммунаров в Париже,
В бессмертных полях Белоруссии,
У вьетнамской деревни Мей Лай,
В камере Брама Фишера⁵,
В боях под Луандой,
В окопах республиканской Испании,
В колоннах школьников Соуэто,
В сражениях палестинцев...
Давно остановилось
Твое сердце, старый друг,
Но
Оно продолжало биться,
И сегодня я слышу его удары.

Детям

Кровь черного рождения чернит
страницы-скатерти статистики суровой
и заполняет — годы и недели —

¹ Вуйсили Мини — профсоюзный лидер южноафриканских горняков, казненный в расистской тюрьме в 1964 году.

² Этель Розенберг — жертва антикоммунистической истерии в США, была казнена на электрическом стуле в 1951 году.

³ Джон Болл — священник, проповедник равенства всех людей, сподвижник Уота Тайлера — вождя восстания английских крестьян; повешен в 1381 году.

⁴ Йоханнес Нкоси — Генеральный секретарь Коммунистической партии ЮАР, убит расистами в 1931 году.

⁵ Брам (Абрахам) Фишер — выдающийся южноафриканский коммунист, лауреат Международной Ленинской премии, умер в тюрьме 8 мая 1975 года.

голодные костлявые провалы,
в которых, засыхая, увядают
бульдозером сгребаемые в кучи
начала всех рождений —
колыбели.

Где
флейты?
Где цитры, гитары?
Нем воздух...
Где нежные песни и ясные звезды?

Там, за решетками тюрем,
сладкие груди пусты,
не молоком, а горем
кормят иссохшие рты.

Так отвратим наши губы
от злого металла сосков,
послушаем песнь колыбельную
на трубах грядущих годов,
годов изобилья,
годов без кошмаров,
и флейты, и цитры,
и голос гитары...

Перевел с английского ФЕЛИКС БУРТАШОВ.

ЯПОНИЯ

ГОИТИ МАЦУНАГА

Крики, которые не забыть*

*В память о том, что осталось во мне на всю жизнь,
когда я увидел атомный гриб в небесах Нагасаки.*

Воды!
Дайте воды!
Огненный сгусток плавится.
В огненном вихре — сплетенье тел.
Дайте воды! Спасите!
Кто-нибудь, помогите жить!
Кровавое месиво густо течет
по чадающему дну
исковерканной улицы...
Щеки лохмотьями свисли.
Воды!
Дайте воды!..

Мальчик мой! Где ты?
Где мой ребенок?!
Память сгорает
в каждом мгновенье,
и груди беспомощных тел
сплзают
в обмелевшую реку Смерти...
Папочка!
О, кто-нибудь!
Где же вы, где?..
Смутно мелькнуло сознание

* Это стихотворение написано утром 3 марта 1982 года и в тот же день прочитано автором на антиядерном митинге японских писателей в Токио, где было оглашено Обращение с призывом предотвратить угрозу ядерной войны. Под Обращением поставили свои подписи несколько сот литераторов и деятелей культуры Японии. (Прим. перев.)

в угасающей плоти.
И, неслышный почти,
женский стон:
«Мальчик мой!.. Где ты?..
Где мой ребенок?..»

О, как вернуть человеческий облик,
как сохранить его после этого?
О великое божество храма Сува!
О всемогущая дева Мария —
на морском берегу!
Умоляю, ответьте!
Где прибежище ваше?
Где желанный покой?
Расплавилась —
в долю секунды —
даже священные статуи...
Как вернуть человеческий облик,
как сохранить его после этого?..

Грудь обожжена.
Лепестки черной гари
свисают с ожогов.
Кто-то один отнимает жизнь —
видите? Видите?
Господи!
Дева Мария!
Кто изготовил
эту проклятую бомбу?
Покарайте его!
Грудь обожжена.
Лепестки черной гари
свисают с ожогов.

Воды!
Дайте воды!
Огненный сгусток плавится.
В огненном вихре — сплетенье тел...
Дайте воды! Спасите!
Кто-нибудь, помогите жить...

КОЁ ЁСИДА

Пятистишия

Из цикла «Музей-квартира А. С. Пушкина»

Гонимый ветром,
снег сечет,
и стынут от мороза лица...
А всё идут —
к поэту на поклон...

* * *

В дни юности
«Онегина» читал,
но и сейчас
забыть не в силах,
как трепетно стучало сердце!

* * *

Старинный
кожаный диван —

дыханья Пушкина
(предсмертного!)
свидетель.

* * *

Прекрасной Натали
любовь свою
и жизнь отдавший —
ах, как печален
Пушкин!..

* * *

Все не дает покоя мысль
о той дуэли...
С душевной болью за поэта
переступил порог
его квартиры...

* * *

О Пушкина предсмертные слова!..
Не друга ли он звал,
горячий взор
на книги устремляя
в последний миг?

* * *

Даже в бронзе
так молод поэт!
О, как горько
из жизни уйти
на тридцать восьмом году...

СУМАКО ФУКУДА

В ненастный день

Дождик тихо шумит за окном...
Я лежу на больничной койке
недвижна, почти бездыханна...
В тишине доносится голос мужа,
сидящего рядом:
«Сумако, ты будешь жить...
Пусть кожа не та, что прежде,
но она ведь восстановилась...
Если бы ты погибла,
я не вынес бы этого...»

Слова — словно капли медленно капаят.
Слова — словно нить, что вот-вот порвется.
Бедный муж!
В этот долгий дождливый день
ему, видно, еще тоскливей, чем мне.
Ах, это все тот год,
тот год...

Голос умолк.
Только дождик шуршит за окном.
Что же грудь моя так болит —
из-за погоды, что ли?
И слезы текут по щекам,
и не в силах я слезы сдерживать.
А дождик тихо шумит за окном...

Перевел АНАТОЛИЙ МАМОНОВ.

ВЬЕТНАМ

ТЕ ХАНЬ

Размышления над зрелым плодом

Тебя, пригнув, срываю с ветки я
И думаю: о как долга твоя
Извечная дорога превращений,
К осуществленью — из небытия!

Вонзались корни в темные пласты.
Выскивая то, что хочешь ты,
Еще не существующий,
внимая
Таинственному зову с высоты.

Цветы раскрылись яркие потом:
Тычинки, пестик...
В свете золотом
С мужским сливалось женское начало.
Но ты не помнишь ничего о том.

Страсть улеглась. И вот уж лепестки
Летят, летят — без боли, без тоски.
А ты — живешь. Еще ты только завязь.
Дни зрелости пока что далеки.

И вновь тебя рассвет позолотит,
Сосед-листок от ветра защитит,
А солнце полдний сок твой кисловатый
В пленительную сладость превратит.

Ты будешь пить ночами свет луны,
Качаться на ладонях тишины
И никому на свете не расскажешь
О том, какие ты увидишь сны.

А вспомнишь ли ты руки, спелый плод,
Что дерево лелеют круглый год,
Речную воду ведрами таскают
К подножью, если засуха придет?

О руки стариков! Они добры,
Хотя подчас шершавее коры,
А девичьи и детские — нежнее
Листвы под ветром. Только — до поры...

Совместный плод Природы и Труда,
Среди ветвей ты блещешь, как звезда,
Как свет и радость, вера и надежда,
Что жизнь не прекратится никогда.

Волшебно-золотой в лучах зари,
Ты сам зовешь: срывай меня, бери!
И как залог дальнейших превращений
Просвечивают семечки внутри...

ХОАНГ МИНЬ ТЯУ

Нон¹

Хочу, чтобы сразу представить ты мог,
 Что нон настоящий создать нелегко:
 Нужны здесь волокна от дерева мок,
 Полоски из листьев от дерева ко,

А также расщепленный тонко бамбук,
 Уменье и ловкость девических рук...
 Надеюсь, теперь понимаешь ты, друг:
 Плетение нона — наука наук!

Скажи мне, какой тебе нравится нон:
 Такой ли, которыми славен Бадон?
 Внимательным глазом его рассмотри:
 Он шелковой нитью прочит изнутри.

А ноны Хюэ? В них особый секрет,
 Идуший, бесспорно, от прежних веков:
 При солнце его поглядишь на просвет —
 И строки проступят старинных стихов.

От солнца и гроз укрывающий нон,
 Прохладой в жару овевающий нон,
 По склону холма проплывающий нон —
 Дружил ты с народом с древнейших времен!

Корзинкой служил опрокинутый нон,
 Героев приветствовал вскинутый нон,
 А набок лукаво чуть сдвинутый нон
 Без слов говорил, что владелец влюблен.

Бывал не в одной я далекой стране.
 На шляпы с вуалью, на кепки глядел,
 Когда же мороз прикоснулся ко мне,
 Я теплую русскую шапку надел.

И зонт, что прикрыл сразу две головы,
 Понравился мне. Но — поймете ли вы? —
 Для тех, кто у нас во Вьетнаме рожден,
 Нет шляпы милее, удобней, чем нон.

В соседних краях, как заметить я мог,
 И дерево ко есть и дерево мок,
 Но только у нас повстречается он —
 Изящный, умело сработанный нон.

Домой возвращаюсь из дальних сторон —
 И с радостью вижу опять над собой
 Родное вьетнамское небо — как нон,
 Огромный, сияющий нон голубой!

Перевел ИЛЬЯ ФОНЯКОВ.

¹ Вьетнамская коническая шляпа.

ТХАНЬ ТХАО

Слушая Седьмую симфонию

Землянка в зоне бомбежки. Еще капает сок
из вывороченных корней. Доносит ветхий динамик
голоса ленинградской блокады. Холодная комната.
Сухая пайковая корка. Голод косит людей.

Родина.
Черные зимние месяцы сорок первого,
и на ладожском льду
застывает слеза.

Родина,
слышу: стонут березы России.
Кончается первая часть — как раз начинается за день девятый налет.
Группа ударных: дробь барабанов, лязгают каблук.

Словно улица Ленинграда —
роща над нашей землянкой.

Осыпаются листья, и деревья сквозят левитановским золотом.
Над воронками гарь, и цикады поют.

Родина,
прозреваю внезапно глубины русской души,
этот кратер вулкана под снежным покровом.
Тяжела и медлительна поступь зимы,
порою невыносима.
Ветер свистит в телеграфных столбах,
вертолеты кружат над разбомбленным рисовым полем.

Я с Россией вдвоем
в эту страшную зиму,
Вместе с нами бросается музыка в бой,
в мир бомбежек, траншей и разбросанной взрывами грязи.
В симфонии только четыре части, гораздо больше — в войне.
Но жизнь просторней войны.
Вижу: девушка к речке идет за водой,
купол неба дрожит от весеннего пения жаворонка,
возле хаты старая вишня цветет,
журавли по весне пролетают на север.

Это самая нужная музыка,
словно горсточка риса, словно хлебная корка голодным
в городе. вынесшем ужас трехлетней блокады,
и в наших землянках под градом бомбежки сплошной...

Гений музыки нам говорит,
как беречь огневую мощь,
говорит нам, что тягость горчайших минут —
увертюра к салюту победы.

Родина,
образ твой не в одном ликовании медных фанфар,
но и в трепетной тишине,

и в глубоком дыхании струн,
в плясовом зажигательном ритме,
и в душу вливается низкий уверенный голос:

«Если погибнет Россия, для чего нам жить?»

НГУЕН ТХЮИ КХА

Дождь-спутник

Падают капли дождя,
во хмелю от восторга к земле нисходя,
как дети, смеются,
теряют шутя высоту,
разговаривают на лету.
Капли дождя над землею живой
совершают посев дождевой.
Солдат постоял под карнизом чуть-чуть
и очень скоро отправился в путь,
он скоро в дожде теряется,
в нем вконец растворяется.
Вот на месте солдата ребенок возник
и в толпе малышни затерялся вмиг,
вот крестьянин возник и ладонь свою
подставляет под дождевую струю,
вот в другого солдата, в плаще сыром,
превратился и греется перед костром
(как в горах Чыонгшана когда-то).
Сколько разных людей умещается в теле солдата!
Солдат под лавиной спешит дождевой:
такое ему не впервой.

Шагает солдат,
через город идет
верным, торным путем.
В бесконечном этом походе
он — заодно с дождем.

ЧАН ДАНГ КХОА

Сестре, поступившей в институт

Ты в институт поступила. сказали мне.
Известье на горной застигло меня крутизне.
Наш дом далеко, леса темны и густы.
Я рад за тебя. Об этом знаешь ли ты?

Я вспоминаю: лет уж немало тому,
Как малышкой ты без присмотра осталась в дому;
Сестра на позиции. в поле мать дотемна,
Отец на заводе, а ты с котенком — одна.

И вот — бомбежка: война остается войной.
С нашей школы крышу сорвало взрывною волной.
Я за партой сидел, заниматься не мог и гадал:
Успела ли ты с котенком спуститься в подвал?

Вспоминаю невольно теплые вечера,
Когда я решил, что тебе учиться пора.
Буквы трудны, слова совсем не просты.
Как плакала ты!

Это было словно вчера.
И вот ты студентка, сестра.
С тобою теперь друзья,
Которых не знаю я.

Я в армию шел — того не забуду дня.
Только ты не смогла тогда проводить меня.
Ты в поле трудилась, шел дождь, и кто как не дочь
Должна родителям в трудное время помочь?

По минным полям шагал я за годом год,
По сожженной земле, по стране малярийных болот.
Как ты взрослою стала — не уследил мой взор.
Малышкой ты мне кажешься до сих пор.

Тыходишь в просторный зал —
Я туда же войти мечтал.
Но в моем поколенье любой
Не в школу ходил, а в бой.

Сколько сверстников стали жертвами жарких боев,
Полегли на холмах, у безвестных горных ручьев.
Учеников приведешь ты однажды туда —
Увидишь: синее гор далеких гряда...

Настоящего мира нет на земле до сих пор.
Когда он настанет — приду на родительский двор.
Ты — учительница. А я после стольких дорог
Вновь ученик. Начнем наш первый урок.

ХА ФЫОНГ

В полях, полных креветок

Креветок полны на нашем пути поля.
Роши бескрайни, пряно пахнет земля.
Мелькают цветы, отступает в море отлив.
Плещется рыба, воду кругом замутив.

Десять лет ты провел, ведя бесконечный бой.
Десять лет, любимый, не виделись мы с тобой.
В тоске по тебе я искала хотя бы твой след,
любимый,
любимый,

целых десять лет.
Десять лет я искала дорогу на юг,
где ты — в отряде, где враги и джунгли — вокруг.

В небе высоком
синева и покой.

Отраден плеск
волны морской.

Я просила тебя рассказать, как бушуют моря.
Ты улыбнулся, ни слова не говоря.
Видно, подобный рассказ
сейчас не для нас.

Джунгли теснят океан — здесь каждый росток
неумолим, словно времени грозный поток.
Твой труд благороден: землю у леса отнять,
воды реки повернуть, если нужно, вспять,
людям всего себя без остатка отдать.

«Милая, видишь .
креветок, спящих в воде?
Рис прорастает! Посмотри, побегии везде!»

Парус над морем машет приветливо нам.
Отсвет бежит от мыса по дальним волнам.

Перевел Е. РАЕВСКИЙ.



ГЕОРГИЙ ПРЯХИН

★

У ОКНА

Рассказ

Когда она едет на юг или с юга, она сама себе напоминает квочку. Особенно с юга: тогда к детям, за которыми надо неусыпно надзирать, держать их на привязи, добавляется многочисленный выводок корзинок, фанерных ящичков с вишней или помидорами,— все, чем навьючивает их ее мать или что они покупают сами — там, на юге, или по пути, с перронов, которые в это предосеннее время напоминают торговые ряды.

Мичуринск — антоновка: ее суют ведрами прямо в раскрытые окна, и весь вагон, весь поезд прохватывает духовитым оскомистым ознобом. Ряжск — маломерные (где только берут такие: один счет что ведро) ведерки с черносливом. Ныряющее за облаками солнце на миг окунается в них, и тогда чернослив напоминает затухающие угли: там, в ведре, как будто что-то тлеет, живет, высверкивает тяжелым черно-рубиновым огнем...

— На зиму, на зиму,— как бы оправдывается перед нею муж, втаскивая то через тамбур, то прямо через окно очередной оклунок.

Нельзя сказать, что его суета ей неприятна. Она и сама знает, что все это добро, будучи закручено, засолено и сварено, зимой быстро слопаются ее саранчой.

В закупках дружно, азартно, чересчур усердно участвуют и сыновья — носятся, проталкиваясь между ногами взрослых, тащат, сопя и наливаясь мужской винной краснотой, ведерки и оклунок. В их важной сосредоточенности, в пыхтенье ей чудится отчуждение. Да она и сама в такие минуты ловит себя на мысли, что эти маленькие упирающиеся мужички (пять, девять, одиннадцать лет) — муравьи с добычей — как-то пугающе незнакомы ей. Уж очень они самостоятельны, автономны, отпочкованы от нее. В их деловитости она угадывает свою будущую ненужность им. И это печальное открытие мимолетно ранит ее: она не знает, что будет делать с собой, предоставленная самой себе. Она уже так привыкла принадлежать этим маленьким варварам, что ей кажется: не нужная им, она будет не нужна и самой себе.

Она не хочет на волю. Она ее боится. Ей не избыть в себе сладкую муку невольницы.

Слава богу, в купе с ними никто больше не едет. Скупили его полностью, на корню, оккупировали, и все равно Саньке, хоть он и самый маленький, компактный, спать негде. На ночь укладывается с отцом. Вполне мог бы уместиться под боком, но его это, видите ли, не устраивает. Умашивается в ногах — больше самостоятельности. Автономности. Но его автономность по отношению к отцу, в ногах которого он, не торопясь, устраивается, совсем не та, что по отношению к матери. Она не отдаляет его от отца, а наоборот — сбли-

жает. Когда он с подушкой шествует в облюбованный им угол, к двери, то напоминает кучера, на ночь глядя направляющегося с потной попоной под мышкой из хаты во двор — и ночевать и за лошадами присматривать.

Не самый юный и потому почти бесправный домочадец, а работник, сторож. Хранитель.

Ангел-хранитель.

Чем они самостоятельней, тем родственней отцу и дальше от нее. Есть родство по крови, а есть родство по кости. По косточке. В них, как зубы прорезываясь, заявляет о себе его, мужская кость. В том числе в самом маленьком, Саньке, которого она еще считала всецело с в о и м.

Ночью она встает и в грохочущей вагонной болтанке поправляет на нем, разметавшемся, простыню. Стоит, придерживаясь рукой за верхнюю полку. Нервные, пульсирующие зарницы железнодорожных огней проносятся где-то совсем рядом. Шторка на приспущенном стекле пузырится от встречного ветра, и приглушенные, процеженные ею отблески огней влетают, как бледные шаровые молнии, в купе, плавают, блуждают по нему, выхватывая из темноты то странно меняющееся в этом неверном свете лицо мужа, то лица сыновей — и тут же иссякают, гаснут, растворяются без следа.

— Кто хочет спать вальтом? — спросил накануне вечером Борис, и Санька первым без размышления завопил:

— Я!

Он еще не знает, что такое валет, но сразу усек, что вальтом — значит, с отцом. Этого ему достаточно.

— Я!

— Не вальтом, а валетом, — поправила она, и ее поправка, точнее облатка этой поправки, некоторая уязвленность тона были адресованы не столько мужу, сколько Саньке. Перебежчику...

Да, в купе с ними больше никто не едет, они тут хозяева. Они. Но не она. Она тут на птичьих правах. Чем ближе подъезжают к Москве, тем больше напоминает купе домашний погреб: цибарки и оклунки постепенно выживают ее — сначала с нижней полки на верхнюю, потом в коридор, куда она выходит все чаще и чаще, стоит все дольше, придерживаясь обеими руками за холодный никелированный карниз толстого, напоминающего лупу окна. Окно напоминает лупу не только мутной толщиной стекла. Возникающие за ним видения при всей своей мимолетности крупны, отчетливы, западают в память.

Человек, одиноко бредущий кромкой полуденного просяного поля. Поле еще не убрано, ветер ворошит, шевелит его, и оно, выстоявшееся до сухого, воспаленного шелеста, шепота, ходит круговой волной, там вспыхивая слепящим зеркальным блеском, тут мгновенно темнея до густого, кирпичного цвета, и тогда кажется, что рикошетиющие над ним ласточки играют с огнем... Поле уже пронеслось, осталось позади, а ей все кажется, что это его блики неслышно кружат по лицу, что это она сама, а не кто-то иной, навеки неизвестный, устало бредет пыльным проселком.

Палисадник на малом разъезде. Пожилая женщина, жена путейца, режет ножницами флоксы. К поездом она привычна, не обращает внимания на очередную скорый, — это ее старик, выйдя из своей будки, вытянулся перед поездом, как перед генералом. Флоксы удивительно хороши. Август, жара, они бледны, неярки, их оттенки скорее угадываются, плавно переливаясь один в другой: от бледно-розового, кремового до бледно-голубого. Каждая веточка словно окутана тончайшим, чуть подсвеченным дымом... Все-таки женщина на мгновение подняла глаза, их взгляды встретились — и разлетелись. Ощущение доброты, спокойствия оставалось от этих полуденных, вы-

горевших, как и флоксы в ее руках, женских глаз. Как будто заглянула в глаза самой себе — будущей.

Может, и в самом деле люди так жадно прикипают к стеклам именно потому, что смотрят прежде всего в самих себя?..

Муж у нее из командировок не вылезает — мастер по ремонту доменных печей. Дорога ему не в новинку, не в тягость, он в ней как рыба в воде: в командировках, пожалуй, и с бабулями торговаться насобачился. Ее же дорога выбивает из колеи. Он всю страну исколесил, а у нее дорога одна и та же: в отпуск к матери, из отпуска от матери. Один и тот же путь и одно и то же состояние.

А вообще, несмотря на хлопоты, ее жизнь в эти два дня дороги как будто бы останавливается. Точнее, она сама как будто бы останавливается. Не летит сломя голову — это за нее делает поезд. Дом — детсад — магазин — работа — магазин — детсад — дом... Да и отпуск ее только считается что отпуск, отдых, а по сути все тот же дом, детсад (на дому), магазин, за исключением самого неурочного в этом кругу — работы. Лишь в пути она выпадает из этого круга и два дня, влекомая скорым, парит..

Есть на этом пути промежуточная станция, которую она втайне ждет. Поезд стоит на ней две минуты, и каждый раз наша пассажирка две минуты борется со смутным желанием сойти здесь, остаться, задержаться. И, конечно же, не сходит. Только пристальнее всматривается в окно, в немногочисленный перрон, прикасается лбом к стеклу, ощущая его отрезвляющую прохладу.

Неуютность, неясное беспокойство... Оно зарождается исподволь в самом начале, как только она сядет в поезд, увидит на перроне оставшуюся, оставленную мать, если возвращается в Москву, — только в такие минуты, кажется, и замечаешь, как быстро стареют матери. Или как только поплывет назад светопреставление Курского вокзала, если они едут из Москвы, и она, опять же мысленно, увидит перед собой мать — такой, какой виновато оставила ее год назад (честно сказать, в течение этого года, пока она в замате, в колее, лицо матери нечасто, очень нечасто возникало перед нею, а вот теперь, когда они, слава богу, успели, расселись, двинулись, когда она осталась, мать вдруг печально напомнит о себе, и она всем существом нетерпеливо, через полстраны, через всю предстоящую ей дальнюю дорогу рванется к ней). Женщина подъезжает к этой промежуточной станции и долго копившаяся тревога волной захлестывает ее. Она ничем не разрешается: две минуты молодая женщина вглядывается в озабоченных людей на перроне, в здание вокзала, да потом еще минуты три наблюдает из окна убегающие назад, остающиеся на месте красные черепичные крыши, сонные улочки, тяжелую, тоже как будто бы сонную, задымленную, зачумленную зелень шахтерского городка.

Где-то в этом городке живет ее подружка, ее соседка по детству Лилька Еременко. Они так долго с ней не виделись, так давно потерялись, что женщина и не помнит уже, откуда, из каких источников известно ей, что перелетная Лилька еще здесь: мать ли обмолвилась, письмо ли от кого получила. Они так давно с ней не виделись, что, окажись Лилька в эти минуты на перроне, они вряд ли узнали бы друг дружку.

И все же она втайне надеется на нечаянную встречу. Кого всматривает она через это холодное увеличительное стекло — до слез, наворачивающихся на глаза, отъединенная в такие минуты и от поезда и от своих гомонящих детей?

Лильку? Себя? Мать, послушно остановившуюся у какой-то незримой черты на далеком перроне? Через такие стекла и оставленность, обреченность, безжалостная старость матерей проступают увеличенной, резче, больше...

Ей было года четыре, когда на их улице появилась Лилька Ере-

менко. Ее родители купили тут хатку-мазанку у Степаниды Чибиряковой, старушки, давно уже собиравшейся к сыну в какой-то далекий нерусский город. Хатка так долго не покупалась, так долго не находилось на нее охотников, что вся улица привыкла видеть ее, слепую и скособоченную, не иначе как с корявой фанеркой под стрехой, на которой такими же корявыми мазутными буквами значилось: «пр. дом».

Хатка была угловой, и фанерка находилась как раз на том месте, где пишут название улицы. Улица «пр. дом».

Весна сменила зиму, лето сменило весну, а на хатке так и оставалось, не лияло: «пр. дом». Фанерка придавала ей, и без того обособленной своим положением, дополнительную отрезанность и вместе с тем значительность — хотя бы тем, что мазанка была поименована в ней таким серьезным существительным: дом.

И мазанка и квартал сжились с фанеркой, она казалась уже вечным тавром на этих не вечных стенах, когда вдруг однажды перед хаткой остановился странный человек в красных яловых сапогах гармошкой — в июльскую-то сушь. Чубатый, чернобровый, темноликий. Печать ремесла несут обычно руки. Но есть и лица, по которым можно судить о ремесле. Точнее, есть ремесла, о которых можно судить по лицам. У незнакомца было такое лицо, будто он только что отворотился от кухни, вернее, от горна, — обданное жаром, с синеватой окалиной под глазами. Незнакомец постоял возле хатки, дотянулся до выступавшей над стеной матицы, хекнув, поддел ее: как будто в зубы кобыле глянул. С тыльной стороны ладонь его, как и лицо, была темна, костлява, зато изнутри оказалась словно начищена, натерта кирпичом — тоже, в общем-то, от работы с огнем.

Матица из паза не выдралась, это незнакомца удовлетворило, он сорвал фанерку, швырнул ее в пыль, отворил калитку и похозяйски шагнул к бабке Чибиряковой. А по улице побежала новость: хатка куплена!

Через несколько дней у квелых ворот остановилась подвода, с верхом груженная домашним скарбом. На возу сидела худая болезненная женщина, наглухо закутанная, несмотря на жару, в серый полшерстяной платок, и маленькая, кукольно-нарядная девочка. Женщина слезла сама, неловко, без конца обираясь, на что-то сердясь, недовольно выговаривая — то ли мужу, молча растворявшему ворота, то ли чересчур высокому возу, то ли неказистой, незавидной Чибирякиной хатке. Некоторое время малышка сидела на возу одна — принцесса на горошине. Растворивши ворота, отец подошел к ней, поднял руки, и она безоглядно, как с кручи, слетела, впорхнула в них...

Только сейчас, здесь, у вагонного окна, пришло: а ведь и позже Лилька во все кидалась так: безоглядно, очертя голову. Фатально. В игры, в дружбу, в драку. Особенно в драку: зрачки становились зияющими, щеки заливало глубоким, хотя и неярким, словно пеплом подернутым румянцем, смоляные пряди разметывались по плечам. Готова была вцепиться в обидчика чем угодно: когтями, зубами, своей своей безудержной злостью. Черная Лилия!

Однажды Светка Боярышникова ляпнула в компании, что Лилька-то, оказывается, цыганка. Отец у нее самый что ни на есть вылитый цыган. И фамилия у него никакая не Еременко, у него вообще нет фамилии. Цыгане живут без фамилиев. А Еременко — это фамилия Лилькиной матери. Она-то русская, да пошла сдуру за цыгана. Так и сказала: сдуру пошла, по молодости-неопытности, а теперь вот и маюся, мыкаюся за ним, помигулей, как нитка за иголкой. Плюнуть и растереть: сама слыхала, как мамке на кухне жалилась. А раз у него никакой фамилии, значит, и у Лильки ее нету. Не положено. Так-то, девки, за цыганов ходить.

«Девки», среди которых было пять-шесть представителей противоположного пола, застыли в изумлении.

Цыгане? На их улице? Цыган привыкли видеть на базаре — гомонящими вулканическими кучками, — да изредка, обычно весной и осенью, протянется по пыльной дороге грустный гортанный клин их парусиновых арб: городская детвора долго, до самой окраины, за которой открывалась полынная степь, бежала (на безопасном отдалении) за этими арбами, дразня цыганчат, но те, как ни странно, на задиранье не отзывались — сидели в задках кибиток, с любопытством глаза по сторонам. Иной раз можно было увидеть на базаре цыганчонка, изображающего в кругу городских мужиков «танец живота». Танец заключался в беспрестанном похлопывании твердыми заскорузлыми ладошками по самым разнообразным частям тела (преимущественно все же по голому, в арбузных потеках, пузу), в том, что цыганча пару раз бухался этим самым пузом в пыль. Одновременно танцор еще и пел — отрешенно, даже сомнамбулически. В этой отрешенности сквозил профессионализм: человек делал деньги, не более того. А может, она проистекала из разительного несоответствия песен возрасту исполнителя. Вряд ли они занимали его самого, скорее он к ним был пока абсолютно глух, равнодушен.

Но мужики скорее всего как раз на песню и собирались. Каждый куплет отмечали нестройным гоготом. Правда, когда дело подходило к расплате и цыганчонок шел по кругу со сдернутым картузом, большинство ограничивалось крепким щелбаном по кудрявому запущенному черноволосому кумполу, на что, впрочем, цыганчонок ни сколько не обижался. Женщины же гнушались зазорным кругом, преувеличенно плевались в его сторону и всячески ограждали от него детвору задолго до вынужденного приближения к нему (а цыганча устраивался где-нибудь на самом бойком углу, миновать который было невозможно), прочно ухватывая дитя за руку, а то и за ухо: чтоб голова не поворачивалась куда не следует. А повернуться хотелось.

Цыганчонок, не удостаивающий их даже взглядом, за это, пожалуй, и презирал своих городских сверстников: сам он был волен, как птаха. Его-то за ухо никто не водил.

Повернуться хотелось — в свободу. Это она порождала и любопытство, и зависть, и даже непонятную боязнь перед кудрявым бесенком, откровенно — неважно, что за щелбан! — дурачащим взрослых людей.

Даже наезжая в их городок, цыгане оставались в другом, далеком, скрытном, хоть и перинами наружу, влекущем и настораживающем мире. В некотором царстве, в тридевятом государстве. А тут цыганка, девчонка, под боком — в Чибирячкиной хатке. Было с чего замереть честной компании.

По правде говоря, она, будущая цыганочкина заступница, к этой компании приписана не была. Да и вообще ни к какой — ее никуда не брали. На их улице она была самой маленькой. Может, и к Лилке сразу так привязалась потому, что та была еще меньше. Ее никуда не брали, но и отвязаться от нее было невозможно, потому что она была хвостиком. Ее и звали — Хвостик. А старшего брата звали Батей. Она всюду увязывалась за ним, ковыляла следом, не в силах догнать. И когда разрыв между нею и братом грозил стать непреодолимым, она тянула руки и кричала:

— Батя!

Братик.

И брат, которому она, по правде сказать, надоела, как горькая редька, чертыхнувшись, останавливался, брал ее за руку, и какое-то время они шли вместе, рука в руку. Для нее это были упоительные минуты, и она семенила рядом с братом, полная довольства и сча-

стья: завоевала! Но тому такая медленная ходьба наскучивала, он бросал ее ладошку и устремлялся догонять сверстников. Она не противилась и опять покорно тащилась за пацанвой. И только когда ей совсем становилось невмоготу, когда ее физические ресурсы исчерпывались до дна, когда разрыв между нею и братом, между нею и н и м и непомерно растягивался, только тогда она снова останавливалась и тянула руки, перекрывая увеличивающееся расстояние единственным, чем могла, — голосом:

— Батя!

И брат, чертыхнувшись, опять брал ее за руку и некоторое время влек, счастливую, за собой; так они ходили на речку, или в степь за тюльпанами, или в лесополосу за зеленой еще, терпкой «культурой» — одичавшими абрикосами, которые можно было лопать прямо с податливой горьковатой косточкой.

«Братик» — так она не выговаривала, но думала именно так. Нежно. И хоть со временем она, конечно, научилась и выговаривать, и больше того — не произносить этого слова вообще, не прибегать к нему, обходиться, ибо сама теперь носилась по улице быстрее пацана, к брату, который был на пять лет старше нее, так и присохло: Батя.

Отец, бывало, и тот скомандует вгорячах:

— Ну-ка, Батя, сгоняй за пивом: одна нога тут, другая там...-- Потом дойдет до него, он сплюнет и улыбнется: — Тьфу ты, дьявол, попутали...

Да поздно — Бати на дворе уже и в помине нету: шустрый он был, Батя, моторный.

Женщина у окна чуть-чуть улыбнется, а там, глядишь, и слезы не заставят себя ждать. Давно нету отца — умер. Шесть лет назад разбился в машине Батя. Вспомнилось, как рыдала, ломая руки, над гробом мать: «Моторчик ты мой...» Что она сама говорила, что причитала — не помнит, те страшные дни прошли, как в беспамятстве. А вот эта странная, тоже, возможно, в беспамятстве сказанная материнская фраза как-то зацепилась, запомнилась. Может, потому и запомнилась, что странная. И мать — господи, да она и помнит-то ее всю жизнь либо в белом, в горошек, плотно повязанном платке: кто-то в доме или из родни болеет, она за кем-то ходит, либо в черном, беспросветном, печальном. Мать и поседела враз, начисто, до лебязьих тонов — неизвестно когда, под этими двумя платками...

И теперь еще, когда она давно уже стала взрослой (и почему-то чем старше становится, тем чаще), случаются минуты, когда она и остановилась бы, и протянула руки, и позвала бы — да некого. Разве что во сне иной раз привидится: зовет — и ей откликаются. Обрадуется, даже сквозь паутину сна чувствуя ненадежность, заемность этой радости, а проснется, рванувшись к ней, — никого. Спит рядом муж, заломив за голову тяжелые, жесткие, задеревеневшие руки. Спят за стенкой сыновья, спят, она знает, в той же самой позе, что и муж, закинув руки за голову. А позвать — некого. Этим — хоть из пушки над головой пали. Те х — не дозваться. Одна только мать еще видна, еще брезжит где-то далеко-далеко, вечно оставленная, на вечном уплывающем перроне.

...Если бы в ту минуту объявилась Лилька Еременко (цыганка, как сообщила во всеуслышанье Светка Боярышникова), Светке б недоброваты! Но Лильки при этом разговоре не было. Да Светка и не затеяла бы его при ней — побоялась бы. Лилька хоть и меньше всех, а в гневе неукротима. Лучше не связываться. Хвостик при разговоре присутствовала, но на нее никто не обратил внимания: Хвостик и есть Хвостик. А может, Светка Боярышникова и распиналась так в расчете на Хвостика. На то, что она оповестит Лильку о зародившихся у общественности подозрениях, и по последующей Лилькиной реакции можно будет окончательно убедиться: цыганка или не

совсем. При этом есть шанс не понести физического урона, отбрезаться, если что: не пойман — не вор. Пшла отседова!

Светка Боярышникова просчиталась.

Сперва Хвостик обомлела. Хотела тут же кинуться на гнусную сплетницу, известную всем брехучку, как то сделала бы и сама Лилька. Но вовремя спохватилась. Все-таки Светка на целый год старше, и в открытую Хвостик вряд ли справится. Впутывать же Батю не хотелось. Не-ет, она была куда хитрее, коварнее, чем о ней думали. Кто любит, тот изобретателен не только в любви, но и в ненависти, в отмщении, а у Хвостика была серьезная школа любви, привязанности.

На следующий день она пригласила Светку Боярышникову к себе домой поиграть в куклы.

— У нас как раз крыжовник поспел,— добавила как бы между прочим.

Приглашение было манерно принято.

В куклы играли прямо возле крыжовника. С материнской жалостью наблюдала она, как Светка бесцеремонно укладывала ее тряпичных куеклят прямо на сырую землю. Спать! Не путаться под ногами, пока она, Светка, лопает крыжовник, крупный, розовый, с надувшимися от полнокровности жилами под корявой, в отсыхающих щупальцах, кожицей. Но и это входило в коварные планы Хвостика — заманить Светку как можно дальше от калитки и от возившейся по дому матери. Прельстить, усыпить и уничтожить. И вот в тот самый момент, когда не подозревавшая западни Светка стояла на коленках и за обе щеки уписывала крыжовник (листва на кустах уже обвяла, поредела, как бы окислилась от жары — желтые, красные, лиловые лоскутки повисли там и сям, зато ягоды стали еще заметнее, каждая донельзя колючая лозинка высунулась, выгнулась и, млея, поникла с ними, как оборвавшаяся нитка с монистами), Хвостик приступила к расправе. Ухватила Светку за толстую, тугую медную косу, опрокинула на землю, наступила на косу ногой, а руками принялась молотить по щекам.

Было бы натяжкой сказать, что после, во взрослой жизни, Хвостик часто вспоминала этот случай. Нет, время все потихоньку заносит, зализывает. Но когда она вспоминает о детской драке, чувства испытывает смешанные: и смешно ей, и до сих пор стыдно. Тогда же чувств не было никаких, кроме ярости: откуда только взялся в ней этот Лилькин темперамент! И чудное дело: Светка Боярышникова, распростертая на грядке, никак не сопротивлялась, хотя могла бы одним махом скovyрнуть обидчицу, растоптать и растереть. Она же только редела да бестолково сучила руками-ногами. Хвостик любила на досуге наблюдать за всевозможными букашками. Сядет на короточки и смотрит, как они суетятся по своим хозяйственным нуждам. Иная так заторопится, так разгонится, что не удержится на невидимой глазу рытвине, споткнется и, глядишь, уже валяется кверху брюхом, беспомощно дрыгая мохнатыми лапками. Нечто подобное было и со Светкой. Только букашки были безгласными. Светка же — гласная. Велегласная, сказали бы в старину. Рев у нее получался толстый, медный, как ее коса. Нутряной. На крик выскочила из дома Хвостикова мать и, полная, обычно медлительная, неуклюже бежала к ним.

— Ты что творишь, что творишь, отрошница?— причитала она на ходу.

Хвостик еще разок шлепнула Светку и метнулась на другой конец огорода. Мать ее не догоняла: подняла, отряхнула Светку и повела ее, плачущую, сначала к умывальнику, а потом за калитку — домой.

Матери не было долго. Хвостикую надоело скрываться на задах, и она — будь что будет — потихоньку высунулась на улицу. Уселась

на лавочку, по-старушечьи подперев щеку рукой, и стала ждать — неизвестно чего. На душе было скверно. Предполагаемой трепки она не боялась, Светкиной мести тоже, а все равно на душе было гадко. Так зажмурилась, что и не заметила, как перед нею очутилась Лилька: та направлялась к ней играть. Играли они всегда у Хвостика. Мать у Лильки дерганая, сердитая, вечно недовольная — мужем, хатой, бабкой Чибирячкой, которая почему-то ни к какому сыну не поехала, а так и осталась жить при своих покупателях. От Лилькиной матери по всему дому шли, прыгали электрические разряды, и хоть Хвостика они никак не касались, она все равно чувствовала себя здесь неуютно. Лилька же, которой это электричество в основном и адресовалось, не обращала на него внимания. Она самого черта не боялась, не то что отца с матерью (впрочем, отец в ней души не чаял), а все равно и она больше любила Хвостиков двор, где они были предоставлены самим себе. Сидели в тенечке под стенкой, строили хатки, укладывали куклят.

Хвостик подняла голову и увидела перед собой Лильку.

— Ты чего? — спросила та, заметив, что с Хвостиком что-то неладное.

— Подралась.

У Лильки округлились глаза.

— С кем?

— Со Светкой.

— Из-за чего?

— Обзывается.

— Как?

— Цыганка, говорит, — сказала Хвостик и только тут спохватилась, что ляпнула лишнее.

— Цыганка? Ты — тоже цыганка? — Лилька хохотала, ухватившись за живот, и теперь уже Хвостик ушел через вытаращить глазенки.

Впрочем, Хвостик вскоре и забыла об этом открытии. Какое ей, право, дело до того, цыганка Лилька или нет? Главное, что она — Лилька. Так они и росли — как два обнявшихся саженца...

Поскольку Хвостик была на год старше Лильки, то и в школу ее отрядили раньше. Мать вела ее, нарядную, за руку, рядом вели других детей, и чем ближе они подходили к школе, тем больше их становилось, тем оживленнее, веселее и даже наряднее они выглядели. И — тем горше заливалась слезами Хвостик. Она не хотела учиться. Она не хотела учиться без Лильки.

В школу она каждый раз шла как на каторгу. Зато из школы летела стремглав — во двор, под стенку, в тенечек, к хаткам и куклятам. К Лильке, полдневная разлука с которой казалась вечной, хотя та, похоже, переносила ее куда легче.

В школе отсиживала свое угрюмо и бессловесно. Палочки-крючки выворачивала в другую сторону, на букву «А» говорила, что это буква «Мы». И своего добилась: оставили на второй год.

И опять мать вела ее, нарядную, за руку в школу, и не было человека счастливее Хвостика: рядом под двумя бантами в курчавых волосах вели в школу и ее подружку Лильку.

И посадили их за одну парту, и учеба у них пошла как по маслу.

А после третьего класса Лилька с родителями уехала. Давно уже не было Чибирячкиной хатки — на ее месте Лилькин отец выстроил крепкий, глазастый, просторный дом. А вот не зажился, не задержался в нем, опять повлекло по белу свету.

Накануне отъезда мать разрешила Хвостик у Лильки. Полночи они шушукались, плакали, давали страшные клятвы: не

забывать, писать письма, а когда вырастут — поселиться в одном месте и никуда-никуда не переезжать. А потом и сами не заметили как заснули. Проснулись от приглушенной беготни и суматохи: из дома уже выносили вещи, до времени обходя их кровать, как обходят на пашне птичье гнездо. То, что еще ночью казалось далеким, почти невозможным, свершилось — Еременки уезжали. Они уезжали так, будто их гнали по этапу. Исчерпав запас злости и сопротивления, — а ведь раньше казалось, что Лилькина мать решительно во всем верховодит мужем, — всхлипывала хозяйка, утиралась концами платка Чибирячка: и она, оказывается, тоже уезжала, прилепившись к этим залетным людям. Один только Лилькин отец ступал широко, был возбужден, ноздри его раздувались, как будто он уже глотнул встречного дорожного ветра. Ни к кому конкретно не обращаясь, громко говорил, что город Орджоникидзе — лучший город на Северном Кавказе, что на базаре там — сам видел — человеку ступить не дают: купи, дарагой, купить не хочешь — даром возьми. Что лучше Северный Кавказ, чем Южный Урал. Что под лежачий камень вода не течет... Много еще всякого молол, воодушевляясь, Лилькин отец, непохожий на самого себя — а улица знала его молчаливым, замкнутым и, чего греха таить, чуток побаивалась его.

Первым с Хвостиком попрощался Лилькин отец. Взял ее правую руку в свою огромную огнеупорную ладонь, накрыл другой, такой же тяжелой и горячей, наклонился. Его глаза напоминали подернутые кровавым туманом глазищи вставшего на дыбы коня и одновременно сухие, пронзительные, подсвеченные лампадкой очи святого с иконы, напротив которой она всегда спала у себя дома и на которую побаивалась глядеть.

— Приезжай к нам в гости. Вот адрес. — Отпустив ее руку, он вынул из кармана карандаш и многократно сложенную, для махорки предназначенную газетку, оторвал от нее аккуратный листок, что-то написал на колене. — Отцу с матерью передай.

Потом подошла Лилькина мать. Приткнула ее к впалому животу, погладила, вытерла слезы, сама смахнула слезу. Как к последнему оплоту всего оставляемого в родной стороне, включая уже несуществующую хатку, припала к ней Чибирячка. Не удержалась, запричитала: и куда же я, и зачем, и останутся мои косточки да в чужой земле... А Лилька уже дожидалась очереди, и едва Чибирячка на шаг отступила от Хвостика, как на шее у нее сомкнулись худые, цепкие, в постоянном движении, полете пребывающие руки подруги. Руки у нее двигались даже когда, казалось бы, покоились на парте. Вернее, жизнь в них двигалась, пульсировала, пробегала по смуглым гадалочьим пальцам: Лилька держала ладошки перед собой, как карты, и пристально рассматривала их, прилежно внимая при этом другому, куда более определенному оракулу — Марье Васильевне. Она словно сличала их показания: ладошек и Марьи Васильевны.

Сохранилась фотография, на которой снят их первый класс. Марья Васильевна, которую Хвостик панически боялась, почему-то пожелала иметь Хвостика по правую руку, а Лильку по левую, разъяв, разлучив их, хотя им так хотелось и на фотографии оказаться рядышком. Хвостик пылко ненавидела Марью Васильевну всякий раз, как брала в руки фотокарточку, за свою фотографическую разлуку с Лилькой...

Вам приходилось видеть, как обнимаются десятилетние девчонки? Это уже не те желтенькие пушистенькие комочки, каждое движение которых умиляет — даже когда они плачут. И еще не подростки с их угловатой грацией, когда уже не плачут, когда придирчиво и неусыпно, кажется, даже во сне, смотрят за собой. Надзирают. Сторожат себя. Вроде бы со стороны, а на самом деле изнутри, изнутри, из пугливой засады отрочества: как я в чужих глазах? Когда даже радость — на привязи: не показаться смешным. А смешным, не-

смотрящимся представляется как раз самое натуральное: слезы и смех...

И перрон, и черепичные крыши, и пыльная зачумленная зелень шахтерского городка давно остались позади, а женщина все стоит у вагонного окошка, все всматривается — тоже, пожалуй, скорее внутрь, — и озябшие от утренней прохлады, уткнувшиеся холодными носами друг в дружку девчушки перед нею как на ладони. Как безоглядно, как горько, как искупительно они ревут!

От этого воспоминания на душе у нее почему-то теплеет. Говорить ушла, испарилась, тепло — долетело.

Она и тогда, оставшись одна (ей казалось: на всем белом свете, и как же она тогда ошиблась!), часто вспоминала то утро. И как Лилька, оторвавшись наконец от нее, втиснулась в кабину уже заведенной машины, к матери и Чибирячке, как отец, захопнув за нею дверцу, махнул с подножки в кузов, устроился там среди барахла, и машина плавно тронулась. Какое-то время Хвостик шла с нею рядом, сквозь приспущенное стекло Лилька поворачивала к ней зареванное лицо, потом машина выбралась на дорогу, вырулила и прибавила газу. Хвостик в последний раз на повороте увидела Лильку, и на миг ей показалось, что под напором встречного ветра, ударившего в лицо, как только грузовик прибавил в скорости, Лилька вздохнула легче, глубже, ноздри ее чутко вздрогнули.

И слезы, наверное, сразу высохли, подумала теперь женщина у окна, задним числом, спокойно, как будто отсюда, издалека прощала старую обиду.

А тогда повернулась, направилась было к Лилькиному дому. Но там чужой дядька, один из тех, кто помогал грузиться, деловито затворял ворота: это он купил дом у Лилькиных родителей. Хвостик там делать было нечего. Она поплелась домой, зажав в кулаке обрывок пропахшей махоркой газеты — как первое Лилькино письмо.

Каждый раз, когда она проезжает эту промежуточную станцию, в душе у нее на время поселяется, вернее, поднимается с каких-то спокойных глубин давно уже улегшееся, осевшее, а теперь взбаламученное, всплывшее на минуту щемящее, дальше, вспомнившееся чувство пустоты, сиротливости, с которым она переживала когда-то разлуку с Лилькой. Хоть и вспомнившееся, пожалуй, не совсем верно, ибо к вспомнившемуся добавляется что-то еще, новое. И теперь это чувство не то что острее, нет, но — богаче, если можно так сказать: к давно отболевшему уже расставанию с Лилькой примешивается, может быть, более свежее, незажившее, незаживающее в каждом из нас: разлука с детством, с домом, ощущение скоротечности нашей жизни.

Почему она так привязалась к Лильке с той минуты, как только увидела ее, легко, словно пушинку, снимаемую отцом с воза? Может, потому, что эта бережность, любовь, сквозившая в каждом движении Лилькиного отца, передалась и ей? К Лильке, крохотной и разряженной, только так и можно было относиться — с любовью. Она была игрушечной. Хвостик же с младых ногтей была натуральной. Ею не любовались, во всяком случае так открыто. Сколько она себя помнила, у нее всегда помимо забав и даже поверх них были заботы. Гонять кур с огорода — крылья им подрезали, чтоб не залетали куда не следует, и хохлатки удирали от Хвостика, треяща своими жалкими обрубками. Следить, чтобы в тазу для уток всегда была вода. Гонять в стадо Зорьку. Ее заботы подрастали вместе с нею. Живая, ветреная, беспривязная Лилька была беззаботна, как бабочка на лугу. Какая у бабочки забота? — найти цветок послаще. Никакого хозяйства они не держали: отец зарабатывал достаточно. К домашним же хлопотам она сызмала относилась брезгливо, и отец, похоже, эту брезгливость поощрял.

Отец снял ее с воза, поставил на ноги, и она шагнула к глазевшей на них Хвостик: «Давай поиграем». Как будто она никакая тут не приезжая. Как будто они давно знакомы. Как будто с нею все обязаны играть. И Хвостик, которой до сих пор приходилось самой упрасивать поиграть, была покорена.

...Врожденные болезни сердца у детей называют пороками сердца. От слова рок? Драмы детства болезненны, горьки еще и потому, что детство не в состоянии объяснить, истолковать их, оправдать некоей целесообразностью: ведь все решения, в том числе и те, следствием которых являются душевные потрясения детства, принимает не оно. Принимают взрослые — за него. Что ж, в этом смысле и все драмы детства — роковы е...

После отъезда Лильки Хвостик заболела странной болезнью. Ничего не болело, просто было на все наплевать. Стала совсем тихой и незаметной. Если продолжать аналогии из жизни букашек (теперь уже применительно к Хвостик), то напрашивается следующая. Перед лицом смертельной опасности букашка замирает, как бы перестает существовать, коченеет, пытается обмануть и боль, и опасность, и саму жизнь. Хвостик замерла. Перестала существовать. Опять стала плохо, безразлично учиться, опять встал вопрос об оставлении на второй год — теперь уже в третьем классе.

Хвостик часами рассматривала ту самую фотографию, сделанную когда-то в первом классе. Марью Васильевну закрывала пальцем: ей казалось, что так она устраняет преграду, разделяющую на карточке ее и Лильку. Палец был слишком тонок: Марья Васильевна лучилась по краям его, как солнце в солнечное затмение.

То ли отец первым понял причины дочкиной хворобы, то ли действительно так совпало, но на весенних каникулах он объявил, что едет в город Орджоникидзе за мебелью. Тогда было модно ездить за мебелью. Пузатые, тучные комоды, туманные, с поволокой зеркала — не настенные, а при тумбочках, на ножках, называемые новым, тоже завозным словом «трельяж»... Жизнь налаживалась, и эта «раздобытая» мебель полегоньку вытесняла колченогие табуреты и прабабкины сундуки. В числе привозной мебели числились даже этажерки. В отличие от других предметов они были утлы, хлипкие, казалось, не жилицы на этом свете, но именно они знаменовали грандиозный шаг в быту рядового труженика: это была мебель для книг.

Книги для мебели — до этого было еще далеко...

Когда отец объявил, что едет за мебелью в город Орджоникидзе, брат вскопчил с вопросом: «Когда едем?» Хвостик не вскакивала. Хвостик, наоборот, примерзла к стулу.

— Нет,— сказал отец,— Со мной поедет она.— И показал на дочку.

До Пятигорска доехали на автобусе. А на автобус от Пятигорска до Орджоникидзе опоздали. Ждать до утра не хотелось, и решили добираться на попутных. Вышли за город, встали у шоссе. Машин было немного. В конце концов попутная-таки попала. Но — грузовик с углем. Шофер развел руками:

— Двоих в кабину не возьму. Не положено: «газон»...

— Ничего,— не отступился отец.— Я наверх, а она в кабину.

Но Хвостик заупрямилась. Несправедливо как-то: она в тепле, а отец наверху, на ветру.

— Давай вместе в кузове...

Вместе так вместе. Если б это отец собирал, снаряжал ее в дорогу,— бантики, платице, пальтишко, платочек новый, ненадеванный,— он бы ни за что ее на уголь не посадил. Да что отцам до материнских хлопот! Кинул им шофер какое-то рядно, завернулся они

в него с головой и поехали. Март, солнце в их южных краях уже пригревало, примерялось, набираясь тепла, первой зеленью затягивались раскисшие обочины, но ветер был еще свежий, зябкий. Срываясь с кабины в кузов, наполовину засыпанный брикетированным углем, он кружился здесь, завивался вихрем, забираясь и под рядно, и под одежки. Поднятое ветром, курилось в кузове угольное крошево, и от него тоже не было спасения: забивалось во все щели, лезло в глаза, в уши, скрипело на зубах.

Ехали долго, продрогли до костей, когда машина, наконец, остановилась. Шофер высунулся из кабины, отец отвернул рядно.

— Какая улица? — спросил водитель. — Если по пути, подброшу.

Отец вытащил бумажку, назвал.

— По пути.

Дверца захлопнулась, машина снова тронулась. Хвостик ухотелось выбраться из-под мешка, поглазеть по сторонам, — сюда, в кузов, доносилась масса соблазнительных звуков, — но отец высовываться не разрешил: во-первых, холодно, во-вторых, возить людей, тем более малолетних, в кузове запрещено. Это тебе, брат, город, а не наша дыра, тут ухо надо держать востро, — по движениям отца Хвостик в темноте поняла, что тот полез в нагрудный карман, где у него лежали завернутые в платок и прищипленные к подкладке деньги...

Машина еще раз затормозила, и Хвостик, не дожидаясь команды, вскочила на ноги. И первой, кого она увидела, была Лилька.

Машина остановилась перед домом, в палисаднике которого уже цвели первые цветы, — все-таки здесь было еще теплее, чем в их городе, — нарциссы, застывшие, словно заспиртованные вечерующим весенним воздухом. И на их фоне — такие же весенние, такие же красивые, только живые, возбужденные девчонки. Они скакали через веревочку. Прыгала Лилька, а подружки ее — ясное дело, подружки! — крутили веревку. Лилька наверняка перепрыгала всех, она была в ударе, смуглое личико ее сияло, атласные банты трепетали, как стрекозиные крылышки.

— Роза! Береза! Мак! Роза! Береза! Мак! — звонко командовала она сама себе.

Она и тут была самой нарядной, самой весенней. Она тоже заметила Хвостика, но еще продолжала по инерции прыгать и смеялась. Хвостик взглянула на отца и все поняла. Они были чумазы, как трубочисты — одни глаза да зубы блестя. «Анчутки!» — всплеснула бы руками мать.

Стыд и обида на мгновение захлестнули Хвостика. Лилька, похоже, и без нее счастлива. И отчуждение к ней, и злая ревность к этим, н о в о я в л е н н ы м, разряженным фуфырам — все мгновенно, залпом, пережила Хвостик. И все-таки через минуту забыла — так яростно, тоже залпом, рванулась через мгновение из-под веревки Лилька, взлетела в кузов, плюя на уголь, на Хвостикову чумазость, на свое кремовое, с китайскими фонариками на рукавах платье, а главное — на тех, н о в о я в л е н н ы х, и обхватила Хвостика, и закружила, и зацеловала...

Потом были пять прекрасных дней, которые нет-нет да и всплывают в памяти в этой взрослой маятной жизни. Собственно, и не дни вспоминаются, их содержания она, пожалуй, уже и не помнит. Сейчас она может лишь более или менее точно предположить или, как нынче модно говорить, «вычислить» его, исходя из тогдашней ситуации, возраста, времени года. Запомнилось ощущение этих дней, оно порой навещает ее, довеивает до нее, сегодняшней. Так слабующим, уже на взлете, порывом полуденного ветра доносит, д о д ы х и в а е т из степи теплый запах зреющих хлебов.

Запахи, говорят, память удерживает крепче всего. У этих пяти дней запах нарождающейся, набирающей разбег весны, зелени — да-

же ветки у деревьев стали иные: у одних почернели, набухли влажной, тинной, скользкой чернотой, у других, наоборот, зарозовели, словно не сок под корою, а марганцовка. Запах цветов, солнца и чистоты — отцы вместе с Лилькиной матерью ездили по городу в поисках мебели, а девочки намывали полы, взбивали подушки, застилали кровати вышивками, вылизывали, как они выражались, комнаты, раскрывали окна, впуская солнце: как будто для него и холили новые Лилькины хоромы, и оно вместе с ними шлепало по выскобленному полу босыми розовыми пятками.

Лилька полотерничала с Хвостиком на равных, хотя в другое время, говорят, не бралась за холодную воду. А тут настроение появилось, азарт. Единственное, чего не любила, так это трести половики. Пыльная работа! Хвостик единолично выставлялась за порог с ворохом пестрых плетеных дорожек. И ничего: трясла без обиды, с нежностью различая за стенами, в доме, Лилькины — за мытьем полов — хриповатые вокализы:

Эти глаза напро-огив...

Потом сидели за накрытым скатертью столом, пили чай, болтали, вдыхая робкий, почти неуловимый запах незабудок, букетик которых стоял в хрустальной рюмке здесь же, на столе. Незабудки оживляли окружающую их чистоту, как оживляет белье щепоть синьки, брошенная при полоскании в корыто, — высушенное, выглаженное, оно кажется свежее, живее. Или шли на улицу, медленно, под ручку прогуливались по узенькому и тоже как бы выскобленному тротуару. Хвостик любила гулять с Лилькой по улице. Она и здесь владела ею одна, а новые явленные лишь здоровались издали, из своих палисадников.

Приезжала и Лилька к ней погостить. Последний раз приехала после восьмого класса. Хвостик ахнула: Лилька была на голову выше ее, волосы ее, раньше непослушные, жесткие, вившиеся мелкими пружинистыми кольцами, — даже банты не могли стреножить их надолго, не держались, слетали, как бабочки с верблюжьей колючки, — теперь эти волосы как будто помягчели, перебесились, по-кошачьи выгнулись на одно плечо, на грудь (у себя Хвостик только только нащупывала ее тайно и пугливо), ластились к Лилькиной щеке, к Лильке, и она тоже то и дело трогала их длинными гибкими пальцами, гладила, нежила. Хвостик растерянно заметила, как краснеет в Лилькином присутствии Батя, совсем уже парень, работавший на заводе учеником слесаря. Смущается, а сам так и норовит оказаться там, где Лилька. И все как будто бы случайно, вроде по делу сюда шел и невзначай наткнулся на них. На нее — он, похоже, и рад был бы, если бы Хвостика — вечного Хвостика! — тут хоть раз не оказалось. Если бы она провалилась.

Лилька сразу усекла, как он смущается, завидев ее. Ей это даже нравилось. Нравилось командовать им. Лениво так, чуть ли не с зевотой:

— Бать, принес бы семечек...

И тот, кинув недовольный взгляд на сестру (можно подумать, что это она ему приказывает!), послушно шел в летнюю кухню.

Батя сам стал Хвостиком. Какой позор!

Ей было неловко за брата и даже обидно за него, и даже досада брала на Лильку — играет с ним, как кошка с мышкой! — и ревность, свернувшаяся было клубочком, вновь зашевелилась в душе.

Ревновала Лильку к брату? Или брата к Лильке?

Хвостик предпочитала не разбираться в этом. Да в этом и невозможно было разобрататься. Лилька была рядом, они даже спали, как в детстве, на одной кровати, затевая иногда в постели шумные дурашливые свалки (уже в длинных ночных рубашках, с распущен-

ными волосами; Батя, который, конечно же, слышал их возню, замирал на своей половине)... Все было так, но Хвостик впервые при Лильке, а не в разлуке с нею, почувствовала себя неприкаянной. Оставленной. Остающейся. Она оставалась, а Лилька отбывала в неизвестность, к чему-то новому, недавно объявившемуся, но уже привлекавшему ее значительно сильнее, зазывнее, чем Хвостик.

Куда как зазывнее! Не будь рядом бдительного Хвостика, она, глядишь, и шмыгнула б разок за дверь, на другую половину... И об этом женщина впервые подумала только сейчас, в пути, много лет спустя, в праздном парении. И мысль эта не показалась кощунственной...

А потом они потерялись. Лилька уехала в Нальчик, поступила в медучилище. Выскочила замуж, перевелась куда-то вместе с мужем. Потом развелась, и опять выскочила, и опять переехала. Родители колесили следом. Похоже, что в их перелетном семействе роль вожака, беспокойного и своенравного, переместилась от отца к Лильке. Она взлетала, ничем кроме чемодана и нового мужа не обремененная, а за нею — со вздохами, со скарбом, с Лилькиным выводком — поднимались родители.

Промежуточная станция — ключ к Лильке. Лилька — ключ к целой жизни, ее жизни, женщины у окна. Женщина еще в пути, она только подъезжает к этой станции, а заглохшая, оттесненная с годами привязанность и все, что стоит за нею, все, что отмыкается этим золотым ключиком — Л и л ь к о й, — вспыхивает с прежней, отроческой силой. И вглядываясь в людей на перроне, в обожженные солнцем черепичные крыши, в поникшую, обморочную зелень, она терзает и корит себя за неблагодарность, забывчивость и дает страшные отроческие клятвы, что как только приедет домой, в Москву, так сразу же сядет и напишет Лильке письмо. Найдет, дозвется.

Но чем ближе подходит поезд к Москве, тем глуше эти мысли. Она понемногу успокаивается, и тут, на стыке настроений, новая, сегодняшняя жизнь (а ведь наиболее нашим нам и кажется сегодняшнее, сиюминутное) властно требует ее к себе. Возвращает. Приземляет. Одеть варваров, привести их в божеский вид. Собственно говоря, Санька и отрывает ее от окна, дергает за рукав. Варвар Санька все умеет делать сам, он только требует, чтобы в вагонном клозете с ним непременно была мать, сам он там боится, а отца и старших братьев Санька почему-то стесняется. Не может выказать перед ними такую слабость. Со слабостью — к матери, потихонечку, украдкой... Успеть вытащить все из купе, ничего не забыть! — они накупили, а она теперь за все это переживает. Схватить носильщика. Занять очередь на такси. Доехать домой, войти в квартиру, убедиться, что их не залили, что они, по всей видимости, тоже не залили, что гарнитур «Клеопатра», слава богу, не вынесен, что... И — засучить рукава!

— Пыли-то, пыли-то, господи! — То ли с восторгом, то ли с бешенством. Мужу: — Не стой, как светофор. В магазин!

Варварам... Впрочем, варваров в квартире уже нет: они уже во дворе, гоняют с ребятней, визжа, цепляясь и обнюхивая друг друга, как щенки после разлуки.

И — вперед! И — поехали. Не ее везут, теперь она везет. А если и вспомнит клятвы или нечто связанное с ними, то разве что ночью, во сне, или, наоборот, — без сна, или между делом, мимоходом. Мимобегом. Вспомнит и улыбнется.

Что таится за этой улыбкой, которую нет-нет да и встретишь, подсмотришь: в метро ли, в магазине, за конторским столом?..

АРКАДИЙ САХНИН

★

НЕОТВРАТИМОСТЬ

Повесть

1

Заседание бюро обкома партии проходило бурно. Заканчивалось в полном молчании. За массивным, во всю длину зала, столом вокруг которого собралось человек тридцать, царила противоестественная тишина. Одни смотрели вниз, точно боясь поднять голову, другие как бы украдкой поглядывали на покрасневшее от возбуждения лицо совершенно растерянного человека. Он озирался, и глаза его, полные отчаяния, останавливались то на одном, то на другом, будто моля о помощи.

Но каждый, на кого бы он ни смотрел, отводил взгляд.

Люди молчали.

— Но это же чудовищное недоразумение,— проговорил он наконец, едва произнося слова.— Наваждение какое-то...

Поднялся первый секретарь обкома Владимир Михайлович Званов. Сказал спокойно и твердо:

— Еще раз прошу вас сдать партийный билет. Вы видели — решение принято единогласно.— И обернулся в сторону председателя парткомиссии: — Товарищ Чугунов...

Чугунов подошел к исключенному, и тот медленно достал из бокового кармана бумажник. Медленно вытащил партбилет.

Маленькая книжечка в сафьяновой обложке. Никогда не приходило в голову рассматривать ее. Хранить — да, хранил бережно, в служебном сейфе. Когда надо было идти в обком или другие партийные органы, брал с собой и предъявлял у входа не раскрывая. Платя взносы, тоже не рассматривал ее, секретарь парторганизации сам находил нужную страничку, проставлял сумму заработка за месяц, сумму взноса, расписывался и ставил маленький фиолетовый штампик. Каждый месяц — штампик. На каждой страничке двенадцать штампиков. Каждая страничка — год. Год жизни.

Он листает странички. Год за годом перед глазами проходит жизнь. Сколько же секретарей сменилось за последнее десятилетие? И суммы заработка... Нет, это не бухгалтерские цифры. По ним видно, какие должности на протяжении многих лет он занимал, видно, как поднимался на новые высоты. И вот — последняя. Последняя высота. Взглянуть — голова закружится. Как не сознавал этого раньше... И страничка последняя. Последняя заполненная. А дальше — свободные, чистые, только разграфленные: «Сумма заработка за месяц», «Сумма взноса», «Подпись секретаря» и двенадцать чистых строчек. Никто больше не станет их заполнять, никто не поставит штампа...

Он листает чистые странички. Вот и чистые кончились. Дальше — обложка. Больше ничего нет. Кончился партбилет. Кончилась жизнь...

Точно не решаясь потревожить человека в столь трагическую минуту и все-таки поторапливая его, Чугунов кашлянул. А тот, на мгновение подняв ничего не видящие глаза, снова уставился в партбилет, начал медленно извлекать его из сафьяновой обложки.

Едва ли дорожил ею, скорее помимо воли тянул время. Не было мочи так просто взять и своими руками отдать партийный билет. Отдать навсегда. Кто-то перечеркнет черной тушью первую страничку, линия пройдет и через его лицо на фотографии, и поставят последний штамп. Большой жирный штамп: «Аннулирован». Это он аннулирован, перечеркнут, вычеркнут из жизни. Точно так аннулируется партийный билет, когда человек умирает.

И в гнетущем безмолвии зала в полную силу загредел голос, только что звучавший так беспомощно и жалко. Вскинув голову, уставившись на секретаря обкома, выкрикнул:

— А вы мне его давали?! — Кровь прилила к лицу, вздулись на шее жилы, заходили желваки. Гневом засверкали глаза. — Вы мне его давали, я спрашиваю! Я в бою его получил, кровью своей оплатил! Не отдам!

2

Кто может угадать, когда над головой нависнет беда? Сергей Александрович Крылов приехал в крупный областной центр Лучанск в отличном настроении. Запер свой маленький чемодан в камере хранения, набрав на цифровом замке номер своего автомобиля — зачем придумывать, записывать или, того хуже, держать в голове цифры, если только один раз в жизни они и потребуются.

Вышел на вокзальную площадь и зашагал широко, размашисто. У него крупное, грубоватое лицо, изрядное место отвоевала себе седина в его красивых, волнами волосах, но крепок, подтянут, строен. И не скажешь, что далеко не молод человек, что в теле его три осколка, а на ногах глубокие рваные шрамы, оставленные войной.

Инженер-механик по образованию, он ни одного дня не работал по специальности. В тридцатые годы учился в индустриальном институте. Ему это было неинтересно. Учиться там престижно, потому и поступил. Гуманитарные профессии в ту пору не почитались, да и не очень они его прельщали. Он сам не знал, чего хотел. Ничего не хотел.

Стипендии на жизнь не хватало. Отца не было, и помощи ждать было неоткуда. Некоторые студенты с его курса подрабатывали в железнодорожных пакагаузах, таская тяжелые мешки. Это ему не подходило. Наиболее предприимчивые однокашники нашли заработок на кондитерской фабрике — грузили ящики с печеньем. Работа полегче, да и выгодней. Выносить печенье не удавалось, зато наедались им до тошноты. Он не оказался в числе предприимчивых. Посчастливилось устроиться на подсобные работы в редакции отраслевой газеты. Посчастливилось... Уж лучше бы таскать мешки... Проверь, действительно ли в таком-то общежитии непролазная грязь... Поезжай на завод, установи, за что уволили счетовода... Узнай, почему трамвай сошел с рельсов...

Проверь, установи, узнай, сверь цитаты, а этот, как барин, сядет и по готовому материалу напишет статью. Как же, известный журналист... черновой работой брезгует, да еще и издевается: «Как отчество Татьяны Лариной?» Откуда ему знать, как ее отчество! Пушкин называл только Татьяной, иногда прибавлял фамилию. И ни разу по отчеству.

Разыгрывали его часто, а он совершенно не мог держать удар, не знал, как отвечать, обижался. Обиды накапливались. Даже некоторые задания стали казаться обидными, чуть ли не унижительными... Ну, ничего, настанет и его время... Какое время? Что настанет? Настанет, и все. Он глубоко в это верил.

Написать заметку ему никто не поручал. Однажды увидел, как грубо оскорбили старую женщину, и решил выступить в ее защиту. Писал долго, стараясь представить себя на месте пострадавшей, все полнее ощущая ее боль и беспомощность, и это уже становилось его собственной болью, его личным оскорблением, щемящим сердце. Он словно изливал негодование за свои собственные унижения, какими казались ему многие задания редакции и невинные розыгрыши.

В заметке не было громких слов, казалось, написана она бесстрастно, но так, что вызывала гнев читателей против нравственных уроков. Ее опубликовали без правки и сокращений и высоко оценили на редакционной летучке.

В тот день впервые в жизни он испытал счастье. Целую неделю, приходя в студенческое общежитие, доставал из тумбочки газету, настроенно поглядывая на дверь — как бы не вошел кто-либо из ребят, и любовался заметкой, подолгу останавливал взгляд на своей фамилии, набранной жирным шрифтом.

Заметка изменила его жизнь. Будто после мокрой и скользкой глинистой дороги выбрался на асфальт. Еще любясь первым своим творением, думал о новом, искал тему. Теперь поручения редакции не казались обидными, хотя по-прежнему интереса не вызывали. Ну что ж, таскать мешки тоже радости мало. Но что поделаешь — надо. Откуда что взялось — на подковырки газетных острословов находил достойный ответ, и уже не всякий решался подшучивать над ним. Вскоре появилось его второе, тоже заметное, выступление в газете.

Так началась его журналистская жизнь. Институт заканчивал экстерном, уже числясь в штате редакции, и на всю жизнь остался верен своей новой профессии, за исключением небольшого периода в самом начале войны.

В ту пору двадцатипятилетний, но уже с определенным опытом, он работал в ТАССе. В армию его не взяли — выдали броню. И вот однажды срочно вызвали в райком партии. Кроме первого секретаря райкома в кабинете находился незнакомый человек в железнодорожной форме. После первых ничего не значащих слов о том, как идут дела, хозяин кабинета спросил Крылова, кто он по профессии. Вопрос удивил. Секретарь райкома хорошо знал его, знал, где и кем работает. К чему этот вопрос?

— Журналист... — растерянно сказал Крылов, — но по образованию...

— Нет, — прервал секретарь, — до института кем вы работали?

— Слесарем в депо, потом на паровозе...

— Вот-вот, — снова не дал ему договорить секретарь. — Понимаете, в Западном депо не хватает помощников машиниста, некому снаряды возить...

Крылов с облегчением вздохнул. Это хоть как-то смягчало угрызения совести: молодой, здоровый, сильный ворошиловский стрелок сидит за письменным столом в огромном здании, где почти не осталось молодежи, среди женщин, стариков и инвалидов, когда идет война.

Оставив записку главному редактору, он ушел в депо. Не станут же считать его дезертиром.

Три месяца, часто под бомбежками, водил поезд с военной техникой, боеприпасами и войсками. А потом прибыли из Белоруссии эвакуированные паровозники, и нужда в нем отпала. Пошел в военкомат. Сказали, взять не могут, поскольку на него броня. Ему ничего не оставалось как вернуться на прежнее место работы. По дороге домой случайно встретил бывшего ответственного секретаря редакции отраслевой газеты, где начинал еще студентом, а ныне редактора фронтовой газеты, и тот забрал его в свою редакцию, надлежащим образом все оформив через военкомат.

С тех пор прошло больше трех десятилетий. Теперь номера газет, где печатались выступления Крылова, переходили из рук в руки,

вызывали горячие споры, не утихавшие по нескольку дней, порой оставляли след на годы. Ему не раз приходилось писать о людских пороках, он получал удовлетворение, развенчивая недостойных, но подлинную радость обретал, лишь раскрывая характеры сильные, цельные, показывая людей мужественных и талантливых.

К одному из таких людей Сергей Александрович и приехал в Лучанск. Написать о нем, вернее, о таком человеке, предложил сам.

Каждый раз, когда предстояло выпустить газету, посвященную знаменательной дате, главный редактор Герман Трофимович Удалов собирал сотрудников, которых как-то в шутку назвал мозговым центром. Выражение прижилось, к нему привыкли, и оно уже не воспринималось иронически. На совещания мозгового центра приглашались сотрудники газеты не в зависимости от рангов или занимаемых должностей, а только особо инициативные, способные к выдумке, дававшие волю полету своей фантазии.

Решался там всегда только один вопрос — как лучше, оригинальнее, интереснее выпустить данный номер газеты. Совещание не имело распорядка, регламента, не велся протокол, и разговор шел, как кто-то выразился, «в порядке бреда». Каждый говорил то, что приходило в голову. Даже самые нелепые предложения не осуждались, не высмеивались, их просто отвергали.

На последнем совещании мозгового центра, посвященном Дню Победы, Крылов предложил рассказать о герое войны, прежде человеке ничем не примечательном, но в боях проявившем не только мужество, но и изобретательность, незаурядные способности и талант организатора. Показать, как эти качества, раскрывшиеся в боевой обстановке, получили дальнейшее развитие на ответственном руководящем посту, который доверен ему сегодня.

Предложение приняли.

Начальник одного из крупнейших в стране главков Артем Савельевич Ремизов, к которому обратился Крылов, назвал кандидатуру в высшей степени подходящую. Непревзойденного героизма командир танкового взвода громил живую силу и технику врага, порой врываясь в его тылы. В одном из боев попал в окружение. Ему удалось скрыться в глухом лесу на оккупированной территории. Вскоре организовал партизанский отряд и снова громил врага. В настоящее время — генеральный директор крупного производственного объединения, из года в год перевыполняющего планы.

О лучшей кандидатуре и не мечталось. Именно о таком человеке хотелось написать, тем более человеку с такой фамилией.

Крылов придавал значение фамилии. Хорошо понимал абсурдность этого, тем не менее порой ему даже трудно было писать о герое, если у того была, как он выражался, сюсюкающая или рыхлая фамилия.

А тут сразу — Гулыга! Петр Елизарович Гулыга. Нет, не может иметь такую фамилию хлюпик или трус. Что-то мужественное, решительное почувствовал в ней Крылов.

И вот сейчас ему предстояло встретиться с Гулыгой. Каков он? Собственно говоря, Сергей Александрович уже довольно много о нем знал. По давно укоренившейся привычке беседовал с героем будущего очерка в последнюю очередь, уже после того, как заканчивал сбор материалов о нем. Так и поступил. Прежде всего отправился в места, где когда-то партизанил Гулыга. А приехав в районный центр Липань, с благодарностью вспомнил слова Ремизова: «Человек очень скромный и ничего вам о себе не расскажет. Советую побывать в районном Музее боевой славы. А данные о его сегодняшней работе получите у нас».

Действительно, в липаньском музее была довольно широко отражена деятельность Петра Елизаровича во время войны. Здесь же

экспонировалась книга его воспоминаний. Крылов с опаской прикоснулся к первым страницам — боялся разбить уже сложившийся в душе образ человека о его авторское «я», отлитое из словесной бронзы. Но, слава богу, автор провел Сергея Александровича по своим военным дорогам достойно, не опускаясь до мелкой человеческой слабости, даже наоборот, пряча свою главенствующую роль в танковых атаках и позднее в дерзких партизанских вылазках. Но, помимо воли автора, в сознании все-таки возникал и его героический облик.

В Крылове сочетались два, казалось бы, несовместимых качества. Будучи человеком широким, не очень организованным, порой бесшабашным, а главное, доверчивым, он, когда собирался писать о ком-то, становился до мелочей скрупулезным и придирчивым. Точно не веря самому себе, каждый факт, каждую деталь проверял по нескольку раз, пользуясь разными источниками.

Уже досконально зная биографию Петра Елизаровича, пошел в райком партии, спросил, нет ли у районного комитета возражений против публикации очерка о Гулыге. Первый секретарь райкома Степан Андреевич Исаев победно взглянул на него:

— На таких, как Гулыга, земля наша держится. Давно пора.

В самом лучшем настроении Крылов и приехал в Лучанск. Предстоящей встрече он придавал большое значение. В голове уже выстраивался очерк, но чего-то не хватало. Личного обаяния героя, что ли.

3

Как и в каждом городе, куда попадал впервые, с вокзала пошел пешком. Для апреля было холодновато, хотя и солнечно. Шел без головного убора, с расстегнутым воротом, любуясь красивыми магистралями и многоэтажными домами. Похоже, весь город был новым. Так и подумал бы Сергей Александрович, не знай он, что стоит на Руси тот город уже столетия. Видно, не много от него осталось после войны.

Пешеходы, одетые уже легко, по-весеннему, торопились на работу. Один за другим подходили автобусы и троллейбусы, поглощая на остановках пассажиров. Разворачивался на площади огромный «Икарус». «Наверное, за ними», — подумал Крылов, глядя на большую группу туристов у гостиницы «Центральная».

Сергей Александрович, ориентируясь по карте города, купленной на вокзале, без труда отыскал нужную улицу и большое здание управления. Он страшно не любил останавливать пешеходов и лезть к ним с расспросами.

В просторной приемной сидело несколько человек. За столом у входа в кабинет Гулыги — респектабельная секретарша.

К секретаршам у Крылова было свое отношение — настороженное, недоверчивое. Порой бездумно, точно щитом прикрывают они своих шефов, ограждая их от посетителей и телефонов. Неприступный вид, непроницаемое лицо, холодные глаза: «Занят... не скоро... не знаю... звоните». Набор одинаковых фраз на все случаи жизни. Таковую не проймут ни просьбы, ни мольбы, ни угрозы. Первая мысль, которая овладевает ею при виде посетителя, — как бы побыстрее от него избавиться.

Насмотрелся Крылов на таких секретарш, ох как насмотрелся. Знал он и другое. Умная, добросовестная секретарша без ущерба для дела и интересов людей неизмеримо облегчает работу руководителя. По первым же фразам посетителя безошибочно определит, с кем имеет дело. Этот — просто сутяга, и надо выставить его немедленно. У второго — вопрос пустяковый, вполне может решить не только шеф, а вот у этого действительно важное дело, и надо улучить минуту, точно определить, когда удобнее руководителю принять его.

Ответив на приветствие Крылова, секретарша — звали ее Анна Константиновна — окинула его оценивающим взглядом.

- Петр Елизарович у себя?
- Да, но сейчас он занят. Вы по какому вопросу?
- Как вам сказать?.. Много у меня вопросов.
- Возможно, проще непосредственно к исполнителю или..
- Нет, лично к нему.

Раздался негромкий звонок.

— Извините, минутку,— и чуть приоткрыв дверь кабинета, скрылась за ней. А он не привык стоять перед закрытой дверью. Решительно распахнул ее, уверенно шагнул.

Просторный, строго обставленный кабинет. Вдоль стен и за длинным столом заседаний — стулья.

Гульге лет шестьдесят, довольно солидная комплекция. Умное, волевое лицо, добрые глаза. Крылов вошел в тот момент, когда раздался телефонный звонок, и Гульга, не обратив на него внимания, поднял трубку:

— Слушаю.

Анна Константиновна, возмущенно взглянув на Крылова, быстро направилась навстречу. А он так и остался стоять у двери и, выслушав упреки и ее просьбу покинуть кабинет, ничего не ответив, сел на ближайший стул — никуда я отсюда не пойду. Она продолжала что-то говорить шепотом, но Крылов не слушал ее.

— Как же так! — строго выговаривал кому-то Гульга. — Три года Чумаков обивает у вас пороги, а вы хоть бы что. Вы же обязаны сделать у него ремонт... А ему фонды спускали, когда он замерзал в партизанских лесах? — горячился генеральный директор. — А выделяли ему дополнительные фонды крови, когда он проливал ее за родину? А вы... Эх вы, какой-то несчастный десяток досок... Тем более, если развалюха. Да как вы не понимаете, черт возьми, — резко повернулся он на стуле. — Ветеран войны, партизан — и в развалюхе. Да это же не ремонтно-строительный вопрос — политический. Когда вы наконец поймете это!.. Понятно... — Голос стал спокойным, мягким. — Понятно... А как с моей пристройкой?

Крылов с интересом слушал, сидя у двери. Потеряв надежду выставить его и лишняя возможности апеллировать к кому-либо, точно страж, встала возле него секретарша.

— Понятно... — еще раз протянул Гульга безразличным тоном. И вдруг загремел: — Так вот! Обе бригады посылайте с утра не ко мне, а к Чумакову. А сегодня, вы меня слышите, сегодня все материалы до последнего кирпича, до последней доски перевезите с моего участка к нему. Чтобы, как вы выражаетесь, фронт работ был обеспечен с утра. Ясно? И пока не закончите ремонт у Чумакова, вы слышите, пока не уберут у него строительный мусор — ни одного человека ко мне. Ясно? — И в сердцах бросил трубку: — Подхалимы несчастные, бюрократы проклятые...

— Петр Елизарович! — Анна Константиновна развела ладонями вверх руки, указывая на гостя. — Ворвался... без разрешения...

Петр Елизарович как будто только сейчас увидел посетителя.

— Вы что, товарищ?

Крылов торжествовал. Вот оно — начало очерка. Стенографически точно передать этот разговор! Он дал ему, может быть, больше, чем все ранее собранные о Гульге материалы. Никаких эпитетов — «чуткий к чужим нуждам, отзывчивый, скромный, все для простых людей в ущерб себе» — ничего этого можно не писать. Читатель все сам увидит из одного эпизода. Даже не будь у человека такой героической биографии, Крылов потянулся бы написать о нем, только услышав подобный разговор. Нет, не на каждом шагу попадаются такие люди.

Может быть, восторженные мысли Крылова отразились на его лице, возможно, что-то подкупающее увидел в нем Гульга, только на очередной протестующий жест секретарши мягко сказал:

— Не будем терять времени, я вас потом приглашу.— И обернувшись к Крылову, улыбнулся: — Так что у вас, товарищ?

Анна Константиновна недовольно покинула кабинет.

— Я лично к вам, Петр Елизарович,— направился он к столу.— Журналист. Крылов моя фамилия, Сергей Александрович...

— Крылов? Это не ваша ли статья «Обыкновенное головотяпство»? Теперь нас громить приехали? — и он улыбнулся.

— Ну, так уж сразу громить... А вдруг прославляют?

— Давно пора... садитесь, что же вы стоите... А то все о металлургах, шахтерах, машиностроителях. Понимаю, группа «А», важнейшие отрасли. Ну а сахар? Это же валюта. Что он — с неба валится или вот так сыплется? — показал он на тумбочку, стоящую в углу. На ней — огромный, в мелкой резьбе хрустальный рог, из которого сыплются кусочки «сахара». — Много у нас достойных, даже героических тружеников. Выбирайте, могу подсказать.

— Уже выбрал, о вас писать буду.

— Обо мне? — удивился Гулыга и неожиданно рассмеялся. — Нет уж, избавьте. Мы что? Чиновники. Прославлять надо рабочего человека, людей, создающих ценности.

— Верно, конечно,— согласился Крылов,— но ко Дню Победы редакция решила рассказать о подвигах ветерана войны, который занимает сейчас крупный пост и хорошо ведет дело.

— Интересная мысль. У нас полтора десятка заводов и совхозов, есть среди директоров предприятий и фронтовики, отлично работающие сегодня. Вот подойдите сюда,— отодвинув бумаги, показал на какой-то список, лежавший под стеклом. — Вот они все здесь перечислены, давайте выбирать...

— Нет уж, не будем подвергать сомнениям рекомендацию начальника главка товарища Ремизова и решение нашего главного редактора. Остановились на вас, и сам я ничего не могу уже изменить.

Гулыга хотел что-то сказать, но Крылов опередил его:

— Не надо скромничать, Петр Елизарович. Вы геройски воевали в танковых войсках, организовали подполье, командовали партизанским отрядом... О ком писать, как не о вас... И потом, не обижайтесь, пожалуйста, не ради вас же это делается. Пусть наша молодежь учится, берет пример.

Три долгих вечера Крылов провел в беседах с Гулыгой. Ремизов оказался прав — почти ничего о себе Петр Елизарович не рассказывал. Говорил о достижениях предприятий объединения, о передовых людях, о подвигах своих военных соратников, в большинстве погибших. Поведал и горькую историю предательства одного из своих односельчан.

Крылову уже было почти безразлично, добавит он новые факты к биографии или нет, фактов и так хватало с лихвой. Важно было, как он говорит, как ведет себя. И здесь душа журналиста радовалась. Обаятельнейший человек, удивительной скромности, такта. Никогда еще Крылов так легко не работал — ночью в поезде вдруг «проговорил» про себя весь очерк. Каждое слово — нужное, живое — словно впечатывалось в память. Утром, переступив порог своего дома и отбыв ряд мелких жизненных повинностей — завтрак, телефонные звонки, разговор с женой, уселся наконец за машинку.

Очерк о Гулыге был дорог Крылову. Пока писал — будто сам прожил героическую жизнь.

Публикация биографии героя стала фактом его собственной биографии, ибо не только он сам, но, что важнее, собратья по перу считали очерк лучшим его произведением.

Неделя до выхода праздничного номера в свет пролетела в нервном напряжении — тщательно вычитывал гранки, сам определил место на полосе в макете, радовался, что ответственный секретарь согла-

сился с ним. «Не знаю,— отвечала на телефонные звонки жена,— или в редакции, или в сумасшедшем доме».

Обычно, когда верстается полоса, где стоит материал Крылова, он не отходит от талера, пока она не уйдет под пресс на матрицирование. Все. Никто уже никакой правки внести не сможет. Он не опасался, что его будут править, давно миновало то время, когда в отделе, секретариате, редакторате могли изменить без его ведома хоть слово. Но он хорошо знал технологический процесс.

«На третьей полосе — хвост двенадцать строк», «На пятой полосе — два хвоста...» — то и дело слышатся выкрики метранпажа. Концовки не влезających в полосу материалов «вывешиваются» на ее полях. Обязанность дежурного редактора в частности — сократить соответствующее количество строк. И тут уж он делает это по своему усмотрению. Согласовывать с отделом, а тем более с автором нет времени. И чаще всего для простоты концовка и сокращается. Но когда у талера Крылов, он сам находит, что именно вычеркнуть с наименьшим ущербом для статьи.

Правда, к талеру рядового литсотрудника не допустят, это привилегия маститых. Что касается очерка о Гулыге, то Крылов провожал его не только до талера.

Решил дождаться выхода номера. Удивительное дело — статья, очерк, любой материал, написанный от руки,— это одно, но напечатанный на машинке он воспринимается уже по-другому, он же в гранках или верстке как бы обретает новую силу, а уж в вышедшем номере газеты — будто обнажил себя.

Крылов стоял у ротационной машины, любясь ее работой. Она втягивает в себя широкую ленту газетной бумаги, разматывая рулон, видно, как, складываясь, тянется между барабанами, и вот уже вылетают сложенные, автоматически подсчитанные газеты, укладываясь в пачки, которые уносит лента транспортера.

Не стесняясь печатников, Сергей Александрович выхватил перед счетчиком газету, раскрыл и посмотрел на свое детище. На его лице была радость.

4

Дитриху Грюнеру было семнадцать лет, когда его взяли в армию и послали на фронт. Воевать почти не пришлось — весь их полк был разгромлен под Смоленском, а сам он попал в плен. Два года находился в Советском Союзе.

Спустя много лет, на конгрессе Международной организации журналистов, проходившем в Берлине, он познакомился с Крыловым. Грюнер, работавший тогда в дрезденской газете, возглавлял делегацию ГДР, а Крылов — советскую. Их номера в гостинице были рядом, обедали и ужинали они за одним столом. Грюнер прилично знал русский язык, но дело не в языке. Хотел того или нет Сергей Александрович, но где-то в сознании или подсознании шевелилось, скреблось: он вполне мог в меня стрелять или даже убить. Да, это было не в сознании — разумом он понимал: нелепо, дико в чем-то обвинять Дитриха Грюнера или относиться к нему с недоверием. Член коммунистической партии, отличный журналист-международник, он раскапывал и публиковал все новые факты, раскрывающие существо фашизма. Но это был первый приезд Крылова в страну, где его окружали только немцы. Войну он закончил в Кенигсберге и до центра Германии не дошел.

Как-то за ужином один из членов делегации ГДР, тоже побывавший в плену, сказал Крылову:

— Вы вели очень умную и дальновидную политику, ваша тактика оказалась правильной. Создавая хорошие условия для пленных немцев, вы готовили себе сторонников. Каждый пленный впоследствии становился вашим агитатором. А пленных были миллионы. Теперь

все бывшие пленные в Западной Германии, а тем более в ГДР — ваши надежные друзья.

— Ты есть прав, Ганс,— вмешался Дитрих.— Я тоже имел замечать: все, кто немножко жил в России, также узнавал ее, образовались самые верные ей друзья. Только это есть не политика,— положил он руку на плечо Ганса.— И не есть тактика. Гуманизм к человеку есть существо строя, из которого он состоит, как есть существо фашизма его злободеняния.

— Ничего не могу добавить,— улыбнулся Крылов. Он не сказал, только подумал: «Умный и глубокий человек». Крылов повторил эту фразу про себя, аплодируя Грюнеру после его страстного выступления на конгрессе.

Они стали друзьями. Во время командировок встречались и в Москве и в Берлине, помогая друг другу в работе.

Спустя месяца три после публикации очерка о Гульге Крылов получил задание написать о подвиге бывшего шахтера Петра Максимчука, проходившего военную службу в Группе советских войск в Германии, ценою собственной жизни спасшего от гибели немецкую школьницу. В помощь Крылову был выделен молодой сотрудник редакции, выпускник Института международных отношений Константин Упин, хорошо знавший немецкий язык.

В чистеньком зеленом городке они в подробностях узнали историю, которая до сих пор волновала жителей. В тот праздничный день, два месяца назад, красивое озеро, окруженное деревьями и кустарниками, находившееся почти в центре города, было заполнено людьми. Лодки, шлюпки, парусники скользили по воде, играла музыка. Пятнадцатилетняя Карола Феттер вместе со школьным товарищем каталась на байдарке. Слишком поздно они заметили запрещающий знак, который устанавливается на бугорке в те часы, когда открывается шлюз на плотине. Рванули весла, но вразнобой, и байдарка перевернулась. Парню удалось выплыть, а Каролу затянул поток. Вода падала с высоты трех метров, образуя водоворот.

Петр Максимчук, вместе с двумя товарищами получивший в тот день увольнение в город, шел по плотине. Петр первым услышал позади отчаянный крик и, бросившись назад, увидел, что произошло. Раздеваться было некогда. Он прыгнул в воду и сильным толчком выбросил Каролу из водоворота. А самого его закрутило и разбило о камни.

Крылов и Костя осмотрели озеро и шлюз, встретились с Каролой и ее матерью Гертрудой Феттер, побывали в школе, теперь носящей имя Максимчука. В воинской части они узнали, что приказом главного командующего Группой советских войск в Германии Петр Максимчук занесен в Книгу почета, а решением правительства ГДР посмертно награжден Почетной золотой медалью.

За три дня Крылов мысленно воссоздал в мельчайших подробностях всю трагедию, ощутил атмосферу вокруг нее, царившую в городе, ощутил гордость за свою армию и свой народ, знал — он сумеет передать эти чувства читателям.

Командировка была на пять дней, оставалось два дня на Берлин, которые они провели с Грюнером. Он познакомил их с Вайсом — удивительным, героическим человеком. Крылов сказал Косте:

— Расспрашивай и записывай все до мельчайших деталей. Эту тему отдаю тебе.

Крылов и Костя уезжали домой в жаркий, солнечный день. Их провожали Дитрих Грюнер с женой Хильдой. Оживленно беседуя, они стояли у вагона поезда «Берлин — Москва».

Один из пробегающей мимо стайки ребят что-то ехидное выкрикнул в адрес лысины Дитриха, и тот с обидой и недоумением по-

смотрел вслед. Костя шепотом объяснил Сергею Александровичу, что произошло.

— Не обижайся, Дитрих,— сказал Крылов.— Он прав, лысина — это очень плохо. Лысого всякий дурак сразу увидит, а вот чтобы дурака увидеть, он еще должен заговорить.

Они рассмеялись, и громче всех сам Крылов. С опозданием улыбнулась Хильда, которой Дитрих скороговоркой перевел на немецкий русскую речь. Продолжая улыбаться, сказала что-то, кивнув на Дитриха.

— Что она, Костя?

— Говорит, когда двадцать лет назад они поженились, Грюнер уже был лысым.

И снова — общий хохот. Молодая мамаша вела, вернее, тащила за руку маленькую девочку с задорной мордашкой. Малышка с любопытством смотрела по сторонам, смотрела на смеющихся людей, и Сергей Александрович неожиданно приставив к седой своей голове указательные пальцы, сделал ей рожки. И так же неожиданно серьезно сказал:

— Спасибо тебе, Дитрих, действительно поразительная биография.— И, обернувшись к Косте: — Вот у кого учиться откапывать темы.

— А ты все не доверил,— подмигнул Дитрих.— Я, конечно, не такой журналист, как ты, только маленький, но немножко понимал, как ты напишешь. Еще лучше, чем про Гулыга.

— Читал?

— О, Крылова читает не только Москва.

— Ну уж... — отмахнулся Сергей Александрович.— А писать буду не я — Костя. Грандиозный дебют...

Прицепили локомотив, вздрогнули вагоны. Крылов взглянул на часы.

— О, теперь немножко забыл,— полез в карман Дитрих.— Тут я находил интересный документ. Мои друзья из Фау Фау Эн имели просить смотреть архив. Гестапо доносил про один ваш человек... Данченко его звали... «Самый жесткий допрос не дал результаты». Знаешь такого? — И вопросительно, выжидающе посмотрел на Крылова.

— Данченко? Фамилия распространенная.

Грюнер явно ожидал другого. На лице удивление.

— А что это за Фау такое?

Грюнер не успел ответить, вмешался Костя.

— Такие вещи положено знать, товарищ шеф, даже не владеющим немецким. Это очень разветвленная в Западной Германии «Организация лиц, преследовавшихся при нацизме». Они раскапывают материалы о фашистских злодеяниях, узнают адреса, где ныне скрываются фашисты, и возбуждают уголовные дела.

— Верно,— подтвердил Грюнер и протянул конверт: — Возьми, тебя это отшень заинтересовывают будет.

— Меня? Почему?

— Я так думаю, Серьежа. Возьми.

Крылов довольно безразлично взял конверт, не глядя положил в карман.

И вот уже Крылов и Костя в купе мчащегося поезда. Кроме них — суетливый старичок с бородкой клинышком, в добротном костюме, явно ищущий повода заговорить. Костя, забравшись на верхнюю полку, возился с вещами, а Крылов, раскрыв «дипломат», перебирал бумаги. Достал из кармана конверт Дитриха, положил сверху и захлопнул крышку.

Словно дождавшись этого, старичок заискивающе спросил:

— А как вы насчет преферанса?

— Преферанс?.. А что если в очко? В очко, папаша, а? Играть, правда, не хочется, но позарез нужны деньги.

Бородка приподнялась вверх. Не то обиделся человек, не то удивился. Помолчав, вздохнул:

— Жаль...— Безднадежно взглянул на Костю. Этого и спрашивать нечего, нынешняя молодежь умные игры не признает.— Жаль. Удивительно, знаете ли, время летит за пулечкой. Не успеешь оглянуться, уже приехали. В дороге незаменимое средство.

Крылов не ответил. Мирный пейзаж, мелькавший за окном, почему-то напомнил трагедию в маленьком и тихом, таком красивом немецком городке. Всплыли в памяти школьная комната со знаменем, на котором ученики вышили советский герб и фамилию героя, его огромная фотография на стене, его личные вещи на стенде.

— А мне, знаете ли, не терпится опробовать,— не унимался старик и извлек колоду карт.— Пластмассовые, у нас их не производят. Чудо карты: не мнутся и мыть можно. Вечные. Пойду-ка поищу партнеров.

«Товарищи пассажиры! — раздался голос из микрофона.— Если среди вас есть врач, просим его срочно зайти в шестой вагон. Повторяю...»

Старичок преобразился. С нестарческой поспешностью раскопал в своих вещах баул, выдернул из чемодана тщательно выглаженный и аккуратно сложенный белый халат и выскочил из купе. Крылов и Костя переглянулись.

— Вот вам и очко, Сергей Александрович! А вы еще подсмеивались над ним.

Крылов молча смотрел в окно. Возможно, гибель украинского парня на немецкой земле навеяла воспоминания о далеких уже днях войны. Он снова открыл «дипломат», достал документ из конверта Грюнера.

— Я сейчас... — направился Костя к двери,— погляжу на ту сторону дороги.

— Минутку... Как Грюнер назвал его фамилию... того, что пытали?

Костя задумался.

— Данченко вроде.

— А тут что написано? — ткнул пальцем в бумагу.

— Панченко,— бросил Костя беглый взгляд на указанное место.

— Не может быть!

— Потому что не может быть никогда. Вам, естественно, не постигнуть, что русское «ч» составляется из четырех букв. Но латинский-то алфавит, надеюсь, вы знаете и отличить «д» от «п» в состоянии. Совершенно ясно: «П» — Панченко.

— Не до шуток мне, Костя. Переведи весь текст.

— У нас крепостное право давно отменено, Сергей Александрович. Это по моей исключительной доброте я в Берлине переводил. Мои функции переводчика на вокзале кончились.

— Переведи немедленно,— обозлился Крылов.

Костя наконец понял — встревожен человек серьезно — и совсем другим тоном прочел: «Выписка из донесения гестапо группы армий «Центр» в Берлин от второго октября 1942 года. Установлено, что главарем банды, раскрытой двадцать восьмого августа, о чем я своевременно доносил вам, оказался бургомистр Панченко...»

— А имя-отчество?

— Тут не сказано... «Седьмого июля оповестил все население о готовящейся облаве. Он снабжал оружием бандитские партизанские шайки...»

— Где он был бургомистром?

— Вы думаете, это анкета по учету кадров?.. «Сообщников не назвал. Самый жесткий допрос не дал результатов. Приняты необходимые меры». И подпись: «Полковник Тринкер».

Крылов уставился глазами в пол.

— Что произошло, Сергей Александрович?

Крылов не ответил, тяжело откинулся назад.

— Что с вами?

Сергей Александрович рассеянно взглянул на Костю:

— Упустил, понимаешь. Хорошего партнера на пульку упустил.

И резко встав, вышел в коридор.

Точно дожидаясь его у двери, человек в тренировочном костюме развел руками:

— Дикость, просто дикость — международный поезд, а вагона-ресторана нет! Представляете?

Крылов удивленно посмотрел на него.

— И проводники, видите ли, ничем не запаслись, тоже ничего у них нет.

— Почему нет? Чай носят вот, на столе печенье, сухарики.

Человек уставился на Крылова. В его взгляде не только недоумение — презрение.

— У нас не курят, гражданин, — недовольно заметил проходивший мимо проводник.

— Виноват.— Крылов быстро направился в тамбур. До самого вечера не находил себе места. ни с кем не разговаривал. И спал плохо, вернее вовсе не спал. Ворочался с боку на бок, то и дело протягивал руку к тусклому ночному свету, поглядывая на часы. Озираясь на спящего Костю, тихонько встал, аккуратно открыл двери и бесшумно зашагал по коридору. Из тамбура вышел сосед по купе. Лицо одухотворенное, гордое. Увидев Крылова, обрадовался. Торжественно провозгласил:

— Человек родился!

— Тише, спят все.

— Уже легли?

— Уже вставать скоро будут.

Старичок заговорил шепотом:

— Парень — килограммов пять. Герой! И мать — героиня, ни одного стона не издала.

Утром, когда проснулся Костя, Крылов сидел, глядя в окно. Пролетали разъемы, домики путевых обходчиков, станции, но ничего не замечал Крылов, смотрел невидящим взглядом в одну точку.

— Что все-таки произошло, Сергей Александрович?

— А?

— Что с вами случилось, я спрашиваю?

— Где случилось?

— Ну, Сергей Александрович! Вот сейчас, в поезде.

— Ах, в поезде... В поезде человек родился.

Костя обиделся. Что же он, издевается? Уже готов был высказать свою обиду, когда из микрофона донеслось: «Прибываем в Варшаву. Стоянка сорок минут».

Костя твердо решил: ни одного вопроса больше не задаст... как с мальчишкой разговаривает. Хотя, видимо, произошло что-то серьезное. Ну и черт с ним — не хочет, не надо.

Они вышли из вагона и молча зашагали по перрону. Костя смотрел, как отцепили часть вагонов и маневровый тепловозик утащил их куда-то. Потом подкатили другие вагоны, очень разношерстные — короткие, длинные, с широкими на шарнирах дверьми, с полукруглыми высокими крышами и почти все разного цвета. На них таблички: «Вена — Москва», «Брюссель — Москва», «Кельн — Москва». Тут же вагон-ресторан. Подкрался к поезду магистральный тепловоз, вздрогнули вагоны, и пассажиры заспешили к ним.

— Пойдем! — сказал Крылов таким тоном, будто не в поезд звал, а решил на какое-то важное дело.

Поздним вечером в вагоне-ресторане сидел, кляня носом, тот, в тренировочном. Две официантки, убирая столы, уговаривали его:

— Ну сколько можно, гражданин, нет пива, вам же сказали — ресторан давно закрыт.

— Нам ведь хоть немного поспать надо, совесть поимейте, — убеждала другая.

Хлопнула дверь. Появился Крылов.

— Закрыто, закрыто, — выскочила из кухни буфетчица, преграждая ему дорогу. — Ну что за люди пошли! Ночь-полночь, а они прутся, как скоты.

— Извините, извините, бога ради, — быстро заговорил он, прижимая руку к груди. — Я не подумал, не сердитесь, — и повернулся к выходу.

Буфетчица явно не ожидала такой быстрой и безропотной капитуляции. Нет, этот не из тех, не из алкашей. Недоуменно посмотрела ему вслед, и когда он уже был у двери, точно извиняясь, спросила:

— А вы что хотели, гражданин?

Он обернулся, в смущении помолчал и наконец выдохнул:

— Водки.

Она излила на него всю злость разочарования:

— Сколько вам? Бутылку, ящик, ведро?

— Полстакана.

— Водкой давно не торгуем, коньяк.

— Очень хорошо.

— И конфету?

— Да-да, спасибо.

Он выпил залпом, положил в карман конфету, расплатился и молча вышел.

Утром бодрый голос поездного радиоузла объявил:

«Прибываем на станцию Брест. После таможенного и пограничного досмотров можно выходить. Стоянка поезда два часа. Просим всех зайти в свои купе».

Костя сказал:

— Поедем Брестскую крепость смотреть?

— Нет, я не поеду, поезжай сам, — ответил Крылов.

— Вы же обещали.

— Не могу, Костя, у меня другой маршрут.

Костя совсем обозлился. Что могло случиться? Ехали в Берлин, и у Крылова было отличное настроение. В Бресте пошли смотреть, как меняли тележки вагонов с широкой колеи на более узкую. Это происходило ночью, при ярком свете прожекторов. А мемориал — он сам предложил — решили посмотреть на обратном пути, времени для этого вполне достаточно. И на вокзале в Берлине был веселым. Все изменилось после проклятого гестаповского донесения. Но при чем здесь он? И почему ничего не хочет объяснить?

Таможенники не стали проверять их чемоданы, спросили лишь — не везут ли фрукты или овощи. Пограничники взяли паспорта, осмотрели купе и ушли.

«Ну и бог с ним», — в который раз решил Костя и обратился к врачу:

— Интересно, что поставят в графе «Место рождения»? Поезд «Москва — Берлин»?

— Ну, конечно, Москва. Женщина-то наша советская.

— Как же Москва? Спросят, где справка из роддома. Нет, скажут, вы сюда с готовым ребенком явились. — И они рассмеялись.

Крылов не слышал их. Думал.

К выходу Костя шел рядом с Крыловым, к которому с раздражением обратился проводник:

— Вещи зачем же? Никуда не денутся, не беспокойтесь.

— Да нет, я схожу здесь,— как-то обреченно ответил Сергей Александрович.

— Вы же сказали — до Москвы.

— Мало кто чего говорит,— вздохнул Крылов.— Проверять надо. Проверять — вот главное.

— А я и проверил,— недовольно проворчал проводник.— Билет у вас до Москвы.

На перроне Крылов сказал:

— Не теряя времени, поезжай смотреть мемориал, у вокзала всегда есть такси.

— Значит, успею, если есть такси. Я провожу вас.

— Меня некуда провожать, я — на вокзальный переговорный пункт.

— Тем более... Близко.

На почте Крылов заказал Берлин.

— Все-таки что мне сказать в редакции, Сергей Александрович?

— Я тебе уже ответил — ничего не говори. Я сам позвоню главному.

— Нет, ребятам что сказать?

— Отшутись, ты это умеешь.

Крылов взглянул на часы. Сунул голову в окошко:

— Девушка, переведите мой разговор на срочный.

— Втрое дороже.

— Хоть впятеро.

Вскоре она пригласила его в кабину. Костю разбирали и любопытство и беспокойство. Кабина большая, будь что будет — тоже вошел. Выгонит — значит выгонит. Но Крылов не обратил на него внимания.

— Дитрих? Здравствуй, дорогой, это я... Да, благополучно, уже в Бресте.

Это, по-видимому, был тот редкий случай, когда слова били в ухо, и Крылов немного отстранил от себя трубку. Теперь Костя слышал весь разговор.

— У меня к тебе очень большая просьба, Дитрих. Ты оказался прав, меня очень заинтересовал твой документ. Узнай, пожалуйста, нет ли в архиве еще каких-либо документов, касающихся Панченко.

— Вот смотришь, я говорил тебя заинтересовывайт, а ты все недоверил... Узнаю, узнаю, там много документы. Фау Фау Эн готовят процесс майора Бергера...

— Кто такой Бергер? Не Бергер меня интересует — Панченко. Понимаешь — Панченко.

— Пан-чен-ко! — неожиданно, будто испугавшись, протянул Костя. А Грюнер продолжал:

— Майор Бергер был комендант, где самый жесткий допрос делают...

Костя больше не прислушивался к разговору. Он все понял.

— Тот Панченко? — глухо сказал, когда Крылов положил трубку.

— Нет, этот. Дошло наконец.

— Как же это получилось? Может быть, недоразумение?

— Какое там недоразумение, документ подлинный...

— Нет, это копия.

— Ксерокопия.

— Что же теперь будет?

Крылов не ответил.

— Сергей Александрович,— горячо заговорил Костя.— Ей-богу, недоразумение. Не придумали же вы!

— Так и Гулыга не мог придумать. Тем более что я в архиве все проверил.

— Значит, вы и не виноваты.

Крылов горько усмехнулся.

— Ты виноватого ищешь, а искать надо выход из положения.

— А все очень просто,— уверенно заявил Костя.— Найти семью, если она осталась, родственников и официально сообщить. И на место прежней службы сообщить, официальным документом, с печатью.

Тоскливо и насмешливо слушал его Крылов. Глядя куда-то в сторону, покачивая головой, грустно сказал:

— На всю страну героя объявить предателем, а потом извиняться шепотом, на ухо? Так, что ли? Нет! — Голос изменился, стал резким.— В порядочном обществе так не поступают. Если действительно герой, еще как-то можно выйти из положения, сообщив об этом в газете. Но что это значит? Опровержение? Так? А на опровержение главный хоть убей не пойдет.

— А вы?

Крылов промолчал.

— Вам-то зачем это надо?

— Ох как не надо, Костенька.

— Ну и порвите к черту эту бумажку. Нет ее и не было никогда. Это же не документ, обрывок какой-то.

Крылов посмотрел на него. И Костя не понял — осуждает или ухватился за хорошую мысль. А Крылов, помедлив, извлек из кармана конверт, посмотрел на него, протянул Косте:

— На, рви... И едем дальше — воспевать и воспитывать.

— Сергей Александрович, я...

— Да знаю, что не порвешь, а потому — нравоучение сто тридцать пятое: никогда не советуй поступать так, как не поступишь сам, даже из лучших побуждений.— И неожиданно хлопнул по спине вдруг сгорбившегося парня.— Не сутулься, замуж никто не возьмет!

6

На следующее утро Крылов был уже в Лучанске, в приемной Гулыги.

— Сергей Александрович! Здравствуйте! — Анна Константиновна одарила его обворожительной улыбкой.

Не столь восторженно, но достаточно учтиво ответив на приветствие, спросил:

— У себя?

— Нет,— с сожалением покачала головой.— В командировке.

— Вот тебе и раз!

— Завтра будет, прямо с утра... Я вам сейчас номер в «Центральной»...

— Я всего-то на один день...

— Да что вы, Сергей Александрович! — все так же улыбаясь, всплеснула руками.— Да он же меня уволит, если узнает, что вы были, а я... Одним словом, я вас не отпускаю.— Говорит деланно строго, с едва уловимым кокетством.

— Впрочем... — достал сигарету, закурил.— Впрочем, Впрочем... Где у вас Комитет ветеранов войны?

То, что он может не застать Гулыгу, как-то не приходило в голову. Решил все же дожидаться его, а чтобы не пропадало время, найти кого-либо из бывших партизан и поговорить. Проверка эта нужна была ему просто для успокоения совести. Он ведь достаточно все проверил после рассказа Гулыги об этом предателе. Практически было достаточно и только того, что рассказал Гулыга... Но вот... Эта странная бумажка... Видимо, Гулыга сможет объяснить, в чем путаница. А пока есть смысл поискать бывших партизан.

В Комитете ветеранов войны ему дали фамилии и адреса трех человек, воевавших в отряде Гулыги и проживающих в районном цент-

ре Липань. Километров тридцать пять — далековато. Но один из них, Голубев, работает на сахарном заводе, всего в пяти километрах от города. Решил поехать на завод. Вышел на шоссе. Одна за другой проносились машины, а автобус как сквозь землю провалился. Еще издали увидел тяжелый «КАМАЗ», доверху груженный сахарной свеклой. «Наверняка — на завод», — подумал Крылов и выскочил, преграждая ему дорогу.

Шофер оказался добродушным, разговорчивым человеком лет пятидесяти. Охотно согласился подвезти, тем более действительно ехал на сахарный завод. Голубева он хорошо знал.

— Я еще с него сто грамм стребую за то, что привез к нему корреспондента. Мужик он стоящий, каждый норовит к нему попасть. А то привезешь свеклу, чистую, как умытую, а приемщик — бах — пятнадцать процентов загрязненности ставит.

— Начальство куда же смотрит?

— У-у, начальство? Там директором такой кулак... И ему дай бог перепадает, да не подступишься, друг самого.

Крылов непонимающе взглянул на него. Тот умолк. Но ненадолго.

— А фигуру правильную выбрали. Голубев мужик стоящий. Сколько грязи привезешь, столько и пометит, даже буылку не потребует. Чудной мужик. — Он окинул взглядом Крылова. — Аппарат где же у вас? Или без фотографии его печатать будете?

— Пожалуй, и писать ничего не буду. Поговорить с человеком надо.

Машина остановилась близ ворот сахарного завода. На вывеске эмблема — рог изобилия. Дожидаясь очереди, стояли у проходной несколько самосвалов тоже с сахарной свеклой. Видимо, был конец смены — люди шли с завода и на завод.

— Эй, Колька! — высунулся из окна водитель. — Поищи Голубева, к нему корреспондент приехал.

— Про меня напишет — найду! — засмеялся рыжий паренек в кепочке козырьком назад.

— А если правду напишет? — выкрикнул кто-то.

Парень не почувствовал подвоха:

— Премию дадут.

— Так заголовок будет «Лодырь».

Люди вокруг рассмеялись, улыбнулся и Крылов, направляясь к проходной.

Голубева нашел в какой-то конторке. Астенического сложения человек, сколько ему лет, и не поймешь. Может быть, шестьдесят, а может, и все семьдесят. Нетороплив, держится с достоинством. Во время войны был связным. Так сказали в Комитете ветеранов. Значит, дела тех лет знает точно.

Крылов представился — так, мол, и так, в связи с определенными обстоятельствами хотел бы проверить некоторые факты времен войны, просил помочь.

Голубев не понравился. Едва ответив на приветствие, начал перебирать бумаги и, пока Крылов говорил, ни разу не поднял головы. Не слушает, что ли? Ничего не сказал, когда Крылов умолк. На вопрос, как его имя-отчество, взглянул чуть ли не подозрительно, буркнул:

— Никита Нилович.

Будто недовольный приходом журналиста, беспричинно пожал плечами.

— Я хотел узнать, кто был бургомистром в Липани во время оккупации.

Метнул недобрый взгляд, ответил не сразу:

— Панченко.

— Звали его как?

И снова посмотрел настороженно, ответил неохотно:

— Иваном звали. Иван Саввич.

— Что вы о нем знаете, Никита Нилович?

— Что я о нем знаю?! Ничего не знаю,— полоснул Крылова глазами.— Так же, как и вы, товарищ корреспондент.

— Не понял... Вы же партизанили там, где он свирепствовал...

Молчит человек, не отвечает.

— Ну хорошо,— вздыхает Крылов.— Постарайтесь вспомнить день девятого августа сорок второго года.

— А что девятого августа?

— Ну каких-нибудь событий в тот день не было?

— Скажете тоже! Я третьего дня не помню, что было... Чудно.

— Облавы в тот день не было?

Задумался.

— Облава?.. Облава, похоже, в начале августа была.

— Людей много взяли?

— Сколько взяли? Как говорится, ку-ку! Попрятались от Бергера люди. Видел кот молоко, да рыло коротко.

Непроизвольно слова прозвучали приглушенно:

— Значит, предупредил кто-то. Кто?

Опять недобро покосился на Крылова.

— Никита Нилович! Что вас смущает? На ваших глазах все происходило...

— А что происходило? Наше дело было воевать, мы и воевали. А кто там, чего, как — нас не касается.

— Как же не касается,— не выдержал Крылов.— Вы советский человек, партизан, жизнью своей рисковали. Что же, вам безразлична судьба человека, который предупредил людей, а значит, спас их?

— Не безразлична,— впервые голос прозвучал твердо.— Только не знаю я... Вы, если хотите точно, к Зарудной Валерии Николаевне обратитесь, в Лучанске живет.

— Тоже партизанила?

— Нет, годами не вышла. Девчонкой тогда была.

— Так откуда же?..

— Вроде книжку научную писала. У нее материалов о нашем партизанском житье-бытье — горы, как у меня свеклы. А мне, извините, некогда, свеклу надо принимать.— И он поднялся.

— Где она работает?

— Откуда ж мне знать!

Обратно Крылов возвращался на пригородном поезде. У стоянки такси образовалась очередь. Крылов пересек площадь и остановился у справочного киоска.

— Девушка, пожалуйста, Зарудная Валерия Николаевна. Адрес и, если есть, телефон.

— Год рождения?

Он беспомощно улыбнулся:

— Разве можно спрашивать, сколько лет женщине?

Улыбнулась и киоскерша. Достала справочник, долго листала, наконец нашла. Быстро записала на бланке и, подавая его Крылову, сказала:

— Вот. Третий и пятый троллейбус до площади Некрасова, потом на первом автобусе до Овражной, а там квартала три пешком придется.

— Ну и маршрутик вы мне устроили.

— Это не я, это Зарудная, Валерия Николаевна... А вот,— ткнула пальцем в бумажку,— ее телефон.

— Слава богу, хоть телефон есть... Спасибо. До свидания.— Положил бланк в карман и услышал:

— До свидания... Не беспокойтесь, я оплачу справку, зарплата у меня высокая.

— Простите... как же я... простите... — И он торопливо стал искать мелочь. Расплатившись, пошел к телефону-автомату, набрал номер.

— Да? — раздался приятный женский голос.

— Можно Валерию Николаевну?

— Слушаю.

— Валерия Николаевна? Товарищ Зарудная?

— Да, да, я вас слушаю.

— С вами говорит журналист Крылов...

— Кто?! Крылов?! — голос показался ему до крайности удивленным. — Сергей Крылов?

Крылов не был честолюбив. И все-таки приятно — знают люди. Какой-то Лучанск, где никогда не был, какая-то Зарудная, которую никогда не видел, а вот знает...

— Да. Сергей Александрович... — Частые гудки раздались прежде, чем он успел договорить. Мысленно послав в адрес телефонной сети подходящие для данного случая слова, снова набрал номер.

— Извините, разъединили, — сказал, как только ответила Зарудная. — Это Крылов.

— Я счастлива! — В голосе явная ирония, и снова частые гудки.

Что за чертовщина? В чем дело? Порывшись в кармане, снова опустил монету. На этот раз ответ последовал после пятого гудка.

— Слушаю! — строго сказала Зарудная.

— Ничего не понимаю...

— Значит, плохо сообщаете... — Теперь уже не ирония, а чуть ли не злоба в голосе. — Я не желаю с вами разговаривать. Неужели не ясно?!

Обескураженный Сергей Александрович вышел из автомата. Такого с ним еще не было. Медленно достал сигарету, закурил. Прошелся взад-вперед. Как все же это понять? Вот так оплевали. Нет, так оставить нельзя... Он извлек из кармана адрес Зарудной. Безнадежно потух его взгляд — очередь на такси стала еще длиннее. Постояв минуту, резко отбросил окурочек и снова решительно направился к автомату. Позвонил Анне Константиновне и спросил, не может ли часа на два дать машину.

— Сейчас же высылаю, Сергей Александрович. Машину Петра Елизаровича, все равно шофер ничего не делает. Куда послать?

Вскочив появилась начищенная, с двумя антеннами черная «Волга», и он назвал водителю адрес. Хотя ехали быстро, но добрались не скоро. Шофер затормозил у огромного жилого корпуса в новом районе города. Крылов нашел нужный подъезд, прыжком перескочил две ступеньки и оказался на хорошо освещенной площадке. По обе стороны и прямо перед ним были двери, обитые дерматином. Одна из них открылась, вышла женщина, не обратившая на него внимания, и заперла дверь.

— Извините... Валерия Николаевна?

— Что вам угодно? — чуть надменный взгляд голубых глаз.

Природа наделила ее неброской, но впечатляющей красотой, и смотреть ей в глаза — небезопасно.

— Я вам только что звонил...

— А я вам только что ответила. — Она заспешила к выходу.

И он заторопился вслед, на ходу быстро заговорил:

— Уверяю вас, какое-то недоразумение... Давайте разберемся.

— Мне некогда разбираться, опаздываю, — сказала она, быстро семеня по тротуару.

— Я вас подвезу, — кивнул на машину.

— На этой?! — обернулась и неожиданно расхохоталась. — Хороша я буду в этой машине, — и ускорила шаг.

— Что это значит?! — загремел Крылов, не отставая от нее и тоже ускоряя шаг.— Я — на службе, и у меня к вам дело...

— Ах, дело? — не то разочарованно, не то насмешливо.— А я-то думала... — Она остановилась.— Если вы сейчас же меня не оставите, я позову милиционера.— Повела глазами по сторонам, казалось, готовая выполнить свою угрозу. И быстро пошла.

Крылов, совершенно растерянный, остался стоять. Он смотрел, как, не оборачиваясь, она все ускоряла шаг, пока не скрылась за углом. Медленно вернулся к машине:

— Поехали.

— Куда?

Глупо как все. И перед водителем неловко. Конечно, наблюдал эту постыдную сцену. А тут еще плюхнулся: «Поехали».— даже не сказав куда. Кто знает, как он истолкует... А в самом деле, куда? Он взглянул на часы.

— Пожалуйста, заедем на вокзал за чемоданом, а потом — в гостиницу «Центральная».

Весь вечер работал — приводил в порядок записи о подвиге Максимчука, твердо решив выбросить из головы эпизод с Зарудной, не думать больше о нем. Одно уравнение со многими неизвестными. Задача неразрешимая, и нечего ею заниматься. Но как это сделать, как выбросить из головы? Это же не сундук — открыл и выбросил. Человек может решиться на любой поступок, даже самый безрассудный, и осуществить его. Но думать или не думать о чем-либо, зависит не от него. Он может тысячу раз решать не думать, и будь это человек даже самой железной воли, выполнить свое решение не сможет. Ходом мыслей он не управляет. Они управляют человеком. Изгнать их из головы он бессилён.

7

Петр Елизарович Гулыга пришел на работу рано. Спокойно поработать, сосредоточиться удавалось только в ранние часы. Как бы ни задерживался в своем кабинете, все равно не давали покоя телефонные звонки, сотрудники, посетители. А ему предстояло подготовиться к серьезному докладу в обкоме партии. К началу рабочего дня он все закончил и с удовольствием потянулся. Вошла Анна Константиновна, доложила о приезде Крылова. Велел пригласить его, как только появится, а сейчас вызвать одного из начальников отделов. Не успела секретарша выйти, как он нажал кнопку.

— Слушаю, Петр Елизарович,— тут же появилась она вновь.

— Закажите обед на двух человек в «Поплавке».

— На который час?

— Когда он сказал придет?

— Крылов? Он не сказал, видимо, скоро — сегодня уезжает.

— Часа на два, только не в зале.

— Конечно...

Спустя полчаса снова появилась в дверях.

— ...И передайте директорам заводов,— говорил Гулыга начальнику отдела,— пусть немедленно начнут отгрузку. Колхозы сидят без кормов, а у них жом складывать некуда...

Голос у Гулыги спокойный, без нотки раздражения. Видно, человек этот хорошо знает, где и что делается в его большом и сложном хозяйстве.

Он повернулся в сторону Анны Константиновны.

— Крылов пришел.

— Что ж вы его там держите? Зовите.

Захлопнув папку, поднялся начальник отдела.

— А прием отменить? — спросила она.

— Пока не надо,— взглянул на часы.

— Рад, рад видеть,— широко улыбаясь, пошел навстречу Крылову Петр Елизарович.

— И я рад, Петр Елизарович,— протянул руку, крепко пожал.

— Как живы, что хорошего?

— И не спрашивайте, верчусь, как вор на ярмарке. Приехал в два ночи, и ни свет ни заря — здесь.

Усадил Крылова в кресло у журнального столика, сел напротив, но тут же, перегнувшись через письменный стол, нажал кнопку. Зажглось красное окошечко фонарика, вмонтированного в стол.

— Что-то новое,— кивнул Крылов на фонарик,— раньше вроде не было.

Петр Елизарович довольно улыбнулся:

— Такой же фонарик зажегся и у секретарши. У американцев подсмотрел,— хитро сощурился он.— Надо же и у буржуазии чему-нибудь учиться.— А секретарша уже стояла на пороге.

— Чайку нам... Какими же ветрами, Сергей Александрович? Я, откровенно говоря, немного смущен. Даже не поблагодарил. Да и как благодарить? Спасибо, что на всю страну прославили? Вроде неприлично. Однако спасибо.

— Полно вам,— поморщился Крылов.

— Не скажите, не скажите. У нас как принято? Расчехвостить хозяйственного руководителя — пожалуйста. А похвалить, оценить работу... Так что не скромничайте, дорогой Сергей Александрович.

— Что ж, написал, как есть, написал правду... Поэтому и приехал к вам.

— Слушаю,— Петр Елизарович откинулся на спинку кресла.— Слушаю, Сергей Александрович.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о Панченко.

— О ком?

— О Панченко. О предателе Панченко, фашистском бургомистре.

Петр Елизарович усмехнулся:

— Да, крепко вы его. Всего десятка два слов, а предатель как на ладони. Вот что значит писатель! И в глаза не видел, а как точно.

— Верно, не видел. Да точно ли? Вот в чем закавыка.

Гулыга поднял на него недоуменный взгляд. Крылов молча достал из кармана сложенный вчетверо листок с донесением гестапо.

— Что это?

— Почитайте.

Петр Елизарович взял со стола очки, надел их, повертел в руках листок, улыбнулся.

— Я, дорогой мой, кроме бюрократического русского, других языков не знаю. Только и выучил за всю войну «хеңде хох»... Да, еще фрицы очень любили говорить «Хитлер капут» — тоже выучил... Переведите, пожалуйста,— вернул он бумагу.

— Вот перевод,— протянул ему другой листок Крылов.— Правда, от руки, но почерк разборчив.

— Что за чепуха?! — удивился Гулыга, прочитав первые строчки. И снова обратился к тексту.— Бред какой-то! Где вы это взяли?

— В гитлеровских архивах. Документ подлинный...

— Гм, подлинный,— хмыкнул Петр Елизарович. И задумчиво добавил: — Кому?

— Что «кому»? — не понял Крылов.

— Еще римляне говорили: «Кви продест» — кому выгодно. Вот я и думаю: кому это выгодно? Кому надо подбрасывать нам с вами такие «подлинные»?

Вошла Анна Константиновна, неся на подносе чай и вазочку с баранками и сухариками.

— Спасибо,— сказал Петр Елизарович.— И вот что... Извинитесь перед товарищами, отмените прием. И телефоны на себя возьмите.

Она подошла к столу, передвинула рычажки.

— Нет, нет, этот оставьте,— он поднялся, прошелся по кабинету.— Прошу, Сергей Александрович,— показал на чай. Снова сел, теперь уже за письменный стол. Положил перед собой донесение, разглядел, стал перечитывать.

— Что же получается, Петр Елизарович? У них Панченко предатель, и у нас предатель. У них бандит, и у нас бандит. Так не бывает.

— Сергей Александрович, дорогой мой,— как бы извиняясь, заговорил Гулыга.— Не обижайтесь, я даже разбираться не желаю. И плевать я хотел на любые бумажки. Я своим глазам верю, а не бумажкам.

— Но все-таки,— пожал плечами Крылов,— объяснить этот документ как-то надо.

— А разве вы не допускаете, что эту липу подбросили в свое время гитлеровцы? Они часто таким методом пользовались, обеляя в наших глазах предателей. Куда он делся? С ними бежал? А может быть, оставили на нашей земле, чтоб на них работал? А писуля такая любые подозрения с него снимет, зачеркнет его бургомистерство. И, наоборот, на честных людей клепали, а мы,— покачал ладонью, приставив к уху большой палец,— заглатывали.

Крылов задумался.

— Допускаю... Откровенно говоря, такая мысль не приходила в голову. Но как доказать это?

Гулыга снова пересел за журнальный столик, отхлебнул из стакана.

— А что доказывать? Они и до войны еще так действовали... Каких людей мы лишились, каких талантливых военачальников потеряли только потому, что вот такие фальшивки,— кивнул на донесение гестапо,— за чистую монету принимали... Н-да, интересная картинка. Выходит, этот Панченко снабжал мой отряд оружием, а я, партизанский командир, даже не знал об этом.— И рассмеялся.

— Может быть, другой Панченко, однофамилец?

— Может быть,— поддержал Гулыга.— Подписал полковник Тринкер. У нас таких не было, я ведь всех фашистских собак в своем районе знал. У нас майор Бергер лютвал. А про Тринкера не слышал даже... Да что, в самом деле? Дмитрия Панченко — сынка предателя — из партии исключили? Исключили. Значит, разбирались люди. Зря из партии не выгонят.

Крылов ничем не мог возразить. Был согласен с каждым доводом Петра Елизаровича. Не сказал ему, что, перед тем как писать о нем очерк, заходил в райком партии, где подтвердили, что Панченко до войны был исключен из партии, а потом верно служил фашистам. Но не к месту лезли в голову слова Твардовского, относящиеся совсем к другому: «И все же, все же, все же...» Все же что-то царапало. Документ-то вот он, лежит на столе. Как-то надо из этого лабиринта выбираться.

— Не могли вы чего-нибудь напутать, Петр Елизарович?

— Ну, знаете ли... Да этот фашистский сволочуга собственноручно людей расстреливал.

Крылов удивленно посмотрел на него.

— Вы мне об этом не рассказывали.

— Я много чего не рассказывал. Имя это произносить — язык поганить... Его военный трибунал к смертной казни приговорил за предательство, да сбежал, сволочуга. На глазах у всех это было.

— Что же вы молчали?!

— Потому что тошно — об этом... И знаете, дорогой мой, получается, я чуть ли не оправдываюсь. Все село видело. А рядом со мной Ржанов стоял. Вот и поговорите с ним, с односельчанами, с партизанами побеседуйте.

— А кто это Ржанов?

— Заработались вы, Сергей Александрович. Ржанова уже не знаете — член правительства. В Совете Министров работает.

— А-а, я о таких высотах и не подумал. Федора Максимовича, конечно, знаю, хотя лично не знаком.

— Вот и отличный повод познакомиться,— пришел в хорошее настроение Петр Елизарович.— Да свидетелей хоть отбавляй.— Петр Елизарович обернулся и показал на фотографию, которая висела за его спиной. Крылов увидел группу людей в ватниках с винтовками, автоматами, застывших перед объективом. В центре — Гулыга, его и сейчас легко узнать на этом давнем снимке.— Конечно, одних уж нет теперь, но и живые остались. Встретьтесь с ними. Раз уж не доверяете партизанскому командиру, с людьми поговорите. Это вернее всяких бумажек.

— Почему не доверяю... Что уж вы, Петр Елизарович!..

— Ладно, ладно, это я так... Дайте побрюзжать немного... Смотрите, Сергей Александрович, для меня это, я вам сказал, просто филькина грамота. Но на вашем месте я бы съездил к партизанам. Успокойте совесть, раз она того требует. Вызову машину — и поезжайте. А домой вернетесь — к Ржанову. Он-то, надеюсь, для вас — авторитет, не то что мы, грешные. И хороший повод познакомиться,— повторил он, по-доброму улынувшись.— Запишите, запишите фамилии партизан,— снова обернулся к фотографии.

Сомнения Крылова рассеивались. Пожалуй, их уже не осталось. Теперь он думал о том же, с чего начал Гулыга. Что это за документ? Может, и в самом деле кому-то он нужен. Поехать бы в ГДР посмотреть подлинник, все объяснить Грюнеру.

Крылов знал многие выступления в печати своего немецкого друга. Едва ли кому удавалось распутывать такие сложнейшие узелки, как ему. Вот, оказывается, зачем дал гестаповский документ, почему сказал: «Тебя очень интересовать будет». Не прямо, но дал понять. Выходит, верит донесению.

Крылов сидел, задумавшись, молчал и Петр Елизарович, грыз сухарики, запивая уже остывшим чаем.

Удастся ли снова поехать в ГДР, это еще вопрос. А вот коль скоро уже здесь, с людьми поговорить не помешает. Он оставался верен своим принципам — один и тот же факт надо проверять несколько раз по разным источникам. Тем более такой факт. Решил последовать совету Гулыги — встретиться с другими свидетелями событий.

— Петр Елизарович, вы Голубева знаете?

— Никиту Ниловича? А как же! Боевым партизаном был. Правда, сейчас уже сник, видать, годы вышли. А что?

— Беседовал я с ним. Станный человек, ничего не сказал.

— Он вообще молчун, да и, говорю вам, староват стал. Только не на нем одном свет клином сошелся. Я назову вам десятки людей.

Крылов достал блокнот.

— Вот Хижняков,— показал Петр Елизарович на фотографию,— второй справа. Партизанской медалью награжден. Теперь директор совхоза... Это Чепыжин, тоже в полном здравии. Хотя старик, а такой живчик, дай бог каждому... Записываете?.. И этот жив-здоровехонек — Терентьев. Все в одном месте в Липани живут. А вот...

— Ну и хватит,— закрыл Крылов блокнот. Достал сигарету, чиркает спичкой — не зажигается. Достал другую — поломалась.

— Боже мой,— всплеснул руками Гулыга,— в наш век технической революции такой анахронизм.— Открыл ящик, достал зажигалку, вынув ее из красивой коробки.— Вот вам на память,— повернул колесико, щелкнул, вырвалось непомерно высокое пламя.— Кофе на ней варить можно,— и уменьшил огонь.

— Да что вы, ей-богу,— отстранился Крылов.— Такие дорогие подарки не для меня.

— Вот это дорогая? — поразился Гулыга.— Да это жестянка, грош ей цена... Смотрите, полный ящик всякого добра.— Он вздохнул.— Или вот еще — мода. В каждый праздник все, ну решительно все предприятия и учреждения начиная от артели «Красная синька» до главков, министерств и комитетов шлют друг другу поздравления. И все, естественно, за казенный счет. Я говорил с почтовиками — эти неисчислимые приветствия обрушиваются на них, как горные потоки. Одни сверхурочные почтальонам во что обходятся. А бумага, а красочные открытки! И каждый начальник, большой или малый, каждый руководитель — я это по себе знаю — целый день должен потратить, чтобы только подписать поздравления. Да и кому подписываешь, не смотришь. Все идет по раз и навсегда определенному списку... Не улыбайтесь. Вы сами наверняка знаете, это именно так. Подсчитали бы на ЭВМ, во что обходится государству, да и грохнули бы фельетончик... А? А вот этого добра, — взял в руки зажигалку, — накопилось у меня, дорогой Сергей Александрович, полно... Берите, берите, не то обижусь.

Зазвонил телефон.

— Слушаю, — поднял трубку Гулыга.— Как же некстати вы, некогда мне... Ну ладно, не дави, перезвони через полчаса.— Положил трубку, начал набирать номер.— Извините, Сергей Александрович, неотложное дело, одна минута.

— Конечно, конечно, я и так у вас засиделся.

Почти одновременно Гулыга говорил в трубку:

— Степан Андреевич, это я. «Волгу» мы с вами в резерве держим, а сегодня последний день. Не заберем — пропадет. Хочу ее Прохорову отдать, он по итогам на первое место опять вышел... Спасибо, Степан Андреевич... И я вам — всех благ.— Положил трубку и обратился к Крылову, показывая на телефон:— Кстати, совсем забыл, в райком советую обратиться. Будете в Липани — обязательно к Степану Андреевичу, первому секретарю, загляните. Их немало донимал сынок Панченко, разбирались дотошно.

А Крылов о другом думает:

— Вы не знаете такую — Зарудную?

— Зарудную?

— Да, Зарудную, Валерию Николаевну.

— И вас уже начала донимать?

— Нет, напротив, я донимал, но она не пожелала разговаривать.

— И скажите спасибо.— Он покрутил пальцем у виска.— Я целых полгода от нее отбивался, чуть сам с ума не сошел. Упаси вас бог связываться... С одной стороны, ее жалко, конечно, неудачница, всю жизнь ей не везет, на этой почве, видимо, и... Что это, интересно, вы решили встретиться с ней?

— Странно, — не отвечая на вопрос, сказал Крылов.— Выглядит вполне нормально.

— Выглядит? — подмигнул Гулыга.— Слов нет, как женщина экзотична завидный, все при ней... А вела себя тоже нормально?

— К сожалению, более чем странно.

— То-то и оно... А вообще, Сергей Александрович, — заговорщически наклонился к нему Гулыга, хитро улыбаясь, — где ж и расслабиться в нашей суматошной жизни как не в командировке. Однако не связывайтесь с ней, дорогой мой, как в тину засосет.

Крылов недоуменно взглянул на него. А Гулыга, добродушно улыбаясь, продолжал:

— В нашем городе есть масса возможностей развлечься.

— Петр Елизарович, о чем вы?

Гулыга посерьезнел.

— Ну-ну, дорогуша, это ведь я на таком уровне шучу. Неужели не понимаете?... Ладно, посмеялись, и хватит. Смех, говорят, очень полезен для здоровья.. Так езжайте, Сергей Александрович. Часа за три вполне управитесь. А потом пообедаем вместе. Лады?

Нажал кнопку, вошла секретарша.

— Машину товарищу Крылову. И вот что — скажите диспетчеру, чтобы по его вызову машину посылали в любое время.

Крылов хотел что-то сказать, но Гулыга не дал:

— И не возражайте, и слушать не буду. Не для прогулок...

Прощаясь, Крылов задержал взгляд на сверкающей модели тяжелого танка, стоявшего на столе:

— Недавно приобрели?

— Подарили,— довольно улыбнулся Гулыга.— Не скрою, приятно. Выступал тут на одном заводе... Даже не то приятно, что подарили, а вот узнали ведь, какой мне больше всего дорожке.

— На нем?..

Петр Елизарович любовно погладил модель:

— Воевал на разных, а на таком как раз подбили. Вместе мы с ним горели. Он и спас мне жизнь, дымом своим заслонил, укрыл от вражеских глаз... Машина хорошая. Правда, против «тигров» и «пантер» уже не тянула, но и им от нас доставалось,— и он подмигнул Крылову.

8

В районный центр Липань Крылов добрался быстро — всего тридцать пять километров по отличному шоссе, да еще шофер попался опытный, лихой.

Многие улицы Липани были асфальтированы, в том числе и та, что вела к дому Хижнякова.

Хижняков — кряжистый здоровяк, на вид годков пятидесяти пяти, а в действительности на добрый десяток больше. Когда приехал Крылов, он сидел во дворе за толстенным пнем, разбирая, несмотря на воскресный день, бухгалтерский отчет. В домашних сатиновых штанах, без рубашки, в большой соломенной шляпе, почерневшей от времени, он чувствовал себя хорошо, и настроение было хорошим. Да и не могло оно быть другим — судя по отчету, хотя он и без того знал: хорошо шли дела в его свекловичном совхозе.

С лаем бросилась к калитке собака.

— Цыц, дура,— сказал он беззлобно, не оборачиваясь.

А собака заливалась все сильнее, и, оторвавшись от бумаг, он посмотрел в сторону калитки. Сквозь кусты и деревья увидел человека. Хижняков поднялся.

— Ни дня, ни ночи, ни в будни, ни в выходной,— ворчал он.

— Здравствуйте, я из Москвы, специальный корреспондент...

За лаем собаки Хижняков не расслышал, из какой именно газеты, но понял: из Москвы. Удивленно и радостно засияло его лицо.

— Заходите, заходите,— открыл он калитку,— таких дорогих гостей у нас еще не было.

Крылов органически не переносил лесть. И эти естественные для гостеприимного человека слова показались ему неуместными. Никак не отреагировав на них, спросил:

— Вы — товарищ Хижняков?

— Он и есть. Хижняков. Павел Алексеевич. Извините, что в таком виде встречаю.

— Да нет, вы извините, без предупреждения, явочным порядком, да еще и в выходной день.

Они шли по дорожке к дому. Добротный кирпичный дом, за ним, в глубине, огород, фруктовый сад, меж деревьями — ульи.

— Мария,— крикнул Хижняков,— где ты там? Ну-ка собери что бог послал, гость к нам приехал.

— Да что вы,— запротестовал Крылов,— ничего не надо, я на минутку. Давайте здесь на колоде присядем.

— Э-э нет,— покачал головой Хижняков,— у нас так не положено. Чайку попьем с вишневым вареньем, не с магазина — собственное, со своего садочка. Вы уж не побрезгуйте.

Все это было не по душе Крылову, и он злился на самого себя, что помимо воли настраивался против, судя по всему, хорошего и доброго человека. И, бесспорно, хорошего директора совхоза — по дороге расспросил водителя о нем. Уже много лет директорствует Хижняков, и много лет его совхоз занимает одно из первых мест.

Из-за кустов появилась женщина под стать Хижнякову — крупная, дородная, улыбчивая. Поздоровалась — и исчезла в доме. Вслед за ней, подталкиваемый хозяином, вошел и Крылов. Хижняков тут же отлучился. Вернулся в отглаженной рубашке и добротных брюках. Взад-вперед снова хозяйка, накрывая на стол.

— Ей-богу, зря все это,— упрекнул ее Крылов. Она только рукой махнула — ничего, мол, не зря.

— А мы по одной, и все! — хитро сощурился Павел Алексеевич.

— Нет-нет,— запротестовал Крылов.— Мне еще с людьми встречаться, давайте лучше о деле поговорим. Вы Панченко Ивана Саввича знали?

Павлу Алексеевичу стало обидно. Он-то думал, что писать о нем приехали. Пусть даже не о нем самом, пусть только о совхозе, но это же его совхоз, он здесь полноправный директор, и если что плохо — его вина, но если хорошо, тут уж извините — его не обойти.

Обиды своей Павел Алексеевич не выказал. Решил все же вести себя с ним так же достойно, как и встретил.

— Да кто ж ту фашистскую собаку не знал!

— А все-таки,— спросил Крылов,— что вы могли бы рассказать о нем?

— Да то, что и все,— развел он руками.— Старостой у немцев был, по-ихнему бургомистром, честных людей мордовал, расстреливал.

Как ни странно, но Сергея Александровича эти слова успокоили. Понять его было можно: значит, не ошибся, не оклеветал героя. И все-таки продолжал расспрашивать:

— Вы это сами видели?

— А как же! — не задумываясь, ответил Павел Алексеевич.— Меня самого в своем кабинете избил и хотел расстрелять, да я успел сбежать... Ну, будем,— поднял он стопку.

И Крылов махнул рукой — почему ж по такому поводу не выпить,— взял стопку, опрокинул.

Хозяин продолжал выказывать гостеприимство:

— Закусывайте, закусывайте, сальцо вот возьмите, тоже не покупное.

А Крылов гнул свое:

— А за что же он вас, Павел Алексеевич?

— А ни за что. За что фашисты измывались над нами? Вот так и он... За то, что коммунистом был. Он перво-наперво коммунистов истреблял.

— Вы вдвоем в кабинете были?

— Когда?

— Ну вот когда он избивал вас.

— Зачем? На глазах у всех, чтоб другие боялись. Нас человек пять было.

— Кто же именно?

— Из живых?

— Конечно, из живых.

Павел Алексеевич задумался.

— В живых мало кто остался,— вздохнул он.— Покосил он нас, гадина, и молодых и старых... Моляева в Германию угнал... Может, из пяти только Чепыжин Степан и остался. Он тут недалеко на хуторе живет.

— Да, я знаю, у меня его адрес есть... И еще вопрос, Павел Алексеевич: облавы были у вас?

— Конечно, были,— словно удивляясь наивности корреспондента, ответил Хижняков.

— В августе сорок второго года, например, не помните?

— На всю жизнь помню. Тогда людей что рыбу сетями позабирали, почти всех в Германию угнали да пять деревень и хуторов сожгли.

Одна загадка за другой. Голубев все досконально знает и ничего не говорит. Только на один вопрос ответил уверенно: никого не взяли, попрятались люди. И Хижняков тоже отвечает уверенно: людей что рыбу сетями позабирали.

— А вот говорят,— сказал Крылов,— будто никто в сети не попал.

— Кто же такое мог сказать? — удивился Павел Алексеевич.

Крылов замаялся.

— Не знаете? Так я разъясню. Кто сам далеко упрятался, когда еще немцы не подошли. Или вовремя в эвакуацию отправился. Одним словом, кто не был в то время здесь. Придумают тоже: попрятались...

— Да нет, был здесь.

— А если был,— энергично сказал Павел Алексеевич,— значит, с выгодой для себя так говорит. Не иначе! — отрубил он и снова налил стопку: — По последней, Сергей Александрович.

— Нет, мне пора,— поднялся Крылов.— Скажите, вы не знаете Зарудную?

— Ах, вот кто! Ну, эта что угодно может сказать. Одно гнилье... Панченко, Зарудная...

— Кто она, чем занимается?

— Точно не знаю. Знаю только, что психованная баба.

Распознавшись с Хижняковым, Крылов отправился к Чепыжину. Сухонький старичок, маленького роста, не по возрасту подвижный, и силенки, видать, в нем еще порядочно. Сергей Александрович решительно отказался звать в дом, даже во двор. По его настоянию сели на лавочке у калитки. Спросил, действительно ли Панченко бил Хижнякова?

— Так вяпал, что он, бедолага, до другой стенки летел, хе-хе-хе,— засмеялся он странным, точно потрескивание, смехом.— Сейчас, закричал, на месте расстреляю, и за револьвер. Да Хижняков проворней оказался. Пока он свою кобуру рассупонивал, Павло уже и дверь захлопнул... Хе-хе-хе... Так пойдете ж в дом,— поднялся он,— срамота одна такого гостя за калиткой томить.

— Спасибо, я пойду, только еще один вопрос — что вообще о Панченко вы можете сказать?

— Да что говорить... Хаты жег, скот с дворов сгонял, облавы устраивал, над людьми измывался. Что полагается фашистскому старосте, исправно выполнял, верой и правдой служил им.

Подробности той облавы особенно запомнились Чепыжину. Многим она стоила жизни. Выходит, действительно как сетями...

А как же Голубев... да и Зарудная?.. Впрочем, всякие люди бывают. Решил все же заехать в райком.

Степан Андреевич встретил его радушно. Поблагодарил за хороший очерк о Гулыге. А на вопрос о Панченко тяжело вздохнул:

— Да, обидно это нам и больно, но куда денешься. Да и не только Панченко, еще человек пять. Правда, те так, мелкая сошка, просто смалодушничали в трудную минуту. А вот Панченко — это был волкодав, идейный враг.

— Выводы глобальные... А все-таки на основе каких фактов они сделаны?

— Факты... факты...— задумчиво покачал головой Степан Андреевич.— Лучше бы их не было. Нам куда приятнее сказать — ни один человек в районе не пошел в услужение фашистам... С какой-нибудь высокой трибуны сказать... Да вот факты, именно факты нам всю картину портят. Набралось их немало, свидетельства одного Гулыги чего стоят. Но я вам еще кое-что покажу. Куда более весомое.

Нажал кнопку. Вошла секретарша.

— Возьмите в партархиве выводы комиссии по письму Дмитрия Панченко, сына бургомистра.

— У них сейчас обед, Степан Андреевич.

— Так они же здесь обедают,— пришел он в раздражение.— Никуда не убежит обед. Пусть дадут немедленно.

— Да зачем же мешать им, я подожду,— с укором сказал Крылов. Он органически не выносил грубости. Нет, не по отношению к себе, ему не очень-то грубили. Он не терпел повышенного тона в разговорах начальства с подчиненными. На этой почве не раз возникали у него споры с товарищами. В его глазах ни перевыполнение планов, ни даже самая большая забота о людях не давали права руководителю говорить с ними непочтительно.

Секретарша поспешно вышла.

Должно быть, по лицу Крылова Степан Андреевич угадал его мысли. Устало заговорил:

— Знаете, нервы стали сдавать. Ненавижу окрики, а в последнее время ловлю себя на том, что нет-нет да и тукнешь. Вот и сейчас... Сергей Александрович неожиданно рассмеялся, и Исаев с недоумением взглянул на него.

— Извините, Степан Андреевич, извините, бога ради.

— Да нет, пожалуйста, но разве это смешно?

— Еще раз извините, сценка одна вспомнилась, хотя никакой аналогии здесь нет. Видимо, по ассоциации.

Крылов никогда не упускал случая осадить зарвавшегося, защитить обиженного, если тот сам не мог этого сделать. Порою сам себя ругал за это — нельзя же то и дело вмешиваться в чужие дела. И успокаивал себя — нет, это не чужие. Незаслуженное оскорбление другого воспринимал как собственное. Не упустил случая и сейчас. Рассказал эпизод, смешав правду с вымыслом:

— Директор одного завода постоянно кричал на людей. Как и следовало ожидать, вызвали его в райком по жалобе очередного обиженного. «Нервы не выдержали»,— объяснил директор. «А на начальника главка,— спросил его секретарь,— тоже кричите, когда нервы не выдерживают, или они у вас избирательно расстраиваются?»

Степан Андреевич никак не отреагировал на слова Крылова. Будто самому себе сказал:

— Нет, не завидую я секретарям райкомов, ох не завидую, особенно такого, как наш. Два сахарных завода, совхозы, колхозы, жилищная проблема... голова кругом идет. Ну ничего,— даже плечи расправил,— нет таких крепостей... Как-никак третий год первое место по области держим.

Вошла секретарша, положила на стол раскрытую папку с бумагами и молча удалилась.

— Ну вот,— посмотрел Степан Андреевич в папку.— Видите, девять подписей членов комиссии, расследовавших заявление сына Панченко. Требовал реабилитировать отца. Люди авторитетные, солидные, расследовали тщательно.

Крылов взял папку, стал читать... Участие в карательных налетах,

помощь фашистам в угоне людей в Германию, поджоги хуторов — всюду приложил свою руку бургомистр.

Крылов прочитал, закрыл папку, задумался. Сквозь стеклянные дверцы шкафа увидел такой же рог изобилия, как и в кабинете Гулыги. Фирменная марка отрасли.

Сергей Александрович достал блокнот.

— Как фамилия председателя комиссии?

— Прохоров. Директор сахарного завода, пользующийся всеобщим авторитетом.

— Степан Андреевич, извините,— появилась секретарша,— комбайнер Савчук просто рвется в кабинет, говорит, если сейчас не доложу, сам войдет...

— Но вы объяснили, что у меня человек из Москвы?

— Все, Степан Андреевич, я пойду,— поднялся Крылов.— Спасибо вам, успокоили мою совесть.

А Савчук — огромный детина — уже ворвался в кабинет.

— Что же это, Степан Андреевич,— басом заговорил он.— Четыре года я на очереди, а «Волгу» опять кому-то отдали. Зачем тогда на всех собраниях слова про меня говорить?.. Портрет на Доске почета уже пожелтел от времени...

— Спокойней, товарищ Савчук,— тихо сказал Степан Андреевич,— отдали не кому-то, а Прохорову, тоже человек заслуженный.

— Да он же на казенной ездит,— взорвался комбайнер,— не для себя — для сыночка берет, а того только от титки оторвали, вместо молока теперь «Волгами» кормят, а он знай себе сосет.

— Спокойней, товарищ Савчук, спокойней, вы в райкоме партии находитесь...— И после паузы:— А вообще, может, вы и правы. По существу правы. Твердо обещаю: первая «Волга» по следующей разрядке — вам.

В Лучанск Крылов вернулся за два часа до отхода поезда — на обед с Гулыгой времени уже не оставалось. Он собирал вещи, напевая глупенькую песенку:

А девочка Надя, чего тебе надо?
Ничего не надо, кроме шоколада...

Собрался позвонить Гулыге, но тот опередил, позвонил сам. Должно быть, шофер доложил ему, что вернулся. Петр Елизарович начал с упреков: как же так, договорились, сидит, ждет... Нет-нет, и слышать не хочет, не получился обед, значит, ужин. Крылов едва отбился — билет в кармане, а до поезда меньше часа остается. Гулыга смирился. Расспросил, как поездка. Сергей Александрович поблагодарил его — все удачно, никаких сомнений не осталось, со спокойной душой едет домой.

9

В Мюнхене шел дождь. Разбрызгивая лужи фонтаном, проносились машины, несмотря на раннее время, с зажженными фарами. Малолитражка доверху в грязи остановилась перед узким, в три окна старинным домом, фасад которого, должно быть, довольно часто подвергался варварским набегам: затертые и полустертые знаки и надписи, обрывки и клочки сорванных плакатов или афиш, огромная клякса на уровне второго этажа.

Дверца машины распахнулась, и вместо водителя появился огромный черный зонт, который тут же направился к подъезду. Возле двери зонт сложился и превратился в Грюнера.

Вскоре после отъезда Крылова из ГДР он был назначен на должность собственного корреспондента своей газеты в Бонне. Лет десять назад он уже был собкором в Западной Германии, хорошо знал стра-

ну, имел много друзей в разных городах, особенно среди работников Фау Фау Эн.

Выйдя из машины, с минуту рассматривал четыре зеркально-черных осколка, сиротливо болтавшихся на гвоздиках рядом со входом, когда услышал:

— Добрый день, Дитрих. Ты к нам?

Он поднял голову и увидел молодого человека в распахнутом настежь окне второго этажа.

— Здравствуй, Уго, вывеску ликвидировали недавно?

— Вчера. Заходи, чего ты там мокнешь.

Дитрих поднялся и вошел в комнату, обставленную с деловитой солидностью, которую подчеркивал и строгий костюм хозяина. Типичный служебный интерьер. Но маленькая деталь — портрет Тельмана на стене — красноречиво объясняла, почему так измордован фасад здания.

— Я уже договорился, Дитрих, сейчас нас пригласят в картотеку и покажут то, что тебя интересует, садись.

Зазвонил телефон.

— Фау Фау Эн,— отозвался Уго. Кто-то дышал в трубку, не отвечая.— Организация лиц, преследовавшихся при нацизме,— сказал он громче. В трубке раздались частые гудки.— Не надоело им... Вот что, Дитрих, пока там нас позовут, давай выпьем кофе.

— С удовольствием. Только закрой сначала это проклятое окно, я совершенно продрог.

Дитрих симпатизировал Уго. Когда-то, в первый период после войны, в этой организации состояли только немецкие патриоты — уцелевшие в гитлеровских застенках, вернувшиеся из эмиграции. В основном — люди пожилые. Постепенно ряды их редели. Тем не менее организация набиралась новых сил: ее пополняла молодежь. Руководил Мюнхенским отделением старый подпольщик, а Уго был его заместителем, и, пожалуй, на нем лежала львиная доля работы.

— Сейчас закрою,— улыбнулся Уго,— хотя должен тебе сказать, что холод дисциплинирует.— Он аккуратно затворил окно и налил из термоса две чашечки кофе.

— Представляешь — наша картотека! Довольно приличная коллекция фашистского отребья. Она же им житья не дает, они не только вывеску разбить готовы, они бы за ней на четвереньках из Парагвая прискакали и проглотили живьем. Только к нам не очень-то сунешься.— И засмеялся совсем как мальчишка.

Вскоре сообщили, что можно спуститься в картотеку. Друзья прошли через комнату, где за письменным столом печатала на машинке худенькая девушка в аккуратной блузке. На подоконнике сидел симпатичный парнишка с серьезными бицепсами. В кресле, свернувшись сакачиком, устроилась собачка.

Из соседней комнаты, хлопнув дверью, устремился к выходу человек в кожаной куртке с меховым воротником.

— Вот что, Линда,— обратился он к девушке.— Когда появится Хольберг, поцелуй его от меня и скажи, что я прождал его сорок минут.

В это время на пороге появился смешной человек в длинном несуразном пальто с папкой под мышкой. Он весь вымок, ему явно пришлось взлететь по лестнице, но глаза у него смеялись.

— Ну, Линда, целуй меня скорее, я уже появился.

— Слушай,— перебила его кожаная куртка,— если у тебя в редакции дозволено вообще не показываться, потому что это идет только на пользу газете, то в моей мастерской хозяин фланирует с секундомером даже возле сортира.— Последние слова прогремели уже с лестницы.

— Вот сумасшедший. Сколько ждал, а я пришел — он тут же бежать.

— Хорошие ребята,— заметил Уго, когда они вышли на площадку.— Почти все у нас работают на общественных началах, урывают каждую свободную минуту.

— А Линда?

— У нее муж кинооператор, все время в разъездах, фактически, кроме собачки, ей заботиться не о ком.

С первого этажа они спустились в подвал по узкой лесенке и остановились у тяжелой двери, обитой жестью. Уго оглянулся по сторонам, нажал кнопку — короткий звонок, длинный, два коротких. На двери засветился стеклянный глазок, и она тяжело открылась, выпустив на свободу полоску яркого света и захлебывающуюся скороговорку спортивного репортажа. Друзья зашли, и дверь за ними хлопнулась. На маленькой, в полумраке, площадке снова воцарилась тишина.

В тесном помещении, заставленном шкафчиками и стеллажами, Уго и Грюнера встретила чопорная старушка в строгом костюме. Она раскланялась с Дитрихом и попыталась его выслушать, но рев и свист многотысячной толпы, заключенной в транзисторном приемнике на рабочем столе, сделали эту попытку совершенно бесполезной.

— Вы любите футбол, фрау Клюге? — улыбнулся Грюнер.

— Я!!! Футбол?! — старушка оскорбленно вскинула подбородок и, чеканя каждое слово, обратилась к пространству между стеллажами: — Генрих, умоляю вас, выключите эту ужасную тарабарщину...

Мгновенно из-за стеллажа выпорхнул к столу очень грузный человек в черном рабочем халате, прижимая руку к сердцу, смущенно раскланялся, другой рукой убавил громкость в приемнике и, прильнув к нему ухом, замер в нелепой позе.

— Иоганн Бергер... Иоганн Бергер... — Старушка, перебирая карточки в ящике, нашла нужную, выписала шифр. На секунду задумалась, что-то припоминая.

Она ушла в глубь хранилища, а ее Генрих усадил друзей возле стола, расчистив на нем свободное место, поставил приемник на полку и, символизируя свое возвращение в реальный мир, накрыл его клетчатым платком.

Фрау Клюге принесла толстую папку.

— Вашего друга,— произнесла чуть ли не торжественно,— интересует Иоганн Бергер. Вот он весь здесь.

— Не столько он, как русский бургомистр, служивший при нем.

— Тут достаточно материалов обо всех, кто с ним служил.

— Здесь,— рука Генриха тяжело придавила папку,— собраны материалы и о новейшем, мало кому известном Иоганне Бергере — старом волке, патроне молодежного отделения реваншистской мафии. Этот экспонат живет и процветает в нашем прекрасном городе...

— Теперь я вспомнила,— вставила фрау Клюге,— почти год назад мы возбуждали уголовное дело.

— Совершенно верно. Следствие закончено, скоро в суде будет слушаться дело военного преступника Бергера.— Голос Генриха зазвучал громче.— Мы считаем своим долгом раскрыть не только его прошлое, но и подлинное настоящее. Многим нашим согражданам это будет весьма полезно...

— Не надо так горячиться, помните, пожалуйста, о своем сердце.— Маленькая рука заботливо коснулась рукава Генриха, ловко вытасила из-под большого кулака изрядно потрепанную папку и передвинула ее Грюнеру.

— Недавно в Штутгартском отделении Фау Фау Эн,— не унимался Генрих,— напали на очень интересный след теневой деятельности нашего ягненочка. Оказывается, он в своем отеле...

— Извините,— перебил Грюнер.— В этой папке есть какие-либо материалы о русском бургомистре Панченко?

Генрих задумался.

— Панченко... Не помню, в какой связи, но фамилия мне знакома... Да, конечно, я встречал ее в этом деле не раз.

10

Перечитав свою статью, Костя пошел к Сергею Александровичу. Такого ответственного задания — написать большой, весьма важный очерк — он еще не получал. Понимал: если справится с заданием, поднимется на ступеньку выше в журналистской иерархии. Выложился весь. А все-таки Крылов придрался — и то не так, и это не так. Уже два раза переписывал.

Вообще-то полагалось сдавать работу заведующему отделом, но Крылов взял над ней шефство. И все трое были довольны. Крылов — потому что верил в способности парня и хотел помочь ему, Костя принимал: после такой квалифицированной редактурой никто не станет придраться. Завотделом — потому что не придется возиться со статьей и можно будет, лишь пробежав ее, сдать в набор.

Костя шел по шумному редакционному коридору. Размахивая газетной полосой, испещренной правкой, пронесся курьер, куда-то торопясь, двое, усиленно жестикулируя, перебивая друг друга, спорили, на весь коридор раздался крик: «Пусть срочно печатают, это — в номер».

Шла обычная бурная жизнь редакции. Кабинеты начальства, отдельные рабочие комнаты спецкоров, и те, в которых сидят по несколько человек, и коридоры всегда полны людей — сотрудников, просителей, жалобщиков, разоблачителей, изобретателей, посторонних авторов. И все торопятся, все делается в бешеном темпе. Это не мешает людям, казалось бы, не имеющим секунды свободного времени, собраться у журнального столика в холле, покурить, поболтать, порой расслабиться за чашечкой кофе, потом спохватиться, глядя на часы, и умчаться, предоставив следующему те же возможности. И стоит там неизменный гул голосов и смех.

На непосвященного редакционная атмосфера может произвести удручающее впечатление. Однако хаос лишь кажущийся. Идет напряженная работа. Все подчинено единой воле, единой цели.

Костя проработал в редакции почти год, но никак не мог свыкнуться с правкой, порой нещадной, которой подвергаются почти все материалы, идущие в газету. Поочередно правят завотделами или их заместители, потом правят в секретариате, в редакторате, правят в оригиналах, в гранках, в верстке на полосах. Заодно и сокращают. Каждый старается ужать текст до предела. Только статьи опытных журналистов идут почти без исправлений до бюро проверки и корректуры, — там не щадят никого. Даты, цифры, события, фамилии, звания, награды и еще бесчисленное количество данных, содержащихся в материале, автор должен подтвердить ссылками на первоисточники. Корректурa еще более категорична. Знаки препинания расставляет точно, как это положено по учебнику, не считаясь с волей автора, и после ее читки материал испещряется красными черточками и вопросительными знаками. А порой на полях против неудачной фразы появляется и резолюция: «Не по-русски».

В результате тщательной работы всего аппарата порой от корреспонденции мало что остается. Случается и так: пройдя все сциллы и харибды, испещренный крючочками, означающими визы ответственных лиц, материал доходит наконец до главного редактора, а там уже бракуется окончательно.

Идя к Крылову, Костя немного нервничал. Конечно, после его визы статья не подвергнется экзекуции и, тем более, не забракуется. Но этот придира наверняка еще к чему-нибудь прицепится.

— Все исправил, Сергей Александрович, — положил он статью на стол.

Крылов читал молча, постукивая карандашом по столу, и это постукивание раздражало Костю. Он не сводил глаз со своего судьи, который сейчас вынесет приговор. Самые мучительные минуты. Вот писал, сколько раз перечитывал написанное, снова мучительно рождались фразы, нервничал, радовался, бегал по комнате, когда приходили удачные мысли и нужные слова. Наконец — все. Он сделал все что мог, отдал все силы. И вот сидит, скажем, за вотделом, читает. Поморщился, и екнуло сердце. Да нет же, это он муху согнал... А может, не муха его раздражает?.. Перевернул страницу, сейчас должен засмеяться, именно здесь изображена очень смешная ситуация... Нет, даже не улыбнулся... А вот здесь не нахмурился. Как можно равнодушно прочесть о таком неожиданном для героя ударе?..

Тревожно следил Костя за глазами Крылова, пока тот читал. А не следить, спокойно сидеть, глаза по сторонам, не хватало мочи.

Лицо Крылова ничего не отражало. Осталось бесстрастным и когда кончил читать. Молча отодвинул статью. Косте стало трудно дышать, и он не выдержал:

— Ну как?

Крылов выразительно взглянул на него:

— Нет на тебя Дмитрия Васильевича.

— Кого?! Кто это Дмитрий Васильевич?

— Был такой зам главного редактора в газете, где я начинал. Великий учитель журналистики. Никогда ни одного слова ни у кого не исправлял.

— Поэтому и вы не исправляете?

— Но разжевываю, только что в рот не кладу. А он вот как делал. Прочитал он однажды мою статью и говорит: «Исправьте, мы все-таки на идеологическом фронте работаем». «В каком,— спрашиваю,— смысле, Дмитрий Васильевич, что именно исправить?» «Я уже сказал вам,— отвечает,— мы работаем на идеологическом фронте»,— и взялся читать другую рукопись. Разговор, мол, закончен. Был я тогда молодой, горячий, обозлился страшно. Ну, думаю, я и тебе загадку загадаю. Прихожу на следующий день и, знаешь, невинным таким, даже услужливым тоном говорю: «В полном соответствии с вашим указанием все исправил»,— и кладу перед ним статью. Прочитал он, лицо довольное, и я возрадовался, заулыбался. Вот, думаю, как одурачил его. «Вот это уже другое дело»,— говорит он. Представляешь мое торжество? «Это совсем другое дело»,— повторяет он и при этом рвет мою статью на четыре части и бросает в корзину. Уже не глядя на меня, добавил: «Надеюсь, копия у вас осталась, как-нибудь на свободе почитаете». Три дня я себе места не находил, ночи не спал, и вдруг меня осенило — понял свою ошибку, исправил. Снова прихожу. Как побитая собака прихожу, прошу еще раз прочитать. Закончил он и спокойно, без всяких восторгов и эмоций говорит: «Молодец!» А я уже не верю его словам, подвоха жду. «Отнесите»,— добавил он и что-то в уголке написал. И я увидел: «В набор». Не было тогда для меня слаще слов. Костя. Я ждал их, как мать сыновних писем, как глоток воды в раскаленной пустыне, как крестьянин дождь в засуху.

— Почему же он сразу не сказал? — с недоумением спросил Костя.

— Правильно сделал. Это его школа. Он добивался, чтобы человек сам думал, искал, анализировал. Только так можно научить нашему ремеслу. А что толку в правке? Она только раздражает автора и лично ему пользы не приносит... Нет,— сказал с сожалением.— не хватает у нас силы воли воспринять его методы. Уже разжуешь все, и то не действует... Вот я тебя не правил, объяснял, что сам ты должен сделать. А ты?.. Вот здесь оставил, как было,— ткнул пальцем в страницу,— вот здесь просто слова переставил, а смысл тот же, двойственный, остался. Концовка осталась, хотя она явно не годится, тоже говорили об этом... Нет, никаких уроков не извлек.

— Ну почему же?..

— Дмитрий Васильевич, будь он на моем месте, при первой же читке сказал бы: «Статья многословная, рыхлая, композиционно не выстроена. Исправьте». И все. Вот и думай, анализируй, сам постигай. Это настоящая школа.

— Выходит, в третий раз переписывать,— обиделся Костя.

— Выходит. В утешение тебе скажу: я и сейчас по пять раз переписываю... И вот еще — слишком много у тебя «я», поубавь маленько. И подпись сократи вдвое, достаточно — «К. Упин». То, что ты — Константин, читатели догадаются.

На пороге появилась Верочка — машинистка из секретариата главного редактора, с явными излишками косметики на лице. Пону-ро произнесла:

— Верните, пожалуйста, Пушкина, надо обменять. Сразу не посмотрела, а мне брак всучили.

— Какого Пушкина?

— Третий том, который я вам по подписке...

Пока она говорила, Костя незаметно для Крылова разыграл эту по системе Станиславского на тему: «Не надо! Замолчи! Уйди!» Но не увидела его шедевр и Верочка.

— Какой брак, я что-то не заметил.

— Так вот и я не заметила,— обрадовалась она.— Спасибо, люди подсказали. Повести Белкина, понимаете, туда вогнали.

— Что?!

— Повести Белкина, говорю, заверстали Пушкину, а печатала Первая образцовая. Вот вам и образцовая.

Крылов громко рассмеялся, посмотрел на Костю, и тот жалко улыбнулся.

— И кто же заметил?

— Да вот,— кивнула в сторону Кости.

— Не надо менять,— строго взглянул на Костю.— Просто Упин не знает: «Повести Белкина» — название одного из произведений Пушкина.— И помолчав, добавил: — А вы разве в школе не проходили этого?

— Нет,— нисколько не смутилась она,— из прозы мы только «Капитанскую дочку».— И, покосившись на Костю, ушла.

— Значит, «К. Упин»? — Костя старательно зачеркнул имя.— Вы безусловно правы, Сергей Александрович, читатель и так догадается, что этот Карл, то есть Климентий, вернее, Кирилл Упин — не дурак.

— Костя! — укоризненно перебил Крылов.— Ну как тебе не стыдно измываться над девчонкой? Кстати,— пододвинул Костину рукопись,— и ты небольшой грамотей. Вот пишешь: «Это положение усугубляется...» А что значит «усугубляется»?

Зазвонил телефон.

— Слушаю... Бегу, бегу... Подожди здесь, Костя.

Крылов быстро вошел в стенографическое бюро. В комнате, обтянутой мягкой ворсистой материей, расходящейся от люстры лучами, у одной стены были расположены кабины с тяжелыми, обитыми дерматином, дверьми.

Приглушенно, мягко стрекотали машинки. Старшая стенографистка у телефонного пульта подняла голову:

— Третья кабина,— кивнула Крылову.

Он вошел, сел у столика против стационарно укрепленного микрофона, надел наушники:

— Здравствуй, здравствуй, дорогой Дитрих. Рад слышать твой голос. Как дела?

— Отшень хорошо. У Фау Фау Эн толстая папка документы.

— О Панченко?

— Нет, там Бергер, но еще Панченко, приезжать смотреть...

Крылов рассмеялся:

— Легко сказать — приезжай. Нет повода. Понимаешь, трудно командировку получить... Что? Куда ты пропал? Ты слышишь меня, Дитрих?

— Слышу, слышу... Все есть трудно... Наверно, на процесс военный преступник Бергер есть повод. Через месяц процесс есть будет.

— А копии документов, касающихся Панченко, можешь снять?

— Серьежа, отшень много документы, не знаю, что тебе интересно-вайт будет. Ты сам должен посмотреть приезжать.

— Едва ли,— раздумчиво сказал Крылов.— Ладно, Дитрих, спасибо, поживем — увидим, может, и приеду, только вряд ли.

Они попрощались, и Крылов вернулся в свою комнату.

— Так что значит «усугубляться»? — спросил, усаживаясь в кресло.

— Ну это,— зашевелил пальцами Костя,— как бы это сказать...

— Возьми-ка на полке Даля, найди это слово.

Костя взял словарь, завозился, зашевелил губами.

— Ты когда-нибудь словарями пользовался?

— Сейчас, сейчас... Вот...

— Прочти. Вслух прочти.

Костя медленно прочел:

— «Усугублять — увеличивать, усиливать вдвое, умножать...»

— Так вот, может положение удваиваться, увеличиваться или умножаться?

— Но ведь так все говорят! — запротестовал Костя.

— Нет, не все! Только те, кто уродует свой язык. А вина твоя в том, что употребляешь слово, не зная его значения. И вот она-то может усугубляться. А учитывая, что работаешь в газете и распространяешь неправильный оборот, и усиливаться вдвое, даже умножаться... Так вот,— заключил он.— не лучше ль на себя оборотиться?

Костя молчал. Помолчал и Крылов.

— Возьми,— протянул он Косте статью,— доработай. Отличная вещь получается. Молодец.

После ухода Кости Крылов зажег свет и сел за свой незаконченный очерк о Максимчуке. Перечитал написанное и вконец расстроился. Не то. Портрет героя не получается. Расплывчато, туманно и вместе с тем крикливо. Появились ненавистные ему напыщенные слова и ватные или тяжелые, как штанга, фразы. Странное дело — в молодости мог за один вечер написать приличный очерк. Чем дальше, тем хуже. Внутренний голос успокаивал — нет, дело не в возрасте, просто строже стал относиться к каждой странице, абзацу, слову. Но все равно, утешение слабое. Чего-то не хватает. Съездить бы в Донбасс на шахту Белянку, где работал Петр, посмотреть, как он жил, познакомиться с родителями, поговорить с шахтерами, знавшими его... Хорошо бы, да упущено время. Уже два новых задания получил. Начнутся упреки, недовольство: почему сразу не поехал, и нечего на шахту ехать, не о ней речь, а о подвиге, и сколько можно тянуть с одним очерком. и так далее.

Точно пытаюсь себя обмануть, Сергей Александрович объяснял свое плохое настроение тем, что не удастся очерк. Дело было в ином, а в чем, он не хотел себе признаться. И очерку мешало это иное.

Совсем маленькое, но глубоко проникшее в него Забившись куда-то в самый дальний уголок, оно сидело тихо, не шевелясь. не тревожа почти целый день. а к вечеру нет-нет да и цапапнет лапкой — цап-царап...

Он заглушал, душил это ненавистное существо — никаких сомнений нет. Столько живых свидетелей, документов, расследований... Цап-царап — а куда девать гестаповский документик? Почему так враждебно молчал Голубев. и почему так противоречит его словам версия Хижнякова, ведь они оба очевидцы события?.. Ну и черт с

ним, не полезу в эти лабиринты, они мне неинтересны, они к делу не относятся... Цап-царап — а что это за странная история с Зарудной?.. И это мне неинтересно. Главное, решающее — неопровержимо, факты железобетонные. Заткнись наконец, замолчи, а то удушю!.. Цап-царап — удушить тебе не под силу, не сможешь, а уйти мне некуда, я могу жить только у тебя, в тебе, пока ты не ответишь на мои вопросы. Я не буду часто тревожить тебя. постараюсь утихнуть, только знай, я все время буду с тобой.

Крылов поднялся, сунул в ящик стола рукопись и яростно хлопнул его. Никуда не заходя, отправился домой.

11

Сергей Александрович женился, когда ему было сорок лет. Его жене, Ольге, в день свадьбы исполнилось двадцать. Она не видела, не ощущала разницы в годах. По-спортивному подтянутый, добрый, остроумный, он покорила ее еще своей трогательной заботой, чуткостью. Она не была в него влюблена, но ей нравилось в нем все. Выйти замуж за такого человека — большего счастья не надо. Она сделает и его счастливым. Робко спросила, не станет ли возражать, если она бросит работу в тресте зеленых насаждений, куда ее направили после техникума. Он с радостью согласился.

Однажды в обычный будний день он принес ей цветы, и это вызвало бурную радость. Расцеловав его, сказала:

— Ты молодец, Сережечка, не забываешь, что я ровно вдвое моложе тебя. Приноси мне цветы всегда.

Он добродушно улыбнулся:

— Во-первых, цветы не годам, а тебе. Во-вторых, если приносить их каждый день, они перестанут радовать. Это превратится в привычку. А в-третьих, милая, — снова улыбнулся он, — постепенно разница в годах сотрется.

— Что же, Сержик, ты думаешь, я начну стариться раньше тебя?

— Нет, но разница в годах с нарастающей скоростью будет уменьшаться.

— Что за глупости ты говоришь, как это возможно?

— Ты математику учила по Малинину — Буренину? Вот и посчитай по Малинину — Буренину. Когда тебе исполнился год, я был старше тебя в двадцать раз, а теперь только вдвое. Когда мне стукнет шестьдесят, тебе будет сорок. Так? Значит, уже не вдвое, а на одну треть ты окажешься моложе. А в мои восемьдесят — только на четверть. — И он рассмеялся.

— Ну-ну, продолжай, — рассмеялась и она. — Когда тебе исполнится тысяча, мне — девятьсот восемьдесят... Значит, во сколько?.. В две сотых раза.

Она смеялась искренне, и все-таки на мгновение едва уловимое ощущение или вовсе неуловимое и все же промелькнувшее, трудно объяснимое, бесформенное оставило какой-то осадок обиды.

На следующий день она вспомнила об этом разговоре, задумалась. Нет, не так уж это и смешно.

Шли годы, он оставался таким же заботливым и внимательным, как прежде, а Ольге хотелось чего-то большего. С того шуточного разговора она стала считать разницу в годах своим большим достоинством и преимуществом, о чем он обязан всегда помнить, особо ценить, и это должно в чем-то выражаться. Трудно сказать, в чем именно, это уж пусть он сам придумает, но ощущение, что он ей чего-то недодает в жизни, нарастало.

Сама она делает для него все. Большой заботы, чем проявляет о нем, не бывает. Никто никогда не видел его в рубашке не первой свежести или недостаточно тщательно выглаженной. весь дом сверкает чистотой, на столе всегда его любимые блюда. Она добровольно

избавила его от забот о покупках нового костюма, туфель или пальто — сама говорила, когда нужна обновка, сама выбирала и брала его с собой только для того, чтобы посмотреть, как на нем сидит отобранная ею вещь. Он ни в чем не может ее упрекнуть. Хотя однажды, когда увидел, как рассеянно она слушает его очерк, только что написанный, упрекнул, будто ей неинтересна его работа. Но это неправда. Не меньше, чем он, радуется его успехам. А в то, как задумываются очерки, как готовятся, лезть не следует — в этом она была твердо убеждена. Не спрашивает же он, почему именно и как готовилось то или иное блюдо. Ей вполне достаточно, что он хвалит ее кулинарные таланты.

Когда-то она была увлечена им, с годами увлечение прошло, но он оставался для нее самым дорогим человеком, которому она безраздельно верна и преданна. Она хорошо знала — здесь у них полная взаимность.

С чего бы это? Показалось, что ли? Встретила холодно, недружелюбно. Сухо спросила:

— Есть будешь?

Что с ней?.. Но к чему задаваться глупыми вопросами? Целыми днями и вечерами он не бывает дома, сколько раз уже просила устроить на работу, страдает оттого, что нет детей, а он даже о цветах давно забыл. И вот явился надутый и нахмуренный, молча прошел в комнату. Хватит! Ее хоть не волновать своими запутанными делами.

— Буду, Оленька! Буду, родная! Голоден так, что готов даже тебя съест. — Сказал весело, широко улыбаясь.

— Это я знаю! — голос прозвучал враждебно.

Исходяще взглянул на нее, пошел мыть руки, а она — на кухню. Здесь ее полноправные владения, сверкающие операционной чистотой. Все продумано во всех мелочах и обласкано маленькими, но такими ловкими и сильными руками.

Насупившись, шумно и с раздражением переставляя тарелки, она начала накрывать на стол. Крылов остановился в дверях — никакого внимания. В сердцах брошенная на стол вилка подпрыгнула и приземлилась у его ног. Потянулся было поднять, но жена резким движением выхватила ее из-под руки и водворила на место.

— Ты чем недовольна, Оленька?

Ответила не сразу:

— Всем довольна... Успехами мужа, например, довольна.

Он с досадой поморщился:

— Какие там успехи! После очерка из Лучанска не опубликовал ни строчки.

— И я говорю о Лучанске.

— Да, об этом очерке все говорят, — он довольно улыбнулся.

— Пока не все, но мне бы очень не хотелось, чтобы о Лучанске заговорили все.

Сергей Александрович с недоумением посмотрел на жену:

— Что ты имеешь в виду?

— Зарудную, Сереженька! Валерию Николаевну Зарудную...

Сергей Александрович оторопел. На мгновение стало очень тихо.

— Ты ее знаешь?!

— Теперь знаю. Как и положено жене, узнала последней. Только не вздумай говорить, будто ты ее не знаешь.

— Конечно, не знаю, хотя и встречался.

Она зло и насмешливо ухмыльнулась:

— Неужели не видишь, как ты смешон, — встречался, но не знаешь.

— Да прекрати наконец эту комедию! — разозлился он. — Объясни, в чем дело.

— Объяснять тебе придется. Только не комедию, а трагедию. Вот это объясни,— она выхватила из кармана фартука конверт и швырнула на стол. Он быстро раскрыл его и прочитал письмо:

«Уважаемая жена Крылова! Извините, не знаю вашего имени-отчества. Пишу вам, чтобы не было беды, я человек решительный, и пойду на все, и никому не спущу. Может, вы и не знаете, а только пока я был в рейсе, ваш Крылов забавлялся здесь с Зарудной Валерией Николаевной, на которую я имею серьезные намерения. Все соседи видели, как он приезжал к ней домой с заграничными чемоданами на черной «Волге», а зачем приезжают под вечер к одинокой красивой женщине и подкупают ее заграничными западными тряпками, объяснять не надо, всякий дурак поймет. Он положил на нее глаз, еще когда торчал тут две недели у Гулыги. я это сам видел, а потом — мне в рейс, он и воспользовался. А теперь опять. К ней я свои меры приму, а своему байбаку скажите, пусть к чужим бабам не лезет и в Лучанске не появляется. А сунется еще раз, если и не будет меня в Лучанске, все равно на костылях или на носилках уедет, а то и совсем останетесь вдовой. Так и знайте».

Потрясенный Крылов сидел не в силах проронить ни слова. Ольга зло смотрела на него.

— Что же ты молчишь? Придумываешь, как выкрутиться?

Неожиданный удар, обрушившийся на Ольгу утром, когда она прочла письмо, ошеломил ее. Она готова была на самый безрассудный поступок. Будь под рукой яд, могла бы, не задумываясь, принять его, равно как и бросить утюг в голову мужа, появившись он в ту минуту. Так подло, так иезуитски обманывать ее, преданную и чистую, заботливую и нежную, так насмеяться... Она заливалась слезами, в бессилии стуча кулачками о стол. Какое вероломство, какая низость оправдываться: «Очень мало валюты дали». Ей привез грошовый подарок, а валюта вот куда пошла.

Из шока Ольгу вывела промелькнувшая, еще не сформировавшаяся мысль, и она ухватилась за эту спасительную ниточку, чтобы не потерять ее. Месть! Отомстить безжалостно, беспощадно, жестоко. Надо придумать такую изощренную, такую изуверскую месть, чтобы раздавить, растоптать, смешать с грязью его достоинство, его самолюбие, его мужскую гордость. Надо испепелить его душу, чтобы последствия ее мести он чувствовал годы.

Она то металась по комнате, то в бессилии падала в кресло, и в воспаленном мозгу рождались картины одна другой фантастичней и отвратительней. Надо затащить к себе в постель первого попавшегося на улице мужика — чем страшнее, тем лучше, позвонить, сказать, будто у нее инфаркт, или взорвался газ, или загорелась квартира, что угодно, только бы примчался немедленно. Он войдет — и все увидит. А она будет хохотать, глядя в перекошенное ужасом лицо мужа, и наслаждаться местью.

Одна картина сменялась другой, еще более фантастичной и безумной, рождались и гасли все новые планы мести, она заливалась слезами, понимая, что не в силах осуществить ни один из них.

Но что-то же надо делать, на что-то решиться! Развестись? Да, это единственная доступная возможность отстоять свою честь. Неведомые тормоза мешали утвердиться решению о разводе.

В муках шли часы, она выдохлась, осталась без сил, осознав свою беспомощность.

Так ничего и не придумав, не зная, как встретить мужа, как говорить с ним, как вести себя, подавленная и опустошенная, дождалась его прихода.

...Она молча смотрела на его неподвижную фигуру. И верно, он сидел, точно окаменев, а внутри все бушевало, не находя выхода. Надо успокоить Ольгу, надо объяснить, найти убедительные доводы,

но в голове билась мысль, кто и для чего мог написать такое чудовищное письмо? Кому надо, чтобы он не приезжал в Лучанск?

— Что же ты молчишь? — повторила Ольга свой вопрос.

— Ольга! — горячо заговорил он. — Неужели ты можешь поверить этой подлой, гнусной клевете?!

— А как же не верить? — словно умоляя, сказала она. И тут же спохватилась, голос стал ледяным, насмешливым. — Как объяснить твой скоропалительный вояж из Берлина прямо в Лучанск, а не домой?!

— Оля, я тебе уже пять дней объясняю — проверить гестаповский документ можно было только в Лучанске. В чем ты сомневаешься, я не пойму.

— И я не пойму, какие это у меня могут быть сомнения, если все так ясно — не потащишь же ты домой подарки, предназначенные ей!

— Ольга, где логика?!

— Нет логики? В твоих словах нет логики. Почему ты мчался туда, как на пожар, почему не поехал домой сразу, как все? Успел бы проверить свой документ. И при чем здесь документ гестапо? Тебе все подробно рассказали, миллион свидетелей его злодеяний, сам видел предателя в фашистской форме — на фотографии красуется...

— Зорге тоже «красовался» в фашистской форме, — прервал он.

— А раньше, когда писал очерк, ты этого не знал?.. И почему ты уходишь от главного, от этого письма! Кому это вдруг понадобилось на тебя клеветать?

— Вот на этот вопрос я пока не могу ответить. Кто придумал...

— Нет, не придумал, — оборвала она, — письмо искреннее, простое, простого человека. Такое не придумывается. — Ольга резко сорвала фартук, бросила на стол и рванулась к двери. Неожиданно обернулась и выплеснула на Крылова все, что надумала с тех пор, как прочла анонимку, выбрав, как это часто бывает у женщин, самую большую для себя версию. Она уже не говорила, а чуть ли не истерически кричала:

— Не желаю быть участницей вашего пошлого водевиля. С меня достаточно первого акта!.. Не хочу получать таких писем, не хочу, чтобы на меня пальцем указывали!..

Он испугался. Испугался, что с ней будет истерика, чего никогда в жизни не случалось, испугался за нее.

— Оля, не надо, — умоляюще заговорил он, прижимая руки к груди, — прошу тебя...

— Нет, надо! В последнее время меня окружает один Лучанск. Это, конечно, стечение обстоятельств, но я не удивлюсь, если скоро в центральной печати каждый камень Лучанска будет описан.

Зарыдав, она рванулась из кухни, хлопнув дверью.

По шумному редакционному коридору шел человек, разглядывая таблички на дверях. У него было угловатое волевое лицо, большой лоб, черные вразлет брови, умные, выразительные глаза. На его высокой фигуре ладно сидел недорогой костюм, и весь он был ладным, крепким, чувствовалась в нем физическая сила.

Вопреки этому вид не казался бравым. Напротив, будто стесняясь своего роста, чуть сутулился, поспешно жался к стене, уступая дорогу встречным, словно опасаясь чего-то, прижимал к груди папку.

Отыскал наконец кабинет главного редактора, тихонько постучал в дверь и, не дождавшись ответа, аккуратно приоткрыв ее, вошел в приемную. Молча стоял у двери, ждал, пока секретарша оторвется от своих дел. В углу за маленьким столиком печатала на машинке Верочка.

— Вы что, товарищ? — подняла голову секретарша.

— Хотел с главным редактором поговорить.

— Нет его, видите? — показала на распахнутую настежь дверь, — да и день сегодня неприятный, и к главному у нас предварительная запись.

Вошедший покачивал головой в такт ее словам, как бы подтверждая их справедливость. Видимо, ничего неожиданного в них для него не было, и не очень-то он рассчитывал на удачу. Знать, немало походил уже по кабинетам начальства. Без особой надежды, скорее для очистки совести, будто неловко ему за назойливость, спросил:

— Без записи нельзя, да? Я приезжий, отгул всего на два дня дали... Он когда будет?

— Сегодня уже не будет. Вы по какому делу приехали?

Тяжело вздохнул человек:

— Зря, наверное, приехал... Редакция, наверное, опровержений не печатает?.. Или случается?

Секретарша участливо посмотрела на него.

— Ошибку редакция допустила в статье... Серьезную ошибку, понимаете?.. — и умолк, не зная, что говорить дальше.

— В какой статье, как называется? — секретарша потянулась за подшивкой.

— Нет, давно, больше трех месяцев назад... «Генеральный директор» называется.

— Почему же так долго молчали?

— Не молчал, сразу написал. А редакция мое письмо куда-то переслала, а там тоже переслали, ответ получил несколько дней назад от того, на кого жаловался.

Он виновато улыбнулся, словно извиняясь за то, что так нескладно получилось.

Секретарша задумалась:

— Минуточку... — и вошла в кабинет напротив редакторского. Вскоре вновь появилась и жестом пригласила: — Пройдите к заместителю, товарищу Андрееву, Василий Андреевич его зовут.

Минут через десять он вышел и, не попрощавшись, направился в коридор. Шел, глядя в пол, ни на кого не обращая внимания. Его вид был красноречив — ничего не добился.

— Костя, тебя Крылов искал! — раздался чей-то крик.

— Крылов? — удивился Костя. — Я только что от него.

Посетитель вскинул голову, насторожился. Постоял в нерешительности и спросил проходившего мимо сотрудника:

— Пожалуйста, где сидит Крылов?

— Вот, вторая дверь.

Постоял у двери, прочитав табличку, вошел.

— Вы ко мне? — поднял голову Сергей Александрович.

Молчит человек, уставился, смотрит.

— Извините, — сухо сказал наконец и повернулся к двери.

— Гражданин! — удивленно окликнул его Крылов. — Вы что хотели?

— Уже все, что хотел, сделал! — Голос стал твердым, жестким. — Хотел посмотреть на вас.

Теперь Крылов уставился на него. Что за чудак? На душе у него было хуже некуда, но он все же пошутил:

— Так нельзя смотреть — меня за деньги показывают, как в зверинце.

— За деньги? — всерьез переспросил вошедший и раздумчиво добавил: — Так, может, и вправду за деньги?

— У вас много свободного времени, товарищ? — уже нетерпеливо и тоже всерьез спросил Крылов.

— Теперь много, — тяжело вздохнул и добавил: — На партийные собрания не надо ходить, никаких общественных дел...

Что-то подкупающее было в этом красивом и, судя по всему, подавленном человеке.

— Где я мог вас видеть? — прищурился он. — Проходите, пожалуйста, садитесь.

— Да нет уж, спасибо, — и, резко повернувшись, поспешно вышел.

Что за чертовщина?! Опять какая-то загадка, какой-то идиотский детектив... В этот день по графику Крылов должен был дежурить по номеру. Пошел к главному. Увидев распахнутую дверь в приемной, спросил секретаршу:

— Скоро будет?

— Не скоро, на бюро горкома.

— А он? — кивнул на дверь Андреева.

— У себя.

— По горячему следу? — встретил его улыбкой Василий Андреевич: — Хорошо, что не зашли минут десять назад... С вас причитается.

— Когда только я от долгов отделаюсь? За что же?

— Приходил тут один на вас жаловаться. Ну, как водится у опровергателей, целая папка документов, справок, вырезок, выписок... Хотел к вам направить, — рассмеялся он, — да решил выручить, сам отбился.

— А кто он, кто? — нетерпеливо спросил Крылов.

— Чего взволновались, дело ясное, исключен из партии, отец предатель...

— Панченко?! — ахнул Крылов.

— Именно он. Значит, и к вам заходил?

— А, черт возьми... Как же вы могли?! Где он? Где остановился?

— Вот тебе и благодарность! Откуда мне знать... Не собираетесь ли вы...

Не дослушав, Крылов метнулся из кабинета, бросив на ходу:

— Сегодня дежурить не могу, болен.

Он позвал к себе Костю, снял с полки телефонный справочник.

— Помоги, Костенька, пожалуйста. Возьми где-нибудь такой же справочник. Нам срочно надо найти, в какой гостинице остановился Панченко.

— Он жив?! Он здесь?!

— Да нет, его сын. Вот... — листает он страницы, — гостиницы. Я пойду с начала, а ты, скажем, с буквы «П». Только в интуристовские не звони. Иди, Костя, побыстрее надо, прошу тебя — ни на что не отвлекайся.

Костя ушел, а Крылов начал крутить телефонный диск:

— Гостиница «Алтай»?.. Пожалуйста, в каком номере остановился Панченко?.. Имя-отчество?.. Отчество «Иванович», из Лучанска. Спасибо, — и положил трубку. Смотрит в справочник, бормоча: — «Белград I», «Белград II», тут не может быть... «Берлин»... Вот, «Волга». — Снова крутит диск.

Трудно сказать, сколько он просидел за телефоном: «Не проживает», «Нет такого», «Не останавливался» и так без конца. И он продолжал звонить с удивительным упрямством, пока не вбежал обрадованный Костя:

— «Ярославская»! — торжествуя потряс бумажкой. — Вот номер его телефона. Самая последняя, черт возьми. С конца бы начать обзванивать.

— Ну молодец! Молодчина, ей-богу. Спасибо, Костенька.

— Фирма марку держит, — с чувством собственного достоинства покинул тот комнату.

А Крылов уже набрал номер:

— Товарищ Панченко?.. Слава богу, я вас ищу, это Крылов, журналист Крылов. Я хотел бы с вами встретиться.

— Мы уже встречались,— хмуро ответил тот,— дел больше у нас нет.

— Но вы же заходили ко мне, значит, хотели поговорить.

— Да нет, только посмотреть на вас.

— Ну, что вы в самом деле, это же несерьезно. Я понимаю ваше состояние... Простите, ваше имя?

— Дмитрий Иванович.

— Хорошо понимаю, Дмитрий Иванович, и, поверьте, глубоко сочувствую. Давайте все-таки встретимся. Если не можете в редакции, я к вам приеду.

Помолчав, Панченко нехотя сказал:

— Приезжайте, если вам делать нечего, мне тоже... до поезда еще три часа.

Взяв разгонную машину, Крылов помчался в гостиницу «Ярославская».

Сергея Александровича Панченко встретил сухо, на его вопросы отмалчивался, отвечал односложно, давая понять, что говорить не хочет. Но и Крылов отступить не собирался. С трудом нащупал наконец ниточку, с которой можно начать распутывать клубок, и Панченко разговорился, не очень доверчиво, не вдруг, но разговорился. Отец — подпольщик. Должность бургомистра? — да это же ширма очень удобная: Липань немцы миновали, лишь в соседней Биловке были жандармерия и комендатура, одним словом, условия для работы отличные — и госпиталь в лесу для раненых окруженцев, и отряды партизан формировались в липаньских окрестных лесах, и оружие собирали...

— Но ведь отец был исключен из партии до войны?

— Верно, да вы посмотрите архивы, за что исключен! Был он заврайземотделом. Получил по разнарядке двести килограммов гвоздей, и нет чтобы по всем колхозам равномерно распределить, а дальше хоть трава не расти — пусть хоть под стеклом их показывают, так он одному колхозу отдал, да еще себе десять килограммов выписал сарай чинить. Вот его и исключили за нарушение Устава сельскохозяйственной артели и частнособственнические тенденции. А по сути он был коммунистом, коммунистом и остался.

— Выходит, он сам хотел на эту должность?

— Конечно, сам. Задание партии выполнял об организации подполья и партизанского движения.

— Не очень сходится, Дмитрий Иванович. Фамилии каждого оставленного для работы в подполье и сегодня есть в архивах райкомов, горкомов, обкомов. А я проверял в райкоме...

— А я не говорю, что его специально оставили. Разве, например, краснодонцев кто-нибудь оставлял? Да таких примеров тысячи.

— Согласен, но надо доказать, что и данный случай из того же ряда. Нельзя же сбрасывать со счетов решение райкома, я читал его, факты убедительные...

— Не читали вы такого решения! — горячо заговорил Панченко. — Нет такого решения. Вы читали выводы комиссии Прохорова, а она ни разу не собиралась.

— Трудно в это верится. К тому же я и с живыми свидетелями беседовал.

— Вот в это, извините меня, трудно верится. Ни один не скажет, что отец предатель.

— К сожалению, говорят.

— Не секрет, кто говорит?

— Бывшие партизаны. Хижняков, например...

— Хижняков?! — загремел Панченко. — Может, еще Чепыжин или...

— И Чепыжин.

— Да знаете, кто они? — Голос стал грозным. — Вот прочитайте...

— Минутку, сейчас прочту, давайте все же по порядку. Вас-то за что исключили? Сын за отца не отвечает.

— Но меня не за отца — за обман партии. Хитро письмо в наш партком было составлено. «Если при вступлении в партию он общил, что отец — предатель, и коллектив все же решил принять его, значит, достойный человек. А если скрыл...»

— А вы что писали?

— Писал как есть — замучен в гестапо.

— Да... Сколько же вам тогда было лет?

Дмитрий Иванович горько усмехнулся:

— Лет не было. Месяцы. Семь месяцев.

После долгой паузы Крылов спросил:

— Письмо анонимное?

— Нет, авторитетнейший человек написал, заслуженный. — В его голосе нескрываема боль. — Если бы анонимка, думаю, и разбирать не стали бы, ко мне все с уважением относятся. Я — ведущий инженер, моя группа всегда на первом месте... Да все равно я бы доказал, но... — безнадежно махнул рукой.

— Что же помешало?

— Ваша статья, товарищ Крылов. Теперь и слушать никто не хочет...

Крылов поморщился. Помолчав, спросил:

— Кто автор письма?

— Для вас он особый авторитет.

— Кто же?

— Гулыга.

— Гулыга? — Крылов на мгновение закрыл глаза. Гулыга ведь не так говорил. По его словам получалось, будто партком сам разбирался... Или не так его понял?.. Рассеянно сказал: — Что вы хотели рассказать относительно Хижнякова и Чепыжина?

— Голубев подробно описал, что это за типы.

— Голубев? Никита Нилович? Очень интересно. Я сколько ни бился, ничего он мне не сказал.

Неожиданно Дмитрий Иванович захлопнул папку.

— Нет, не имею я права показывать.

Ничего не понимая, Крылов смотрел на него.

— Голубев вместе с моим отцом в подполье работал, — продолжал Дмитрий Иванович. — Его схватили полицаи, когда из окружения выходил, и привели к отцу. Никита Нилович его фашистским выродком назвал, чуть в лицо не плюнул, а когда узнал, что отец подпольщик, вместе с ним стал работать. Отец устроил его у лесника, тоже подпольщика, на самом дальнем участке, выправил ему документ, будто он мостовой обходчик. У нас там много всяких мостков через речушки и овраги. Вот и ездил он — кум королю — никто задержать не мог. А потом в церковной сторожке соседнего села стал жить, ходил по лесникам, которые оружие собирали и в тайники перетаскивали. В лесу того оружия, как грибов после дождя, полно было... Люди в церковь ходили, там и явка была, там и получал Голубев указания отца.

Крылов тяжело плюхнулся в кресло:

— Почему же вы письмо Голубева в папке держите?

— Это моей рукой написано. это копия, да и то недействительная. Оригинал он забрал... Но я его не осуждаю, у него другого выхода не было.

— Мудреный детектив получается, — Сергей Александрович пересел к столу. — Что-то не так, Дмитрий Иванович. Во-первых, не выгнали, работает, сам видел...

— Теперь-то работает,— не дал ему договорить Дмитрий Иванович.— Даже вынужденный прогул оплатили.

— Нет, все-таки ничего не понимаю. Вся история сомнительна. Вдумайтесь: безоружный Голубев во время войны плюет в лицо бургомистру, понимая — идет на гибель. Бесстрашный человек. А в наши-то дни?

— То-то и оно, что во время войны,— спокойно сказал Дмитрий Иванович.— Он был холостой, рвался мстить любой ценой. А теперь? Постарел, годы вышли. Жена с постели не встает после паралича, дочь — вдова с двумя детьми — машинисткой работает. Все на нем, куда же ему тягаться?

Крылова взорвало:

— С кем тягаться? Кто его уволил, кто восстановил? Кому, наконец, это надо?!

— Не могу о нем,— вздохнул Дмитрий Иванович.— И письмо не имею права показывать, еще хуже человеку будет. В таком же положении Зарудная, Чумаков...

— Кто-кто? Зарудная? Валерия Николаевна? Вы ее знаете?

— Гм... знаю. Еще как знаю!

— Кто она, чем занимается?

— Работает в историческом архиве, три года готовила диссертацию о партизанском движении в районе. Показала и подполье во главе с Панченко Иваном Саввичем. Не вступая в прямую полемику, опровергла выводы Прохорова, но тут и ей помешали...

— Ну знаете...— не выдержал Крылов и осекся.— Говорите, говорите, я вас слушаю.

— Вы сами с ней поговорите.

— Что же вы все там — одуванчики, что ли? Если правду не признают, значит, биться за нее надо. А ваша Зарудная еще хуже Голубева, вовсе разговаривать со мной, видите ли, не пожелала. Тот, чье дело правое, не боится ни с кем говорить... Да и вы... Самое заинтересованное лицо — все намеками да полунамеками. Вроде Зарудной, тоже не хотели говорить. Что за гордыня такая!

— Какая уж там гордыня, Сергей Александрович. Только не обижайтесь, но ваша статья не только мне — Зарудной все дороги к правде перекрыла. Вот так-то.— Он поднялся.

— Минутку,— жестом усадил его Крылов.— Я человек откровенный, откровенно и скажу. Вы вызываете у меня не только сочувствие, но и доверие. Во всяком случае, хочется вам верить.

— И на том спасибо.

Не отреагировав на эти слова, Крылов продолжал:

— Что произошло, вы не говорите, а только сетуете на то, что никто не хочет разобраться.

— Вы бы разобрались... да теперь по рукам связаны, кто же против себя выступить станет!

— Ошибаетесь, Дмитрий Иванович,— положил он руку на плечо Панченко.— Если погрешил против истины, если буду убежден в этом, хватит мужества признать любую ошибку, какой бы расплаты ни стоила.

Дмитрий Иванович посмотрел на Крылова.

— Хватит? — переспросил он.

Крылов поднялся и протянул Панченко руку.

— Не сомневайтесь. Но вы должны помочь. Договоритесь с Зарудной, пусть покажет мне свою диссертацию и документы, опровергающие выводы комиссии Прохорова. А к Голубеву еще раз поеду.

Это было крепкое рукопожатие. Будто союз заключили.

Из гостиницы Сергей Александрович вернулся в редакцию. Достал из стола рукопись... Закончить наконец очерк. Какой там очерк, не в состоянии написать и строчки. Сумбур... Ольга, Панченко, Голубев... Заколдованный круг. Прошлую ночь почти не спал, маялся, бессмысленно перебирая бумаги, не в силах ни ответить на вопрос, ни избавиться от него: кто и для чего мог написать такое письмо? Под утро прилег на диван, часа два в тревоге подремал и поднялся. Холодный душ освежил его. Выпив чашку кофе, собрался в редакцию, но уйти, не поговорив с женой, не мог. Робко пошел к ней. Она не спала. Может быть, так же как и он, всю ночь. Сказал спокойно и веско: «Ольга! Я клянусь тебе самым дорогим, что есть в моей и нашей жизни,— ни в чем перед тобой не виноват. Во всяком случае, в том, что написано в этом пасквиле. Я обещаю тебе не успокоиться до тех пор, пока не найду этого подлеца».

Ольга молчала. Он и не ждал ответа. Понимал ее состояние. Что она может сейчас сказать? Пусть хоть сколько-нибудь поколеблется вера в клевету, принятую ею за истину безоговорочно...

К действительности вернул его вошедший Костя:

— Все исправил, Сергей Александрович,— положил он на стол свою рукопись.

— Все?

— Все, проверьте.

— Молодец,— и, поставив на первой странице свою визу, отодвинул рукопись: — Сдавай.

И снова остался один. Сплошной туман... Один факт исключает, полностью опровергает другой. И оба убедительны. Так не бывает. Но так есть... Черт поberi, не может же так быть! Где-то ложь. Где ложь? Во имя чего?

Неожиданно вспомнил о Ржанове. Бросил взгляд на часы, торопливо пошел к главному.

С Германом Трофимовичем Удаловым у Крылова сложились особые отношения. Они проработали вместе пятнадцать лет, и хотя их не связывала личная дружба и не встречались они домами, понимали с полуслова и глубоко уважали друг друга.

Сергей Александрович видел в редакторе человека тонкого политического чутья, образованного, одинаково доступного для всех, вне зависимости от рангов и положений, принципиального и бескорыстного. Далеко не у всех сотрудников он пользовался уважением и повод к тому давал. В своем справедливом требовании не допускать ошибок он перебарщивал, взыскивая за них. Даже орфографические ошибки вызывали его бурное негодование. Человек по натуре добрый, он становился в такие минуты беспощадным, безжалостным, даже жестоким. И выражалось это отнюдь не словами. Он налагал суровые взыскания, отбрасывая назад очередника, готовившегося вот-вот получить квартиру, а то и вовсе увольнял. И еще одно качество, казалось, противоречащее его характеру, вызывало у многих недовольство. Проявляя заботу о жилищных условиях сотрудников, о заработках, путевках и продвижении по службе, совершенно не признавал права людей на ограниченный рабочий день, на отдых. Перегружал, заставлял работать, как кто-то сказал, на износ.

При нем Крылов прошел все ступени от литсотрудника до завотделом и члена редколлегии. Должность ответственная, престижная, хорошо оплачиваемая, но не о ней мечталось Крылову. Надо корпеть над планами отдела, заказывать статьи, улаживать талантливых, а значит, сверх меры перегруженных людей выступить в газете, отбиваться от графоманов, разбирать жалобы, редактировать материалы, вести огромную организационную работу. Для того, чтобы писать самому, не хватало времени. Чем выше редакционный работник под-

нимался по служебной линии, тем меньше оставалось возможности писать. Практически у завотделом такой возможности не было вовсе.

Как и каждому литературному сотруднику редакции, Крылову хотелось стать спецкором. Это высшая журналистская должность. Поставленное в скобках ниже его фамилии «Спец. корр.» не раз появлялось в газете, когда он был еще начинающим журналистом. Но это не то. Это означало лишь, что человек специально выезжал для выполнения данного конкретного задания. Должность специальный корреспондент — дело совсем иное. Никого не править, ничего не заказывать, ни за кого не отвечать. Только писать. Чаще всего — не по заданиям, а то, о чем хочется сказать людям. Да и задания-то, как правило, интересные, масштабные. Потому и назначают на эту должность журналистов высшей квалификации.

Четыре года Крылов заведовал ведущим отделом, и ни одного срыва, ни одной ошибки. Постоянно новые, важные для газеты инициативы, новые интересные рубрики и кампании. Потому и не хотелось Удалову переводить его в спецкоры, хотя понимал — самая подходящая кандидатура. Ему не хотелось терять хорошего руководителя отдела. Последнюю гирьку на чашу весов в пользу Крылова положил секретарь парткома. Но уже согласившись, верный своему принципу до предела загружать людей, возложил на Крылова обязанность шефствовать над отделом и в течение года нести полную ответственность за его работу.

Вопрос был предрешен. Сергей Александрович с нетерпением ждал приказа. Вот тут-то и пришел к нему завотделом информации, председатель месткома Петр Федорович Калюжный. Начал издали, с вопросов о здоровье, работе, семье, а закончил просьбой не претендовать на вакантное место. Не скрывая сказал — давно мечтал о нем, практически он, Калюжный, добился перевода прежнего спецкора в другую газету, поэтому по праву должен сам занять эту должность.

Весь разговор был Крылову неприятен. Нигде бы не сказал, но знал — Калюжный пишет плохо, просто не умеет писать, и такое назначение было бы в ущерб делу. Верно, хороший организатор, может точно оценить слово, но только оценить, а не найти. Однажды даже сам признался в этом, надсмеявшись над довольно одаренным, но спесивым писателем. Тот принес заказанный Калюжным очерк, и Петр Федорович сделал ему ряд справедливых замечаний.

Писатель обиделся, запальчиво сказал: «Что вы командуете?! Если вы такой грамотный, пишите сами, вот вам мое стило». «Знаете, — не растерялся Калюжный, — когда я прихожу на примерку к кройщице, я говорю ей: «Вот тут заужено, здесь морщит, рукава длинноваты». Но если он скажет: «Садитесь и шейте сами», я отвечаю: «Даже пуговицу не смогу пришить». Я редактор и вижу, что не так, как и услышу фальшивую ноту у певца. Это вовсе не значит, что я должен сам уметь петь».

Да, за словом в карман Калюжный не полезет, но «петь» не умеет. Его статьи, которые сам называет очерками, полны громких фраз, не трогают читателя. Да и не только по этой причине не хотел Крылов выполнить просьбу Калюжного. Чего ради он должен уступать предназначенное ему место, тем более такому человеку. С недоумением пожал плечами:

— Так решил главный.

— Да, — парировал Калюжный. — Но решения редколлегии, а тем более приказа еще нет. И главный сказал: если ты откажешься — назначит меня.

Крылов задумался. Калюжный с надеждой смотрел на него. Однако думал он не о том, отказываться или нет, как предполагал Петр Федорович. Думал, как легко и не очень благородно отделался Удалов от назойливого Калюжного, которого ни за что не назначит на

это место, и о самом Калюжном, его нескромности и настырности.
— Нет,— сказал решительно.— Это, конечно, нескромно, но я больше подхожу на роль спецкора. Впрочем, как решит редколлегия, так и будет.

Слова прозвучали действительно весьма нескромно. Но сказал их Сергей Александрович не сторяча. Специально искал резкую форму отказа. Надо не юлить перед такими, не делать благородной мины, как Удалов, а учить их, ставить на место.

Калюжный ушел, не ответив, но в душе все кипело. Нет, он не из тех, кто прощает оскорбления. Особенно такое. Больше года готовил себе место, и вот, пожалуйста, его займет любимчик редактора.

— Кто у него?— спросил секретаршу Сергей Александрович, кивнув на дверь Удалова.

— Никого.

— Я позвоню коротенько с твоего телефона,— проходя в кабинет Германа Трофимовича, сказал Крылов. В словах не было просьбы, он как бы объяснял, зачем пришел.

Не отрываясь от работы, Герман Трофимович кивнул в сторону телефона, пододвинул алфавитную книжечку. Ржанов оказался на месте, согласился принять на следующий день утром.

— Что это тебе Ржанов понадобился?— поднял голову хозяин кабинета.— Опять о ком-то хлопчешь?.. Когда наконец сдашь очерк о Максимчуке?

— Не вытанцовывается...

— А ты не танцуй, тут не балет, попробуй головой работать.

Крылов только улыбнулся:

— Попробую головой, это, наверно, трудно... Не буду мешать,— и вышел.

14

Юркий «Жигуленок», объехав храм Василия Блаженного, остановился рядом с другими машинами. Вышел Крылов, направился к Спасским воротам Кремля. Часовой взглянул на фотографию в удостоверение личности, потом на Крылова. Пробежав глазами список, поставил в нем галочку.

— Пожалуйста,— вернул удостоверение.

Пройдя под аркой, Сергей Александрович свернул направо, пошел вдоль кремлевской стены и остановился у подъезда огромного здания. На мраморной плите отливали золотым блеском литые буквы: «Совет Министров СССР». Легко нашел кабинет Ржанова и вскоре прошел к нему. Коротко и полно изложил суть вопроса.

— Читал, читал ваш очерк,— сказал Ржанов.— Хотя помню Гулыгу очень смутно, мы ведь только раз встречались, но рад за него, выходит, воевал он здорово. Да и сейчас руководит большим делом... Правда, фантазер,— улыбнулся он,— но может, это и хорошо. Без полета фантазии вершин не достигнуть.

— Почему фантазер?— насторожился Крылов.

— Фантастические планы расширения своего производства предлагал, трижды писал мне... Наверное, обиделся... Но невыполнимы они, каждый раз отказывал в поддержке... А эпизод этот хорошо помню, я потом с этим соединением воевал. Умный, бывалый полковник Зыбин поначалу собирал по пути из окружения многих бойцов. Были там и пехотинцы, и артиллеристы, и моряки, одним словом, все рода войск. На ночлег остановились в Липани. И я в то время там находился, в лесном госпитале который организовали наши врачи. тоже оказавшиеся в окружении.

— А кто снабжал госпиталь?

— Честно говоря, не знаю, там все в тайне держали, да и пробыл

всего три дня, ранение легким оказалось. Я уже думал, как пробиваться дальше, хотя рука после ранения еще не зажила. Вот тогда и появился отряд Зыбина.

— Большой отряд?

— Очень большой. Когда из окружения вышли, из нас дивизию сформировали. Зыбину присвоили генеральское звание и назначили командиром дивизии. Он фундамент дивизии еще в окружении закладывал. Сначала распределял людей по отделениям и взводам, а потом роты появились и даже полки. По мере роста все более походил на организованное воинское соединение. Было в нем три крупных ленинградских юриста, из которых он создал военный трибунал. Дисциплину поддерживал жесткую, людей берет по-отцовски.

— Он жив сейчас?

— Меня и самого это интересует. Видимо, жив. Он не раз отмечался в приказах Верховного Главнокомандования, удостоен звания Героя Советского Союза. Но меня уже в дивизии не было — тяжелое ранение получил... Ну, так вот. Еще с вечера в нашем лесном госпитале прошел слух об отряде Зыбина. Я решил уйти с ним. Чтоб не прозевать, отправился ночевать в деревню. А на рассвете, вернее, уже светло было, услышал барабанный бой. Вскочил — к окну, а потом выбежал на улицу. Такую увидел картину, что страшно стало. На площади, у самой опушки леса выстроился отряд, человек, думаю, триста. Форма на них разношерстная, да и та далеко не первой свежести. Но стоят колоннами, в каре выстроенные. Посередине, на наскоро сколоченном помосте — пять офицеров, среди них — Зыбин. А чуть подалее на ветке многовекового дуба — веревка с петлей. Под усиленным конвоем с автоматами наперевес, под барабанный бой вели человека. Остановились у дуба, смолк барабанный бой.

Из всех хат повысыпали люди, в основном женщины. Сначала жались у калиток, а потом осмелели, стали подходить ближе. И я продвинулся, рядом Гулыга оказался. В толпе было несколько человек таких, как мы с ним, — окруженцев.

Потом полковник взмахнул рукой и скомандовал: «Давай!»

Вышел вперед офицер и начал читать приговор. Документ большой, я его не запомнил, но все там по форме — и состав трибунала из юристов первого и второго класса, и все формальности. В заключительной части приговора говорилось, что за участие в карательных акциях фашистов, расстрелах жителей, пособничество гитлеровцам в угоне людей в Германию, за измену Родине приговорить Панченко... Фамилию я хорошо запомнил, у нас сосед был Панченко. И отчество запомнил — Саввич. Противно рядом ставить, но отчество моего отца — Саввич. А имя выветрилось. Так вот этого Панченко — к смертной казни через повешение.

Я предложил Гулыге уйти с этим отрядом, а он меня толкнул локтем. «Смотри, смотри!» — кричит. А я уже и сам увидел. В каком-то нечеловеческом прыжке Панченко рванулся в сторону меж деревьев, и тут же раздался громовой голос полковника: «Не стрелять! Живьем!»

Бросились за ним человек пятнадцать, да помехи всюду, кустарники, а он, должно быть выросший в этих местах, вымахивал гигантскими прыжками и все дальше уходил от преследователей. Тогда и раздался второй приказ полковника: «По предателю Родины — огонь!» Да поздно. Ищи теперь ветра в поле, как сквозь землю провалился.

— Так и не поймали?

Ржанов развел руками:

— Ничего больше не знаю. Я ушел вместе с отрядом Зыбина еще раз звал Гулыгу, но, видимо, тогда еще он задумал сам организовать отряд, верил в свои силы.

Поблагодарив Ржанова, Крылов ушел. На душе стало легче: судя по характеристике Зыбина, зря этот человек расстреливать не станет.

Прямо из Кремля Крылов направился к главному редактору. Секретарша резким жестом остановила его:

- Полосы читает, просил только если по номеру.
- Андреев же сегодня ведет номер.
- Заболел.

Поколебавшись, Сергей Александрович открыл дверь, вошел. Удалов читал полосу, не поднял головы.

Странное дело — не сосчитать, сколько раз за долгие годы Крылов был в этой комнате, а сейчас, остановившись в нерешительности, молча рассматривал кабинет. Его не отличить от тысяч служебных кабинетов, если бы не щит, занимающий чуть ли не полстены. Он разделен на шесть частей по вертикали, и над каждой из них — часы и лампочка. На щите шесть оттисков газетных полос. Четыре сверстаны полностью, над ними горит свет, а стрелки часов не движутся, замерли, показывая время, когда полоса была готова. Пятая и первая полосы не готовы к печати, тут и там на них белые пятна, куда еще не поставлены корреспонденции или клише. Не скоро освободится редактор, жди теперь, пока загорятся все лампочки. Он уставился в свою верстку и ничего не хочет замечать, хотя времени у него предостаточно. Четыре полосы горят, газета явно идет раньше графика. Впрочем, когда номер ведет главный, все движется быстрее.

- Я на минуточку, Герман Трофимович,— решил он наконец.
- Да? — сказал тот, не взглянув на вошедшего.
- Я прошу короткую командировку в Мюнхен.

Герман Трофимович поднял голову, сдвинул на лоб очки:

- С заездом по пути в Париж и Лондон?
- Нет, серьезно, важное дело.
- Можно полюбопытствовать, какое?

Вошел курьер, наколол поверх незаконченной пятой полосы готовую, полностью сверстанную. Сверху зажглась лампочка, часы остановились. Редактор покосился на них, довольно сказал:

— Молодцы, ребята, на пятнадцать минут раньше графика... Так какое же дело?

— Как вам сказать?.. Понимаете,— он почему-то перешел на официальный тон,— там будет судебный процесс над военным преступником Бергером...

- И ты должен выступить в качестве обвинителя?

Голос Крылова прозвучал укоризненно:

- Вы настроены на веселый лад, а я дело говорю.

— А почему бы и не на веселый? Пять полос уже есть,— показал на щит,— вот дочитываю последнюю, и правки почти нет... Да и ты с веселым предложением пришел.

Крылов с грустью смотрел на него. Редактор уловил его взгляд. Сказал серьезно, но мягко:

— Что ты, в самом деле, сотни таких процессов прошли, всех оправдывают. Кому они интересны? Во всяком случае, не редакции... Что у тебя еще?

- Понимаете, тут дело не только в процессе...
- А в чем?
- Ну, пока еще трудно сказать...

— Знаешь что, Сергей, не морочь голову. У тебя дел уйма, и

мне некогда.— Он водворил на место очки, наклонился над полосой. Вошел сотрудник:

— Можно?

— По номеру?

— Нет, но...

— Тогда позже...

— Герман Трофимович, еще минутка... Помните, в очерке о Гулыге я вскользь о предателе Панченко написал?

— И хорошо сделал. Выросли в одной среде, одинаковое образование получили, один стал героем, а второй предателем. Хорошее сравнение. В чем у тебя сомнения?

— Не то чтобы сомнения, но некоторые детали надо уточнить.

Герман Трофимович повернулся в кресле:

— А я-то думал, что Крылов уточняет все до того, как садится писать, а не спустя месяцы после публикации. Это — во-первых. А во-вторых, нам важно лишь, что он был предателем. Такое доказательство, надеюсь, у тебя есть?

— Есть, и не одно.

— Так чего тебе еще надо? Ищешь повода прокатиться за границу?

— Да нет же,— с едва скрываемым раздражением сказал Крылов.— Есть версия, неясная, непроверенная, косвенная, будто он не был предателем. На процессе все и выяснится окончательно.

— Та-ак,— откинулся в кресле Герман Трофимович.— Веселенькая история. Ты понимаешь, что говоришь?!.. А если выяснится, что эта косвенная, неясная, непроверенная подтвердится? Ты понимаешь, что говоришь? Это же не техническая ошибка — политическая.

— Рано меня в политические преступления записывать, Герман Трофимович,— разгорячился Крылов.— У меня более чем достаточно данных о его предательстве. Но коль скоро появилось...

Вошла Верочка.

— По номеру? — недовольно спросил редактор.

— Да. Гегель спрашивает, идет ли сегодня его подвал «Женщина и социализм», он хочет верстку почитать.

Оба тупо уставились на нее.

— Это он сам вас спрашивал?

— Нет,— невинно улыбнулась она, хлопая непомерно длинными ресницами,— Косте Упину звонил.

Редактор громко рассмеялся, улыбнулся и Крылов.

— Верочка,— мягко сказал Герман Трофимович,— ну когда же вы поступите в вечерний? Вы хоть что-нибудь читаете?.. Философ Гегель умер в тысяча восемьсот тридцать первом году, он уже сто пятьдесят лет не читает версток... А «Женщину и социализм» написал не Гегель, а Бебель. Август Бебель, которого тоже давно нет на свете. И уж конечно, они не могли звонить Упину Ясно?

После непродолжительной паузы пылающая Верочка совершила акт мести:

— А вы Упину скажите, пусть босиком по редакции не ходит, а то у нас посетители пугаются.— И уже в дверях, совсем оправившись от удара: — Ему, видите ли, жарко...

— Твой воспитанничек,— с ехидцей произнес Герман Трофимович.

— Неисправимый,— покачал головой Крылов. После короткой паузы сказал настойчиво: — Одним словом, прошу дать мне командировку всего на три дня.

— А я прошу дать мне дочитать полосу и не держать номер. Ре-

чи не может быть о командировке. Если бы даже хотел не мог бы послать, валюты нет понимаешь? — И углубился в чтение.

Крылов не мог смириться. Был убежден — после процесса все встанет на свои места, и он обретет, наконец, спокойствие. Не находя новых доводов, чтобы убедить Удалова, говорил, казалось, не думая что придет в голову:

— Во все дыры пихаете меня, а тут один раз в жизни попросил Подумаешь, заграница! Да плевать я хотел на все эти заграницы, сыт ими по горло, мне просто надо. Понимаешь надо!

— Надо, и все. Вынь да положь,— не поднимая головы, отбивался Герман Трофимович.

Крылов задумался. Не обращая на него внимания, редактор что-то правил на полосе. Неожиданно Сергей Александрович вскочил, схватил лист бумаги и стал быстро писать.

— Тогда вот! — И положил бумагу на полосу.

Там была лишь одна фраза. Герман Трофимович пробежал ее и насмешливо сказал:

— Восстание рабов?

— Никакое не восстание. Я три года не был в отпуске, и ты обязан по всем законам дать хоть за один год.— И голос и вид его выражали крайнюю степень решительности.

— Видно, что ты три года не был в отпуске.— Написал резолюцию, отодвинул заявление.— Советую в санаторий.. Знаешь, есть такие специальные санатории..

— Нет уж, спасибо,— взял он свою бумагу.— Не посылаете, сам поеду.

— Сомневаюсь,— прищурился редактор.— Не на дачу — в капстрану.

— Ничего, мне мой друг Грюнер поможет.

— Грюнер? Если не ошибаюсь, он в ГДР, а Мюнхен, я как-то слышал, в Западной Германии находится.

— Не все слухи до тебя доходят, Герман Трофимович. Грюнер действительно в ГДР, но уже давно собкор своей газеты в ФРГ, где у него уйма друзей.

Удалов не привык, чтобы последнее слово оставалось не за ним. Строго сказал:

— Если поедешь, не вздумай ни во что ввязываться там. Не забывай — воспринимать тебя будут не как частное лицо, а посчитают представителем редакции.

Крылов уже с трудом владел собой:

— Могу снять с себя это представительство, если вам угодно. Хоть сию минуту. Удостоверение у меня с собой.

Он ушел, едва не хлопнув дверью, и заспешил в стенографическое бюро. Оставил берлинский и боннский телефоны Грюнера, просил разыскать его и соединить с квартирой. И тут же уехал домой.

Поведение Сергея Александровича в истории с письмом произвело впечатление на Ольгу. Не может человек так играть. Возможно, и в самом деле шантаж. Врагов у него много. За годы работы в редакции разоблачил немало подлецов и негодяев. Они мстили. Она помнит и оскорбительные телефонные звонки, и полные угроз анонимные письма. В последнее время он писал только о людях героических, почему же сейчас такое письмо?

Сергей Александрович тоже не знал, как будет разговаривать, придя домой. Было ясно лишь одно — больную тему не трогать. По-

просил поесть, после ужина пошел работать. Чутье подсказывало — безоговорочную веру Ольги в эту чудовищную клевету удалось поколебать.

Чутье подсказывало... Что же оно такое — чутье? Этого никто не знает. Но оно есть. Есть в людях что-то такое, что передается от человека к человеку, если даже они и не совершают каких-то поступков и не говорят слов. И если идет молчаливый поединок между двумя людьми, все равно каждый чувствует, кто в нем победитель, а кто потерпел поражение. Крылов глубоко верил в свое чутье. Настроение улучшилось. И с Ольгой постепенно образуется, и в Мюнхен пробьется. Надо только побыстрее закончить с Максимчуком. Сел за письменный стол, заваленный старыми верстками, рукописными черновиками. И как только разбирается человек в таком хаосе? Видать, разбирается. Время от времени, порывшись на столе, извлечет из груды листок или блокнот, посмотрит, снова пишет. Задумался... Щелкнул пальцами, стал быстро писать. То ли нужное слово наконец нашел, то ли хорошая мысль пришла.

На пороге появилась Ольга. Она не искала примирения, но помимо воли что-то подталкивало ее к тому.

— Сергей, знаешь, я твердо решила не укорачивать джинсы, а подвернуть их.

— Тебе важно сообщить мне об этом немедленно? — ласково улыбаясь, оторвался он от работы.

— Ну, Сергей... — в тоне нескрываемо деланная обида.

— Да нет, я ничего... Это хорошо не укорачивать, конечно, лучше подвернуть.

Раздались частые телефонные звонки. Он схватил трубку, откликнулся.

— Бонн вызывали? Соединяю.

— Гутен абенд, Дитрих, это я. Крылов тебя беспокоит.

Ольга так и осталась у двери, стоит, слушает.

— Да, скоро преподавать начну немецкий, — смеется Сергей Александрович. — Дитрих, дорогой, командировку не дают, никак не получается. Ты не можешь через своих друзей в ФРГ организовать мне вызов?.. Ну, как «что такое вызов»?.. Да-да, в гости, приглашение... На мой счет... Расходов у них не будет... Дней на пять, но приглашение надо на месяц, тогда у меня хватит денег, очень мало обменивают... Спасибо, большое спасибо. До встречи в Бонне.

Он положил трубку. Не видел — чувствовал: Ольга вопрошающе смотрит на него. Надо давать объяснения. Надо снова говорить о своих сомнениях, в которые она не верит.

Для решения любых проблем он всегда выбирал самый короткий путь, анализируя все возможные. Сложная, запутанная ситуация тем более требовала соблюдения этого принципа. Было ясно — самый короткий путь — встретиться с Зарудной и Голубевым. Если диссертация действительно опровергает выводы комиссии Прохорова, дело примет совсем другой оборот. Если история с Голубевым выглядит так, как ее представил Дмитрий Панченко, значит, надо взять под защиту редакции старого партизана и вернуть письмо. Не станет человек возражать, если получит гарантии в полной своей безопасности. Выяснится, если это правда, кто и во имя чего мешает ему, Зарудной и еще кому-то.

Выходит, ехать надо не в ФРГ, а в Лучанск. Что против? Упустит процесс? Не так уж это важно — документы немецкой патриотической организации, приготовленные к процессу, останутся, протоколы суда останутся.

Значит — Лучанск? Но этого Ольга не захочет, не сможет понять.

Он злился на Ольгу, и ему было жаль ее. Наступив на собственное горло, решил уступить ей. Теплилась надежда — диссертацию Зарудной можно будет получить и не встречаясь с автором, с помощью Панченко, а Голубева редакция запросто вызовет. Правда, не так уж запросто, без разрешения главного не получится, для его согласия потребуются весомые доводы. Придется доложить — «косвенные», «непроверенные», «неясные» — не так уж безобидны. Не только доложить, но доказать это. Доказательства возникнут на процессе. Как Удалов воспримет факт столь чудовищной ошибки в газете, страшно представить. Впрочем, и основания отбросить сомнения может дать процесс.

...Взглянул на Ольгу. В ее глазах не встретил для себя ничего неожиданного — что еще ты придумал?

Подробно объяснил, зачем должен ехать в ФРГ.

— Почему же надо просить Грюнера? — пожал плечами. — Почему по служебным делам надо ехать по частному приглашению неизвестных людей, да еще и за свой счет?

Не вдаваясь в детали, чтобы не вызвать нового спора, привел лишь формальный довод редактора — нет валюты.

Вопрошающий взгляд Ольги сменился недоверчивым.

— Не нравится мне эта новая поездка в Германию.

— Такой страны нет, Оля, — попытался он смягчить напряжение веселой улыбкой. — Есть ГДР и есть ФРГ.

— Все равно, — не приняла она предложенного тона. — Там у тебя возникнут новые сомнения, придумывать ты мастер, и выяснять их, естественно, поедешь в Лучанск.

— Нет, уж на этот раз — никак.. Оленька, — подмигнул он, — чашечку кофейку, а?

— Ты хочешь сказать — разговор окончен, отправляйся на свое место на кухню?

— О-оля...

Резко повернувшись, она вышла.

Приглашение в ФРГ пришло быстрее, чем можно было ожидать, и Крылов начал оформлять документы на выезд. А эта процедура длилась медленнее, чем хотелось. Он закончил наконец очерк о Максимчуке, подобрал «хвосты», готовился к поездке. Нервничал — долго возятся. Пришла вдруг тревожная мысль: задерживается характеристика, почему? Пошел к помощнику главного редактора Марии Владимировне. Она же ведала кадрами. Впрочем, чем только она не ведала — даже распределением квартир и премиями.

Вошел не постучав. Может быть, потому что ее кабинет был более чем скромных размеров, бросался в глаза непомерно большой сейф в углу и несгораемый шкаф, до которого легко достать, не вставая из-за письменного стола.

Пожилая, довольно тучная, Мария Владимировна что-то писала и не прервала своего занятия. Лишь мельком взглянула на Крылова, кивком ответила на его приветствие.

— Готова? — спросил он с порога.

— Почти.

— Как это «почти»?

— Главный подписал, секретарь парткома подписал, остался Калюжный.

— Машенька! — взмолился Сергей Александрович. — Он же год будет держать. Ты же его знаешь, потормоши, прошу тебя.

«Машенька» и «ты», обращенные к столь почтенной женщине, для постороннего прозвучали бы неожиданно, но уж так сложились их отношения за долгие годы работы в редакции. Крылов относился к ней с большим уважением. Если есть хоть малейшая возможность сделать добро человеку, значит, сделай,— таков был принцип ее работы, ее жизни.

Она отложила ручку, задумалась. А он продолжал:

— Приглашение немцы за три дня устроили, а мы целую неделю только с одной характеристикой возимся. Я же ее сто раз получал, только перепечатать и дату новую поставить.

— Немецкая точность и исполнительность известны,— вздохнула она, нехотя набирая номер.— Петр Федорович, можно зайти за характеристикой на Крылова?.. Не пожар, но надо же успеть к процессу... Хорошо.— И положила трубку.

— Ну, что он?

— Да разве его поймешь. Говорит, сам позвонит мне... И зачем тебе эта поездка, не понимаю.

— Нервничаю я, Маша. Что-то здесь не так.

— Тебе всю жизнь не так. Только Ржанова и Гулыги вполне достаточно. Этот приговор, который оба слышали, не деталь биографии человека, а вся его биография, суть его. А другие свидетельства? Чего нервничать?

— Как же не нервничать? Все противоречиво, а главное — хоть убей, интуитивно верю сыну Панченко.

— Не мне тебя учить, Сергей, но у сына Панченко эмоции, у тебя интуиция, на этом далеко не уедешь. Он лицо заинтересованное, и ты ему веришь, а фактам, авторитетнейшим людям... Не понимаю.

— Вот потому и схожу с ума. Нет, как хочешь, тут посерьезней, чем кажется с ходу. Смотри, что получается. Но уговор — все ниже следующее запрешь в свой сейф. Впервые о Панченко, как о предателе, мне рассказал Гулыга. С недовольством принял возникшие сомнения. Сына Панченко исключили по его письму. К Хижнякову и Чепыжину, в искренности которых я не уверен, направил он. К Ржанову — тоже. Почему он так топчет уже мертвого Панченко? Зачем то ему это надо?

— Странные рассуждения. А ты бы как поступил, если бы из предателя хотели сделать героя?

— Подожди, подожди, не горячись. По версии Дмитрия Панченко, его отец был организатором подполья и партизанского движения в районе. Но именно за это Гулыга поднят на такую высоту. Что ты на это скажешь?

— Подленькие мысли, скажу. Оснований для них нет.

— Согласен, подленькие, потому и предупредил: пусть они умрут в этой комнате. Но одно основание, кро-охот-ное, но не подленькое, и весьма весомое — есть. Слушай внимательно.

Зазвонил телефон. Крылов неприязненно взглянул на него. Мария Владимировна подняла трубку, а он тут же придавил рычаг. На ее удивленный взгляд сказал:

— Могла ты выйти? Позвонят позже. Слушай дальше. Дмитрия Панченко исключили из партии по заявлению Гулыги, в котором была ссылка и на мою статью. Перед парторганизацией не вставал вопрос: предатель Панченко или патриот? У них — свидетельство такого авторитетного человека, как Гулыга, и еще более авторитетное выступление газеты. Значит, проверялся только один факт — написал ли в автобиографии Дмитрий Панченко при вступлении в партию, что отец работал на немцев? Выяснилось — нет. Значит, скрыл. Вот и исключили. А ведь мне Гулыга представил этот факт совсем по-иному. По

его словам получалось, будто именно парторганизация Дмитрия установила факт предательства его отца.

— И на таком зыбком основании ты хочешь построить чудовищное обвинение?

— Нет, такое «зыбкое» основание дает повод не доверять Гулыге. Потому и хочу покопаться в документах. Все-таки подлинные документы в ФРГ.

— Звонки бубны за горами? Ну ладно, счастливый путь.

Крылов ушел, а Мария Владимировна надолго задумалась. Она активно возражала ему, не принимала его доводов, но все-таки сомнения закрадывались. Может, и в самом деле, здесь что-то не то. Снова и снова анализировала сказанное им. Пришла к выводу малоутешительному. Медленно придвинула к себе бумагу, написала: «В архив Министерства обороны СССР».

И снова задумалась.

(Окончание следует)

ДЖЕЙМС ПЛАНКЕТТ

★

ОДИН ЗЕЛЕНЬЙ ЦВЕТ¹

Рассказ

Ирландский писатель Джеймс Планкетт (род. в 1920 году) известен у нас своими рассказами и романом «Взбаламученный гсрод» (переведенным на русский язык в 1974 году). Перу писателя принадлежит также несколько сборников рассказов и драмы.

О чем бы ни писал Планкетт, в центре его внимания национально-освободительная борьба ирландского народа за свою независимость против английского насилия, борьба, которая зачастую оборачивается грубым национализмом, порождающим ответную жестокость. Изящная ирония, пронизывающая все произведения писателя, способствует и многомерности его персонажей, и многоплановости событий.

I

Ж мысли подкинуть чемодан с бомбой замедленного действия в гостиницу Мерфи, чтобы взорвать участников торжественного обеда, Джозеф Недоумок пришел не в результате основательного и тонкого расчета, как сделал бы профессиональный заговорщик. Да он и не был заговорщиком. Своим простым, нехитрым умом он сообразил, что чем раньше Балликонлан освободится от Мерфи, первого богача и столпа города, и Лейси, председателя Гэльской лиги², и отца Финнегана, приходского священника, а вкупе с ними и от других светочей меньшего масштаба Гэльской лиги, и бывшей ИРА³, тем лучше будет для Балликонлана, да и для Ирландии в целом. Раздобыть бомбу труда не составляло. Бомба хранилась у Джозефа еще со времен беспорядков, когда его брат рисковал жизнью, Мерфи же в пекло не лез, а только отдавал приказы и присваивал себе чужие заслуги. Бомбу — тяжеленную, нескладную штукюину — сварганили в сборочных мастерских Дублинской железнодорожной компании и вынесли оттуда

¹ Зеленый цвет — национальный цвет Ирландии. В названии рассказа обыгрываются слова старой ирландской песни:

Когда иначе, чем сейчас, начнет
расти трава
И спрячет свой зеленый цвет
весенняя листва,
Тогда сменю на шапке цвет, но до
тех страшных лет
Велит господь, чтоб я носил один
зеленый цвет

Здесь и далее примечания переводчика.

² Гэльская лига была основана в 1893 году с целью возрождения почти вышедшего из употребления гэльского языка и кельтско-ирландской культуры.

³ Ирландская республиканская армия — военная организация ирландского национально-освободительного движения, основанная в 1919 году

вместе с несколькими другими бомбами; сначала их собирались использовать против англичан, впоследствии — против самих ирландцев. Джозеф мог ее завести и свято верил, что тут все пройдет без сучка без задоринки. Мысль подкинуть бомбу в чемодане он почерпнул из «Айриш католик таймс», где в душераздирающих выражениях описывалось подобное же преступление против испанского духовенства. Так как при этом погиб от ран один архиепископ, ирландец по происхождению, газета расписала покушение в мельчайших деталях. Дело стало только за чемоданом. Чемоданом Джозеф разжился у Перселла, школьного учителя. Ради Перселла, а также и всего цивилизованного мира он решил разом покончить со всей этой шайкой.

Перселл относился к нему по-доброму. С такой добротой к нему не относился никто с тех самых пор, как его брата выжили из города после вполне невинной, но крайне неосмотрительной попытки убежать с дочкой Мерфи. В гражданскую войну, когда Джозефову брату и Мерфи приходилось подолгу проводить вместе, чтобы обмозговывать разные операции, молодые люди сталкивались в самое разное время дня и ночи и полюбили друг друга. И несмотря на то, что Мерфи вышел в богачи и столпы города и Джозефов брат теперь был никак не пара его дочери (у него не было ни кола ни двора), их привязанность не угасла с наступлением мирного времени. И еще долгие месяцы после изгнания любимого девушка горевала и куксилась, но в конце концов покорила воле отца и вышла замуж за его бывшего врага, человека, который в гражданскую войну сражался против них, зато теперь стал членом городского совета и членом правительства. Ничего удивительного, что Мерфи забыл старые раздоры. На людях они готовы были перервать друг другу глотки, келейно же действовали по принципу: ум хорошо, а два лучше. Так что когда дочка в конце концов облагоразумилась, Мерфи мог пожить в обоих лагерях. Весть о том, что и Перселл вынужден покинуть Балликонлан, опять же из-за Мерфи, произвела на Недоумка совершенно неожиданное действие. Из сумятицы обид родилось чувство цели, направления. Недоумка вдруг осеило, зачем он хранил бомбу все эти годы.

Перселл стал привечать Недоумка чуть не сразу по приезде в Балликонлан. Извозчик Патрик Хеннеси дал ему знать, когда приедет учитель, и Джозеф встретил его на станции. За свою помощь он был щедро вознагражден, и с тех пор стоило Перселлу приехать в город за продуктами, как откуда ни возьмись появлялся Недоумок и следовал за ним по пятам. Перселл со своей стороны симпатизировал Недоумку и жалел его. Когда он видел, как Недоумок бредет по городу и дети издеваются над его заячьей губой, а лавочники шугают от дверей, у жалостливого по натуре Перселла щемило сердце. Джозеф брился от случая к случаю, и, несмотря на вполне зрелый возраст, лицо его поросло неопытным клочковатым пухом, как у подростка. Перселлу он казался голодным и неприкаянным. Впечатление это было обманчивым, потому что Недоумку перепало множество мелких подачек, которые он принимал, умело скрывая свое презрение к благодетелям.

— Я слышал, вы взяли Недоумка в услужение,— сказал Перселлу отец Финнеган чуть не на следующий день после этого события.

— Да, отец мой.

— Не уверен, что ваш выбор удачен. Во-первых, он, как вы знаете, слабоумный.

— Знаю, отец мой. Но ведь сказано: пустите детей приходиться ко мне и не возбраняйте...⁴

— Вы говорите, не возбраняйте. Перселл? — Брови отца Финнегана сошлись на переносице.— Он не посещает мессы... Но, я вижу, вы и это не возбраняете?

— Мне очень жаль, что он не ходит к мессе. Но если бы с вами

⁴ Новый завет. Евангелие от Луки 18:16.

или со мной обходились, как с Джозефом, неизвестно еще, хотелось ли бы нам идти на люди.

— Ваше сострадательное сердце делает вам честь, Перселл. Но суть в другом: когда мой викарий осудил его брата за попытку соблазнить младшую дочку Мерфи, Джозеф сказал, что викарию дали на лапу.

Перселл грустно улыбнулся.

— Верно, — продолжал отец Финнеган, — любой из моих прихожан мог так сказать в припадке раздражения. Зато мессу ни один из них не пропустит. — Отец Финнеган был дородный, седовласый, краснощекый. Чтобы побороть природную вспыльчивость, он завел привычку полировать пальцем нос и сейчас усиленно этим занимался. — Возможно, он не отвечает за свои поступки и, наверно, не ведает, что творит. И тем не менее его поведение предосудительно.

Невзирая на все предупреждения, Перселл поселил Недоумка у себя. Они жили в домике сразу за Балликонланом, на взгорке, с которого вечерами открывался вид на отнюдь не залитый огнями город. Балликонлан лежал в долине между двумя взгорками, уже несколько веков он пятился все дальше от реки, порой норовившей выйти из берегов, чем лишил себя возможности хоть иногда да внести какое-то разнообразие в свою жизнь. В первый свой месяц Перселл как-то прошел весь город из конца в конец и обнаружил, что когда по сигналу одного гудка закрываются мельницы Мерфи, а его же пуговичная фабрика прекращает работу, жителям ничего не остается кроме как слоняться по центральной площади, где размещено большинство пивнушек, или играть в расшибалочку на зеленой полянке, где дорога на выходе из города делает развилку. Иногда железная дорога манила его за собой, и он бесцельно брел по рельсам, поднимался вслед за ними на гору, спускался на вересковые пустоши — безлюдные болотистые просторы, в которых отражалось непередаваемо унылое небо. Время от времени он заглядывал в гостиницу Мерфи, где в баре неизменный коммивояжер коротал часок-другой, перед тем как пойти на боковую, прихлебывая виски и приводя в порядок счета. Именно в эту пору освоения города его осенила мысль основать хор. Он играл на пианино и органе и еще в бытность свою помощником учителя в Дублине ставил с учениками оперы в честь окончания учебного года. Через учеников он залучил и кое-какую молодежь — сыновей и дочерей соседних фермеров; они же, в свою очередь, завербовали своих друзей из числа фабричных. Спевки — поначалу совершенно стихийные и для самого что ни на есть узкого круга — постепенно стали притягивать все больше народу. Раз в неделю в школу съезжалась молодежь по преимуществу на велосипедах, а со временем, когда спевки стали так же стихийно завершаться танцами, на них повадились ходить и те, кто не пел в хоре. Хор разрастался как-то помимо Перселла и приковывал к себе внимание всего города. Молодежь наконец-то почувствовала, что и в Балликонлане есть, куда себя девать.

Какое значение имеет его хор, Перселл осознал, только получив письмо от Лейси из Гэльской лиги; Лейси от имени комитета порицал Перселла: как мог тот выбрать темой своей лекции английскую хорошую музыку, когда ирландская музыка находится в столь прискорбном небрежении. Знакомое чувство тоски нахлынуло на Перселла. Не первый год он учительствовал, и не первый раз приходилось ему отражать наскоки ревнителей возрождения национальной культуры. Однако у него не хватило мужества оставить без ответа письмо, за которым стояла вся политическая машина, и он пригласил Лейси на ретицию. Он ожидал увидеть облаченного в грубый твид уальня, неистового патриота из какой-нибудь глухой деревушки на берегу Атлантического океана. Вопреки ожиданиям перед ним предстал лохотный субъект в котелке, с озабоченным выражением лица, которое не скрадывали даже холеные нафабранные усы. На нем была безу-

коризненно белая рубашка с ослепительным стоячим воротничком и темный костюм. На лацкане у него золотился значок Гэльской лиги. Массивная золотая цепочка, выпущенная двумя симметричными петлями на жилет, придавала ему особую солидность. Лейси приветствовал Перселла по-ирландски, но когда тот ответил ему по-английски, у Лейси явно отлегло от души. Хор исполнил несколько песен, Лейси выслушал их благосклонно, но нетерпеливо.

— Отличная работа, Перселл,— сказал он так, будто тот показал ему собственноручно сколоченный стол.

— Рад, что вам понравилось,— сказал Перселл.

Он встал из-за пианино и, к ужасу своему, заметил, что на его место сразу же плюхнулся молодой человек и стал одним пальцем подбирать какой-то танец. Перселл попытался было увлечь Лейси в сад, но тут путь ему преградила молодая девушка. Она ходила в хор полгода назад, но после нескольких спевков исчезла. И хотя Перселлу не терпелось увести Лейси от греха подальше, было в этой девушке что-то такое, что заставило его на миг забыть, чем чреват для них визит этого гостя. Ее имя крутилось у него в голове, но выплыло из памяти не сразу.

— Салли Магуайр, а я думал, вы совсем меня забросили,— сказал он.

— Я б обязательно ходила к вам, если б не папаша,— сказала она. И, не замечая Лейси, так дерзко и открыто уставилась на Перселла, что он оторопел.

— Ну и что же он теперь, смягчился?

Она расхохоталась, закинув голову.

— Я хотела списать у вас «Мое здоровье только пей»,— сказала она, словно не слышала его вопроса.— Меня не было, когда раздавали слова.

Перселл велел ей взять листок из пачки. Когда она наклонилась над столом, Перселл, невольно проследив за ней взглядом, заметил у нее один синяк над правым глазом, другой на голой руке. И опешил. Лейси, однако, не уловил, что Перселл отвлекся.

— Какая досада, что ваш хор не входит в наше отделение Гэльской лиги,— продолжал Лейси тем же заученным тоном.— Мистер Мерфи был бы от души рад, если бы вы присоединились к нам. Собственно говоря, именно это он и просил меня вам передать.

— Очень мило с его стороны,— сказал Перселл,— но ведь он и так владеет чуть не всем Балликонланом.

— Мистер Мерфи пользуется огромным влиянием и мог бы многим вам помочь,— ответил Лейси, как показалось Перселлу, несколько смешавшись.— У него большие заслуги перед нашим народом.

— Наверное, убил кучу людей?

— Похоже на то. Прошел от начала до конца всю войну за независимость. Всего достиг сам.— Опасливо обшарив взглядом окружающие кусты, Лейси решился на откровенность: — Кстати говоря, я еще помню времена, когда он был на побегушках, пары целых штанов за душой не имел.— И ни с того ни с сего захихикал.

Тут из классной донеслись звуки вальса, и Перселл вдруг отвлекся совершенно посторонней мыслью — не танцует ли с кем Салли Магуайр. Лейси весело забренчал в такт часовой цепочкой, увешанной спортивными жетонами.

— Ирландская молодежь и не знает, чем она обязана таким людям, как мистер Мерфи,— скорбно продолжал он.— Они забыли о семи веках гнета. Послушайте только... вот хотя бы этот фокстрот

— А-а... прелестная мелодия, не правда ли?

— Да ведь это английская мелодия. Перселл.

— Немецкая. И к тому же это не фокстрот, а вальс.

— Вальс, фокстрот — какая разница.— сказал Лейси.— Главное, не наша это музыка. Вот что худо. Иностранщину поощрять нельзя.

Вот если б ваш хор вступил в Гэльскую лигу, мы бы проследили, чтобы вы исполняли исключительно ирландскую музыку. Невозможно переоценить, какую роль это сыграло бы для сохранения нашего национального наследия.

— В таком случае,— сказал Перселл,— вам следует организовать свой хор.

— Мы пытались,— ответил Лейси,— правда, не в Балликонлане, а в других приходах. Но приходится признать, что молодые люди не хотят к нам ходить.

Он печально воззрился на сумрачные поля, от которых веяло свежестью,— эту частицу Ирландии, которую лишь он да Гэльская лига умели любить. Чем-то его слова тронули Перселла. Он вдруг преисполнился жалостью к печальному человечку в стоячем воротничке. И пообещал в ближайшее же время разучить с хором песни Мура⁵. У Лейси словно груз с души свалился: он понял, что не вполне запорол порученное ему дело. Когда Перселл отразил его прощальную попытку аннексировать хор, Лейси пожал ему руку и горестно справился, чем объясняется его непреклонность.

— Только тем,— сказал Перселл,— что хор, по-моему, существует для того, чтобы петь, а не для того, чтобы служить сомнительным политическим целям.

Лейси сокрушенно сказал:

— Вам не хватает кругозора, мистер Перселл.

Через неделю Недоумок передал ему письмо от Гэльской лиги. Перселл не сразу вскрыл письмо, так как мысли его неожиданно пошли совсем в другом направлении.

— Джозеф, ты знаешь Салли Магауйр? — спросил он.

— Я всех Магауйров знаю, этой гольтепы тут чертова прорва, у них домик на Нокнагеновской горушке.

— Я имею в виду девушку лет восемнадцати, такую тоненькую, темноволосую. Я вчера на спевке заметил синяки у нее на лице и на руке.

— Она самая, Салли Магауйр. Папаша ихний, когда на него найдет, лущует дочек почем зря. Это, должно быть, та из магауйровских девчонок, что у Мерфи на пуговичной фабрике работает.

Перселл решил, что и так достаточно выдал свой интерес к Салли Магауйр, и переменил тему.

— У Мерфи, видно, денег куры не клюют,— сказал он.— Вот бы он меня научил, как их зарабатывать.

— А он их не заработал, а заграбастал, хозяин.

Перселл улыбнулся.

— И в тюрьму не сел?

— Скажете тоже, хозяин. Он ведь патриот. В беспорядки, когда случалась нужда в деньгах, у патриотов за честь почиталось ограбить банк или государственную почту подчистую. Без денег не повоюешь, а если кто и прикарманивал сотню-другую, чтобы охотнее рисковать жизнью, на это смотрели сквозь пальцы.

— Откуда тебе все это известно, Джозеф?

— Брат рассказывал. Он, почитай, всю работу делал, а Мерфи себе мошну набивал.

— Джозеф, а почему тебя называют Недоумком? — спросил Перселл, вскрывая письмо.

— А потому что у меня не все дома, хозяин,— простодушно ответил Джозеф.

Письмо было от Лейси, он обращался к нему от имени комитета Гэльской лиги. Такие выжиги, как Мур, гласило письмо, нанесли куда больший урон ирландской музыке, нежели чужеземный гнет. Национальный идеал следует искать не в дублинских салонах прошлого ве-

⁵ Мур Томас (1779—1852) — английский поэт, певец и композитор, по национальности ирландец. С 1799 года жил в Лондоне, выступал в лондонских салонах.

ка, подпавших под иностранное влияние, а в исконных песнях нашего народа, которые поются на его исконном языке. Официальная общеобразовательная программа налагает на Перселла определенные обязательства; не исключено, следовал далее намек, что им придется призвать его к порядку при посредстве отца Финнегана, члена правления школы. В письмо был вложен циркуляр с призывом посетить собрание ведущих граждан города, имеющее целью изыскать способы повысить пенсии ветеранам ИРА, и просьбой оказать поддержку этому начинанию. Такая непоследовательность Перселла ничуть не удивила.

II

С тех пор как Салли Магуайр зачастила на спевки, Перселл еще больше увлекся хором. По его рыцарственным понятиям лишь чудовище способно поднять руку на женщину, поэтому все, что ему рассказывали о жизни Салли Магуайр, повергало его в ужас. Он надумал расспросить поподробнее самое Салли и для этого поручил ей ведать нотами — так, решил он, будет проще всего познакомиться с ней поближе. Она охотно согласилась, не стала ни отнекиваться, ни ломаться и с этих пор, как он и сам заметил, все чаще занимала его мысли. Несмотря на ее вызывающе прямолинейную манеру держаться, в ней было и неуловимое очарование и мягкость, что особенно привлекало Перселла. И хотя ему и в голову не приходило, что он может полюбить ее (он и вообще-то мало думал о любви), стоило ему поглядеть на ее темные волосы и бледное миловидное личико, как в нем пробуждалась нежность, дотоле неизведанная. Иногда он провожал ее, правда не до самого дома. То, что отец ее поколачивал, она, как он выяснил, считала в порядке вещей.

— Да это все из-за мамаша, — призналась она, когда он как-то вечером стал допытываться, отчего у нее руки в синяках и отчего она пропускает спевки. — Завела волюнку: что ни вечер, мол тебя дома нет, все дела на меня спихнула, — ну а он и услышь. Он у нас крутенок.

— И он вас ударил?

— Отлупцевал почему зря, — сказала она.

— Почему бы вашей матери с ним не поговорить?

— Еще чего — тогда он и ее отлупит, — простодушно возразила Салли.

— И часто это он?

— Не то чтобы очень. Он долго зла не держит, так что вскорости я опять могу ходить на спевки.

В одну из таких прогулок Перселл рассказал ей о том, какие препоны чинит ему Гэльская лига, и о том, что решил перевести их стихийные сборища на официальную основу. Они назначат комитет и будут именоваться Балликонланским хором.

— В председатели комитета я собираюсь предложить Суини.

— Того, что в надзирателях служил?

— Он раньше играл в полицейском оркестре.

— Не по нутру мне полицейские, — не отступалась она.

— Зря вы сторонитесь Суини, — сказал Перселл. — Он этих Лейси и Мерфи тоже не слишком жалует. Меня больше беспокоит, что примет отец Финнеган.

— Будет вам палки в колеса совать.

— Это я знаю, только никак не пойму, что тут причиной.

— Им невмоготу, когда людям весело, — ответила она, единым махом разделавшись со всеми.

Перселл уже свыкся с таким нехитрым ходом мыслей. И не стал возражать Салли.

Когда они прощались, Салли сказала:

— Народ у нас — хуже некуда. Наших хлебом не корми, дай только на чей ни то счет языки почесать.

— И на чей же счет они сейчас чешут языки? Насчет хора?

— Это само собой... И пусть бы их, а вот что они на ваш счет треплют языками...

— И что же на мой счет...

— А то, что вы часто домой меня провожаете.

— А... — только и нашелся он.

Поначалу отец Финнеган как будто приветствовал идею создать комитет.

— Рад, очень рад, что вы обратились ко мне, Перселл, — сказал он, предлагая ему сесть. — До меня доходили слухи о ваших стихийных сборищах...

— Надеюсь, неплохие, отец мой.

Сдержанная улыбка:

— Увы, отнюдь не хорошие.

— Мне очень жаль.

Перселл объяснил цель своего визита, перечислил по именам членов комитета.

— Я надеялся, что вы обратитесь ко мне или к отцу Киннано с просьбой быть вашим председателем.

— Мне жаль, но хор уже выбрал комитет.

— Понимаю. Однако такие дела нельзя пускать на самотек. Я полагаю, вам известно, что в подобных случаях следует предварительно посоветоваться со мной.

— Нет, отец мой. — Еще не завершив фразы, Перселл понял, что кривит душой.

— Мне кажется, что вы не хотите советоваться с кем-либо из нас относительно кружка. Это что у вас, такая негласная политика — не советоваться с нами?

— Вовсе нет, отец мой. Кстати говоря, мы собирались в самом что ни на есть узком кругу и запросто. Именно потому, что наши спевки приняли такой размах, мы и решили назначить комитет.

Седые волосы отца Финнегана торчали колючим ежиком над его угрюмым лицом — с каждой минутой оно все сильнее темнело.

— Общепризнано, что любые начинания общественного характера не мыслятся без участия человека, способного обеспечить духовное руководство. Я преисполнился глубокой тревоги, узнав, что подобная мысль даже не приходила вам в голову.

— И впрямь я решительно упустил из виду, что и такое немудрящее общественное начинание, как хор, немыслимо без духовного руководства, отец мой.

— Там, куда без разбору стекается молодежь обоих полов, необходим надзор. Одним пением дело не обойдется. Будут и танцы и вышивки. Я уже тридцать лет священник, Перселл, и понимаю что к чему. И вы понимаете. Вам не хуже меня известно, к чему это ведет. Когда вы заканчиваете спевки?

— Около одиннадцати. Изредка позже.

— Около одиннадцати. И в такую-то пору юноши и девушки идут домой по три, по четыре мили полями. Вы можете поощрять подобные прогулки. Я — нет.

— При всем моем уважении к вам, отец мой, я не вполне понимаю, что изменится, если председателем нашего комитета станет священник. По правде говоря, я не понимаю, как спевки могут повлиять на нравственность молодежи вашего прихода — разве что улучшить ее, дав им какое-то занятие в свободные вечера.

— А также дав им возможность встречаться, не возбуждая толков.

— А разве им нельзя встречаться?

— Можно, если за ними будет надлежащий присмотр. И о том судить не вам, Перселл, а мне.

Перселл понял, что пора хоть в чем-то пойти на уступки. Слишком много сил сплотилось против него. Он не понимал, чем навлек на себя их гнев, но спиной чувствовал, как против него исподтишка строятся мелкотравчатые козни.

— Если вы скажете, какие меры предосторожности нам следует предпринимать, отец мой,— сказал он,— мы с радостью последуем вашему совету.

Отец Финнеган принял капитуляцию как должное. Он все обдумает и даст Перселлу знать. Всем своим видом отец Финнеган показывал: он настолько уверен в своих силах, что может проявить терпимость.

Вскоре Перселлу пришлось вновь столкнуться со столпами города в связи с тем, что на центральной площади намеревались возвести памятник повстанцам 1798 года⁶. Какое отношение имел Балликонлан к восстанию, Перселлу было не вполне ясно. Однако ни у кого из собравшихся этот факт сомнения не вызывал. В председательском кресле восседал отец Финнеган. Мерфи в своей речи напомнил, что многие сыновья и дочери Балликонлана пали в героической борьбе и поэтому мы не можем забыть о крови, пролитой нашими мучениками; об этом вопиет каждый зеленый луг, каждый булыжный проулок. Не было поколения, в котором патриоты не вставали бы на борьбу за свободу родины, и не приведи господь нам дожить до того злосчастного дня, когда Ирландия забудет своих героев. Мерфи, и сам общепризнанный патриот, говорил горячо и убежденно. Разработкой проекта, разумеется, будет руководить Гэльская лига, зато почетная обязанность собирать пожертвования открыта каждому. Перселлу поручили музыкальную программу в приходском клубе, гвоздем которой должен быть его хор. После собрания Мерфи неожиданно предложил Перселлу подвести его.

— Благодарю вас, но мне хочется пройтись,— вежливо отказался Перселл.

— Я хотел бы переговорить с вами о хоре,— сказал Мерфи.— Вы, разумеется, можете рассчитывать на мою помощь. Не хочу хвастаться, но я человек влиятельный. В деловых вопросах я дока, чего не могу сказать о музыке. Жизнь прожил нелегкую, не до того было...

Перселл понял, на что тот намекает, и улыбнулся.

— Очень любезно с вашей стороны,— сказал он.— Но, по-моему, мы обойдемся своими силами.

— Ум хорошо, Перселл,— сказал Мерфи,— а два лучше. С музыкой вы управитесь, а делами кто заниматься будет?

— Комитет... по своему разумению. И лучше тут ничего не придумаешь.

— Дело есть дело. Моей помощью не прокидаешься. Кстати, мне давно хотелось поговорить с вами. Ваш хор мог бы мне тоже кое в чем помочь — и мы были бы квиты. В Балликонлане ни одно начинание без меня не обходится.

Перселл понял, что Мерфи следует ответить самым что ни на есть решительным отказом — иначе от него не отвяжется. Он собрался с духом, зная, что обретает в лице Мерфи врага, и врага могущественного. Ему было ясно, что наступает решающий момент в их отношениях.

— Вы принимаете близко к сердцу общественные интересы, мистер Мерфи,— сказал он,— и я ценю ваше участие. Но по профессии я учитель и из своего, пусть скромного, опыта знаю, что есть только один способ помочь нашему народу — дать ему развивать

⁶ Восстание против английского господства в августе — сентябре 1798 года.

ся, как он хочет. Наши люди должны научиться действовать на свой страх и риск.

— Значит, вы не позволите вмешиваться в свои дела, так прикажете вас понимать?

— Да нет же. Просто я хочу поставить опыт, который не встретит особого одобрения, а именно — помочь им добиться чего-то своими силами.

III

Стоя на стремянке, Перселл тянул руку к форточке, чтобы проветрить класс, когда услышал позвякивание чайных чашек и поглядел вниз. Чаепития после спевок стали одним из первых новшеств, введенных комитетскими дамами. Они придали их сборищам характер респектабельный, но не чересчур, а в самую меру — так, чтобы не отпугнуть, а, наоборот, привлечь желающих. Салли Магуайр собирала ноты и складывала их стопкой на его столе; у пианино сгрудилась кучка парней, один из них пробовал подобрать популярную песенку; густой сигаретный дым, постепенно редая, поднимался кверху и клубился вокруг голых лампочек. В дальнем углу уютно бормотал кипятильник, от него шло тепло. Встречи хорового кружка — эти чашки с чаем, печенье, передававшиеся из рук в руки, немудрящие шутки, а порой и шумная возня — стали особенно дороги Перселлу с тех пор, как на их непринужденный характер стали посягать. Отец Финнеган смекнул, откуда дует ветер, и обвинил их в излишней вольности нравов. Мерфи узрел в их кружке вновь народившееся общественное объединение и пожелал прибрать его к рукам, потому что любое общественное объединение можно использовать в политических целях. Гэльская лига, когда ей не удалось убедить их, что музыка немыслима без волюнок и национальных костюмов, вознамерилась придушить их кружок. Над ними разом грозно нависли и епископский посох и клюшка. Перселл распахнул окно — холодный, несущий с собой запахи осени воздух напомнил о притихших скошенных полях и извилистых стежках, где листва, нежданно ворохнувшись, тревожит темноту. Тут он спохватился — ведь сегодня ему не только предстоит оповестить кружковцев, какую оперу выбрал по его совету комитет для постановки, но еще и провести предложение отца Финнегана, поставившего условие, чтобы их встречи не вызвали никаких нареканий по части нравственности. Темные поля, от которых исходил тучный запах только что собранных хлебов, таили в себе опасность. Теперь молодежь обяжут после репетиций расходиться домой не парочками, а гурьбой. Спустившись со стремянки, Перселл понял, что даже объявить о подобном решении и то будет до крайности неловко. Он вышел на середину класса и похлопал в ладоши. Он никак не хотел походить на учителя, но школьные замашки нет-нет да выдавали его. Наступила тишина Перселл откашлялся.

— Прежде чем мы продолжим нашу репетицию, я хочу вам кое-что рассказать. Как вам известно, нас просили оказать помощь в сборе средств на памятник повстанцам девяносто восьмого года, и ваш комитет согласился к концу ноября дать в ратуше спектакль. Мы решили поставить «Пиратов Пензанса»⁷, оперетту с чарующей музыкой уже одни репетиции которой, я уверен, доставят нам огромное наслаждение. Подробности мы уточним позже, но я должен вас заранее предупредить, что постановка эта труднее всего, что мы до сих пор предпринимали. Она потребует и более частых и более длительных репетиций. В связи с этим я перейду к письму, полученному мной от отца Финнегана, которое сейчас прочту...

⁷ Оперетта английского композитора Артура С. Салливена (1842—1900) по либретто У. Гильберта. Написанная в 1879 году, оперетта до сих пор не сходит со сцены.

Кончив читать письмо, Перселл подошел к Суини, председателю комитета, и тот заверил его, что хор будет придерживаться предложенного распорядка. Ни одна из девушек не пойдет домой в сопровождении лица противоположного пола. Послышались смешки. Перселл понял, что такое явное недоверие еще больше сблизило молодежь. Его посетило предчувствие, что предписание отца Финнегана не будет соблюдаться. Предписание это осложняло и его жизнь. Оно мешало его прогулкам с Салли Магуайр, которыми он, не задумываясь, что тому причиной, стал очень дорожить. Ему пришлось попросить Суини хотя бы часть пути сопровождать их.

— Что я тебе, в компаньонки нанялся? — спросил Суини.

— Я не могу подавать дурного примера.

— Бога ради, парень, ты-то хоть ума не теряй.

— Да я не теряю. Но чуть что — едва не половина Балликонлана кинется со всех ног докладывать отцу Финнегану, что учитель не считается с его указаниями.

— Ты же взрослый человек и сам за себя отвечаешь.

— Пусть со мной обращаются как с мальчишкой, ради нашего хора я и на это согласен.

Так Суини к явной досаде Салли стал ходить с ними домой.

Как-то вечером месяц спустя Перселл, пав духом, сказал Суини:

— С пением у нас полный порядок, а вот о деньгах этого не скажешь. Прокат костюмов обойдется недешево, да и за право постановки с нас сорвут немало. Может, нам стоило бы заручиться поддержкой Мерфи?

— Ну нет, — сказал Суини, — от этой шайки чем дальше, тем лучше.

— Что же нам делать?

— Мы заплатим за свои костюмы сами, а для тех, кому это не по карману, соберем деньги в складчину.

— Это еще не все, — сказал Перселл. — Я получил письмо от Гэльской лиги?

— От Лейси?

— Подписал-то его Лейси, но я думаю, что за ним стоит Мерфи. Негоже, мол, нам ставить «Пиратов» — чужеземная музыка губительна для нашей культуры, культуры наших предков.

— Опять же семь веков гнета.

— Вот-вот. Но что ни говори, а на письмо отвечать придется. Что же такого мне им написать?

— Пошли их подальше.

— Я только тем и занимаюсь, и мне это уже опостылело. Опостылело обходиться во всем своими силами. Пора бы, кажется, мне и помочь.

— Поставь вопрос перед комитетом, и тогда мы сами пошлем Лейси куда подальше. В конце концов, спектакль почти готов, и сейчас не время что-то корезить и менять. Они небось хотят навязать нам все те же ирландские мелодии.

— Они говорят, что ирландские мелодии куда больше подходят для концерта в честь повстанцев девяносто восьмого года.

— Мне известно, что им надобно, — раскипятился Суини. — Сборная солянка без цвета, вкуса и запаха. Я их знаю как облупленных.

Комитет согласился с Перселлом. Не говоря уж о естественном желании не поддаваться давлению и недовольству вечными покушениями на их свободу, они действительно увлеклись музыкой. Вдобавок и радужная перспектива — огни рампы, красочные костюмы, дни, заполненные до отказа захватывающе интересными делами, — тоже весьма укрепляла их решимость. Поэтому они ответили Лиге, что спектакль почти готов и на этой стадии просто нецелесообразно что-либо менять.

Как-то вечером, когда они возвращались домой после репетиции, Перселл сказал Салли Магауайр:

— У Суини какое-то дело в городе. Так что мне придется провожать вас в одиночку.

— Что мне теперь, плакать прикажете?

Перселла удивил ее тон.

— Я хотел сказать, что отец Финнеган не поощряет...

— Отцу Финнегану нечего беспокоиться.

Перселл улыбнулся.

— Вы сумеете за себя постоять?

— Вот уж нет.

Перселл оторопел. И, чуть помешкав, сказал:

— Я вас не понял.

В ответ из темноты раздался смех.

— Долго же до вас доходит.

Перселл даже чуть струхнул.

Комитет по сбору пожертвований больше не давал о себе знать. Он затевал всевозможные мероприятия, футбольный матч в том числе. Матч собрал полный стадион болельщиков, но денег, как ни странно, почти не принес (балликонланцы испокон века считали, что только дурак будет платить за вход, когда можно перемахнуть через забор). Продажа произведений местных рукодельниц в рагуше кое-какие деньги принесла, устраивали еще и вечер национальных танцев под эгидой Гэльской лиги, и турнир игроков в вист, который с треском провалился, потому что ни одна живая душа в городе не играла в вист. Перселл в конце концов все же обратился в комитет с просьбой помочь кружку; ответ он получил через месяц. Комитет увековечения 98 года вынужден отклонить предложенный ими спектакль как не соответствующий торжеству по духу. Комитету пришлось пригласить из Дублина драматическую труппу, которая даст в дни торжеств несколько представлений. Выбор комитета пал на любительскую труппу, успешную зарекомендовать себя положительно как своим исполнительским мастерством, так и безукоризненно национальным характером своего искусства.

Такого бурного взрыва возмущения, с каким комитет встретил это сообщение, Перселл даже не ожидал.

— Этот номер у них не пройдет,— сказал один из комитетчиков.

Фраза эта стала знаменем, вокруг которого они сплотились. Они слишком высоко занеслись в своих мечтах, чтобы дать растоптать их враз. За последние несколько недель Балликонлану доказали, что и здесь вполне возможно нечто такое, о чем ранее не только не слышали, но и помышлять не могли. С невиданным доселе небрежением к деньгам члены кружка решили оплатить постановку, для чего несколько месяцев собирать деньги. Это означало, что спектакль откладывается, зато теперь они не связаны со сбором средств на памятник, а значит, и не были связаны сроками. Предварительно спектакль наметили закончить к середине июля следующего года. Когда же после рождества объявили, что памятник откроют в первую неделю июля, день спектакля определен окончательно. На открытие в город стечется народ, и праздничная обстановка привлечет публику. Как и следовало ожидать, слухи об их планах мигом разнеслись по городу. Общественное мнение, поначалу колебавшееся, постепенно — хотя и втайне — стало склоняться в пользу хора. Мерфи не любили в городе помимо всего прочего уже потому, что он имел власть. Сплетники свели суть разногласий к одному — учитель против Мерфи. Местные считали, что учитель сильно рискует, но именно его рисковость и обеспечила ему их расположение. Как и следовало ожидать, и приходский священник и Гэльская лига встали на сторону Мерфи. Шло размежевание сил. Распускали слухи, что оперетта безнравственная и что отец

Финнеган в своей проповеди обрушит на нее громы и молнии. Но воскресенья шли один за другим, а отец Финнеган безмолвствовал. Май был на исходе, когда Перселл узнал от Салли Магуайр о первой вылазке противника.

— Мерфи вводит сверхурочные во всех цехах,— сказала она.

Перселл не дрогнул:

— Поздно спохватился. Он, конечно, осложнит нам жизнь, но мы справимся.

— Что бы Мерфи ни затеял, а на репетиции я ходить не перестану. И будь что будет.

— Жаль, что не все так решительно настроены, как вы, Салли,— сказал он горячо.

Салли мельком глянула на него. Но ничто в его манере не выдавало пылких чувств, он по-прежнему держался как добрый отец, старший брат.

Перселл отправился к отцу Финнегану.

— Ходят разговоры, что вы считаете «Пиратов» опереттой безнравственной. Я принес вам либретто.

— Я уже прочел либретто,— сказал отец Финнеган.

— Ну и как, по-вашему, можно считать эту оперетту безнравственной?

— Лично я так не считаю, но нравственные вопросы очень сложны. Моим прихожанам оперетта представляется безнравственной. Из этого можно сделать вывод, что так оно и есть.

— Из чего же, объясните мне, бога ради, это следует?

— Ну, если оперетта оскорбляет их нравственное чувство...

— Да ваши прихожане о ней и знать не знают. Они не читали либретто. А большинство и слыхом не слыхивало о Гилберте и Салли-вене. Им внушали, что оперетта безнравственная и что вы того же мнения.

— Мне представляется сомнительным характер Рут. Женщина одна-одинешенька в пиратской шайке — кое-кому из моих прихожан это кажется подозрительным.

— А как насчет характера учителя, выбравшего «Пиратов» для постановки, он что, тоже кажется подозрительным?

Отец Финнеган пронзил Перселла взглядом и понял, что тот говорит искренне. Он отвел глаза.

— Вообще-то мне либретто не кажется безнравственным,— сказал он, чуть замешкался и с таким видом, словно его только что осенило, добавил: — Раз уж вы пришли, воспользуюсь случаем и упомяну еще об одном деле. Мне сообщили, что вы проводите много времени с магуайровской дочкой.

— Ну а что подозрительного находят тут? — сказал Перселл так вызывающе, что отец Финнеган поднял брови.

— Думаю, что ничего. Просто сплетничают.

— Зловредно сплетничают. И я знаю, кто этим занимается.

— Я понимаю что к чему,— сказал отец Финнеган уже совсем иным тоном.— Как я уже говорил, вы можете не сомневаться, что я самым решительным образом пресеку клевету, от кого бы она ни исходила. Я просто хотел вас предупредить. Вы ведь не первый встречный-поперечный. Вы — учитель. И это в корне меняет дело. Вы начинаете озлобляться и против общественных установлений и против меня. Вы ожесточаете свое сердце. Это пагубно.

Впервые за все их встречи разговор пошел по-человечески. Перселл был тронут тем, что священник сам так его повернул. Он утихомирился.

— Вы ошибаетесь, отец мой, я вовсе не озлобляюсь. Просто я по-своему смотрю на вещи, но это не идет вразрез с установлениями церкви и общества. Я не делал ничего дурного.

— Этим кичился и фарисей.
— Фарисей кичился своей праведностью, я же вынужден защищаться, я не возношусь, а оправдываюсь.
— Я не сомневаюсь в чистоте ваших помыслов,— сказал отец Финнеган. И улыбнулся.— Иначе я бы прямо так об этом и сказал.
Перселл улыбнулся в ответ.
— Боже сохрани, отец мой.
— Боже сохрани.
Отношения начинали налаживаться — отношения взаимно уважительные,— и Перселл взбодрился. Впервые за много месяцев перед ним забрезжила надежда.

IV

Суини вскрывал только что прибывшие ящики с костюмами и вынимал оттуда один костюм за другим. Перселл сверялся со списком ролей. В классной царило с трудом сдерживаемое возбуждение. Пришел кое-кто из актеров, за пианино сидел неизменный любитель и, напевая фальшивым басом, подбирал одним пальцем популярную мелодию. Не было только тех, кто работал на фабрике: их после чая неожиданно оставили на сверхурочную. За последнее время фабричная администрация сорвала таким образом несколько репетиций. Перселл уговаривал ребят подчиниться указаниям администрации и не отказываться от сверхурочной. При мысли о том, к каким беспорядкам могут привести увольнения, Перселл цепенел от ужаса. И тем не менее сегодня, как доложил ему Суини, фабричные решили уйти с фабрики ровно в восемь.

— А их никак нельзя удержать? — спросил Перселл.
— Разве с молодежью сговоришься, когда им что втемяшится,— отвечал Суини.— Одна надежда: господь не допустит, чтобы меня из-за их продерзостей лишили пенсии.
— Флаг, вожак пиратов,— сказал Перселл, машинально ставя в списке галочку.— Вот вроде и все, теперь остались только костюмы для оркестрангов. Что вы для них заказали?

В четверть девятого явились почти все фабричные. Они бросили работу. Перселл рассердился на них и так и сказал Суини.

— Теперь неприятностей не оберешься,— заявил Суини.— Ручаюсь, по городу уже пошли разговоры.

Объясняться с виновниками не имело смысла. Еще когда они распаковывали костюмы и переодевались, Перселл почувствовал, как они возбуждены, и понял, что они и с ним не посчитаются. Молодежь затеяла буйную возню, и ему не сразу удалось построить хор, которым открываются «Пираты», и начать репетицию. Репетиция далась ему нелегко, и тем не менее прошла она хорошо. Закончили они чуть не в полночь.

Когда кружковцы разошлись, Перселл, ликуя, заявил Суини, что уж теперь-то спектакль на следующей неделе состоится и никакие помехи не смогут этому помешать.

— Что будем делать с костюмами? — спросил он, окидывая взглядом класс, где были раскиданы ящики и корзинки, из которых в беспорядке торчали костюмы.

— Уже поздно, я и без вас приберусь,— уговаривал его Суини.— А вы идите отдохнуть.

От школы они с Салли Магуайр пошли вверх по взгорку. Знойная тьма охватила их, после бурной репетиции тихий ветерок успокаивающе обвевал лица.

— Я рада, что Суини остался в школе,— сказала Салли.

— Не пойму, чем вам не угодил Суини.

— Да я ничего не имею против Суини, просто хочется побыть вдвоем.

Чем-то ее слова взволновали Перселла. Он вдруг остро почувствовал и ее близость, и то, что они совсем одни под бурным покрывалом неба, и теплое дыхание ветра на их лицах, несущего с собой запах трав и цветов. И сказал участливо:

— Салли, а вам не устроят головомойку за сегодняшнее?

— Нам это нипочем, — сказала она бесшабашно. — Разве вы не понимаете, как мы дорожим хором и какая тощица была здесь, пока вы нас не собрали? — Она продела свою руку в его. — Тут от скуки помереть можно было — всю неделю не знаешь, куда себя девать. А вы приехали и не сробели потягаться с Мерфи и его шайкой. И перед отцом Финнеганом и прочими шишками тоже не спасовали. Теперь нам есть куда приложить силы, у нас есть свое дело, и они не могут ни прибрать его к рукам, ни изгадить. Нет, мы не дадим им встать нам поперек дороги.

— Одного не пойму — почему бы им самим не затеять здесь какого-нибудь дела? Неужели у вас на фабрике совсем нет ничего интересного?

— Куда там! Разве что по дороге домой мальчишки пристанут — вот и все наши развлечения.

— Это неизбежная плата за красоту, — галантно сказал он.

— Так, по-вашему, я красивая? — спросила она напрямик.

— Еще бы! — сказал он. Почувствовал, что его ответ что-то неумовимо изменил в их отношениях, и тут же пошел на попятный. — Наш хор, — добавил он, — прославит Балликонлан своей красотой.

Мгновенно спохватился, что его занесло куда-то не туда, и минут десять они шли молча. Но стоило им остановиться, как Салли выдернула у него руку и побежала к лестнице через изгородь, от которой лесная тропка вела напрямиком к ее дому, хотя до сих пор они всегда ходили круглым путем. Простилась она с ним довольно небрежно, бросив «пока» через плечо.

— Пойду напрямик, — сказала она. — Пора спешить.

— Поспешешь — людей насмешишь! — крикнул он ей вслед, но она не отозвалась.

Он замер в растерянности, как вдруг послышался крик, звук падения. Перселл окликнул Салли и очертя голову кинулся к лестнице. Из-под высоченных деревьев не доносилось ни звука. Перселл встревожился. Салли все не откликалась, и он стал шарить в темноте под деревьями.

— Салли, Салли, где вы? — снова и снова выкрикивал он, пока ее голос чуть не у самого его уха произнес:

— Я здесь.

— Бог ты мой, да вы небось ушиблись? — спросил он, наклоняясь над ней. Из темноты сначала выступили бледные контуры ее лица, затем вся ее хрупкая фигурка. Он обнял Салли за плечи. Она потянулась к нему.

— Хотите меня поцеловать? — нежно спросила она.

Перселл было рассердился. Но тут на него как дурнота накатило желание. Он нащупал ее губы и надолго забыл обо всем, кроме их влажной податливости. Когда же наконец он разжал руки, Салли первая вскочила на ноги и, не говоря ни слова, припустила по тропинке.

— Салли! — позвал он на этот раз совсем тихо. Но желание, которое она в нем пробудила, хоть он и тут совладал с собой, не угасло. Ее «до свиданья» еле слышно донеслось до него сквозь тихий шепот листвы.

Два часа спустя он уже лежал в постели, но ему не спалось: он прислушивался к шуму дождя, неустанно колотившего по крыше, когда его всполошил стук в дверь. Он прошел через теплую, освещенную топящейся печкой кухню и открыл дверь. Сквозь пелену дождя он

не сразу разглядел, кто пришел, но когда различил Салли, у него чуть не оборвалось сердце.

— Что случилось, Салли? — спросил он. Отодвинул промокшую одежду — чтобы просушить ее, Джозеф, собственно, и затопил печь — и усадил Салли. На свету он заметил, что по щеке ее расплзся синяк.

Она рассказала, что дома ей устроили выволочку — нечего, мол, было самовольничать и уходить с работы. Отец ее поджидал. Увидел, что у нее пальто перемазано в грязи, ну и сделал свои выводы, справедливость которых Перселл, как ни был взбешен, не мог не признать.

— Папаша задал мне трепку, а когда я в ответ двинула его разок, вышвырнул на улицу, — сказала она. Потом, будто отвечая на вопрос, добавила: — К кому еще мне было идти?

Перселл растолкал Джозефа, который отнесся к случившемуся как к должному. За ужином решили, что он отдаст Салли свою кровать, а к утру придумает, как ей выбраться отсюда. Она хотела уехать в Дублин. Вынужденное решение, долгий путь под дождем настолько вымотали ее, что она покорно слушала его и безучастно соглашалась на все, что бы он ни предлагал. Салли уже давно легла, а Перселл все еще ворочался с боку на бок на раскладушке в комнате Джозефа. В жизни не попадал он в такое рискованное положение и все же думал он по преимуществу о другом. Мыслями он вновь и вновь возвращался к Салли — ведь совсем недавно она явно пыталась его соблазнить, а сейчас она лежит всего в нескольких шагах от него в темной комнате по соседству. И вот теперь в душе его смута, она же, наоборот, безразлична и сейчас, во всяком случае, спит безмятежным сном. Он вспоминал ее голос, ее бледное лицо и то, как пленительно вдруг загорались озорством ее глаза. Пусть ее спит. Сам он почти не спал.

Поутру Салли увидела почтальона. Он пришел в неурочный час, принес увесистую бандероль. Вернувшись из города, Перселл обнаружил ее на столе. Бандероль была заказная, с английскими марками. Салли с Джозефом очень сокрушались из-за своей оплошности, Перселл же, оправившись от удара, принял случившееся как должное; он понимал, что нечто подобное рано или поздно должно было произойти. Слишком легко давалась им победа. Он наперед знал, как будут развиваться события, когда местные кумушки разнесут эту новость по городу (а он понимал, что они не заставят себя ждать), и отец Салли отправится жаловаться на него отцу Финнегану. В первую голову ему нужно было найти быстрый и надежный способ отправить Салли из города, и с этой задачей он справился как нельзя лучше: спозаранку посадил Салли в специально заказанный для нее автомобиль. Когда он прощался с Салли, поросший лесом взгорок был окутан туманной дымкой, и тут только Перселл заметил, какая тишь кругом, как солнце заливает поля в низине, как звонки птичьего голоса в чистом, свежем утреннем воздухе. Ему захотелось поцеловать Салли в память того — пусть и немногого, — что их связывало, но он постеснялся Джозефа и таксиста. Вместо этого он только пожал Салли руку и попросил писать; всю глупость и бессмысленность своей просьбы он понял лишь поздно вечером, когда в конце дня, потраченного на бесплодное обдумыванье переплета, в который он попал, ему доставили письмо отца Финнегана. Содержание письма было ему известно наперед. Священник, видно, был не в курсе событий и, полагая, что Салли все еще находится у Перселла, призывал того не преступать законы божеские и немедленно отослать девушку к родным, а поутру явиться к священнику для беседы; отец Финнеган вынужден выполнить этот тягостный для него долг по требованию столпов города и с благословения всех без изъятия отцов и матерей Балликонлана.

Перселл отложил письмо и вскрыл бандероль, из-за которой и разгорелся весь сыр-бор. В ней были партии для оркестра.

— Джозеф, — сказал он, — завтра первым делом отнеси этот пакет

на почту и попроси отослать обратно. Когда вернешься, мы начнем укладывать вещи. Завтра вечером я уеду.

— Уедете, хозяин?

— Да, Джозеф. Ничего другого мне не остается. Такова воля всех без изъятия отцов и матерей Балликонлана. Не говоря уж о столпах города.

— Вы же не сделали ничего дурного.

— Выходит, что сделал, Джозеф, сделал, сам того не желая. Мне казалось — мой прямой долг организовать тут хор, чтобы молодым прихожанам было чем заняться на досуге. Но я не заручился поддержкой важных лиц, патриотов и священников, а они не дадут затеять ни одного дела, не убедившись, что план его начертан на бумаге ирландского производства с шестой исповедью вместо водяного знака. Мерфи, к примеру, считает, что у него монополия на патриотизм. Он чистосердечно верит, что наши предки разгуливали не в штанах, а в юбках и, когда не записывали стихами посещавшие их видения⁸, гоняли в гэльский футбол. Эта эрудиция далась ему нелегко. Что станет с ним и его прихвостнями, если народ предпочтет всему этому оперетту и крикет? Он и ему подобные узрят здесь измену национальной идее, ибо кто как не Мерфи есть наш национальный идеал? Отец Финнеган полагает, что сумеет привести статистику рождаемости в соответствие со статистикой браков, если будет неусыпно гонять парочки метлой добродетели из-под наших национальных кустов. Любая попытка ему возразить приравнивается к бунту против католической церкви, ибо католицизм начинается и кончается отцом Финнеганом. Каждый священник сам себе папа. А если копнуть поглубже, окажется, что наши парни и девушки не верят ни в того, ни в другого и как нельзя лучше доказывают это своим поведением, стоит им уехать отсюда куда подальше, каковому примеру и я собираюсь последовать. И если уж Гэльская лига и впрямь собирается приохотить любовные парочки к национальному идеалу прямо под кустами, я могу подбросить им девиз: «В юбках парням куда сподручнее». Боюсь только, что отцу Финнегану это придется не по вкусу.

Перселл перевел дух и улыбнулся: он говорил, просто чтобы выговориться. В глубине души он был жестоко оскорблен — такого поворота событий он никак не ожидал.

— Зажги лампы, Джозеф, — сказал он.

И Джозеф в последний раз приступил к ежевечернему ритуалу. В сгущающихся сумерках он накачивал керосиновую лампу до тех пор, пока на кухне не послышалось ее наводящее дрему гуденье, под которое так хорошо думалось, — привычный, незаметный фон их вечеров.

— Я уеду с вами, хозяин, — заявил он.

План уже был готов. Он сложился у Джозефа сам собой, легко и без натуги, пока он накачивал лампу. На Джозефа снизошел покой. Джозеф стоял на фоне своей гигантской тени, заполнившей всю стену позади него, и, устремив взгляд в одну точку, обдумывал детали; заячья губа торчала у него из-под носа наподобие желоба.

— Куда ты поедешь?

— Да я бы поехал погостить к одному человечку. Вот только чемодана нет, вещи положить не во что.

— Возьми один из моих.

— Какой, хозяин?

— Бери любой, какой приглянется. У меня они все как на подбор, один хуже другого. Слава богу, мы с тобой путешествуем налегке.

— На этот раз налегке не выйдет, хозяин.

Перселл пропустил мимо ушей слова Недоумка — тот нередко нес

⁸ Имеется в виду эшлинг (видение), классический жанр ирландского фольклора.

всякую невнятицу. Едва Перселл ушел спать, как Джозеф принялся за дело. Он достал из тайника бомбу, разобрал ее на части и разглядывал каждую деталь по отдельности до тех пор, пока в памяти не всплыли забытые за давностью лет операции, за которыми они проводили ночи напролет в те незапамятные времена, когда он помогал брату: брат сражался за новую Ирландию, а ее нельзя было построить, не взорвав ко всем чертям Британскую империю. Потом Джозеф притащил на кухню три чемодана и, решив, что облезлый зеленый, с четко выведенными на нем краской загадочными инициалами «С. Д.» лучше всего подходит для его целей, положил бомбу в него. Наутро, пока он сносил один за другим три чемодана к подножью взгорка, где его поджидал в своей запряженной заморенной лошаденкой полуразвалившейся пролетке Патрик Хеннеси, он успел поставить механизм бомбы на десять часов. По его расчетам, в это время вся шайка в полном сборе будет пировать в гостинице.

— Вот эти два хозяйские, — втолковывал он Хеннеси. — Их оставишь на вокзале в зале ожидания внизу.

— Идет, — сказал Хеннеси.

— А вот этот, — сказал Джозеф, — ты уж не в службу, а в дружбу...

— Ладно, — сказал Хеннеси.

— ...по дороге на вокзал завези в гостиницу.

— Это что, кого-нибудь из тех шишек чемодан?

— Да нет, это одного дублинца, он сегодня будет там на обеде. Засунь чемодан в угол за пианино: я его предупредил, что чемодан будет там.

Хеннеси — а он знал толк в увеселениях — сказал:

— Небось фокусник приезжает?

— Он самый, — сказал Джозеф. — Я сегодня спозаранку поднес ему чемодан.

— Вижу, Джозеф, ты времени не теряешь — снова за старый промысел взялся.

— Угу.

Хеннеси доверительно склонился к нему.

— Вот ты мне скажи, этот твой, что там, на взгорке...

— Это ты про кого?

— Про кого, про кого! Про учителя, про кого же еще! Так вот ты мне скажи...

— После скажу... Вечером, пусть только поезд уйдет, и я тебе все выложу без утайки... Только смотри чемодан пристрой в точности, как я тебе наказывал...

— Пристрою, не беспокойся... Видал, как сегодня поутру с памятника простыню сдергивали? А уж народу сколько в город понававило на него посмотреть, помереть мне на этом месте, если вру.

— Им бы на такой случай лучше подальше от города держаться, — окрылся вдруг Джозеф.

У Патрика Хеннеси лоб пошел складками.

— Такого супротивника, как ты, днем с огнем не сыскать, — опешил он и хлестнул лошаденку кнутом.

Памятник — мужская фигура, свежесеченная из камня, — не без угрозы устремлял свое тонкое копые на вполне мирные домишки напротив, подле которых играла в шарики ребятня и дворняга упоенно чесала свое лохматое пузо. Перселл на минуту задержался у памятника. Рядом на скамейке сидел Майкл Ханниган по прозвищу Пережиток (кроме них двоих, взрослых на площади не было) и посасывал в свое удовольствие трубочку, греясь под угасающим июльским солнцем.

На улицах, выходящих на площадь, ряд за рядом взвивались в небо флаги, бороздя его своими пестрыми полосами. Перселл шел один, а в высоте над его головой реяли трехцветные знамена, полоскались огромные стяги, грозно возглашавшие: «Не забудем 98 год!», «**Нация**

возрождается!»), «Боже, благослови папу!». Сквозь распахнутые окна гостиницы Мерфи лились манящие запахи — шла подготовка к банкету. Издалека, с ярмарочной площади, доносился рев усилителя, изрыгавшего патриотическую музыку. Музыка заставила Перселла еще острее ощутить, как одинок он в этот час и как одинок его путь на станцию в этот вечер — вечер, когда должен был состояться спектакль, вечер его окончательного триумфа. Никто не пришел его проводить. Даже Джозеф исчез не попрощавшись. И теперь, когда Перселл покинул площадь, чтобы поболтаться по городу час, оставшийся до отхода поезда, ощущение одиночества нахлынуло на него с особой силой. Прουλки ближе к станции тоже опустели, казалось, равнодушный вечерний покой снизошел и на них. Перселл раскинулся на зеленой скамейке и, внимая всему вокруг — и засыпающим полям, и жужжанию насекомых, и еле уловимому запаху скотины, повисшему над проулком, — закурил сигарету и снова в мельчайших подробностях стал проворачивать в уме все случившееся, чувствуя себя Лиром, которого покинул даже шут.

Патрик Хеннесси осторожно, как и подобает в его возрасте, слез с повозки и молча подошел к Пережитку, Майклу Ханнигану. Так, не обменявшись ни словом, они обозрели памятник.

— Каменотесы поработали на славу, — высказался наконец Ханниган. Он стоял, задрал голову и тяжело опираясь на палку, седые космы неряшливо свисали на загривок.

— Чего это они тут понаписали? — спросил Хеннесси. Работы в этот день у него было невпроворот, к тому же для поддержания духа ему щедро подносили.

— Черт его разберет, — сказал Ханниган. — Это ж по-ирландски.

— Мерфи самому ни черта не разобраться, хоть он и вылез курам на смех со своими *cairde gaels*⁹, когда памятник открывал.

— Ну-ка погоди, — сказал Ханниган, обошел памятник и, напрягая зрение, стал вглядываться в надпись — долгий летний день уже клонился к закату. — Глянь, тут по-английски написано. — И принялся разбирать надпись:

**Возведен гражданами Балликонлана в память повстанцев,
которые в 1798 году боролись за свободу Ирландии
и пали в этой борьбе.**

**Сражались с Саксонцем отчизны сыны,
И Слейни и Барроу¹⁰ обагрены.**

— Да, были люди. Теперь таких нет.

— Все бы ничего, если б не мерзкая рожа этого выжиги, что открывал памятник, — сказал Хеннесси.

— Легок на помине — вот он вылазит из машины, а с ним Лейси из Гэльской лиги.

— Не вижу я их, глаза уже не те, — посетовал Хеннесси. — Небось при всем параде и медаль нацепил.

— Эта парочка без медалей шагу не ступит. Небось и на ночь их не снимают, — сообщил Ханниган.

— Все б ничего, только сдается мне: что тот, что другой сроду пороку не нюхивали.

— Так-то оно так, а пенсии за шестнадцатый год себе отхватили, и немаленькие, — сказал Хеннесси, — и не только пенсии, а и места в городском совете тоже.

Старики смотрели, как подкатывают на своих машинах новые городские заправилы. Следом за ними прибыл отец Финнеган. За ним доктор Мерфи пожал обоим руки, они поднялись на крыльцо гостиницы, и активисты Гэльской лиги, переговаривавшиеся между собой

⁹ Друзья мои ирландцы (гэльск.).

¹⁰ Реки в Ирландии.

по-ирландски, почтительно расступились перед ними. На площади появился Недоумок, и Ханниган подозвал его. Джозеф тарашил пустые тусклые глаза, коротко остриженная голова его свешивалась набок, тщедушное тело скосбочилось. Из куцых рукавов пиджака чуть не до локтя высывались руки.

— Небось на обед торопишься, боишься, как бы эти шишки без тебя не начали? — поддел его Ханниган.

Но Джозеф, пропустив его слова мимо ушей, спросил Хеннесси:

— Ты чемодан поставил, куда я наказывал?

— А куда ж еще, — сказал Хеннесси. — Там в углу у пианины и поставил.

— Точно?

— Куда точнее — весь вечер на ногах, ношусь по лестнице вверх-вниз, а получил за свои хлопоты с гулькин нос.

Ханниган, прыснув, прервал его:

— Учитель твой тут недавно прошел. Это ж какое нахальство надо иметь после всего, что он себе напозволял с Салли Магуайр...

У Джозефа глаза сузились щелками.

— Он ничего плохого не сделал.

— А я другое слышал.

— Ей он ничего плохого не сделал, только себе, — не сдавался Недоумок. — Уступил ей кровать свою, когда отец ее из дому выгнал, накормил, когда у нее живот подвело.

— Как бы у нее с его кормежки живот не вздуло, коли люди не врут, — фыркнул Хеннесси. И, чуть подумав, добавил: — Господи, прости меня, грешного.

Старики, потоптавшись еще немного на площади, вскоре ушли. У Хеннесси завелись деньги, и ему хотелось спустить их с помощью Ханнигана. Но Джозеф не двигался с места. Он сидел, поставив локти на колени, подперев кулаками подбородок, и не спускал глаз с гостиницы. Бурный взрыв аплодисментов, выплеснувшийся из окон гостиницы на площадь, приветствовал отца Финнегана, когда он поднялся произносить речь. Каждый из нас благодарен мистеру Мерфи, начал он, председателю нашего комитета, благодаря чьим усилиям был возведен памятник повстанцам 98 года, человеку, которым может, нет, должен гордиться город Балликонлан. Гостиница Мерфи, позволю себе сказать и знаю, что не встречу возражений, едва ли не лучшая в Ирландии, фабрика Мерфи едва ли не самая современная, ибо, хоть мы и оберегаем с ревнивой гордостью наше культурное наследие, мы готовы — и иначе и быть не может — изучить и перенять все лучшее, что дал прогресс другим нациям, чья история, сложившаяся более счастливо, чем наша, позволила им поднять свою промышленность на куда более высокий уровень. Не может он также не поблагодарить бывшего надзирателя Суини, который так задушевно исполнил на пианино наши ирландские мелодии. Прекрасная музыка эта уладила слух всех присутствующих и преисполнила сердца наши гордостью: мы лишний раз убедились, что наша музыка может соперничать с лучшими достижениями мировой музыки. Да и есть ли что прелестнее наших ирландских песен и танцев? Имеются еще, правда, и такие ирландцы — да поможет им бог (смех в зале), — которым лишь бы обезьянничать английские вкусы, — этим ирландцам подавай оперетты, а имеются и такие, которым подавай Баха и Бетховена, не меньше, их я назвал бы нашими долгогривыми врагами (смех в зале); так вот для изощренных вкусов этих господ наша ирландская музыка слишком проста. Что же касается лично его (а он уверен, что все присутствующие к нему присоединятся), он готов всю жизнь слушать наши славные ирландские мелодии — и ничего другого. Дайте мне ирландские мелодии — и я отдам за них все заумные симфонии и концерты ваших Бахов и Бетховенов.

Продолжая в том же духе, отец Финнеган предложил тост за Ирландию, а вечер меж тем медлил спуститься на город, и многострадальные поля Ирландии, много веков подряд удобрявшиеся кровью патриотов, безучастно ждали его прихода. Джозеф сидел так тихо, что старая дворняга, презрев опыт всей жизни, приучивший ее никому не доверять, подошла, положила морду ему на колени и грела его своим теплом до тех пор, пока он решительно не оттолкнул ее. Тогда она, чтобы размяться, просеменила к памятнику — это новшество пришлось ей по вкусу — и для порядка помочилась на постамент. Псс-псс-псс — журча, полился ручеек, но уже не багровый, как некогда воды Слейни, а зеленый, из-под тощей, не толще копыя повстанца, собачьей ноги. Справив нужду, дворняга удалилась, оставив Джозефа вести наблюдение в одиночестве.

Перселл в это время сидел один в купе и, в свою очередь, наблюдал, как медленно блекнут краски заката. Это зрелище обратило его мысли к Салли Магуайр. Он никак не мог решить, разыскивать ли ему ее завтра или поставить на этом крест. Он, конечно, напишет отцу Финнегану, расскажет, что же произошло на самом деле. А потом уж решит, что ему делать: впереди долгие летние каникулы. Не исключено, что он поедет в Англию. А то и еще дальше. Он поглядел на часы: было без пяти десять. До Дублина оставалось чуть больше часа. Он стащил чемодан, который носильщик поставил рядом с ним на пол, мельком поразившись его тяжести. Тот самый облезлый зеленый чемодан с загадочными инициалами «С. Д.», четко выведенными масляной краской. Вытянулся поудобнее, поставил ноги на чемодан и откинулся на сиденье. Поезд снова шел среди болот, среди безлюдных бурых просторов, испещренных унылыми топиями, в которых, ненадолго задержавшись, тонули последние лучи заката.

Перевела с английского Л. БЕСПАЛОВА.



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ВЕРОНИКА ТУШНОВА



ПОЭМА ПАМЯТИ

Помню этот печальный день — июльский день 1965 года. Погруженный в скорбь Центральный Дом литераторов, прикосновение — снова и который раз! — к трагизму жизни и смерти, венки, цветы, почетный караул, лица родных и друзей Вероники, еще живых тогда Алексея Суркова, Павла Григорьевича Антокольского, Александра Яшина, Сергея Наровчатова, Михаила Луконина ..

Сколько горячих друзей ее стихов уже ушло из жизни за эти годы..

Имя Вероники Тушновой доныне живет в наших сердцах и в сердцах верных поклонников ее поэзии.

Вероника Тушнова принадлежит к славному поколению военной поэзии.

Во время войны на страницах центральной печати появились трепетные, сердечные стихи медицинской сестры Вероники Тушновой — и сразу же покорили души тысяч читательниц и читателей. С тех пор интерес к ней, к ее поэзии не гас, а расширялся — и у читателей, и у поэтов, и у критики.

От книги к книге она росла как человек и как поэт, ее сердце билось на виду у читателей — вместе с их сердцами, жило одними с ними тревогами и заботами, одним пониманием жизни и мира, пронзительности человеческих судеб, чуда любви, труда, творчества.

Поэтому-то она и стала одной из самых известных и любимых поэтесс еще при жизни своей.

Это счастье ей было дано!

После смерти Вероники много ее стихов было опубликовано в периодической печати, в «Дне поэзии», выходили книги..

Над поэмой о матери Вероника Тушнова работала многие годы — начала работу в 1945 году и писала до самой смерти — и не успела закончить.

Дочь Вероники Тушновой Наталья Юрьевна передала в наш журнал рукопись поэмы.

Перед нами — незавершенная поэма, но читается она как законченная, как крик души — о жизни, о мире, о чуде материнства, о материнском подвиге, о необходимости защищать Жизнь и Мир!

Предлагаемая читателям нашего журнала «Поэма памяти» — еще одно яркое свидетельство того, что истинная поэзия не умирает, живет, борется, она — в строю живых!

Поэма как будто написана сегодня — она звучит как страстный призыв к борьбе за мир! Как голос миллионов матерей планеты!

Михаил ЛЬВОВ.

Моей матери.

Далеко, далеко начало.
Начинала... Потом молчала..
Сколько раз принималась снова,
и давала зарок сурово,
и опять его нарушала..
Что-то мне досказать мешало.

Безутешно и неумело
 я твой облик сберечь хотела,
 по крупицам я собирала
 все, что помнила, все, что знала...
 Ты тускнела и ускользала.
 Годы шли своей чередою,
 то с удачами, то с бедою,
 и уже я не собиралась
 сохранять тебя от забвенья —
 ты сама в мою жизнь вторгалась
 как надежда и осуждение.
 Лишь теперь мне понятно стало,
 что всему наступают сроки,
 что несвязные эти строки
 много разных людей писало.

I

Ночь. Январь. Сорок пятый.
 Умирает родной человек.
 Глаз невнятные пятна,
 тяжелая выпуклость век...
 Кем-то брошен на лампу
 неглаженный белый платок...
 Пять нетронутых ампул,
 со шприцем блестящий лоток...
 Я держу твою руку,
 щекой прижимаюсь к руке.
 Как неясно, как хрупко
 твой голос звучит вдалеке.
 Значит, дальше нельзя.
 Значит, здесь расставаться.
 Сейчас.
 Точно мрак разлился,
 точно отсвет последний погас...
 Ты все дальше, все дальше,
 все глубже, чернее вода...
 Да откликнись же, дай же
 только знак!
 Тишина.
 Навсегда.

Что я помню? Что я знаю?
 Все с собой ты унесла.
 Желтый снимок...
 Вспоминаю:
 в этом доме ты росла.
 Вспоминаю, вижу, слышу:
 утро, солнце, шум берез...
 Между солнечных полос
 девочка с босыми ножками,
 в сивем платьице горошками,
 с мягким ежиком волос.
 А на шейке привезенный
 кем-то с ярмарки борок.
 Сзади домик трехконный,
 белый струганый порог.
 Как заманчив, гладок, ярок
 тот копеечный подарок —
 в три ряда на шейке нить.

Все бы трогать да крутит
 Полился из рук борок,
 брызжут бусинки у ног.
 Вот и все. Как это мало!
 Девочка в селе росла,
 а потом ее не стало
 в ночь такого-то числа.
 И в январском свете мутном
 седина потухших кос...
 Между тем и этим утром
 полстолетья улеглось.
 Встречи, радости, тревоги,
 беспокойные года,
 песни, люди, города...
 Смотришь — и конец дороге.
 И никто о ней не вспомнит,
 и спросить не довелось...

.
 А в одной из дальних комнат
 девочка топчет ножками,
 в синем платье горошками,
 с мягким ежиком волос.

А люди стучатся и ходят по лестнице,
 и все это будто не наяву.
 Мы с маленькой внучкой твоею ровесницы —
 я маму сегодня, как в детстве, зову,
 а мама покбится в желтом гробу,
 и нет ни морщинки на солнечном лбу.
 Светает. Потом начинает смеркаться.
 Потом темнота наступает опять...
 В несчастье страшнее всего — просыпаться,
 и я через силу стараюсь не спать.
 Мне кто-то приносит горячего чаю,
 со мной говорят,
 и я отвечаю,
 но гул пустоты подступает к ушам...

.
 Далёко степное село Черемшан.
 В реке Черемшан — ледяная вода...
 Я там не была. Никогда.
 Никогда.

II

Горит огонь. Его давно не надо,
 и занавеска на окне бела.
 Шуршат платаны.
 Первая цикада
 железную трещотку завела.
 Явись ко мне такой, как память помнит:
 светловолосой, тонкой, молодой...
 (А на Ваганьковском высокий холмик
 давно зарос мучнистой лебедой.)
 Я закрываю мокрые ресницы,
 чтобы не видеть этой пустоты.
 Качнется рама, скрипнет половица,
 вспорхнет листок — и это будешь ты.
 Ты скажешь мне с обыденным укором:
 «Совсем светло, а ты еще не спишь!»

Тебе в ответ цикады грянут хором,
 прострачивая утреннюю тишь,
 и облака взлетят над морем выше,
 неся на спинах теплую зарю,
 и ничего, что я тебя не слышу,
 что я сама все это говорю.
 Мне подтвержденья твоего не надо,
 мне не нужны звучащие слова.
 Я — оправдание твое, отрада,
 я все, чем ты теперь еще жива.
 Я все, что в мире от тебя осталось,
 пускай у нас несхожие черты,
 я жить должна во что бы то ни стало,
 чтобы во мне существовала ты.
 Мне б на тебя глядеть не наглядеться,
 а я спешила, время торопя,
 я без оглядки предавала детство,
 воспоминанья, прошлое, тебя..
 Пока я там захлебывалась ветром,
 ты одиноко собиралась в путь.
 Зима. Глухие вечера без света.
 Седая замороженная мать.
 Одним часам не лень шуршать и тикать,
 за окнами горланит воронье,
 а в комнате так нестерпимо тихо,
 как будто смерть уже вошла в нее.
 И ты одна, не шевелясь, не плача,
 глядишь упорно в черноту угла.
 Прости меня — я не могла иначе.
 Я и теперь бы тоже не смогла!
 У каждого бывает в жизни час
 всего святее и всего дороже.
 Придет пора, и наши дети тоже
 на что-нибудь да променяют нас.
 Что это будет? Лунный перелет?
 Любимый? Или рукописей груды?
 Не знаю что. И узнавать не буду.
 Что б ни было — прощаю наперед.

Ты здесь жила. Ты торопилась к морю
 тропинкой этой, ломкой и крутой,
 и молочай шумел на косогоре,
 и пыль взлетала тучкой золотой.
 Тогда вот так же бронзовели лозы
 за низкорослой кладкою камней..
 Нет, глаз моих не застилают слезы,
 сквозь слезы мне тебя еще видней.
 Синели так же аспидные кручи,
 у ног взрывалась пенная дуга.
 По этой гальке — смуглой и текучей —
 ступала легкая твоя нога.
 Ты здесь сидела на каком-то камне,
 Как догадаться — этот или тот?
 Как воскресить мне этот год недавний,
 последний твой неомраченный год?
 ...Июньский шторм.
 Наутро небо мглисто.
 Скребет о камни острая волна.
 И вдруг ты видишь мальчика-радиста.
 «Война! — кричит он. — Слышите, война!»

Война прошла. И вспоминать не надо.
Я вижу море, море наяву!
Шипящая соленая прохлада
и грузный гул... И я дышу: Живу!
Мне волны туго обнимают тело,
на гребнях пена яростно бела,
и ровный зной... Ты так его хотела!
И я вот здесь. А ты не дожидала.
На ветхой карте, в темном коридоре,
где уживались сквозняки и дым,
овалом милым голубело море.
Ты подходила и читала: «Крым».
И море шло грядой зеленой мимо,
и кровь кропила хрупкий известняк,
и было два несовместимых Крыма,
и для тебя навек осталось так.
Нет, нет, ты знала. Дожидалась: скоро!
Гремел салют—просила: подними!
Из-за тяжелой пропыленной шторы,
крутясь, влетали в комнату огни...
И крест окна, и трепыханье веток,
и гаснущей ракеты полоса—
все это наполняло напоследок
сияющие мокрые глаза.
И я касалась щек твоих, лаская,
еще донныне губы солонны...
Но то не слезы—только пыль морская,
летучее дыхание волны.
Война прошла.
В земле спокойно спишь ты.
А в этом небе цвета бирюзы
опять беззвучно полыхают вспышки
то тут, то там блуждающей грозы.
И снова где-то дымный ветер дует
над пустырем расстрелянных полей,
и снова где-то женщины целуют
в последний раз мужей и сыновей.
Да, вот он—мир.
И сколько он продлится?
Да, вот он—век.
И жить нам в веке том.
Всю нашу жизнь
«покой нам только снится...»,
и снится очень изредка притом.

III

Бумага, пожелтевшая на сгибах,
исписанная тесно с двух сторон...
Я обнаружила случайно в книгах
письмо твое, вернувшись с похорон.
Томимая смертельно печалью,
его украдкой написала ты.
Щадя друг друга, мы с тобой молчали
до крайней, разделившей нас черты.
Был приговор произнесен врачами,
но ты всю правду знала без врачей.
Мы в одиночку плакали ночами...
Как жаль мне тех потерянных ночей!
Улыбок непосильная усталость,
бодрящих слов невыносимый гнет,

и столько недосказанным осталось,
и этого никто мне не вернет.

...Твое письмо. Твои родные строки.
Последний материнский твой наказ:
«Законы жизни мудры и жестоки.
Живи. Трудись. Не порть слезами глаз.
Моя любовь с тобой всегда. Навеки.
Ты жизнь люби. Она ведь хороша.
Людей люби. И помни — в человеке
что главное? Высокая душа».
Благоговейно, благодарно, нежно
ты вспоминала об отце моем,
о доброте, о страстности мятежной
души высокой, обитавшей в нем.
Ты вновь и вновь его благословляла
за счастье целой жизни прожитой.
И на мгновенье мне завидно стало —
не заслужить мне памяти такой.
Еще писала: «Берегите дочку.
Пусть вырастает радостью семьи...»
И тут же сбоку поперек листочка:
«Живите дружно, милые мои!»

Живите дружно, милые мои...

Мы жили плохо.
Кто тому виною,
я не могу пока найти ответ.
Не понимаю. Думаю, что двое.
А может быть,
виновных вовсе нет.
Мы жили в нескончаемой разлуке,
полусогк с лишним
рядом проводя.
И никогда не замечали скуки,
совсем как поздней осенью дождя.
Я шла и шла проторенной дорогой.
Она меня далеко завела.
Живи как хочешь, лишь меня не трогай —
вот что я дружбой истинной звала.
И надо было очень много света,
моря животворящего тепла,
чтоб мне открылось заблуждение это,
чтоб я несчастье наше поняла.
Пока любовь — любой раздор не страшен
и ссоры не опасней облаков.
Я поняла, что нету в доме нашем
защитницы семейных очагов.
Что дом открыт всем бурям и невзгодам,
печален в запустении своем,
что, проживая в доме год за годом,
мы, в сущности, давно в нем не живем.
Что счастье уходило постепенно
и постоянно...
А о той поре
ребенок рос в холодных тихих стенах
как маленький цветок на пустыре.
Она уже немало понимала,
уже могла жалеть и осуждать,

она в душе уже носила жало
неверия в земную благодать.
Уже любовь ей выдумкой казалась,
ей, ничего не смыслившей в любви.
А я таких вопросов не касалась,
мол, как живет, так и ты живи.
Да и к тому же, рассуждая здраво,
я говорить с ней не имела права.
Что толку в назидательных беседах,
где в каждом слове проступает ложь,
как объяснишь ей — надо жить вот эдак,
когда сама совсем не так живешь.
Да, дом был пуст.
Тот дом, где ты, бывало,
сияя каждой черточкой лица,
как девочка, в прихожую бежала
и обнимала моего отца.
А он входил усталый, но довольный,
всегда такой сердечный и простой...
Ты знаешь, мама, как мне было больно,
что дом стоял теперь такой пустой!
Любовь его покинула.
Но я ведь
сроднилась с детства с ней, и оттого
мечты о счастье не могла оставить,
искала счастья и нашла его.
Мне говорили, улыбаясь тонко,
подруги, объявившиеся вдруг:
«Вам следует подумать о ребенке,
ведь вы уже не девочка, мой друг!
Не забывайте — вы за все в ответе:
дом — это дом и дети — это дети.
А утешенье трудно ли найти,
ведь вас никто не держит взаперти!»
Они делились щедро, простодушно
со мною жалкой мудростью своей,
и от нее мне становилось душно,
хотелось окна распахнуть скорей...
Советчицы с прическами седыми
ко мне стучались в комнату не раз:
«Мы, детка, тоже были молодыми,
и мы отлично понимаем вас.
Не наше дело ваших чувств касаться,
они, должно быть, очень хороши,
но ради долга надо отказаться
от непомерных прихотей души...»
По-всякому со мною говорили,
и только ты, моя родная мать,
давным-давно уснувшая в могиле,
сказала коротко:
«Не надо лгать».
Мне было трудно.
Страшно было мне...
Душа моя томилась, как в тюрьме,
тоска и нежность разрывали душу,
и все мне представлялось не к добру,
что если я тюрьму свою разрушу,
я под ее обломками умру.
Меня все время мучило сознание,
уверенность, сводящая с ума,

что если я сожгу воспоминанья,
 то вместе с ними я сгорю сама.
 Еще не понимая, что со мною,
 я становилась с каждым днем иною,
 мне сделалась невыносима ложь
 (а я ее не ставила ни в грош),
 я с болью начинала понимать,
 какая я была плохая мать.
 И я уже не мыслила, не смела
 другой души неверием губить,
 и я родиться заново сумела...
 Как мне тебя за жизнь благодарить?

IV

А девочка без малого невеста.
 Еще нескладна, но уже стройна.
 Не из красавиц, но уже прелестна.
 Умна? Не знаю. Кажется, умна.
 Без памяти любимая, не скрою,
 она всегда для матери мила.
 Строптивая... Я не была такою.
 Холодная... Я ласковой была.
 Холодная? Но ты порою тоже
 казалась мне холодной, как она.
 Холодная? А может, вы похожи?
 Земля на ощупь тоже холодна.
 А может, чужды ей мои волнения
 и нету дела до моих забот?
 А вдруг сухая трезвость поколенья
 к ней в сердце поселилась
 и живет?
 И я припоминаю то и дело,
 как жили вы,
 чем жили вы с отцом,
 что вырастили дочь хоть неумелым,
 хоть маленьким,
 но все-таки борцом.
 ...Все началось преддверьем созиданья.
 Разруха, голод, холод, темнота...
 Об этом первое воспоминанье,
 о корке хлеба — первая мечта.
 На улице куда теплей, чем дома...
 Чадят в буржуйке мокрые дрова,
 разрежут хлеб, а на ноже — солома,
 в пустой похлебке плавают ботва.
 Год двадцать первый.
 На Поволжье голод.
 Тиф. Все вокруг обриты наголо.
 Притихший, скудно освещенный город
 до самых крыш снегами замело.

Вижу первый свой
 новогодний вечер
 смутно, будто во сне.
 На елке горят восковые свечи,
 и это нравится мне.
 На мне пальтишко куцее, валенки...
 елка стоит посреди стола.
 Она и тогда мне казалась
 маленькой,

значит, какой же она была!
 И уж не помню сейчас хорошенько —
 висит среди колючих ветвей
 карамелька
 вроде «Раковой шейки» —
 первая сладость жизни моей.

.
 Шли годы. И строились новые зданья.
 И белые булки вошли в бытие.
 И песни рождались.
 И было сознание,
 что это не чье-то,
 что это — мое.
 Мы жили на папиной скромной зарплате,
 что нашего счастья отнюдь не губило.
 Я помню все новые мамины платья,
 и я понимаю, как мало их было.
 Я помню в рассохшемся старом буфете
 набор разношерстных тарелок и чашек,
 мне дороги вещи почтенные эти
 и жизнь, не терпящая барских замашек.
 Горжусь я, что нас не пугали заботы,
 что жить не старались покою в угоду,
 что видный профессор шагал на работу
 за три километра в любую погоду.
 Я не из сословья ханжей и аскетов,
 не против удобства, не против обилья,
 богатых сервизов, красивых буфетов...
 Я против ослабших в бездействии крыльев!
 Быть может, с годами я стала брюзгой,
 но все-таки думаю снова и снова,
 что счастьем считали мы что-то другое
 и в жизни хотели чего-то другого.
 Не скрою — порой наблюдаю с тревогой
 за школьницей милой, беспечной, как птица.
 Веселья, подарков и радостей много,
 а счастьем могла бы я с ней поделиться.
 Тем счастьем, которому цену не знает,
 которое чем-то далеким считает,
 немного забавным, чуть-чуть старомодным,
 по юным годам сожаленьем бесплодным...
 И мне, не скрываю, бывает тревожно:
 да все ли ей ясно, что верно, что ложно?
 Всегда ли в нас помощь она находила?
 Всегда ли мы с ней говорили правдиво?
 Быть может, с собою лукавили где-то
 и с жизнью порой не сходились ответы?
 Что ждет ее дальше? Как будет ей житься?
 Во всем ли смогу на нее положиться?
 А век-то двадцатый... А время сурово...
 И требует мужества снова и снова.
 Они еще, может, не знают,
 но мы-то,
 но мы-то без малого жизнь прошагали,
 и то, что в тридцатых мерещилось далью,
 сегодня туманом уже не покрыто.
 И новых подъемов синют отроги,
 и новые выси за далью маячат,
 и мы понимаем, что все это значит...
 Не нами кончаются наши дороги!

А все-таки я в девочке порою
 твои черты нет-нет да узнаю:
 то мягкое упорство в ней открою,
 то прямоту наивную твою.
 Уже в ней мысль птенцом растущим бьется,
 уже я знаю, что в тяжелый час
 вся суть ее горячая пробьется
 сквозь холодность, смущающую нас.
 А что она на всех нас не похожа...
 Ну что ж, не все ль равно, в конце концов?
 Ведь дети всех времен растут, тревожа
 своею непохожестью отцов.
 Нам ясны мысли наши и стремленья,
 испытаны, проверены не раз,
 но нас сбивает с толку представленье,
 что наши дети — это слепки с нас.
 Родителей извечная опшибка:
 себя мы ставим во главу угла,
 хоть каждая газетная подшивка
 нас в этом разуверить бы могла.
 Горжусь военной юностью своею,
 я так жила, как надлежало мне.
 Им — детям — проще будет и труднее.
 Жизнь даст им все.
 И требует вдвойне.
 Все ширятся пространства и границы,
 нас жизнь ошеломляет что ни год,
 но не всегда на землю возвратится
 отправившийся в лунный перелет.
 Вторгающимся в тайны мироздания,
 ломающим законы всех наук
 платить придется неизбежной данью
 за дерзость мысли и уменье рук.
 Наверно, в этом мужество солдата —
 как можно меньше думать о себе.
 Мы тоже были первыми когда-то,
 и тоже пали многие в борьбе.

V

«...Покой нам только снится...»
 Знаешь, мама,
 мне часто нынче по ночам не спится.
 Ведь существуют вещи, о которых
 ты не имеешь даже представленья
 и нам которых лучше бы не знать.
 Я под крыло не прячусь.
 Нет, напротив,
 мне хочется увидеть их воочью,
 предметы эти...
 Цвет их знать и форму.
 Ведь как ни тягостно об этом думать,
 они реально в мире существуют —
 чудовищные тихие созданья.
 До времени лежат они на складах,
 за тысячью замков, всегда готовы
 по первому желанию убийцы
 начать свое немислимое дело.
 Средь звезд ночных
 они плывут во мраке

на двух трагически непрочных крыльях,
по первому желанию убийцы,
и даже против этого желанья,
готовые обрушиться на мир.
Чудовищные тихие предметы...
По-разному их люди называют.
Конечно, как-то проще слово «бомба»,
реалистичней и привычней слуху,
но подлинное им название —
смерть.

...Современно практична ее оболочка.
Нет, себя не узнала бы в этой, стальной,
та, из книжек старинных, кустарь-одиночка,
в маскарадном наряде, с косой за спиной.
Та входила в дома деловито, степенно
и обычно, к больному присев на кровать,
дождалась, чтоб к ней он привык постепенно,
чтоб родным было время погоревать.
Были также у старой большие владенья,
не лишённые прелести и красоты,
где она позволяла живым в утешенье
красить краской решетки и холить цветы.
Та была удручающе сентиментальна
и слезлива к тому ж...
То ли дело сейчас:
безо всяких прелюдий, легко, моментально,
не один и не сто — сотни тысяч зараз.
И не надо тревожиться — дети сироты!
И не надо жалеть — сад расцвел без меня!
Ни поминок, ни похорон — к черту заботы!
Вместо всей бутафории — море огня.
А когда наконец это пламя уймется,
земли станут пустынно, бесплодны, черны,
лишь в болотцах родятся лягушки-уродцы,
на погибель заранее обречены.

.....
Может, страус-то прав? Слишком страшно все это?
Может, нам и трудиться совсем ни к чему?
Что за смысл оборудовать нашу планету,
если все это стинет в огне и дыму?
Может, руки сложить? Положиться на случай?
Мол, авось пронесет и не грянет беда...
Да когда бы так думать — не жить бы мне лучше
и не зваться бы матерью никогда.

.....
Жадно слушаю мирную музыку ночи,
ей вверяю тревожную душу мою.
Мокрый тополь качается... Поезда грохочет...
Сонно плачет ребенок...
«Баю-баю-баю»...

Голос явственно слышен в молчанье квартиры,
и такой он извечный, что чудится мне,
будто древнюю песню все матери мира
на несчетных наречьях поют в тишине.
В восемнадцатом, мама, ты так же вот пела,
укрывая в подвале меня от обстрела,
и смотрела тревожно большими глазами
на зловещее зарево над Казанью.
Монотонные звуки томительно плыли.

интервентов орудья по городу били...
 ...А потом я такую же песню, бывало,
 и своей годовалой Наташе певала,
 до рассвета качая в угрюмом подвале.
 (В сорок первом их «бомбоубежища» звали.)
 Мама, слышишь, так как же? Ведь ты же, бывало,
 мне на все отвечала, во всем помогала.
 Неужели же слов у тебя не найдется?
 Ведь нельзя же смириться, ведь нужно бороться!
 И в ответ в моей памяти тускло и зыбко
 возникает твоя дорогая улыбка,
 и усталые плечи, и руки худые,
 и глаза твои ясные и молодые...
 Вижу взгляд твой, ко мне издалёка летящий,
 в красноватом огне керосинки коптящей..
 Вот он, вот он, согрет материнской заботой,
 говорит: «Ты же знаешь — живи и работай,
 не страшись и не складывай руки устало,
 разве жизнь тебя мало еще испытала?»

По ночам я слышу, как ливни
 проносятся с топотом конниц..
 Очень много нужно припомнить,
 проверить, понять, решить...
 Нет, и к врачу не пойду я
 по поводу этих бессонниц,
 голос сердца не буду
 аптекарским зельем глушить.
 Если ты человек —
 ты делами земли озабочен,
 и живется тебе
 беспокойно и трудно тогда.
 Без труда вырастают
 одни лопухи у обочин,
 да и то это нам представляется,
 что без труда.
 Хорошо, что я знаю
 высокое счастье людское,
 Хорошо, что умею,
 что называется, «жить».
 И наверное, это
 несовместимо с покоем —
 мы живем по лимиту,
 приходится очень спешить!

Ну вот, я и этим с тобой поделилась,
 и в этой тревоге ты мне помогла,
 из полузабытого детства явилась,
 по целой эпохе меня провела.
 Уходят года быстротечной водою,
 а память хранит дорогое на дне.
 Могила твоя заросла лебедою,
 твой голос как совесть, как правда во мне.
 А ты еще, помню, твердила все время
 в большой, безутешной печали своей,
 что нет ничего тяжелее, чем бремя
 бесплодно прожитых и конченных дней.
 А я возражала, но думала вчуже:
 «Конечно, обидно, конечно, не сладь!
 В заботах жила о ребенке и муже,

в анкетах домашней хозяйкой звалась». Девчонка! Что я понимала? Что знала? Еще я до сколького не доросла. Конечно, конечно, ты сделала мало: высокое сердце сквозь жизнь пронесла. Конечно, конечно, ты сделала мало: лишь все согревала сияньем любви, жалела, учила, хранила, спасала... На то и ушли они, годы твои. Твой чистый огонь никогда не погаснет, его миллионам сердец отдаю. Спасибо за правду. Спасибо за счастье. Спасибо за светлую душу твою!



ОВСЕЙ ДРИЗ

★

НЕ ПЛАЧУ, НЕ СМЕЮСЬ

Слезы короткий век
Хочу благословить,
Ведь должен человек
Все ж человеком быть.

Глаза с их глубиной,
Глаза — сухое дно,
Слезинки ни одной
В них нет давным-давно.

И я здоровый смех
Спешу благословить,
Ведь должен человек
Все ж человеком быть.

Хотя со мной сейчас
Беда случилась пусть,
А я не прячу глаз,
Не плачу,
Не смеюсь...

Крылья

Я б помчался, понес
Тебе радости пуд,
Но две пары колес
Еще в роще растут.

Я, чтоб к милой поплыть,
Челн бы выдолбил, но
Деревя не губить
Клятву дал я давно.

И к тебе я легко
Полетел бы давно,
Но имею всего
Я крыло лишь одно.

Только слышу светло
Все сильнее средь забот,
Как второе крыло
За плечами растет...

Деревья в серебряных башмаках

Лес усеян густо
Белым лунным светом.
В башмаках серебряных
Этим тихим летом

Все пошли деревья
К мелководью, к броду
Посмотреть, как глупый
Пьет теленок воду.

Я на этом самом
Мелководном месте,
Наклоняясь низко,
Пью с теленком вместе.

Сгрудились деревья
Все на месте этом

В башлыках серебряных,
Крытых лунным светом.

Здесь течет речушка,
Старый мост шатает.
До колен теленок
В воду забредает.

Чудится: столетья
Я брожу по лесу —
Прихожу обратно
Все к тому же месту.

Вот звезда упала,
Мост залила светом,
Видит, как привязан
Я к деревьям этим

В башмаках серебряных,
К этому вот броду,

К глупому тельнку,
Пьющему здесь воду...

Сердечные приветы

Вот pošлю тебе я,
Если будет случай,
Дорогой подарок —
Дождь грибной, летучий.

И еще подарок
Дорогой, неожиданный —
Елочек иголки,
Запах рощ туманный,

И еще в придачу
Отошлю с друзьями
Я бочонок с Волгой,
Узел с берегами.

Чтобы ты пальтишко
Сшил себе, мальчишка,
Если будет случай,
Летнее пальтишко...

Баллада о черном хлебе

Запомнился
Вокзальчик мне убогий,
Прокишший и пропахший тухлым мясом,
Заборчик, что карболкой опоясан,
Заиндевелый тополь босоногий,
Что топчется в поземке рыжеватой,
Как будто он попал махновцам в руки.
Средь большака — истоптанный, горбатый —
Башмак лежит
С открытой пастью щуки,
Да ворон,
Где шлагбаум полосатый...
Еще теплушка, душная, парная,
Свисают пятки,
Словно воблы связки.
И я, как верховой, в вагон въезжаю
С мешком, тряпьем набитым до завязки,
На спорбленной спине, в машинном масле.
Взвыл паровоз и все ж стоит на месте,
Как тот солдат, какому неизвестно,
Что наступили на его обмотку.

Вот так я к песням добирался. Хлеба
Буханка... В люди — путь... Глухие дали...
Под ложечкой — как будто бы нелепо
Мне в сахар горькой соли подмешали.
О чем жалел я? И кого в убогом
Своем гнезде оставил за порогом? —
Ответить сердцу я не мог, страдая.
Сиротство — это боль глухонемая.
Никто меня не собирал в дорогу,
Никто меня не провожал слезою,
Никто вдогонку не кричал с тоскою:
«Пиши!
Будь осторожен, ради бога!»
К ржаной буханке хлеба небывалой,
Которая за пазухой лежала,
К теплу ее прижалось мое сердце,
Как к теплоте родительской, согреться,
Не познанной еще доселе мною...
Вздремнул я,
Убаюканный ездою.

Но вот сквозь дрему я почувял тонко:
Голодные глаза,
Глаза ребенка
Мой черный хлеб сверлят и безъязыко,
Безмолвно просят так,
Как повилика
Дождя в жару...
Запомнилось мне: кто-то
Дал нож складной, и вот тупым железом
Ржаной, тяжелый черный хлеб нарезан,
И все вокруг уселись и с охоткой
С кругою солью ели. Шла трапеза.
В ладони скупю крошки собирали
И, запрокинув головы, глотали...
И разговор о хлебе шел насущном,
Что на дрожжах заквашен будет,
На могучем
Огне доспеет...
И самозабвенно
Вели беседы — сказывали сказки.
По имени, по отчеству, степенно
Хлеб величали, черный хлеб крестьянский.

Перевел с еврейского ВЛАДИМИР ЦЫБИН.



ПУБЛИЦИСТИКА

ЮРИЙ ОСТРОВИТЯНОВ



КРИТИКА БЕЗ НАДЕЖДЫ

Социологический пессимизм и неомарксизм

Нет и нельзя найти теории, которая прошла через более жестокие испытания, чем марксизм — самое глубокое и всеохватывающее учение о настоящем, а не иллюзорном освобождении человечества, революционном преобразовании мира. Марксизм годами подвергали пытке молчанием, отторгали от науки, объявляли устаревшим, пытались превратить, если прибегнуть к образу Ф. Энгельса, в «высушенный гербарий»¹, который как реликт демонстрировали бы со всех амвонов, то есть университетских кафедр Европы и Америки. Открытия Маркса отрицались, приписывались другим, сводились к некоторым несущественным поправкам к буржуазной политэкономии, философии и социологии, отбрасывались как неосуществимые утопии.

Только в нашу эпоху, когда проблемы и пути их решения, поставленные и намеченные Марксом, стали не гипотезами, как это многим казалось раньше, а неотвратимой реальностью, имя вождя и теоретика пролетариата приобрело неслыханный авторитет. Его идеи овладевают умами человечества, становятся материальной силой переустройства общества и человека, факелом борьбы не за одно освобождение трудящихся, но и за спасение человеческой цивилизации от надвигающихся на него ядерной, экологической, демографической катастроф.

В последние годы марксизм выдержал одно из самых суровых испытаний. Это было испытание не забвением, а славой, вызвавшее поток произвольных интерпретаций, всевозможных толкований, попыток разорвать марксистскую теорию на части, фрагментировать ее, противопоставить молодого Маркса — зрелому. Смысл этого феномена в бессилии официальной западной науки объяснить новые явления в производстве, экономике, социальной сфере и культуре, которые марксизм предвидел еще в эпоху, когда это казалось просто невозможным.

Из этого испытания марксизм вышел не ослабшим, а окрепшим, впитавшим новые жизненные соки, обогащенным и окрыленным. Мощь марксизма — в сложности знаний о мире, обществе, классах и личности, в его способности к непрерывному самообновлению, в необыкновенной чуткости слуха ко всем новым социальным явлениям и процессам. «Человечество не ведало о самом себе и малой доли того, — пишет Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю. В. Андропов, — что оно узнало благодаря марксизму. Учение Маркса, представленное в органической целостности диалектического и исторического материализма, политической экономии, теории научного коммунизма, явило собой подлинную революцию в мировоззрении и одновременно осветило дорогу глубочайшим революциям социальным» (Ю. В. Андропов. Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического строительства в СССР. М. 1983).

ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ МИР

Западная общественная мысль переживает сейчас один из самых тяжелых мировоззренческих кризисов. Она пульсирует, содрогается, корчится, ищет. В центре ее мучительных поисков — взаимоотношения между личностью и всей капиталистичес-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, стр. 572.

кой цивилизацией в целом. Тоталитарное государство, гигантская индустриальная машина, вездесущие средства массовой информации противостоят человеку и коллективу, разрывают личные и общественные связи, обращают в руины окружающую среду. В воображении западной критически настроенной интеллигенции весь мир предстает как бы распятым и разъятым. В глубинах этого мира открыты наукой микрочастицы, разорвавшие казавшуюся прежде неделимой материю, а на поверхности — одинокий, беспомощный человек, вырванный сверхиндустриальным капитализмом из его традиционного общественного окружения. Такое мрачное видение — не просто плод болезненного воображения. Оно одновременно и реальность современного буржуазного общества.

Запад переживает сегодня кризис, который он разносит по всему миру, пишет один из основоположников современного персонализма Дени де Ружмон. Избыток наших материальных триумфов, а не их недостаток, приводит к кризису. До начала XX века кризисы были локальными, сегодня они являются всеобщими... Прежде всего это демографический рост. Население Земли удвоилось за последние 35 лет. Удвоение населения к концу века предполагает удвоение производства продуктов, энергии, машин и удвоенное (по меньшей мере) потребление кислорода, питьевой воды, естественных ресурсов. И это в условиях, когда развитые страны уже сейчас испытывают недостаток энергии, воздуха и воды, а в развивающихся странах царствует голод².

Научно-технический прогресс материализуется на Западе не в одних лишь открытиях, поражающих воображение, но и в массивном наступлении на человеческую личность, угрожающем самим основам ее свободы и сознательного выбора собственной судьбы. Успехи науки породили в определенных кругах западной бюрократии новую религию — научное идолопоклонство. Адепты новой веры утверждают, что научно-технические завоевания исключают революции, автоматически и безболезненно преодолевают все остреешие противоречия капиталистического строя, легко ликвидируют экономические, социальные и расовые антагонизмы, принесут человечеству, пусть помимо его воли, безмятежность, удовлетворение и счастье. Слепо доверившись науке, люди наконец будут жить, не зная ни усталости, ни забот, ни страха.

Цена, которую необходимо заплатить за моральное благополучие и душевный комфорт, — отказ от самостоятельности, от права на принятие собственных решений, доведенный до автоматизма рефлекс подчинения шифру манипуляции, ориентированность на большинство, стандартность мышления и предопределенность поступков. Бунтарство, несогласие, протест, отвращение к общепринятым поведенческим нормам расцениваются как психическая аномалия, экстравагантность, ненужная оригинальность, болезненный всплеск чувств, которые надо обуздать методами науки.

И действительно, уже открыты биохимические средства, полностью лишаящие человека воли и сопротивления, найдены приемы, при помощи которых можно контролировать деятельность мозга, вызывать по усмотрению любое состояние от немотивированного, безграничного ужаса до беспредельного и невозмутимого покоя.

Уже много лет назад в Йельском университете профессор Делгадо ставил опыты по командованию действиями людей на расстоянии³. Тогда же Роберт Дж. Хиг из университета Рулейна вставлял добровольцам из студентов в черепную коробку электроды, соединенные с «волашебным поясом», снабженным специальными кнопками. Нажав на одну из них, можно вызвать у себя на выбор самодовольство, боль, сомнение, веселость или экстаз⁴. В США «Банк спермы» («Ф а у н д е й ш н ф о р д ж е р м и н а л ч о й с») создавал запасы отборного мужского семени с тем, чтобы использовать его, когда ученые овладеют тайной направляемого изменения генетического кода⁵.

На такую эвристическую волну настроен ум и конформистски ориентированных представителей общественной науки. Социальные инженеры ряда западных стран с энтузиазмом исследуют экономические и социальные причины забастовок, предлагают монополистическим объединениям меры по предотвращению народных возмущений. Экономисты из консультативных комитетов и административного ап-

² См.: Denis de Rougemont, *L'avenir est notre affaire*. Paris. 1977.

³ См.: «*Revue des Deux Mondes*», 1968, Octobre.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

парата президентов подсказывают истеблишменту наиболее эффективные способы преднамеренной организации промышленных спадов, которые помогли бы обуздать требования пролетариата, расстроить и парализовать его борьбу. Социологи государственных организаций и полуофициальных исследовательских корпораций с помощью новейшего аппарата математического анализа и мощных электронно-вычислительных машин совершенствуют технику пропаганды и манипулирования массами, изучают мотивы их общественного поведения, оттачивают тончайшие психотехнические методы управления вкусами, наклонностями, политическими и даже физиологическими предпочтениями трудящихся. Как заметил один из западных социологов, манипуляция сознанием человека есть самое страшное загрязнение, ведущее к потере им самого себя.

Мощное наступление капиталистической сверхиндустриальной цивилизации создает опасность не только для человеческой личности. Оно угнетает и разрушает природу — естественную среду жизнедеятельности человека, где он веками формировался, закалял свой характер, развивал и проявлял свои творческие способности.

Аммиак, фенол, окислы серы, углерода и азота отравляют воздух и воду. Деревья «умирают стоя», стремнины рек внезапно прекращают свой бег, запутавшись в ядовитых сине-зеленых водорослях, один за другим исчезают виды животных, продукты лишаются вкуса и запаха, а небо теряет цвета и краски, приобретаая тусклые, серые, безжизненные тона. Газеты и журналы соревнуются в изобретении неологизмов, сообщая в огромных заголовках об угрозе «террацида» и «экоцида», соединяя в страшных и причудливых словосочетаниях понятия — земля, природа и убийство.

Все, кто видел яркий, сложный и жестоко реалистический фильм «Собачья жизнь», видимо, никогда не забудет переданную в четких кинематографических строчках агонию распада флоры и фауны на островах, где проводились испытания водородных и атомных бомб. Погибающие под обжигающими лучами солнца морские черепахи, которые, утратив инстинкт, ползут в сторону, противоположную морю... Слепшие, разучившиеся летать птицы ввинчиваются в почву, прорывают в ней, подобно кротам, длинные, извилистые ходы.... Весь растительный и животный мир напрягся в жутком, противоестественном усилии изменить свой выработанный миллионами лет генотип, чтобы как-то предохранить себя от смертоносного действия радиоактивных излучений.

Но самое главное — это непрекращающееся накопление смертоносного оружия, которое поколебало уверенность в бессмертии человека как рода. Арсеналы средств массового уничтожения множатся с немислимой быстротой, угрожая свергнуть общество в мрак безмолвия и небытия. Абсурд разума и разум абсурда машинной капиталистической цивилизации находит свое окончательное завершение.

Все эти процессы давно почувствовали, схватили и по-своему, быть может не всегда точно, выразили литература и искусство — самые тонкие индикаторы индивидуального и общественного сознания.

Настроения западной конфронтирующей интеллигенции выплеснулись недавно в речи писателя Гюнтера Грасса: «Нет, не кара богов угрожает нам. Не Иоанн Богослов рисует нам мрачные картины, предрекающие всеобщую гибель, не какие-либо гадания чернокнижников служат нам оракулом. С объективностью, соответствующей нашему времени, нам предъявляются колонки цифр, в которых суммируется смертность от голода, статистические данные, характеризующие рост нищеты, таблицы, куда сводятся экологические катастрофы, безумие как результат вычислений, апокалипсис как итог бухгалтерских расчетов. Оспаривать можно разве что знаки, стоящие после запятой, но вывод неопровержим: уничтожение человека человеком началось. Я полагаю, что вера ученых в будущее как гарантированную арену развития если и не утрачена окончательно, то несомненно поколеблена... И жалкий страх, который мы испытываем, скоро, наверное, перестанет выражаться в словах и обратится в безмолвный ужас, ибо перед лицом пустоты — перед лицом надвигающегося ничто любые звуки утрачивают смысл».

Лазерный луч черной антиутопии пронзил романы, повести, рассказы, поэзию, киноленты прогрессивных западных художников. Стоит только вспомнить произведение Габриэля Гарсиа Маркеса, Хулио Кортасара, Мигеля Отеро Сильвы, Альберто Моравиа, Кобо Абэ, Робера Мёрля, фильмы Феллини, Пазолини, Антониони, Берг-

мана, Бардема, сумевших бесстрашно, зрачком в зрачок взглянуть в лицо действительности буржуазного общества, как услышишь в них приобретающую полифоническую мощь трагедийную ноту, которая звучит как обвинительный акт капитализму.

Но искусство оценивает социальную жизнь на чувственном, эмоциональном уровне. Передовая общественная наука подвергает ее георетическому анализу, который позволяет не только обобщать, но и предвидеть. По признанию западной мысли еще сто лет назад связь между урбанистической деградацией и деградацией Земли была предвидена Марксом в «Капитале» как результат системы индустриального производства. Но это всего лишь один из эскизов грандиозной картины современных капиталистических противоречий, предсказанных Марксом.

Не случайно поэтому беспрецедентная популярность георетика пролетариата, который, предсказав тенденции развития капитализма наших дней, блеском своего гения осветил темный пегляющий исторический лабиринт, указав рабочему классу, а вместе с ним и всему человечеству путь из царства необходимости в царство свободы.

АРХИПЕЛАГИ КРИТИЧЕСКОГО ПЕССИМИЗМА

Но взрывы интереса к К. Марксу на Западе имеют свои апогеи и перигеи. Апогеем такого нового взрыва, продолжающегося до сих пор, стал конец 60-х — начало 70-х годов, когда идея социальной революции неожиданно и внезапно обрушилась на западный мир. Он взорвался динамитом общественного возмущения, стал похож на оголенный электрический провод. Шквальному критическому огню подверглось все, что недавно считалось символом успеха: собственность, богатство, респектабельность, карьера, лояльность к власти, упорядоченный семейный уклад, буржуазный образ жизни. Предприятия потрясали забастовки, в негритянских гетто вспыхивали стихийные мятежи, на стенах университетов и политехнических институтов пестрели лозунги «Смерть капитализму», «Конец обществу потребления», «Будьте реалистами, требуйте невозможного».

Традиции опрокидывались, порывались десятилетиями сложившиеся социальные связи, разрывались семейные узы. Дети промышленников и руководящих политиков покидали свои дома, сознательно опускались на «дно», образовывали коммуны, напоминавшие примитивно-коммунистические общины времен религиозных и крестьянских войн, создавали сообщества битников и хиппи, искавших забвения в бездеятельности, наркотиках, фаллическом культе, собственной, ни на что не похожей мини-культуре.

Особое место во внепарламентской антикапиталистической оппозиции занимали радикальные студенты. Презирая обывательские представления о престиже и успехе, радикальное студенчество отказывалось стать кадрами буржуазии, эксплуатирующей рабочий класс, мечтало о сломе и искоренении всего отработанного политико-психологического механизма скрытого управления трудовыми усилиями людей, их потребностями, развлечениями, досугом. Его неоднократно провозглашенная конечная цель: отказ от всех видов реформ, насильственная гибель общества массового потребления, революция, совершенная по инициативе активного меньшинства, прямая демократия, немедленное осуществление принципов коммунизма.

Мгновенный и мощный толчок, потрясший здание государственно-монополистического капитализма, создал необычный общественный климат, расковал интеллигенцию, открыл шлюзы для потока критических теорий. Даже до конца последовательные приверженцы буржуазного общества лишились возможности открыто защищать его. Антикапиталистический протест создал самые невероятные, порой немислимые человеческие и социальные сочетания. «Перемены,— писал известный американский социолог О. Тоффлер,— порождают и каких-то странных индивидуумов: детей, состарившихся к двенадцати годам; взрослых, остающихся двенадцатилетними детьми в пятьдесят; богачей, ведущих жизнь бедняков, программистов компьютеров, накачивающихся LSD; анархистов, у которых под грязным парусиновым одеянием скрывается душа отчаянных конформистов; и конформистов, у которых под застегнутыми на все пуговицы рубашками бьется сердце отчаянных анархистов...»⁶

⁶ «Иностранная литература», 1972, № 3, стр. 228.

В этой невообразимой мозаике взглядов, мнений, отталкиваний и притяжений ключевым понятием явилось слово «революция». Оно стало всем, чем можно стать: самоотверженностью и снобизмом, научным вдохновением и приспособленчеством, отрешенным аскетизмом и девизом оптовой распродажи, невиданными по размаху уличными выступлениями и почти масонским знаком принадлежности к избранным, энтузиазмом накаленных студенческих кампусов и тайным проклятием подагрических президентов университетов, вынужденных ради утверждения себя в ампула радикалов совершать вместе с бунтующей молодежью марши протеста на Белый дом.

Критиками капитализма стало подавляющее большинство интеллигенции: радикалы, либералы, персоналисты, анархисты и даже консерваторы. Но критику сопровождал страх и неверие в возможность общества, где личность обрела бы свободу. В глазах настроенных на критическую волну социологов и экономистов социально-экономическая карта капиталистического мира представляла испещренную черными пятнами, которые порой сливались в архипелаги и материки, образую огромные массивы пессимизма, растерянности и подавленности перед будущим. Поражала та откровенность, с которой западная критическая мысль вскрывала издержки научно-технической революции, фиксировала в острых и нервных образах противоречивость развития капиталистического общества, признавая огромную трудность, а подчас и просто невозможность их преодоления, обнажала социальные конфликты.

Многие представители западной общественной науки лишили капитализм «жизненного пространства», не видели его резервов и перспектив, хотя и не признавали его реальной социально-экономической альтернативы. Подвергая государственно-монополистический капитализм резкой и непримиримой критике, они не верили в объективные и субъективные силы его преобразования; обрушиваясь на буржуазное государство, они, вопреки своему желанию, демонстрировали бессилие противопоставить ему общественную организацию, отвечающую интересам человечества и человека, защищая гуманные ценности, они часто признавали обреченность такой защиты; посягая, наконец, на само гигантское, разветвленное, ускользающее из-под контроля капиталистическое производство, они сплошь и рядом не могли предложить ничего иного, кроме старой мелкомасштабной техники времен домонополистического капитализма и даже цехового ремесленного строя. У них всех в общем один противник — современная техника и государство, одно мрачное восприятие капиталистической действительности и при всех возможных оговорках тот же идеал: расширение автономии личности, которое они видят в идеализированном прошлом, как бы они его ни называли, пусть даже «постиндустриальным социализмом».

Смысл книги «Аутопсия революции»⁷ французского социолога Ж. Эллюля,⁸ чье мировоззрение представляет собой странную смесь из христианского гуманизма, русского и французского анархизма, антикапиталистических настроений и технофобии, в анализе соотношения старой модели революции и перспектив грядущего революционного взрыва, его особенностей и своеобразия.

Начертая на бумаге контуры «новой революции», Ж. Эллюль тут же обрек ее, по существу, на поражение. «Это смертельный бой,— пишет он,— и, возможно, уже проигранный». Ссылаясь на историю, он пытается доказать, что революционный романтизм предполагает свободу, а следовательно, и гибель революции. Призыв к революции оборачивается признанием ее неизбежного краха, революционность — беспроглядностью, перспектива — бесперспективностью.

Внешне может показаться, что полная противоположность взглядам Ж. Эллюля — книга Р. Рюйе с подчеркнуто вызывающим названием «Похвала обществу потребления»⁹. В ней автор яростно, неистово, страстно защищает частную инициативу и отживший индивидуалистический капитализм. Он отождествляет его с идеальной моделью экономики, с саморегулирующейся системой, обладающей обратной связью и способной собственными силами преодолеть внутренние противоречия и срывы и обеспечить плавное, как течение реки, развитие производства. Главным регулятором рыночной системы Р. Рюйе считает прибыль, ее косвенным властелином — потре-

⁷ Аутопсия — термин, заимствованный из медицины и означающий анатомическое вскрытие.

⁸ Ellul J. *Autopsie de la révolution*. Paris. 1969.

⁹ Ruyet R. *Eloge de la société de consommation*. Paris. 1969.

бителя, а удовлетворение платежеспособного спроса — лишь иной формой принципа «каждому по труду».

Но и этот, как представляется, классический, в чем-то старомодный буржуа считает капиталистическое государство самой опасной и грозной отчужденной силой, обрушивается на технократию и техноструктуру, обвиняя ее в игре с огнем, в навязывании обществу чудовищных видов оружия. Подобно Ж. Эллюлю, он интерпретирует классовую борьбу как схватку между экономикой и политической властью, проповедует анархизм, уподобляя его рыночной экономике и гражданским свободам, признает даже предреволюционную ситуацию в большинстве западных стран, порожденную, однако, не эксплуатацией, а государственными злоупотреблениями. Капитализм, считает Р. Рюйе, умирает не из-за внутренних противоречий, а задушенный политическим государством.

На этой критической волне и произошло повальное увлечение марксизмом или, как выразился американский философ Сидней Хук, в второе пришествие Маркса. Каждая из соревнующихся научных школ стремилась привлечь его в союзники, прикрыться авторитетом великого мыслителя. Но популярность, как известно, всегда имеет свою изнанку. Имя ей всеядность, погоня за теоретической модой. Маркса пытались сделать провозвестником анархизма, соединить его учение с фрейдизмом, представить апостолом структурализма, объявить сухим, далеким от социальных бурь академическим исследователем и, наконец, превратить в сторонника «конвивальности» — специфического общества радости и самобытного трудового эпикурейства. Даже один из самых крупных буржуазных социологов Раймон Арон, посвятивший жизнь борьбе с марксистской теорией и назвавший ее опиумом для интеллигенции, вдруг в книге «От одного святого семейства к другому» признал объективное величие Маркса и даже предпринял попытку защитить «подлинный марксизм» от воображаемых марксистов.

РАДИКАЛЬНАЯ БЕЗЫСХОДНОСТЬ

Но, пожалуй, самое интересное проявление критического пессимизма — неомарксизм, который претендовал на роль единственного выразителя марксистской этической традиции. Не случайно его основные идеи — беспомощность личности перед индустриальной мощью, тоталитарным государством и потребительским культом государственно-монополистического капитализма; противоположность между изначальной «свободной личностью и навязанными ей отчужденными формами общественной жизни; интеграция рабочего класса в капиталистическую систему; опора на аутсайдеров капитализма, находящихся вне его экономических интересов; «репрессивная терпимость», иначе поглощение буржуазным обществом всех разновидностей реально угрожающей ему оппозиции, не социальная нейтральность, а, напротив, наступательная агрессивность капиталистических форм научно-технического прогресса.

Ведущую роль в неомарксизме играла категория отчуждения, развитая Гегелем и революционно и материалистически преобразованная Марксом. Она означает отторжение деятельности человека от него самого, перевоплощение ее в независимую и враждебную ему силу. Производство продуктов оно превращает в товарный фетишизм и цепкое, неудержимое потребительское рабство, творчество и науку — в акт опредмечивания и отделения творца от своего творения, которое приобретает свою самостоятельную, неуправляемую, а часто и разрушительную логику.

В товар превращается все: научные открытия, вдохновенные прозрения, литературные и художественные шедевры. В субъективном восприятии творческого интеллигента все это предстает как полная безысходность, потеря будущего, бессмысленность существования, ночь безумия, помрачение человеческого рассудка. По утверждению того же Гюнтера Грасса, «...угроза утраты будущего, нависшая над человечеством, свела непоколебимую доселе уверенность литературы в своем бессмертии к беспочвенным притязаниям. Книга, этот товар длительного употребления, начинает походить на банку консервов. Еще не решено, есть ли у нас будущее, но мы на будущее уже не рассчитываем. Та же самонадеянность, которая дает человеку способность уничтожить самого себя, грозит сегодня, прежде чем опустится ночь, помрачить его рассудок, обречь на осмеяние любую утопию, любую мечту о лучшем будущем».

В литературе один из видов отчуждения — овеществление человека — особенно ярко показан в повести Хулио Кортасара «Южное шоссе». Затор на дороге на несколько дней закупоривает лавину автомобилей. Катастрофа возвращает безликой толпе ощущение подобия настоящих человеческих отношений. Люди образуют группы взаимопомощи, заботятся о детях, больных и престарелых, делятся между собой запасами пищи и воды. У них зарождается чувство солидарности, вспыхивают страсти, мерцают проблески любви.

Но и эта человеческая общность — всего лишь мгновение, сновидение, химера. Люди не знают даже имен своих товарищей по беде. Общаются между собой, по существу, не они, а автомобили — «дофины», «пежо», «арианы», «порши», «фиаты», «ДКВ», «фольксвагены». Даже лидер одной из неформальных групп отождествляется с маркой его автомашины — «таунус». Мираж окончательно развеивается, когда пробка ликвидируется и автомобили с бешеной скоростью устремляются вперед, теряя и обгоняя друг друга.

Преодоление отчуждения человека, раскрытие тайны его социальной природы и сущностных сил — одна из центральных идей марксизма. «Человек должен... — настаивал Ф. Энгельс, — сделать самого себя мерилом всех жизненных отношений, дать им оценку сообразно своей сущности, устроить мир истинно по-человечески, согласно требованиям своей природы...»¹⁰ Трагизм личности в обезличенном мире, понятый и объясненный марксизмом привлек внимание большинства интеллигенции независимо от ее политических взглядов, породил мироощущение, которое можно было бы выразить словами Дени де Ружмона: личность является целью общества. Она неизмеряема объективно и проявляется только в творчестве самого себя. Личность одновременно и совершенно одинока, и солидарна со всеми другими личностями. Человек безусловно является мерой в созданном для него мире. Он источник всех ценностей.

Эмансипацию человека марксизм искал во всех секторах общественной жизни: в экономике, труде, культуре и в самой личности, которой предстояло освободить себя от всех навязанных ей неправильных представлений, и прежде всего от отчуждения собственной деятельности. Но эта традиция долгие годы оставалась в тени, предавалась забвению некоторыми учеными, сводившими марксизм только к экономическому детерминизму, сознательному выражению слепого исторического процесса, изучению механизма функционирования и воспроизводства различных социальных систем. В образовавшуюся брешь и устремился неомарксизм, стараясь привлечь на свою сторону всех недовольных положением человека в буржуазном обществе.

Но в произвольной интерпретации неомарксизма отчуждение из исторически преходящего явления, порожденного капитализмом, превращается в вечный, почти непреодолимый феномен. Он фатален, всеобщ, неизбежен. Даже революционная практика, в ходе которой человек ниспровергает и видоизменяет не один капиталистический строй, но и самого себя, также отчуждается, становится собственной противоположностью. Как в трагедийном античном театре меняются не лица, а маски, не общественные отношения, но только их внешняя видимость.

Но отчуждение неоднозначно. Оно, как и всякое экономическое и социальное явление, пересечено границей противоборствующих классов. «Имущий класс и класс пролетариата, — писали К. Маркс и Ф. Энгельс, — представляют одно и то же человеческое самоотчуждение. Но первый класс чувствует себя в этом самоотчуждении удовлетворенным и утвержденным, воспринимает отчуждение как свидетельство своего собственного могущества и обладает в нем видимостью человеческого существования. Второй же класс чувствует себя в этом отчуждении уничтоженным, видит в нем свое бессилие и действительность нечеловеческого существования. Класс этот, употребляя выражение Гегеля, есть в рамках отверженности возмущение против этой отверженности, возмущение, которое в этом классе необходимо вызывается противоречием между его человеческой природой и его жизненным положением, являющимся откровенным, решительным и всеобъемлющим отрицанием этой самой природы»¹¹. Олицетворение этого возмущения — пролетариат, который, низвергая капитализм, разрушает социальную почву отчуждения: капиталистическую собственность и основанную на ней эксплуатацию наемного труда.

¹⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, стр. 593.

¹¹ Там же, т. 2, стр. 39.

Отдельные неомарксистские теоретики, прежде всего Э. Фромм и Г. Маркузе, стремились дополнить марксизм фрейдизмом, часто объясняя социально-экономические антагонизмы психологическими феноменами. Согласно Г. Маркузе, в подсознании человека происходит непрекращающаяся схватка между инстинктом жизни (эрос) и синдромом смерти (танатос), которые в общественной жизни сублимируются или преобразуются в противостояние принципов удовольствия и реальности. Непредотвратимая победа принципа реальности неизбежно вызывает самоподавление человека, видоизменение его потребностей, невозможность самореализации и свободного естественного развития.

В противовес марксистскому диалектическому методу неомарксизм предлагает свое теоретическое оружие борьбы против буржуазного общества: негативную диалектику — не революционное преобразование, а абсолютное отрицание всей капиталистической действительности с ее материальными и духовными ценностями.

Хорошо известно, что марксистская диалектика предполагает не отрицание ради отрицания, а достижение синтеза, то есть создание новых преобразованных социальных форм, которые, отбрасывая отрицательные свойства всех предшествующих обществ, усваивают все лучшее, что создано трудящимися в духовной и материальной жизни. Отрицание — важнейший, но не единственный элемент марксистской диалектической системы взглядов «В своем рациональном виде,— писал К. Маркс,— диалектика внушает буржуазии и ее доктринарам-идеологам лишь злобу и ужас, так как в позитивное понимание существующего она включает в то же время понимание его отрицания, его необходимой гибели, каждую осуществленную форму она рассматривает в движении, следовательно также и с ее преходящей стороны...»¹².

Но именно позитивное начало и исключает негативная диалектика из диалектического метода Маркса. Ее создатель Т. Адорно критику государственно-монополистического капитализма превратил в самоцель, диалектику — во всеобщий дух разрушения и отрицания. Отрицанию подвергается все: не одни экономические эксплуататорские отношения и государство капиталистического общества, но и его производительные силы, техника, наука, культура, искусство. Более того, мысль восстает против мысли, диалектика против диалектики, негативность против себя самой. Кригическая теория, как неоднократно подчеркивал, один из лидеров неомарксизма Г. Маркузе, не вселяет веры в будущее, а всего лишь сохраняет верность тем, кто, не имея надежды, отдает свою жизнь великому отказу.

В контексте неомарксизма отчуждение — не спутник капитализма, революция и коммунизм — не его преодоление, а апокалипсис и эсхатология, конец света, тысячелетнее царство на земле, пути к которому неисповедимы. Люди, как персонажи в пьесе Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо», обречены на бессмысленное существование, бесконечное ожидание просвета в мраке, который приоткроет неведомый пророк.

Но уже сама безысходность радикальной неомарксистской теории, совмещающаяся с желанием не овладеть марксизмом, а завладеть им, не творчески развить, а превзойти его таила в себе неизбежность самоотрицания и распада. Бессмысленность гигантомании неомарксистских теоретиков четко выразил знаменитый писатель и левый философ — экзистенциалист Ж.-П. Сартр, пожалуй, один из самых известных представителей неомарксизма. «Пресловутое «превзойдение» марксизма,— писал он,— будет в худшем случае лишь возвращением к домарксизму, в лучшем же лишь повторным открытием мыслей, уже содержащихся в философии, которую считают превзойденной»¹³.

Кризис 1974—1975 годов, свергший капитализм в водоворот новых экономических противоречий, нанес сокрушительный удар по неомарксизму. На первый план опять выдвинулись экономические, а не этические проблемы: серия промышленных спадов, безработица, инфляция, низкие темпы роста валового национального продукта и производительности труда. Резко изменились и идеологические ориентиры западного общества, что выразилось в бешеной контрастике неоконсерваторов, которые, перехватив одну из идей неомарксизма, избрали своей главной мишенью государственный социальный и экономический дирижизм. Они сумели заразить сво-

¹² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. т. 23, стр. 22.

¹³ J.-P. Sartre. La critique de la raison diléctique. Paris. 1959, p. 17.

ими умонастроениями не только среднюю и мелкую буржуазию, но и проникнуть в ряды радикальной интеллигенции, просочиться в рабочее движение, приглушить массовый антикапиталистический протест. Конформизм, буржуазность, бывшие клеймом на подъеме всеобщего революционного всплеска, опять превратились в признак респектабельности на его крутом и быстром спуске.

«Зеленеющая Америка»¹⁴ и бурный май 1968 года во Франции сменились глубокой осенью Запада, чья почва устлана ржавыми, облетевшими листьями неомарксизма. По этим листьям пройдут новые поколения революционеров, которые сумеют зажечь массы настоящими марксистскими идеями, а не их бесплодным псевдокритическим суррогатом.

ЦИФРА НА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПЕРФОКАРТЕ

Социальные и политические перемены в капиталистических странах вызвали переориентацию критически-пессимистических теорий. Взаимоотношения между личностью и общественным бытием, созданным капиталистической цивилизацией, потеснились, отступили, переместились на задний план исторической сцены. В центре полемических бурь оказался конкретный социально-экономический анализ, изучающий классовые отношения, новые методы эксплуатации, технику манипуляции, образование, специфику современного наемного труда, экологию, особенности техники, капитала и государства конца XX века.

Но сохранились инструменты исследования, в первую очередь — отчуждение и поиски самоотрицания капитализма, а также кинжальная заостренность критики и все усиливающееся мрачное восприятие действительности, ощущение исторического тупика. Окончательно переплелось, если не считать оттенков, и мировоззрение социологов, открыто объявлявших себя марксистами, и представителей буржуазной критической общественной науки. Цикл завершился, круг замкнулся, полюсные полюса соединились.

Это отчетливо демонстрирует путь, проделанный крупным французским социологом Андре Горцем от его книги «Реформа и революция» до последнего эссе «Прощание с пролетариатом. По ту сторону социализма»¹⁵. Их контрастность и несовместимость обескураживают, притупляют аналитическое чутье, затрудняют отчетливое восприятие алогичной, скачущей мысли социолога. Вместе с тем, как это ни парадоксально, они рельефно выражают находки и срывы современных критических теорий.

В книге «Реформа и революция» А. Горц пытается исходить из выводов марксизма, конструктивно защищает положение о рабочем классе как движущей силе революции, активно выступает за радикальные реформы, революционизирующие капиталистические страны и ведущие к ниспровержению политической власти буржуазии, победе социализма, развитию подлинно творческого труда, борется с расхожими представлениями о том, что улучшение материального положения трудящихся умерщвляет их революционный потенциал.

Государственно-монополистический капитализм по своей природе наступателен, воинствен, авторитарен. Под флером буржуазной демократии он подавляет пролетариат, сминая его, дополняет старые формы эксплуатации новыми. Создаваемые капитализмом мегалополисы — гигантские городские индустриальные комплексы — разрушают природу, загрязняют воздух, отнимают у пролетариев спокойный сон, лишают их возможности биологически воспроизводить самих себя, восстанавливать свою рабочую силу.

Рассуждения Горца удачно дополняет уже упоминавшийся в статье протестант и анархист Дени де Ружмон, который заявляет, что в таких городах исчезает гражданственность, растет изоляция людей в толпе, бессилие, депрессии, невротический эротизм, преступность и насилие.

На каждом витке истории старые противоречия действительно принимают новый облик. Если раньше преградой для восстановления способности к труду явля-

¹⁴ Название книги американского социолога Ч. Рейча

¹⁵ A. G o r z. Réforme et révolution. Paris. 1969; Adieux au prolétariat. Au delà du socialisme. Paris. 1980.

лась нищета рабочего класса, то сейчас ею стала вся капиталистическая индустриальная цивилизация, совмещающая относительно высокий жизненный уровень и изобилие товаров с сокращающимися, подобно шагреновой коже, естественными ресурсами человеческой жизни.

Современный капитализм не способен обеспечить и изменившиеся общественные потребности. Теперь это не просто высокая заработная плата, а стремление к творческому труду, самоосуществлению в производственной и интеллектуальной деятельности. Но не на одних капиталистических предприятиях, а и в банках, офисах и научных учреждениях труд монотонен и сер, прямая противоположность творчеству. действие, отчужденное от человека, а сами трудящиеся — детали производственного механизма, цифры на общественной перфокарте, информация для счетно-вычислительных машин.

В пьесе «R. U. R.» Кэрел Чапек в жестких до предела образах описал серийное производство биологических роботов, обреченных на бесцельный механический труд. Они затопили рынки несметным количеством товаров, полностью насытили спрос, но, осознав в конце концов бессмысленность своих трудовых усилий, разрушили как собственную, так и всю человеческую цивилизацию. Самое удивительное, что мрачные утопии, которые совсем недавно казались фантазией, все чаще принимают в наше время зримые и реальные черты. Биологический робот стал на Западе если не реальностью, то, во всяком случае, допустимой возможностью, тенденцией, которую необходимо остановить.

На дегуманизацию труда рабочие отвечают усилением экономической борьбы. Но это, надо думать, не примитивный экономизм начала века, а новая форма других, более глубоких социальных и политических требований.

Но включение рабочих в потребительский марафон не ослабляет, а укрепляет их зависимость от капитала, означает для них новый психологический и экономический капкан. По меткому наблюдению А. Горца, особенность современного капитализма — в подчинении спроса капиталистическому производству, которое, используя изощренную технику манипулирования, диктует населению все время меняющиеся моды, вкусы, потребности. Вещь отождествляется с престижем, с местом на иерархической лестнице, подменяет собой личные достоинства человека. Продается даже не товар, не его потребительная стоимость, а этикетка и упаковка, соответствующая расхожим бытовым представлениям о жизненном успехе.

В романе Веркора и Коронеля «Квота, или «Сторонники изобилия» — скорее не художественном произведении, а литературно-социологическом гротеске, где действуют не реальные персонажи, но силуэты общественных отношений, с блеском описана потребительская эпидемия в вымышленной латиноамериканской республике Тагуальпе. В ней появляется некий Квота, внедривший новые, необычные методы торговли и развития производства. Их суть — в прививке искусственных, непрерывно меняющихся потребностей, в превращении всего населения в совокупного потребителя и покупателя. Квота быстро и без особых усилий добивается цели. Он монополизирует всю торговлю, а через нее и экономику республики. Люди в ней становятся идолопоклонниками потребительского Истукана, рабами вещей, их придатками и безвольными поклонниками. Покупки следуют одна за другой, лишаются какого бы то ни было здравого смысла, приобретают немислимые скорости. Ванны без воды, всевозможные музыкальные инструменты загромохают квартиры. Жители обвешаны транзисторами, которые извергают невыносимый грохот и шум. Даже сама церковь и ее служители становятся простыми рекламными агентами, провозглашающими в своих проповедях необходимость все новых и новых приобретений.

Потребительское помешательство порождает бессмысленное производство. Одно за другим возникают ненужные предприятия, производящие ненужные товары. В результате — рост нервных потрясений, психических заболеваний, патологических аномалий. Но и болезни человека Истукан потребления использует в своих интересах. Психическая клиника — такой же атрибут торговли, как и всякий другой товар, будь то книга или холодильник. «И если случалось, — пишут Веркор и Коронель, — что кто-то, кого еще накануне видели полным энергии, назавтра вынужден был спешно уехать лечиться, в этом обвиняли врожденную хрупкость его нервной системы. А для всех прочих жизнь шла, ускоряя до умопомрачения свой темп, ненасытно разрушались, неумолимо строились все в большем количестве дома, заводы, конторы,

магазины, гаражи, больницы, сумасшедшие дома, и все равно не хватало домов, контор, магазинов, гаражей, сумасшедших домов...»¹⁶

Категорический императив научно-технической революции — повышение в производстве доли интеллектуального труда, широкое образование трудящихся. Но образованные и всесторонне развитые пролетарии — потенциальные мятежники, неспособные мириться с угнетением, эксплуатацией, отчуждением труда. Выход из этого противоречия капитал ищет в усеченном, урезанном, ампутированном образовании. Трудящиеся должны быть компетентными, но ограниченными, активными, но послушными, смысленными, но невежественными во всем, что не входит в их функцию. Широкое образование народа заменяется распространением невежества, развитие культуры — ее разрушением, свободное время — пустыми и бесплодными развлечениями.

Как бы переключаясь с А. Горцем, французский социолог Пьеретта Сартен писала о «картиночной» цивилизации, замене книги изображением, развитии аудиовизуальных методов обучения, которые действуют прямо на рефлекс, минуя такой «промежуточный этап», как осознание, осмысление, что открывает прямой путь ко всякого рода психологическим манипуляциям, техника которых уже хорошо освоена пропагандистами и специалистами рекламы. «Изображение, — считает она, — несет в себе грубую, пронзающую силу. И если оно не контролируется мыслью, а просто «регистрируется»... то оно формирует убеждения, не покоящиеся на разумных основаниях, обедняет духовную жизнь человека, ведет к самому настоящему отчуждению его «я». Человек становится объектом: объектом пропаганды, объектом потребления. При созданной таким образом массовой цивилизации... личность унифицируется, отливается по единому стандарту, который устанавливает политическая власть в соответствии с «требованиями» экономики. Свобода становится лишь видимостью, а демократия мифом для этого опустошенного, духовно разрушенного «картиночной» цивилизацией существа, которому теперь ничего не остается, кроме как уйти в самого себя»¹⁷. По убеждению французского социолога это особенно заметно в рабочей среде, где доведенная до крайности специализация привела к изоляции каждого трудящегося от остальных. Сама работа, сведенная к нескольким простым и лишенным всякого интереса жестам, оставляет его фактически наедине с самим собой.

На почве ампутированного образования расцветает технократия, которую А. Горц склонен относить к автономной, в известной мере надклассовой касте высших специалистов. Ее цель — особая независимая власть, оправдываемая ссылкой на нейтральность государства, идеология — деполитизация масс, амбиции — арбитраж между борющимися классами. Конечно, каждая социальная группа преследует свои особые интересы, а государство вынуждено под давлением мощного рабочего движения ограничивать притязания отдельных монополий.

Но А. Горц сам не замечает, что становится жертвой мифики, против которой он жестко выступает. Вслед за буржуазным социологом Д. Беллом он, по существу, повторяет доводы сайентизма об индифферентности технократии, ее подчеркнутой непредвзятости, заботе лишь о правильности информации, эффективности рекомендаций, улучшении техники управления.

Между тем в нашу эпоху происходят изменения не только в структуре пролетариата, но и в составе господствующего класса. Он состоит сейчас не из одних капиталистов-собственников, но и из технократической бюрократии, ведущих менеджеров, высшего слоя ученых, склонных рассматривать себя как среднюю динамичную группу, аристократию точных знаний, способных поглотить и рассеять классовую рознь. Свои особые эгоистические интересы они облачают в тогу классового безразличия, строгой научности, всеобщей национальной воли, которую противопоставляют как своим соперникам из рядов традиционной буржуазии, так и социальным требованиям трудящихся. «...«всеобщий интерес», — писал К. Маркс, — может устоять, как «особый интерес», против особого интереса лишь до тех пор, пока особое... выступает в качестве «всеобщего». Бюрократия должна, таким образом, защищать мнимую всеобщность особого интереса, корпоративный дух...»¹⁸

¹⁶ Веркор и Коронель. Квота, или «Сторонники изобилия». М. «Прогресс». 1970, стр. 223.

¹⁷ «Revue des Deux Mondes», 1968, Octobre.

¹⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, стр. 270.

Дымовую завесу, которой технократия прикрывает свое господство, А. Горц и принимает за особую внеклассовую роль технократической бюрократии — руководителей государственного аппарата и научно-исследовательских корпораций. Но А. Горц выступает против самого себя, когда он подвергает критике буржуазных социологов и экономистов, которые упрекают К. Маркса в том, что он подменил обвиняемого, поставив на его место не капиталистическое государство, а капитал. Их самый главный аргумент — невероятно быстрый рост налогового ограбления трудящихся и падение доли прибыли в национальном доходе. Возражая им, А. Горц заявляет, что дело не в размере прибылей, а в той ориентации, которую они придают экономике и обществу, в капиталистической политике управления производством, в расточительстве общественного богатства, сочетающемся с неспособностью удовлетворить первоочередные коллективные потребности.

В заключении книги автор приходит к выводу, что социалистическая стратегия должна исходить из реформ, чье острое нацелено на нарушение равновесия капиталистической системы, углубление ее противоречий, облегчение социальной революции.

ПО ТУ СТОРОНУ МАРКСИЗМА

В эссе «Прощание с пролетариатом. По ту сторону социализма» Андре Горц неожиданно сжигает все, чему поклонялся, и поклоняется всему, что сжигал. Он отказывается от положения К. Маркса о том, что развитие производительных сил подготавливает материальные предпосылки социализма, обобществляет экономическую жизнь.

В новом экономическом «космосе», где каждое предприятие — лишь микрочастица огромных производственных «галактик», никто не производит того, что потребляет, и не потребляет того, что производит, не знает конечных результатов своего труда, что означает, по предположению Горца, конец общественного характера производства. В западном обществе господствует некая всемирная сила — обезличенный капитал, который даже капиталистов превращает в своих функционеров — исполнителей его требований и решений. Капитал уподобляется богу, представляется неким всеобщим законом, установленным свыше мировым порядком, диктующим структуру материального производства, сущность общественных отношений, признает лишь одно регулирование — централизованное руководство государства.

Но и государством управляет всемогущий диктатор — могущественный технологический императив, который глушит этику, гасит все порывы человечества к справедливости и свободе, подчиняет себе даже политическую власть. Такая система, по мысли А. Горца, привела к порабощению общества громадной технической и бюрократической машиной, к его смерти во имя господства техники и государства. Аналогичного мнения придерживается и Дени де Ружмон, утверждая, что там, где царствуют императивы техники, любое «улучшение» ведет только к усилению кризиса. Техника может что-либо улучшить лишь в обществе с иными целями и ценностями. В нашем обществе техника не может быть нейтральной.

И, наконец, центральный тезис книги А. Горца — утверждение, что разложение общества, основанного на труде, порождает неопролетариат, который представляет собой некий «не-класс», состоящий из представителей всех слоев общества, выброшенных за борт производства его автоматизацией и кибернетизацией. Неопролетариат, подобно подручнику Кижэ, «фигуры не имеющему», расплывчат, неопределен, пассивен, лишен единого взгляда на будущее, присутствует при своем становлении как зритель на спектакле, руководствуется только субъективным желанием, автономно возникающим в каждом индивиде.

Неопролетариат — предтеча своеобразного не-общества, где монотонный, принудительный труд будет равномерно распределен между всеми, а в остальном деятельность человека примет форму абсолютной свободы, ничем не связанного досуга, лишится экономической цели. В нем уничтожаются классы вместе с самим трудом и всеми видами господства, разрываются связи между людьми, рушатся общественные опоры, царят правила без морали и мораль без правил. Перед нами, если прибегнуть к образному сравнению Сунь Ятсена, «блюдо песка», не скрепленное никакими объективными связями. Модель А. Горца — почти буквальное повторение мысли

Г. Маркузе, что экономическая свобода должна означать освобождение от экономики, политическая — от политики, интеллектуальная — упразднение общественного мнения.

Осуществление этого проекта А. Горц не представляет себе без разукрупнения производства и возвращения к мелким предприятиям. Эта концепция наиболее рельефно выразилась в положении, что ошибка классовых организаций пролетариата заключалась в требовании уничтожения всякого ненаемного труда вместо уничтожения труда по найму. А. Горцу нельзя отказать в наблюдательности, зоркости аналитического взгляда, в умении если не исследовать, то уловить новые явления и процессы. Он прав, когда считает относительной эффективностью крупного предприятия по сравнению с мелким. Безусловно, монополия приносит больше прибыли на инвестированный капитал. Но эффективность крупного предприятия неоспорима только в том случае, если учитывать прямые издержки и игнорировать косвенные и невидимые — создание гигантской разветвленной инфраструктуры, урбанизацию, нарушение экологического равновесия, болезни и нервные стрессы. Мелкие и средние предприятия часто более лабильны и динамичны, легче приспосабливаются к научно-техническому прогрессу и новым потребностям трудящихся в самостоятельном, нерегламентированном труде. Но и правильные замечания А. Горца облекаются им в одежды консервативной утопической критики современного капитализма. В его эссе отдельные преимущества мелких предприятий выглядят как философский камень, превращающий молох монополий и железобетон капиталистических городов в идиллическое общество без угнетения, эксплуатации и подавления личности.

А. Горц сам, видимо, чувствует бесплодность своих прогнозов. Он и перечеркивает их собственной рукой, признавая, что попытки децентрализации производства, опыт общин и коммун в условиях государственно-монополистического капитализма вылился в непрочные объединения, воспроизводящие в микромоделях существующие отношения господства и подчинения. «Прощание с пролетариатом» отбросило Горца по ту сторону марксизма, превратило его в апостола новой веры, где нет места ни пролетариату, ни коммунизму, а царят расточительство, деградация и разрушение.

В письме П. Лафаргу Ф. Энгельс обратил внимание на один многозначительный факт, а именно, что немецкую социал-демократическую партию затопили деклассированные литераторы, сплошь и рядом считавшие себя марксистами. Но это был «марксизм» того рода, по поводу которого в свое время К. Маркс сказал: «Я знаю только одно, что я не марксист!» Нам представляется, что, ознакомившись с трудами неомарксистов, Маркс повторил бы свои слова вместе с горьким и саркастическим афоризмом Генриха Гейне: «Я сеял драконов, а пожал блох»¹⁹.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Основная идея революционного, а не позитивистски истолкованного марксизма, если ее определить предельно сжато и афористично, — концентрированное выражение творческого разрушения и разрушительного творчества живого исторического процесса. Разрушение и слом капиталистической собственности и государства — необходимая предпосылка для исторического творчества, поисков, социальных экспериментов. Их конечная цель — не только освобождение трудящихся от экономической эксплуатации, но и преодоление отчуждения, полная эмансипация человека, которая состоит, по определению К. Маркса, в возвращении человеческого мира самому человеку²⁰.

«Чем иным является богатство, — спрашивал создатель «Капитала», — как не абсолютным выявлением творческих дарований человека, без каких-либо других предпосылок, кроме предшествовавшего исторического развития, делающего самоцелью эту целостность развития, т. е. развитие всех человеческих сил как таковых, безотносительно к какому бы то ни было *заранее установленному* масштабу. Человек здесь не воспроизводит себя в какой-либо одной только определенности, а производит себя во всей своей целостности, он не стремится оставаться чем-то окончательно установившимся, а находится в абсолютном движении становления»²¹.

¹⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 37, стр. 383.

²⁰ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, стр. 476.

²¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 46, ч. I, стр. 473.

Марксизм не отрицает, что некоторые формы отчуждения остаются и в социалистическом обществе, которое, разбивая вдребезги производственные отношения государственно-монополистического капитализма, наследует созданную им материальную и отчасти духовную культуру с сопутствующими им отдельными негативными явлениями. Окончательно они исчезают, включая отмирание государства и противостояние техники и природы, лишь в отдаленном будущем, возможно в мировом коммунистическом сообществе.

Вопреки А. Горцу, который думает, что монотонный бессодержательный труд должен быть равномерно распределен между членами общества, а досуг должен лишиться экономической цели, К. Маркс признает нерасторжимость, слитность, неразрывность рабочего и свободного времени. Свободное время — это прежде всего возвышенная деятельность, стимул для раскрытия всех способностей человека, его самоусовершенствования и интеллектуального роста. Обновленный человек возвращается в производство, которое становится для него как школой дисциплины, так и объектом для применения знаний, творческой экспериментальной наукой. В этом случае «...сбережение рабочего времени можно рассматривать как производство *основного капитала*, причем этим основным капиталом является сам человек»²².

Марксистская мысль ищет гибель капитала не в отрицании ради отрицания, не в возвращении к докапиталистическому прошлому, не в создании федерации ремесленных общин и, наконец, не в саморазложении капитализма, классов и общества, основанного на труде. Она видит ее в беспощадной логике самого капитала, развивающего производительные силы до той грани, за которой он становится совершенно бесполезным. Сейчас почти невозможно найти страну с развитой государственно-монополистической экономикой, которая не располагала бы материальными основами новой цивилизации, необходимыми для начала перехода из прединдустриального общества в его подлинную историю. В своем движении капитализм достиг звукового барьера, за которым он начинает объективно ниспровергать основы, на которых веками покоились капиталистическая экономика, система эксплуатации, буржуазный образ жизни, иерархия ценностей и приоритетов. Обширный государственный сектор, достигший особенно больших размеров в ведущих западноевропейских странах, контроль над экономикой и ее регулирование, плановость в масштабах не одних предприятий и монополий, но и целых производственных комплексов, кредитные карточки и электронные импульсы — прообразы новых денег, видимо, призванные в будущем вытеснить казначейские билеты, банкноты и чеки, — все это антиподы частной инициативы, ее антагонисты, соперники и противники. Меры, предпринимаемые ее правящими классами для спасения капитализма от анархии, циклических взрывов, сокрушительных волн инфляции, управляемых экономических реакций, не только укрепляют буржуазное общество, но и подрывают его, подготавливают площадку для строительства социализма и коммунизма.

Еще в 1916 году В. И. Ленин показал, что «капитализм в его империалистической стадии... втаскивает, так сказать, капиталистов, вопреки их воле и сознанию, в какой-то новый общественный порядок, переходный от полной свободы конкуренции к полному обобществлению»²³. В последнее десятилетие обобществление экономической жизни капитализма достигло таких масштабов, что оно с невероятным трудом уживается с частным присвоением результатов труда и частной собственностью на орудия и средства производства. В наше время капитализм — совмещение несовместимого, соединение несоединимого, расчлененное внутри себя единство, где все противостоит и противоречит друг другу.

Но парадоксы, которыми нас так щедро одаривает жизнь, состоят, в частности, в том, что сознание значительной части трудящихся масс в странах капитала, призванных покончить с эксплуатацией человека человеком, создать новый общественный строй, подчас отстает от кардинальных перемен, происходящих в буржуазном обществе. Более того, расчлененный капитализм порождает расщепленного человека, чьи умонастроения и отражают критически-пессимистические теории.

Научно-технический прогресс в его капиталистической форме осваивает новый

²² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 46, ч. II, стр. 221.

²³ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 27, стр. 320—321.

континент. Этот континент — наука, культура, свободное творчество. Со своими специфическими промышленными методами он врывается в двери институтов и школ, лабораторий и университетов, студий художников и кабинетов писателей. Всесторонне образованный интеллигент он превращает в частичного работника, парцелизованный талант, узкого специалиста, который действует в своей обособленной ячейке и не способен охватить в целом производство и общественную жизнь. Много лет назад А. Герцен предупреждал об угрозе узости знания. В статье «Дилетанты и цех ученых» он писал: специалист «может дойти до каталога... но никогда не дойдет до... внутреннего смысла, до... понятия, до истины, наконец... Все внимание специалиста обращено на частности... частности делаются дробнее, ничтожнее, деление не имеет границ»²⁴. О вреде все сужающейся профессионализации, разъятия человека на отдельные специализированные части еще резче выразился словами английского ученого и дипломата Д. Уркарта К. Маркс: «Рассечение человека называется... убийством... Рассечение труда есть убийство народа»²⁵.

Этот вердикт относится к мануфактурному периоду капитализма, когда происходило расчленение ремесленного труда. Но он вполне применим и к интеллектуальной среде современного буржуазного общества, где происходит быстрая и беспощадная социальная дифференциация, расслаивающая интеллигенцию на «белые воротнички» — пролетариев за письменным столом — и так называемых организаторов научного и духовного производства — бюрократов-менеджеров, присваивающих чужие идеи, мысли, открытия.

В принципе интеллектуальный пролетариат, представляющий непроеизводственную сферу, которая в одних США составляет две трети занятых, заряжен потенциальной революционной силой, способен в конечном счете внести социалистическое сознание в трудящиеся массы. Но сейчас он в подавляющем большинстве не осознает своего объективного положения, действительно ощущает себя не-классом, топит свой протест в стихии разрушительных эмоций. Важно и то, что становление новых отрядов пролетариата сопровождается деклассированием, беспомощностью, неуверенностью выброшенных за борт общества и отчаявшихся масс. Они мечутся между полюсами возмущения и депрессии, протеста и безнадежности, мечтой о революционных катаклизмах и страхом перед трудностями создания нового общественного строя. Их энергия разрушительна, пафос пуст, философия самоубийственна, эмоции бесплодны.

В то же время часть традиционного рабочего класса, включившаяся в потребительский бег, как совершенно правильно подчеркнул в своей статье в «Правде» «Атакующий класс» Р. Косолапов, проделал обратный путь от «класса для себя» к «классу в себе», как проявилось, например, в реакционной политике американских профсоюзов и выступлениях строительных рабочих в США против студентов в период их революционных волнений.

Критически-пессимистические теории по-своему описывают эти процессы и явления, задумываются над ними, пытаются их понять. Но и сами они попадают в плен негативной диалектики, становятся пифией безысходности, критикой безнадежности и безнадежностью без критики, оракулом несчастного, раздвоенного внутри себя сознания. «...здесь налицо, — как писал Гегель, — внутреннее движение чистого настроения, которое чувствует себя само, но мучительно чувствует как раздвоение — движение бесконечной тоски...». Оно «остается диссонирующим перезвоном колоколов или теплыми клубами тумана, музыкальным мышлением, не доходящим до понятия...»²⁶.

Между тем творческий марксизм, а не критические теории показывают западной трудовой интеллигенции реальный выход из создавшегося тупика. Он — не в метафизических построениях, а в диалектике реальной жизни, и прежде всего в главных векторах развития промышленности, науки и культуры. В них наряду с тенденцией к специализации возникает мощная контртенденция к обобщению и синтезу. В промышленности это высшая комплексная автоматизация, кибернетизация и бионика, освобождающие рабочего от рутинной механической специализированной работы, открывающие перед ним широкие возможности самоусовершенствования, превращение во всесторонне развитую личность. В науке и литературе та же тенденция про-

²⁴ А. И. Герцен. Собрание сочинений в тридцати томах. М., 1954, т. 3, стр. 59.

²⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 376.

²⁶ Гегель. Сочинения. Москва, 1959, т. IV, стр. 116.

является во взаимопроникновении обособленных дисциплин и жанров, в возникновении на их границах новых комплексных знаний, в поисках общего языка, который помог бы объединить ученых и художников слова, возродить на новой основе органическое единство человека с объектом его творчества и труда.

Само развитие производительных сил рождает новый тип пролетария — образованного, обладающего не просто высокой квалификацией, но и умением быстро переключаться на самые разные типы труда, способностью овладевать и управлять современным производством и достижениями научно-технической революции, обращать их на пользу всего общества. Никакая манипуляция общественным сознанием неспособна в конечном счете помешать ему понять всю нетерпимость господства государственно-монополистического капитализма, революционно преобразовать его, построить социалистическое и коммунистическое общество.

Критически-пессимистические теории по существу — философия отвращения, отталкивания от существующего мира, который есть не что иное как самообман, иллюзия, ложное сознание, выжженная социально-экономическая территория, как сказал сам Т. Адорно, «ничейная земля между пограничными столбами бытия и ничто»²⁷. Они — призыв к уничтожению и самоуничтожению, к социальному и собственному самоубийству. Их окончательный общественный баланс, если вернуться к терминам Г. Маркузе, — победа татъноса над эросом.

Подобные настроения в другой исторической обстановке и по совсем иному поводу в свое время выразил Н. Асеев:

От двенадцати до часу
навось мир начнет качаться!
Мир суровый, мир лиловый,
страшный, мертвый мир былого...

Я доволен буду малым,
если грохнет он обвалом,
я и то почту за счастье,
если брызнет он на части,
если, мне сломавши шею,
станет чуть он хорошее.

В своей речи по поводу вручения ему Нобелевской премии великий писатель современности Габриэль Гарсиа Маркес говорил: «...мой учитель Уильям Фолкнер сказал в этом зале: «Я отказываюсь принимать конец человека... Человек не просто выстоит, но восторжествует»... та чудовищная катастрофа, в которую Фолкнер отказывался верить 32 года назад, стала сегодня не более чем элементарной возможностью для науки. Перед лицом столь ужасной опасности, которая на протяжении всей человеческой истории казалась утопией, мы, писатели, способные поверить во все, сохраняем за собой право надеяться, что еще не позано предпринять попытку создать утопию, прямо противоположную по смыслу. Новую, увлекательную утопию жизни, где никто не сможет распоряжаться судьбой другого, где любовь будет по-настоящему верной, а счастье возможным и где поколения, от рождения приговоренные к ста годам одиночества, обретут раз и навсегда новую земную судьбу».

Но то, что Габриэль Гарсиа Маркес назвал новой увлекательной утопией жизни, совсем не утопия, а строго научная теория — творческий марксизм. Он проявляет удивительную жизнестойкость, обогащается, развивается вместе со стремительно изменяющимся миром. Он, и только он способен преодолеть всемирную катастрофу, указать человечеству путь к коммунизму, где, говоря словами К. Маркса и Ф. Энгельса, «свободное развитие каждого является условием свободного развития всех»²⁸.

²⁷ Т. W. Adorno. Negative Dialektik. Frankfurt a. M. 1966, S. 372.

²⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 447.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Б. АСОЯН



ЮАР: У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ

Бронзовый Сесил Родс, стоящий в кейптаунском парке, на самом юге африканского континента, указывает рукой на север. «Там — ваш тыл!» — начертано на постаменте. Но всю торжественность портит запутанная география мыса Доброй Надежды: памятник установлен таким образом, что рука Родса протягивается к океану.

Географическое недоразумение оказалось пророческим. У Южно-Африканской Республики действительно уже не осталось тылов в Африке. Как карточный домик, распалась португальская империя. За ней рухнул режим Смита в Родезии. На подходе — независимость Намибии. Рука Родса тянется в прошлое белого человека, когда он был единственным и полновластным хозяином африканской земли.

Южно-Африканская Республика — государство, где расовая дискриминация утверждается как норма, а естественное общение людей с разным цветом кожи открыто, незамаскированно объявляется преступлением, караемым с изощренной жестокостью. Это государство, в котором меньшинство пользуется сказочными богатствами, а подавляющее большинство живет в ужасающей нищете. Это страна, чья государственная система — апартеид — вызывает одинаковое отвращение прогрессивной общественности всего мира.

Но хотя тылов у южноафриканского расизма и не осталось, нынешние правители ЮАР не хотят мириться с реальностью. Им все кажется, что волну освободительного движения можно сбить, что прогрессивные социально-экономические процессы, происходящие к северу от ЮАР, носят временный характер, что господство расизма в стране можно сохранить путем незначительных уступок африканцам. Такое сознательное неприятие неотвратимости коренных перемен — характерная черта политики правящего класса в ЮАР. Именно поэтому расистам очень хотелось бы оградить ЮАР от остального мира глухим забором, через который не проникало бы ни слова правды.

Иностранцев журналистов в ЮАР не любят. Если их и впускают, то окружают огромным числом осведомителей тайной полиции и штатных пропагандистов, всеми средствами препятствуя познанию страны. Журналистов же из социалистических стран в ЮАР вообще не пускают.

— Из-за «железного занавеса» — только с визой, — сверлил меня ледяным взглядом иммиграционный чиновник в Йоханнесбургском аэропорту имени Яна Сметса. — Процедура вам известна? Обратитесь в любое наше посольство за границей. Впрочем, сомневаюсь, что вам повезет...

Чиновник знал, что говорил. В посольства ЮАР обращаться было бы бесполезно. Но все же мне удалось увидеть Южно-Африканскую Республику — и не только из окна самолета. Я увидел эту страну глазами тех белых и черных южноафриканцев, которые покинули свою родину, спасаясь от полицейского произвола. Неровный пульс больного расизмом общества я ощутил в высказываниях южноафриканских туристов, бизнесменов, журналистов, которых встречал в Лесото, Свазиленде, Зимбабве. Некоторые, правда, боялись общения с советским человеком и старались не проронить лишнего слова. Другие, напротив, охотно рассказывали о том, что происходит в ЮАР, но просили не упоминать их настоящих имен. Из множества трагичных рассказов и горьких свидетельств отчетливо выступали контуры отвратительной системы апартеида, которая продолжает калечить миллионы жизней черных и белых жителей ЮАР..

Можно ли вызвать беспорядки, встав «не в ту» очередь на железнодорожном вокзале? Или умереть от разрыва сердца, если вас привезут «не в ту» больницу и над вами склонится врач с «не тем» цветом кожи? В ЮАР все подобное возможно. Потому что система, которую называют апартеидом, подобно раковой болезни, убивает все живое, все естественное, превращая даже тех, кого она призвана защищать, в закомплексованных существ, опутанных колючей проволокой расовых отношений. Раса господ — белые. Раса рабов — черные, цветные и азиаты.

Апартеид обострил все противоречия в современном южноафриканском обществе. Он подвел страну к такому положению, когда в действие начинает вступать классическая формула: верхи не могут, а низы не хотят жить по-старому. Но в белой ЮАР боятся говорить о революционной ситуации, вернее боятся думать о ней.

— У нас нет революционной ситуации, но в любой момент все может полететь к черту, — мрачно заметил южноафриканский бизнесмен, которого я встретил в Хараре.

Провозглашение правящей доныне Националистической партией политики апартеида в 1948 году было равносильно объявлению войны небелому населению. Расистские законы вызвали сопротивление — сначала пассивное и только среди африканцев. Правительство ответило жестокими репрессиями и новыми законами по охране «всего белого». Но борьба не прекращалась, в нее включались метисы, выходцы из Азии (вместе насчитывающие около 3,5 миллиона человек), все больше белых протестовало против бесчеловечной политики.

Движение против расовой дискриминации и за предоставление африканцам политических прав ширилось с каждым годом, вовлекая тысячи новых противников существующего строя. К 80-м годам оно достигло такого размаха, что дрогнула и дала глубокие трещины казавшаяся монолитной система апартеида.

Противоречия в белой общине ЮАР, пожалуй, никогда не были так остры, как сегодня. Впрочем, единой она никогда не была. Главный водораздел проходил между бурами (африканерами) — выходцами из Голландии — и англоговорящими белыми. Оба лагеря постоянно боролись за влияние в политической и экономической жизни, забывая о распах, лишь когда речь заходила об отпоре справедливым требованиям африканцев.

Буры считают себя «белым племенем» Африки, новой нацией, выкованной в тяжелых схватках с природой, туземцами и англичанами. Всех остальных европейцев они называют второсортными гражданами, даже если часть из них прибыла в Южную Африку несколько поколений назад. Надо сказать, что англоговорящие южноафриканцы платят африканерам той же монетой, выставляя их в виде тупых и упрямых людей, начисто лишенных чувства юмора.

— Вы не поверите, до чего глубока пропасть между нами, белыми, — говорил мне учитель из Дурбана, предки которого жили в Шотландии. — Мы ходим в разные церкви, университеты и школы. Обе общины имеют свои банки и страховые компании, благотворительные общества и профессиональные организации.

Из-за притока иммигрантов число буров в процентном отношении снижается. Для них становится все сложнее сохранять лидирующую роль в белом обществе. Новоприбывающие — англичане, немцы, итальянцы — вовсе не собираются присоединяться к африканерам. Для них ЮАР — это край свободного предпринимательства и надежд быстро стать миллионерами. Они могут голосовать за Националистическую партию, но умирать за «африканерские идеалы» они не станут.

Африканеры традиционно считаются опорой апартеида, наиболее консервативной частью белого населения. От них требуется полная поддержка всех актов правительства, без каких-либо сомнений. За «чистотой нравов» десятилетиями следили разного рода «культурные» общества типа «Брудербонд», которые безжалостно отлучали и карали немногочисленных прежде «отступников».

Но нет более единства среди африканеров. Молодые представители «белого племени» сегодня не только ставят под вопрос правоту своих вождей, но и включаются в борьбу против апартеида. «Отступников» становится все больше и больше. Вот уже и в Голландскую реформатскую церковь, которая еще несколько лет назад казалась неизменной опорой апартеида, проникла «ересь» антирасизма. Многочисленные прихожане выходят из нее в знак протеста против поддержки святыми отцами политики апартеида.

Церковь дошла до того, что в проповедях ставила правительство Претории выше господ бога. В Свазиленде мне показали текст заявления взбунтовавшихся прихожан,

которое они направили во все южноафриканские газеты. «Голландская реформатская церковь — это расистская проправительственная организация, которая стала простым идеологическим придатком правящей Националистической партии,— говорилось там.— Она противится любым переменам».

Да и среди священников все чаще раздаются голоса протеста. Один из видных церковных деятелей, Франс Гельденхюс ушел со своего поста из-за возрастающего засилья в религиозных кругах полулегального общества «Брудербонд», поставившего своей целью сохранить господство белого меньшинства над остальным населением и пользующегося фактической поддержкой властей — многие члены правительства входят в это общество. Возмущение передовой общественности вызвали и нападки лидеров Голландской реформатской церкви не только на Совет церковей Южной Африки, выступавший за отмену апартеида, но и на собственные «черные» филиалы, которые в проповедях клеймились как «непатриотичные, либеральные и коммунистические».

В июне 1982 года группа из 123 священников-африканеров подписала открытое письмо с резкой критикой политики Националистической партии. В послании говорилось, что социальный строй, основанный на расовой сегрегации, является неприемлемым. Священники призвали отменить ряд основополагающих законов апартеида, в том числе закон о смешанных браках и закон об установлении определенного места жительства для различных расовых групп. Эти законы, так же как и законы, устанавливающие более низкую заработную плату для африканцев и неравные права с белыми в области образования, заявили священники, «несовместимы с библейскими принципами справедливости и уважения человеческого достоинства».

Но не на добрую почву, а на камни упали слова деятелей церкви. Правительство не только не захотело прислушаться к ним, а пошло по проторенной дорожке насилия и в отношении священнослужителей. Некоторых из них предупредили о возможности судебного преследования в случае повторения протеста. А через несколько месяцев — в октябре — власти возобновили постановление о лишении гражданских прав известного борца против апартеида, видного деятеля Голландской реформатской церкви Кристиана Бейерса Науде. Этим актом правительство Боты вновь ясно показало, что не следует ожидать послаблений во внутренней политике.

Старая теория белого превосходства — бааскап — постепенно теряет свое магическое воздействие на умы. Образованные южноафриканцы сейчас высказывают такие «крамольные» мысли, которые еще несколько лет назад были бы невозможны. Размах освободительного движения, растущее давление на Преторию со стороны международного сообщества поставили правящую верхушку ЮАР перед необходимостью срочного приспособления системы апартеида к новой политической обстановке. Был брошен лозунг: «Приспособиться, чтобы выжить!» Изменение тактики, как надеялись эти деятели, помогло бы замаскировать сущность апартеида, обмануть международное общественное мнение и вызволить ЮАР из политической изоляции.

Кроме политических деятелей, на реформах настаивали и руководители крупных деловых кругов, прежде всего транснациональных корпораций. Бывший президент могущественной корпорации «Англо-Америкэн» Гарри Опенгеймер неоднократно заявлял, что экономика ЮАР не сможет нормально развиваться в прокрустовом ложе апартеида: в стране ощущается серьезная нехватка квалифицированных кадров практически во всех областях именно из-за того, что африканцы были всегда лишены возможности получать «белое» образование и «белые» профессии. Сторонники реформ всегда утверждали, что апартеид в современных условиях должен измениться, иначе его ждет насильственная смерть.

— Расисты поняли, что медлить больше нельзя, что необходимо срочно менять тактику,— говорил мне исполнительный секретарь Национальной партии басуто в Лесото Десмонд Сикише. — И сам факт признания правящей верхушкой ЮАР необходимости перемен имеет, в общем, положительное значение. Но беда заключается в том, что реформы премьер-министра Боты не предполагают ликвидации апартеида, они направлены лишь на придание ему человеческого лица...

Издавела это «новое» лицо кое-кому может казаться другим, если и не приятным, то терпимым. Но вблизи это та же отвратительная маска, тем более отталкивающая, что косметическая операция лишь подчеркнула уродство апартеида.

Бота, которому западная пропаганда усиленно приписывает признаки ферлигте — либерала, — вовсе не стремится изменить систему апартеида, напротив, его реформы

направлены на ее укрепление, очищение от некоторых переживших свое время деталей. К примеру, зачем отстаивать разделение туалетов на черные и белые? Задача Боты — создать на старом фундаменте новое здание апартеида с более современными и не раздражающими глаз формами. И никому не следует обольщаться насчет целей правящей Националистической партии: они остаются прежними — закрепить белое превосходство, запереть африканцев в границах бантустанов, вырваться из международной изоляции и стать признанной мировым сообществом «региональной сверхдержавой». Можно добавить, что с начала реформ Боты стала изощреннее внешнеполитическая пропаганда Претории, увеличилось число попыток вбить клинья в единый фронт противников апартеида в Африке и за ее пределами. Все чаще в официальных заявлениях и неофициальных контактах стала звучать тема «неагрессивной сущности» режима ЮАР, «искренности» стремления наладить новые внешнеполитические контакты, «неизбежности» примирения африканцев с белым господством в южной части Африки.

Но когда в старые мехи наливают новое вино, оно быстро киснет. То же происходит и с «новой» пропагандой. ЮАР уже столько раз обманывала мировое общественное мнение, столько раз откровенно гнала относительно своих целей во внутренней и внешней политике, совершила столько преступлений против человечности, что поверить словам Претории, не подкрепленным ни единым реальным делом, могут разве только совершенно наивные в вопросах политики люди.

«Бота — это вовсе не убежденный либерал, борющийся за ликвидацию расизма в южноафриканском обществе, — писала американская газета «Бостон глоб» в 1982 году. — Он и его сторонники-националисты по любым критериям представляют собой правое крыло: он готов идти вперед лишь потому, что пришел к выводу о необходимости осуществить минимальные преобразования, чтобы обеспечить сохранение привилегий белых. Было бы ошибкой переоценивать его действительную готовность идти вперед».

Да и в Претории особенно не скрывают, в чем состоит цель «новой политики».

— В ЮАР все может измениться, — заявляют там, — только не система апартеида. Белое господство останется навеки. Мы приспособляемся, чтобы выжить.

До сих пор реформы Боты сводятся, по существу, к легкой перелицовке апартеида: кое-где сняли унизительные надписи «Для белых» и «Для черных», африканцев теперь пускают в некоторые гостиницы в крупных городах. Изменены законы, касающиеся африканских профсоюзов.

Реформы ни в коей мере не затронули экономики, в которой апартеид по-прежнему преграждает путь небелым к получению квалификации. Они не затронули образования, здравоохранения, спорта. Они не воссоединили семьи, не отменили ненавистный закон о пропусках, превративший ЮАР в гигантский концлагерь для небелого населения. И даже «бытовой расизм», о ликвидации которого кричит южноафриканская пропаганда, продолжается у всех на глазах в самой Претории.

Один белый из Зимбабве, побывавший по делам в ЮАР, рассказал мне следующий эпизод:

— Я проходил мимо гостиницы недалеко от центра Претории. Перед ней на платной стоянке было несколько автомобилей. Я увидел молодого африканца, который выбежал из гостиницы к своей машине и попытался опустить в счетчик монету. К нему немедленно подскочил полицейский. «Ах ты, тупой черномазый! — заорал он на всю улицу. — Ты что, не знаешь, что за стоянку надо платить заранее?!» И с этими словами он дважды ударил парня по лицу, а затем сел на мотоцикл и умчался, прежде чем кто-либо мог выразить ему свое возмущение. Африканец прошел мимо меня, его глаза были полны слез — слез униженного человеческого достоинства...

В конце 1982 года «Уолл-стрит джорнэл», «Вашингтон пост», «Таймс» и другие ведущие газеты Запада отвели целые полосы под пропагандистские материалы ЮАР. «Создается атмосфера равенства и дружбы!» — кричали заголовки. Но кто поверит саморекламе Претории? Цвета апартеида по-прежнему проступают из-под розовой краски расистской пропаганды.

Население Йоханнесбурга на 70 процентов состоит из африканцев. Этот город рекламируется как самый «международный» в Южно-Африканской Республике, где якобы можно воочию убедиться, как быстро меняются отношения между расами. Так ли?

В то время как пропагандистские органы ЮАР помещали в ведущих западных газетах красочные рекламы с фотографиями «счастливых» африканцев, стоящих рядом с

улыбающимися белыми, редкий йоханнесбургский владелец бара пустил бы к себе на порог африканца. И ни в один кинотеатр не смогли бы войти вместе те, кого засняли на рекламную фотографию.

И это в «самом свободном» городе ЮАР. Можно себе представить, что делается в других районах, куда редко может попасть журналист, где власти и слышать не хотят ни о каких нововведениях.

За стеклянной стеной бара в гостинице «Холидей инн» в лесотской столице Ма-серу, в зеленом полумраке казино мелькали руки крупье, с профессиональной быстротой тасующие карты, раскручивающие шарик рулетки и сгребавшие деньги деревянными лопатками.

— Посмотрите, белые и африканцы вместе, — проговорил мой сосед по стойке, с которым мы познакомились накануне. — В ЮАР такая картинка вызвала бы настоящий бунт. А вот пересекая родную границу, как-то мгновенно забываешь об апартеиде.

Белому обывателю из ЮАР трудно отвыкнуть от стереотипов, которые складывались из поколения в поколение. Он привык смотреть на проблемы своей страны сквозь запотевшие стекла расистской пропаганды. Большинство белых еще не только не понимают аморальности существующей государственной системы, но даже не представляют размеров трагедии, которая ожидает ЮАР, если эта система будет сохранена.

Один из главных фанатиков расизма — бывший глава «Брудербонда» профессор теологии Карел Бошоп. Бошоп (он ушел в отставку в июле 1983 года) считает, что политику апартеида следует довести до «логического конца», завершив как можно скорее создание десяти «независимых» черных бантустанов. О чем идет речь? Расисты хотят избавиться от «лишних» африканцев, загнав их в бантустаны — в самые бедные ресурсами районы страны — и объявив иностранцами. На карте ЮАР эти образования выглядят как точки и островки, зачастую разделенные «белой» территорией. Затем, проповедует профессор, надо образовать свой собственный белый бантустан, в котором будут жить и работать только белые: белые министры, белые рабочие, белые мусорщики и белые официанты. Все будет сделано так, чтобы не допустить «отравления белой культуры» присутствием черных. В недрах «Брудербонда» разработан проект «Оранже», по которому наиболее богатая часть ЮАР — предположительно в районе реки Оранжевой, к западу от Кимберли, — должна стать «совершенно белой». Для одиннадцатого бантустана уже и название придумано — Оранжея. Вокруг него расположатся черные резервации, которые будут обеспечивать белых всем необходимым.

Что касается министров и даже официантов, то здесь у Бошопа проблем нет. Но как быть с неквалифицированной рабочей силой? Кто пойдет в мусорщики? В компании журналистов в Хараре я задал такой вопрос одному южноафриканцу.

— Если мы очень захотим, — гордо ответил он под общий хохот, — то станем и мусорщиками.

Однако сказка про Оранжею вызывает мало энтузиазма у здравомыслящих южноафриканцев. «Ни за какие деньги не стану я жить в этой Оранжеи, — писал обозреватель газеты «Санди экспресс» Александер де Кок. — Да и не только я. У кого хватит совести стать гражданином такого „государства“?»

Но профессор Бошоп и ему подобные не слышат голоса разума. Они продолжают свой бред: «Только так мы обеспечим выживание белых... Мы должны начать новую политическую эру... Пусть только черные попробуют нас тронуть...»

Даже куцые реформы, предложенные Ботой, вызывают сильное недовольство крайне правых, резко активизировавших свою деятельность в последнее время. Лидер фашистской Возрожденной националистической партии (ВНП) Яаап Мараис заявляет, что даже разговор о медленной трансформации апартеида — это предательство. Предводительница женской организации «Каппи коммандо» («Армия в юбках») Мария ван Зил пригрозила: если правительство не прекратит свою политику либерализации расовых законов, то все правые перейдут к насилию. Возник из политического небытия и бывший премьер-министр ЮАР Форстер. В марте этого года он подал свой голос в поддержку феркрампте — «твердолобых». «Если черные получают хоть какие-то права на власть, — заявил он, — то это будет смертным приговором для ЮАР». О том, что правые в ЮАР стремятся укрепить свои позиции, свидетельствуют многочисленные факты.

Южноафриканский журналист Г. Силвер проник на одно из собраний ВНП в Крудерсдорпе. Обстановка в зале живо напомнила ему 30-е годы в Германии, когда гитле-

ровские молодчики устраивали факельные шествия, кричали с трибун об угрозе «арийской расе», призывали к крестовому походу против либералов и коммунистов. «Еще десять лет назад партия Мараиса была дурной шуткой, — писал Силвер. — Никто и подумать не мог тогда, что она сможет завоевать какое-нибудь влияние. Мараиса закидывали тухлыми яйцами и гнилыми помидорами. А сегодня он выступает в лучших залах, ему аплодируют, за него голосуют...»

Программы у Мараиса нет. Он именует себя «человеком для белого человека». Пропаганда «бесстыжого расизма», как называют его взгляды, находит поддержку среди обывателей, которых пугают происходящие в стране перемены. «Вы должны выбрать между бесчестьем и войной! — истерически вопил Мараис. — Но предупреждаю: если вы предпочтете бесчестье, то войны нам все равно не избежать! Она уже наступила!»

В начале 1982 года в правящей Националистической партии ЮАР произошел самый серьезный раскол со времени ее прихода к власти в 1948 году. После бурного заседания руководящего комитета в Трансваале 16 членов были исключены из ее рядов, лишены парламентских мест и постов в правительстве. Среди них известные ультра-расисты А. Треурнихт, занимавший пост министра по делам государственной администрации и статистики, и Ф Харценберг, бывший министр просвещения и профессионального обучения (африканцев).

Группировка А. Треурнихта создала Консервативную партию и заявила, что ее кредо — это религия. Библия и превосходство белых. Программа новой партии южноафриканских ультра в общем-то мало расходится с целями Националистической партии. Единственное отличие состоит в том, что она полностью отвергает разделение власти в любой форме. Так что разница между ферлите и феркрампте не так уж велика. Спор между ними идет лишь о средствах осуществления одной и той же политики. И те и другие хотят сохранить апартеид — это самое главное. Поэтому широко распропагандированное изгнание ультраправых из Националистической партии не сделало политику ЮАР менее расистской.

В те дни, когда «реформисты» скрещивали оружие «с твердолобыми» на съезде в Трансваале, южноафриканские самолеты бомбили ангольские деревни, а премьер-министр П. Бота, временно сняв маску либерала, угрожал, что покончит с «террористами из СВАПО». Забыв о разногласиях, ему вторил и А. Треурнихт, требовавший усилить военный нажим на прифронтовые государства. И их голоса сливались в общем хоре с криками других ультра — из «Южноафриканского бюро расовых проблем» (САБРА), «Федерации культурных организаций африканеров» (ФАК), Союза студентов-африканеров (АСБ) и, конечно же, «Брудербонда».

Процесс саморазрушения режима апартеида правители ЮАР пытаются остановить не только с помощью репрессий, но и за счет тотальной милитаризации общества.

Подготовка к войне, которая, по словам руководителей ЮАР, «может начаться в любое время», стала стержнем их внутренней и внешней политики. Расходы на вооруженные силы с 1973 по 1983 год увеличились почти в 9 раз (с 344 миллионов рэндов до 3 миллиардов рэндов). Удлинился срок обязательной военной службы. По всей стране создаются добровольные отряды белых, цель которых — подавлять на местах любые выступления африканского населения.

Новое законодательство предусматривает обязательную военную подготовку для белых мужчин старшего возраста вплоть до пятидесяти пяти лет. Есть и планы призыва на военную службу белых женщин.

Общий мобилизационный потенциал ЮАР к 1987 году может достичь миллиона, то есть почти вдвое более, чем сейчас. Причем значительная часть будет направлена в Намибию, где в 1982 году построено несколько новых военных баз.

«В случае необходимости мы сможем поставить под ружье практически все белое население в считанные часы», — хвастливо заявляют представители вооруженных сил ЮАР. Выдавать желаемое за действительное легко. Но пойдут ли защищать апартеид все белые Южно-Африканской Республики? Сомнительно. Ведь и в белом обществе начинают понимать, насколько опасна политика войны и расизма, которую проводит правительство. Сопротивление этой политике принимает нежелательные для расистов формы. Многие молодые люди отказываются служить в армии и предпочитают бежать из ЮАР. По официальным данным, число белых, уклоняющихся от военной службы, исчисляется тысячами. В 1979 году Генеральная Ассамблея ООН приняла даже

специальную резолюцию, призывающую страны — члены ООН «предоставлять убежище или свободный проезд в другие страны» лицам, которые вынуждены покинуть ЮАР из-за несогласия с политикой апартеида.

«Спротивление политике войны только начинается, — отмечал издающийся в Лондоне журнал «Нью Африка», — но его значение будет постоянно возрастать. Оно сыграет важную роль в неизбежном поражении этого бастиона расизма на Африканском континенте».

Голоса белых южноафриканцев, протестующих против милитаристской политики Претории, все громче раздаются не только в Европе и Америке, где скопилось несколько тысяч молодых людей, бежавших от службы в расистской армии, но и в самой ЮАР, где некоторые призывники предпочитают военной службе гюремную камеру. Среди молодежи ЮАР растет понимание преступной сущности милитаризма Претории.

Журнал «Резистер», орган Южноафриканского комитета военного сопротивления, борющегося против апартеида, писал: «Белую молодежь ЮАР готовят для гражданской войны, которая будет вестись в защиту расистского правления и жестокой системы апартеида, основанной на угнетении». Правительство П. Боты дало ясно понять, что, если понадобится, оно превратит весь субконтинент в зону войны в надежде, что благодаря военному превосходству удастся сдержать силы освобождения и выиграть время для системы апартеида.

В 1982 году около 500 белых южноафриканцев оказались в тюрьмах за неявку на призывные пункты. С заключенными обращаются крайне жестоко, избивают, пытаются, доводят до психического расстройства. По сведениям журнала «Резистер», в результате «систематических зверств» тюремщиков несколько заключенных погибли. Журнал приводит высказывание двадцатичетырехлетнего южноафриканца, попросившего политического убежища в Австралии: «Жестокая, тоталитарная и аморальная система правления в ЮАР», по его словам, требует от каждого южноафриканца изо всех сил оказывать сопротивление апартеиду.

Противники войны, бежавшие из ЮАР в Европу и Америку, создали собственные организации, ведущие довольно активную борьбу не только против апартеида, но и против сговора американского империализма и южноафриканского расизма.

Представитель Фонда помощи южноафриканским беженцам-военнослужащим (САМРАФ)¹ Дональд Муртон заявил в ООН на слушаниях, посвященных намибийскому вопросу:

«Американское и южноафриканское общества готовы и, нам думается, способны прибегнуть к ядерному террору. Обоих разъедает язва расизма. Расизм в этих странах используется как орудие для «более рационального» управления коренным населением и его землей — с помощью убийств, грабежа и военной оккупации... ЮАР является самым надежным союзником Соединенных Штатов на африканском континенте и одним из главных поставщиков сырья для американской промышленности, включая ядерные материалы. Разорвать связи в ядерной области между правительствами этих двух стран — это, на наш взгляд, вопрос жизни и смерти не только для Африки, но, по сути дела, для всего мира. Альтернативой этому могла бы быть лишь смертоносная ядерная война. Как бывшие солдаты, довольно много знающие о том, что творится в ЮАР, мы убеждены, что в настоящее время ЮАР обладает как ядерным, так и нейтронным оружием.

Мы, белые южноафриканцы, противники войны, особенно те из нас, кто служил в армии на стороне врага, на стороне апартеида в Намибии, с болью осознаем тот факт, что расистский режим Претории посылал нас в Намибию не для защиты миролюбивого народа, а для защиты урана, золота и прибылей монополий. Этот режим никогда не дорожил жизнью африканцев Намибии, Анголы или Зимбабве. Мы вскоре поняли, что ему наплевать и на жизнь собственной молодежи...

Мы призываем других солдат ЮАР сложить свое расистское оружие и поддерживать освободительные движения. Тысячи уже находятся в тюрьмах или в изгнании за отказ стрелять и убивать ради апартеида. Мы, члены САМРАФ, обязались удваивать наши усилия с каждым актом агрессии со стороны южноафриканского милитаристского государства. Мы будем добиваться того, чтобы все больше белых включались в борьбу против милитаризма апартеида. Мы убеждены, что единственным путем к неядерному

¹ Объединяет лиц, дезертировавших из южноафриканской армии, южноафриканских противников войны и американцев — борцов против апартеида.

будущему как на юге Африки, так и на севере Америки является совместная борьба против расизма...»

К сожалению, столь откровенные высказывания южноафриканцы могут делать только за пределами ЮАР, в основном будучи уже на положении изгнанных.

— Мы остаемся пленниками системы, — говорил Ян Норман, бизнесмен из Йоханнесбурга, с которым случай свел меня в Лесото. — Большинство белых, особенно молодежь, хочет перемен. Но таких перемен, которые не затронули бы его образ жизни. То есть чтобы ничего особенно не изменилось. Точно так же обстоит дело и с отношением к африканцам. Спросите любого белого, расист ли он. Девяносто девять из ста с возмущением ответят «нет». Но добавят, что просто они не любят черных, потому что у тех совершенно другая культура, другой уровень образования, другие обычаи. И вообще вся их жизнь от рождения до смерти не похожа на нашу. А если вас еще и постоянно обрабатывают в расистском духе через радио, кино, прессу, то ничего удивительного, что вас будет заботить только собственное благосостояние.

— Ян, а вы пойдете воевать, если начнется гражданская война? — спросил я его.

— А что я смогу сделать? У меня не будет другого выхода. В нашей системе любой шаг в сторону приравнивается к измене. Вот мы разговариваем с вами, а в принципе за эту беседу меня могут арестовать в соответствии с законом о подавлении терроризма: контакт с коммунизмом. В результате меня «запретят» или посадят. Да, я пойду воевать, если меня призовут. Я придерживаюсь либеральных взглядов, но не настолько, чтобы не пойти в армию...

Рост сопротивления политике апартеида заставляет расистское правительство принимать все новые меры по ограничению доступа южноафриканцев к правдивой информации о внутренней и внешней политике режима.

Особенно боятся в Претории правды о действиях Африканского национального конгресса Южной Африки (АНК) — авангарда освободительного движения в ЮАР. Весьма показательна в этой связи оценка ЦРУ попыток правительства ЮАР исказить действительное положение дел в движении против апартеида. Американская газета «Вашингтон пост» опубликовала выдержки из секретного бюллетеня американской разведки, где подчеркивалось, что Претория в настоящее время намерена ввести более жесткие ограничения на публикацию сообщений о действиях борцов за свободу. Но все больший размах приобретает пропаганда милитаризации.

Война в современной ЮАР стала реальностью, вошла во многие дома белых граждан. Почтальоны все чаще приносят похоронки. Пропаганда день ото дня все более пронизывается военным духом. Совсем по-взрослому играют в войну южноафриканские дети. Они уже в дошкольном возрасте знают, против кого предстоит сражаться. В детских магазинах Кейптауна и Йоханнесбурга наряду с оловянными солдатиками, изображающими «агентов коммунизма», детишкам предлагают игры под названиями «Атака на Москву», «Блицкриг». Считается очень модным преподнести на день рождения торт в виде танка.

Страх за свое существование вынуждает южноафриканцев создавать в своих домах настоящие арсеналы. Кое-где даже на работу белые чиновники не рискуют пойти без пистолета или даже автомата.

Южноафриканские власти стремятся любым способом занизить число своих потерь, скрыть военные неудачи, заставить газеты писать лишь то, что выгодно Претории. В похоронках, которые почтальоны приносят матерям белых солдат, часто написано: погиб в результате несчастного случая. И зря несчастные родственники будут пытаться докопаться до истины. В лучшем случае военное ведомство посоветует им удовлетвориться данным объяснением во избежание неприятностей.

Бывшие военнослужащие ЮАР, эмигрировавшие в Европу, рассказывают, как действуют расисты, чтобы скрыть потери. Тела убитых выносят с поля боя и направляют в ближайший морг, где сортируют по три или четыре, и на каждую партию составляется фальшивая версия смерти. Родителям сержанта, убитого в Анголе, сообщили, например, что, когда он ехал в грузовике по горной дороге, «внезапно спустило колесо, грузовик занесло, и он перевернулся».

В этом году широкую огласку в ЮАР получил случай с лейтенантом сил обороны ЮАР Аланом Джингласом. В ноябре 1982 года родители Джингласа получили официальное уведомление о том, что сын погиб «при исполнении служебных обязанностей в зо-

не оперативного района» (читай: в прифронтовых государствах). В начале этого года в мозамбикской печати появилось сообщение, что на самом деле лейтенант Джинглас убит солдатами мозамбикской армии, когда он еще с тремя лицами пытался взорвать полотно железной дороги, ведущей из порта Бейра в Зимбабве. На сессии парламента ЮАР в марте текущего года был задан вопрос относительно Джингласа. Но правительство отказалось отвечать, заявив, что разглашение подобной информации «противоречит национальным интересам».

В середине 1982 года парламент ЮАР принял еще один закон, в соответствии с которым был создан так называемый Совет по средствам массовой информации. Этот орган призван контролировать деятельность всех газет ЮАР.

Мания секретности, которой страдает правительство ЮАР, еще одно свидетельство загнивания системы апартеида. Претория перестала доверять уже и белым южноафриканцам. Самоизоляция правящей верхушки в начале 80-х годов стала еще более очевидной.

— Серая стена пропаганды отгородила нас от всего остального мира, оставив нам лишь шизофренические лозунги расизма, — сетовал Ян Норман, белый южноафриканец.

Один из таких лозунгов призывает защитить белую Южную Африку от коммунизма, проискам которого приписываются все неудачи внутренней и внешней политики расистов. Закон о подавлении коммунизма, принятый в 1950 году (впоследствии переименованный в закон о внутренней безопасности), определяет коммунизм как любую доктрину или программу, «имеющую целью добиться политических, социальных или экономических изменений в ЮАР путем организации беспорядков или волнений». Определение, как видим, очень емкое, в него можно включить любое действие — от плевка на мостовую до чтения запрещенной литературы. Причем необязательно совершить преступление, чтобы быть наказанным, — можно стать преступником, лишь думая плохо о режиме. Лицо, заподозренное в коммунистической или террористической деятельности, превращается в живой труп. Его «запрещают». Что это означает, я узнал из рассказа активистки АНК М. Найду, которая долгое время живет в изгнании в одной из африканских стран.

— Это всегда наступает неожиданно. Тайная полиция любит эффекты. В один прекрасный день вы можете получить письмо — и стать нечеловеком. Или же ночью раздастся стук в дверь и проведут обыск, после которого объявят приговор. Или схватят на улице, а потом выпустят убитым морально. Потом вас выгонят с работы, запретят жить в определенных районах, встречаться с друзьями, не позволят ходить в кино или даже в церковь. И никому нельзя пожаловаться: ведь вас не существует...

Пропагандисты из Претории находят коммунизм повсюду, даже в церкви, если она вдруг выражает несогласие с апартеидом. Критикуя Всемирный совет церквей (ВСЦ) за помощь, оказываемую им национально-освободительному движению юга Африки, йоханнесбургский реакционный журнал «Ту зе пойнт» обвинил ВСЦ в «чудовищном заговоре с целью преподнести ЮАР на тарелочке международному коммунизму». В редакционной статье по этому поводу содержалось и такое типичное для расистской пропаганды изречение: «Всемирный совет церквей и марксизм-ленинизм — это засекреченные культы, в которых меньшинство интеллектуально эксплуатирует подавленные и забытые массы».

С маниакальным упорством африканерская пропаганда призывает к сохранению чистоты «белой крови». Закон о смешанных браках, закон об аморальном поведении, закон о раздельном поселении... Сотни законодательных актов, принятых самым послушным в мире парламентом, непроницаемым забором отделяют белое меньшинство от остального населения.

Полицейские органы пытаются заглушить голоса тех журналистов и газет, которые выражают несогласие с политикой правительства. Министр законности и порядка ЮАР Луи ле Гранж обвинил часть прессы в «намеренном искажении фактов с целью нанесения ущерба государственной безопасности».

Чтобы было легче «работать» с прессой, полиция изобрела индекс неблагонадежности газет и опубликовала список тех изданий, которые считаются наиболее вредными. Всего таких набралось около десятка, в их числе «Рэнд дейли мейл», «Санди экспресс», «Натал уитнесс».

Подавляющее же большинство средств массовой информации ЮАР все еще зау-

ченно повторяет расистский урок. Именно на них опираются правые силы, стремящиеся любой ценой сохранить апартеид, увековечить белое господство. Именно с их помощью продолжают нагнетаться антиафриканские настроения. «Брудербонд», САБРА и другие подобные организации пытаются запугать белых южноафриканцев «черным расизмом», который якобы растопчет белую культуру и изгонит белого человека из ЮАР.

Но так ли это? Откроем программный документ патриотов ЮАР — Хартию свободы, принятую еще в 1955 году. «Мы, народ Южной Африки, — говорится в ней, — заявляем всей нашей стране и всему миру, что Южная Африка принадлежит всем, кто здесь живет, черным и белым... весь народ должен иметь право принимать участие в управлении страной; права всех людей должны быть одинаковы, независимо от их расы, цвета кожи или пола; все органы власти, представляющие меньшинство населения, консультативные коллегии, советы и другие учреждения должны быть заменены демократическими органами самоуправления».

Именно этого-то и боятся расисты. Поэтому они и объявили Хартию свободы «подорванным документом», за хранение которого полагается тюрьма.

А вот как трактуется в Хартии свободы национальный вопрос: «Все национальные группы и расы должны обладать равным положением в государственных учреждениях, судах и школах; все люди должны иметь равное право пользоваться своим родным языком и развивать свою национальную культуру и обычаи; все люди должны быть защищены законом от оскорблений их расовых и национальных чувств. Пропаганда и осуществление национальной или расовой дискриминации и нетерпимости должны караться как преступление; все законы об апартеиде должны быть отменены».

Где же «черный расизм»? Где угроза существованию белых? Беззастенчиво лжет расистская пропаганда, пытаясь скрыть от южноафриканцев правду. А правда заключается в том, что никто не собирается прогонять белых из ЮАР. Лидеры африканских политических организаций как внутри ЮАР, так и за ее пределами неоднократно заявляли, что они борются не против белого человека, а против системы апартеида, которая одинаково притесняет и белых и черных. Пропаганда Претории рассчитана на консервативно настроенного обывателя, которого заботит лишь собственное благополучие. Он — и это вполне понятно — поддерживает апартеид, так как получает от него немалые блага. Но все больше белых в ЮАР понимают, что жить при апартеиде и не бороться против него равносильно предательству самого себя.

— Каждый раз, когда меня спрашивают, откуда я, мне приходится краснеть, — признался Ян Норман. — На меня сразу смотрят как на потенциального негодяя. И самое поразительное, что я сам иногда считаю себя таковым. Апартеид развил в нас потрясающий комплекс неполноценности.

Я вспоминаю слова генерального секретаря АНК Альфреда Нзо:

— В нашей организации вы можете встретить людей с любым цветом кожи. Мы не признаем расизма, боремся против него. И поэтому любые попытки приписать нам расизм являются дешевой уловкой южноафриканских властей, тщетно пытающихся подорвать доверие южноафриканцев к освободительным организациям.

Когда в ЮАР происходят международные спортивные соревнования, то черный южноафриканец, как правило, болеет за приезжих. Игра команды, составленной только из белых, не вызывает у него патриотизма. И он радуется ее поражению, испытывая при этом чувство мстительного удовлетворения.

Апартеид делает черного человека чужим и беспомощным в своей собственной стране. Он не может получить достойную профессию. Он лишен права на равное образование. Он не принимает участия в решениях, которые определяют его судьбу. Он не может чувствовать себя в безопасности — ежеминутно его могут арестовать за малейший проступок. У него нет права на личную жизнь: государство может вторгаться в нее, когда захочет. Африканца ЮАР пытаются лишить самого главного — человеческого достоинства.

Единственное право, которым он пользуется сполна, это право голодать и жить в нищете.

Каждый год уносит десятки тысяч жизней африканских детей. Они умирают от недоедания и различных болезней — пневмонии, туберкулеза, кори. Сотни тысяч детей и взрослых живут на грани голодной смерти. И это происходит в стране, которая производит продовольствия больше, чем какое-либо другое государство в Африке. Она даже экспортирует его: доходы от продажи продовольствия за границу — важ-

ный источник валютных поступлений. Причем производство продовольствия из года в год растет.

Но черным южноафриканцам от «белого пирога» достаются лишь крошки. Они живут в заколдованном круге нищеты, вырваться из которого в условиях апартеида невозможно. В перенаселенных бантустанах земли на всех не хватает. Чтобы заработать, мужчины уходят в города, но их доходов не хватает, чтобы прокормить семью. Постоянный рост цен на продукты питания тяжелым бременем ложится на угнетенное большинство.

Бантустаны — резервуары дешевой рабочей силы для белой ЮАР, они уже давно перенасытили рынок неквалифицированного труда. В условиях острой безработицы каждый год число ищущих работу увеличивается на 100 тысяч человек. Но лишь единицы могут найти ее. Остальные вливаются в двухмиллионную армию безработных. Зарплата африканцев поддерживается на низком уровне, а предприниматели имеют возможность выбрасывать на улицу тех, кто позволяет себе проявлять недовольство.

Правительство практически не вкладывает средства в развитие бантустанов. Подсчитано, что в бантустане Транскей нужно увеличить производство продовольствия в 6 раз, чтобы прокормить население. А в Сискее нужны еще большие усилия: 47 процентов земли разрушено эрозией, 38 процентов истощено и только 15 процентов может использоваться. В самом большом бантустане — Квазулу — на территории в 3,5 миллиона гектаров проживает около 4 миллионов человек. Корреспондент йоханнесбургской «Ранд дейли мейл» сообщил из Квазулу: «Нищета здесь просто вызывающая. Когда-то огромные леса исчезли, когда-то плодородная земля превратилась в пустыню. Тысячи детей ежегодно умирают от недоедания. Каждый год около 100 тысяч голов скота — 10 процентов всего поголовья — погибает от засухи и болезней. В Квазулу не строятся предприятия, а количество безработных растет с угрожающей быстротой».

— Даже если сейчас начать индустриализацию Квазулу, срочно провести аграрную реформу, ускорить развитие проектов самопомощи, все равно нам не избежать катастрофы, — печально констатировал главный министр Квазулу, вождь народа зулусов Гаша Бутелези.

Это факты. И никакая официальная статистика о заработной плате африканцев («Наши черные — самые высокооплачиваемые в Африке»), или жилищном строительстве в африканских районах, или количестве бизнесменов в их среде не может скрыть жестокую правду. И как бы ни старались в Претории придать апартеиду более привлекательный вид, сущность его от этого не изменится.

Над бантустанами ЮАР постоянно висит дамоклов меч расистской «независимости». Транскей, Сискей. Бопутотсвана и Венда уже провозглашены Преторией «суверенными государствами». В 1984 году к ним присоединится и бантустан Квандебеле. Некоторые вожди упорно сопротивляются попыткам Претории завести их в тупик апартеида и тем самым скинуть с себя всякую ответственность за дальнейшую судьбу проживающих там африканцев. Но есть и такие, которые с удовольствием стали марионетками. Самый первый из них — вождь Матанзима, правитель Транскея.

В октябре Транскей отпразднует седьмую годовщину своего превращения в несуществующее государство. Итоги этой «независимости» — трагическое свидетельство преступности политики апартеида.

Доход на душу населения в Транскее — один из самых низких в мире. Единственная статья экспорта — рабочие, вынужденные бросать семьи и заниматься на шахты и фермы белых, чтобы не умереть с голода. Они считаются иностранцами в ЮАР, ибо с получением «независимости» транскейцы потеряли право на гражданство в ЮАР. Экономически Транскей обречен с первого дня «свободы». У него практически нет ресурсов для хотя бы скромного экономического развития. Кроме того, «правительство» Матанзимы решило сначала создать удобства для себя — построить огромные виллы, закупить самые дорогие автомашины, захватить самые плодородные земли.

Режим держится на страхе и беспощадном подавлении любого недовольства. Послушный Матанзиме парламент принял закон о государственной измене, который карает пропаганду против «независимости» Транскея или оскорбление президента пожизненным заключением или смертной казнью.

Не лучше положение и в Венде. В начале этого года йоханнесбургская газета «Соуэтан» так описывала обстановку в этом бантустане: «Здесь сам воздух пропитан страхом. Это правительство, управляющее из-за колючей проволоки». В Венде нет экономической инфраструктуры, продолжала газета. По-прежнему не хватает школ,

больниц и рабочих мест. Население живет в нищете и невежестве. Зато президент Мфефа купается в роскоши. Правительство ЮАР щедро снабжает его деньгами. Оно же платит за содержание огромного аппарата тайной полиции и армии, с помощью которых Мфефа подавляет недовольство своих подданных.

Игра в «независимость» для бантустанов еще продолжается, однако даже африканеры понимают, что затея провалилась. Столичная газета «Претория ньюс» признала в конце 1982 года, что за последние пять лет власти ЮАР «пренебрегали нуждами африканского населения бантустанов», а йоханнесбургская «Стар» сообщила, что экономический рост в Транскее, Венде, Бопутотсване и Сискее за этот период равнялся нулю. Газета подчеркивала, что уровень безработицы в этих бантустанах в 2 раза выше, чем в среднем по стране, — он составляет 40 процентов их населения.

31 декабря 1982 года сильный взрыв прогремел у полицейского управления на площади Джона Форстера в Йоханнесбурге. Именно в этом здании, ставшем мрачным символом бесчеловечности расистского режима, палачи апартеида чудовищными пытками пытаются сломить дух белых и черных патриотов ЮАР. Именно здесь полиция зверски замучила секретаря Трансваальского отделения африканского профсоюза рабочих пищевой и консервной промышленности д-ра Нейла Аггетта.

Нейл Аггетт был белым и поэтому считался в «белой» ЮАР несравненно более полноценным, чем люди с коричневой или желтой кожей. Сын фермера, он по праву рождения мог претендовать на долю в богатствах ЮАР. Взамен от него ожидалась безоговорочная поддержка системы. Своего рода плата за услуги. Аггетт отказался не только платить, но и принимать эти «услуги». Он открыто перешел на сторону большинства в ЮАР — обездоленного, униженного и оскорбленного, — включился в борьбу за его права. Тем самым он поставил себя вне «белого закона», за пределы «круга избранных»; хуже того, в глазах расистов он опозорил цвет своей кожи.

Как только имя Аггетта замелькало в полицейских списках неблагонадежных, ему сразу дали понять, что все пути в белом обществе для него закрыты, что ему не будет снисхождения, если он хоть чуть-чуть переступит закон. «За Аггеттом следили с самого начала его профсоюзной деятельности, — вспоминала его подруга Лиз Флэйд, — Его буквально подстерегали на каждом шагу».

В конце концов случилось то, что должно было произойти. В ноябре 1981 года Аггетта арестовали в соответствии с пресловутым законом о терроризме, который разрешает фактически бесконечное содержание под стражей, без предъявления обвинения.

Больше двух месяцев издевались над ним палачи с площади Джона Форстера. Утром 6 января 1982 года его нашли повешенным в его камере. Полицейское заключение — самоубийство. За 14 часов до смерти Аггетт описал все пытки, которым его подвергали полицейские: электрошок, лишение сна, избиение дубинками. Его слова были подтверждены несколькими свидетелями, сидевшими в той же тюрьме на площади Джона Форстера. Кстати, за это одного из свидетелей, М. Смизерса, полиция лишила гражданских прав на два года, а другому — Аурету ван Хеердену — переодеться полицейские угрожали смертью.

Нейла Аггетта пытали сразу несколько полицейских. Профессионалы, через руки которых прошел не один десяток южноафриканских патриотов. Аггетта допрашивали перед смертью 62 часа без перерыва. Возглавлял команду палачей майор Артур Кронрайт, известный по многим подобным случаям и занесенный специальной комиссией ООН по правам человека в список лиц, виновных в преступлениях апартеида.

Кронрайт, будучи еще капитаном, точно такими же методами допрашивал шестидесятилетнего Мафике Малеле. Интенсивный допрос длился без перерыва 6 часов, после чего, как говорилось в официальном заявлении полиции, Малеле неожиданно «почувствовал себя плохо, упал и ударился головой о край стола». Почему это произошло, никто из полицейских объяснить не мог. «Никто не виноват» — таков был вердикт председателя правительственной комиссии по расследованию П. Дормела. Вскрытие показало, что Малеле скончался в результате жестоких избиений.

Имя Кронрайта фигурировало в деле Мартина Нкоси, который вышел из полиции живым, но искалеченным человеком, и многих, многих других, побывавших в руках палача.

Для стражей апартеида Аггетт несомненно был злейшим врагом. В их стерилизованном расистской пропагандой мозгу слово «терроризм» выскакивает всякий раз, ког-

да они слышат критику своего строя, видят человека, который мыслит по-другому или поднимает свой голос в защиту угнетенных.

Гибель Аггетта привела в лагерь борцов против апартеида многих белых южноафриканцев. И самое показательное — людей среднего и пожилого возраста, то есть тех, на кого традиционно опирались «твердолобые». Среди них шестидесятипятилетняя мать Аггетта, сказавшая после окончания официального расследования обстоятельства гибели ее сына: «Его смерть изменила всю мою жизнь. Передо мной открылась новая сторона в жизни моей страны...»

Гибель Аггетта с потрясающей ясностью вновь высветила ускользающий от внимания многих на Западе факт: апартеид — это не просто «раздельное развитие», основанное на расовой дискриминации. Дело выглядит куда сложнее, чем его выставляют пропагандисты Претории. Не просто цветной барьер разделяет южноафриканское общество: его прежде всего делит барьер классовый.

И все труднее становится расистской пропаганде сгонять в послушное стадо белую молодежь. Претория твердит, что африканцы хотят «уничтожить всех белых», а в стране распространяется Хартия свободы, в которой прямо говорится, что цель борьбы — создать демократическое многорасовое общество в ЮАР. В профсоюзное движение африканцев все больше вливается белых активистов. Подсчеты общественного мнения уже не утешают правительство. Если раньше его внутреннюю и внешнюю политику поддерживало подавляющее большинство, то теперь число оппонентов растет настолько стремительно, что стало просто опасно проводить подобные опросы.

Таких, как Нейл Аггетт, становится все больше в ЮАР. Пусть пока многие белые еще несознательно включаются в борьбу против прогнившего строя расовой дискриминации, но одно то, что в тюрьмах ЮАР появились белые политические заключенные, а в различных странах мира просят политического убежища тысячи молодых белых, не желающих жить в своей же стране, — это ли не свидетельство роста политической дифференциации в белой общине ЮАР, усиления идей неприятия апартеида как правой идеологии, стремления поскорее покончить с безумством главарей расизма?

Убийство Аггетта вызвало небывалый по силе протест в ЮАР. 100 тысяч рабочих на полчаса прекратили работу в знак протеста против произвола властей. У могилы патриота, как сообщал корреспондент западногерманского журнала «Штерн», один из присутствующих воскликнул: «Он не был террористом!» — и толпа ответила: «Он был героем! Террорист — это Бота!»

8 марта этого года еще один заключенный, Тембуз Саймон Мндаве, «покончил с собой» в камере полицейского участка города Нелспрейчт в Восточном Трансваале. Его пытали «всего две недели» (сроки сокращаются!). Но комиссар полиции Майк Гельденхьюз заявил, что полиция не имеет никакого отношения к гибели Мндаве. Гельденхьюз цинично предположил, что Мндаве повесился «из-за угрызений совести», так как якобы предал своих товарищей. Типичный образец полицейской провокации.

Символично, что через несколько дней после убийства Аггетта парламент ЮАР принял новый закон об усилении борьбы с «терроризмом», который увеличил срок наказания за «подрывные действия» до двадцати пяти лет тюремного заключения. Этот закон признает виновным любого, кто окажет помощь или скроет местонахождение «террориста». Другой новый закон официально разрешает подслушивание телефонных разговоров и перлюстрацию почтовой корреспонденции.

Нельзя сказать, что Преторию не тревожит растущее недовольство системой апартеида среди белой молодежи. Но особых раздумий по поводу того, как исправить положение, правящая верхушка себе не позволяет, прибегая к старому, испытанному методу — насилию.

И вот уже африканера Аурета ван Хеердена, студенческого лидера, Кронрайт связывает узлом и оставляет так в течение двух дней под строгим надзором. Когда же и потом тот отказывается дать показания против себя, его пытаются электрическим током, подвешивают к потолку и т. д.

Вот судья ван Дайк, приговаривая к десяти годам заключения по обвинению «в государственной измене» Барбару Хоган, кричит, что «ЮАР находится в состоянии войны!». С кем? Уже не только с африканцами, но и со своими же белыми соплеменниками?

А вина тридцатилетней Хоган заключалась лишь в том, что она помогала африканцам отстаивать свои права и боролась за справедливость. «Перед вами серьезная и

умная тридцатилетняя женщина, — писала в редакционной статье южноафриканская газета «Кейп таймс». — По словам родителей, она преданная христианка, которую с детских лет волновали пороки южноафриканского общества... Молодые люди, подобные ей, обычно считаются цветом нации в любой цивилизованной стране. Но в ЮАР ее сажают в тюрьму на десять лет». Барбара Хоган стала первой белой женщиной в ЮАР, осужденной за «политическое преступление».

И вот ректор Витватерсрандского университета — колыбели многих нынешних столпов апартеида — публично осуждает несправедливый приговор Барбаре Хоган. Действия Барбары Хоган, сказал доктор Майк Рошолт, были «мотивированы стремлением к социальной справедливости в ЮАР; они отражают растущий раскол в нашем обществе и стремление молодежи во всех слоях населения к социальным и политическим изменениям».

— ЮАР никогда уже не будет прежней, — говорил мне Крис Хани, представитель АНК в Лесото. — После победы наших братьев в Мозамбике, Анголе, Зимбабве рост политического самосознания африканцев ЮАР происходит с потрясающей быстротой. Волна забастовок, прокатившихся по стране, ясно продемонстрировала, на что способен африканский рабочий класс.

Когда 3500 рабочих завода «Фольксваген» в Порт-Элизабете вышли на улицы, к ним присоединились рабочие других предприятий. Их выступление, по свидетельству печати, вызвало «серьезные волнения во всей автомобильной промышленности в этом районе». Водители крупнейшей частной автобусной компании «Путко» своей стачкой парализовали местное автобусное сообщение. Лишь применив оружие, полиция смогла подавить выступление забастовщиков на строительстве нового предприятия по производству жидкого топлива «Сасол». Неделю не убрали Йоханнесбург африканские мусорщики. Город буквально утонул в гниющих отбросах.

В 1982 году на промышленных предприятиях ЮАР состоялось около 400 забастовок. Количество рабочих, принявших участие в протестах, значительно возросло. По данным газеты «Ранд дейли мейл», их было 120 тысяч. Газета отметила, что профсоюзы стали лучше координировать свои действия, ставить перед бастующими более четкие цели. Ожидается еще больший рост забастовочного движения.

Что случится с расистским режимом, если в один прекрасный день забастует хотя бы половина из десятиллионной армии африканских трудящихся? В Претории боятся и думать об этом.

«Расисты должны понять, что африканцы ЮАР рано или поздно добьются свободы, — сказал епископ Десмон Туту, генеральный секретарь Совета церквей Южной Африки, один из активных борцов против апартеида. — Пока у них есть еще возможность отменить апартеид мирным путем. В противном случае африканцы заставят их это сделать силой».

Антирасистское движение в ЮАР с каждым годом набирает темп. Его признанный лидер — Африканский национальный конгресс, выступающий с классовых позиций. Политическая работа в массах, которую проводит АНК, способствовала появлению в стране многочисленных организаций, борющихся против апартеида. В их числе «Комитет десяти» в Соуэто, крупнейшем африканском пригороде Йоханнесбурга, Южноафриканский комитет по спорту, выступающий за прекращение расовой дискриминации небелых спортсменов, и многие другие.

Несмотря на различие методов борьбы и расхождения в подходе к будущему устройству ЮАР, все эти организации имеют общую цель — навсегда покончить с апартеидом. Правда, правительству пока удается не допустить их слияния в общий фронт. В этих целях применяются традиционные средства: подкуп, шантаж, аресты. Расисты пытаются использовать в своих интересах эгоистические устремления отдельных африканских деятелей, разжечь этнические противоречия. Пользуясь поддержкой западных держав, расисты наращивают вооруженные провокации против патриотов из АНК, нападают на мирное население соседних с ЮАР стран, стремясь запугать их, заставить прекратить помощь освободительной борьбе. После прихода к власти в США администрации Рейгана Претория стала действовать с большей наглостью. Еще бы, если раньше только расистская пропаганда называла освободительные движения терроризмом, то теперь к ней присоединилась и официальная пропаганда США. Америка Рейгана пришла на помощь убийцам Стива Бико и Нейла Аггета, она оказалась в одном лагере с фашистами Мараиса, палачами африканских патриотов Т. Могоеране,

Дж. Мосололи и М. Мотаунга, которых казнили в июне нынешнего года, несмотря на протесты мировой общественности. Ложь расистов зазвучала в заявлениях Белого дома. Интересы Вашингтона и Претории переплелись настолько, что уже и не разберешь, чья речь, чье выступление,— и там и здесь одни и те же термины: «террористы», «черный расизм», «неспособность черных», «превосходство белых».

— Рейган показал своими действиями всему миру, что американский империализм пойдет на любые сделки с южноафриканским расизмом ради того, чтобы продолжить эксплуатацию природных ресурсов Южной Африки, чтобы сохранить в ЮАР такой режим, который бы охранял американские интересы,— говорил автору этих строк генеральный секретарь АНК Альфред Нзо.— Но усилия тех и других тщетны: борьба нашего народа ширится с каждым днем...

— Однажды с шестилетней дочерью я гулял по берегу реки Каледон, по которой проходит граница между Лесото и ЮАР,— рассказывал мне активист АНК Матабата.— Каледон неширок, и за мутной полоской воды мы отчетливо видели поля и холмы на другой стороне, хижины крестьян и усадьбы белых фермеров. Казалось, вот она, наша родина, рукой подать. «Папа!— вдруг сжала мне руку дочка.— Пожалуйста, принеси мне горстку нашей земли». И она умоляюще посмотрела на меня своими черными глазками. Я переплыл Каледон. Дочь хранит эту горсть земли как свою самую дорогую реликвию. И я подумал тогда, что жизнь моей дочери не будет такой тяжелой, как моя, и ее дети вырастут в свободной стране, в равноправном обществе, где не будет ни расизма, ни угнетения. А что такое время скоро наступит в ЮАР, я несколько не сомневаюсь...



Г. ВАСИЛЬЕВ



ГОРОД АВТОКОРОЛЯ

В Тулу не ездят со своим самоваром. Если следовать этой поговорке, то в Детройт не следует ехать на машине. Вот я и сидел перед картой, ломая голову над неразрешимым вопросом: как добраться до автомобильной столицы Америки без колес. И вовсе не потому, что Детройт оскорбил бы вид моего «олдсмобила».

Дело в том, что еще со времен «холодной войны» американские власти поделили для нас, советских людей, всю территорию Соединенных Штатов на два рода районов — открытые и закрытые. Первые ты можешь посетить, если заблаговременно, за двое суток, не считая выходных и праздников, уведомишь государственный департамент о всех деталях поездки: номер машины, номера дорог, места ночевки. Все точно и конкретно, чтобы тот, кому нужно, мог, если ему понадобится, «висеть у тебя на хвосте». Заезжать во вторые — они составляют примерно четверть от общей площади страны — возбраняется. Посещать их разрешается лишь в особых случаях в порядке исключения.

С Детройтом случай из наихудших. Какой-то злонамеренный бюрократ соорудил такую головоломку, что если делать все по правилам, то не увидишь его, как своих ушей. Детройт — закрытый город. Можно было бы ограничиться его пригородом Дирборном, где мне уже однажды довелось побывать. Там находится штаб-квартира Форда и один из крупнейших заводов этой компании. Дирборн — город открытый. Но в закрытом районе. Как перескочить через запретные земли? Конечно, самолетом. Но аэропорта в Дирборне нет. Пришлось бы лететь в тот же Детройт, где нога советского человека ступить не должна.

Неужели уезжать из Америки, не побывав снова на родине массового автомобильного производства?

Карта, над которой я ломал голову, лежала на столе в комнате помощника посла. Мимо проходил сам хозяин дома Анатолий Федорович Добрынин. Любопытствовал, чем это я так озабочен. Услышав объяснение, сказал просто: «Надо попросить у госдепа исключение».

Так благодаря ходатайству советского посольства и вследствие того, что американское внешнеполитическое ведомство не сочло мой визит в Детройт опасным для США, я смог отправиться в город, откуда в начале века по дорогам Америки, тарыхтя моторами, обдавая прохожих ядовитым дымком, покатали тысячи, потом десятки тысяч, потом миллионы самодвижущихся повозок, меняя сами эти дороги, страну и образ жизни народа.

О том, что такое для американца автомашина, сказано и написано много. Авто здесь не просто средство передвижения, автомобиль для американца — это зачастую и его колыбель и смертная ложе, дом на колесах, уединенное место свиданий, заменяющее популярные у молодых москвичей кустики Сокольнического и Измайловского парков. По дорогам страны катят запряженные быстроходными железными конями трейлеры и самоходные дома, в которых семья живет круглый год. Вкатывает такой трейлер на специальную площадку, где выведены электричество, водопровод, канализация, подключается к ним, и вот человек уже дома, на новом месте. Между прочим, такая непоседливость американцев вызвана в значительной степени совсем

не романтическими устремлениями. Трудовой человек кочует по стране в погоне за работой.

Машина вросла в здешний быт, порождая сопутствующие ей все новые и новые формы организации жизни...

На обочине шоссе за забором, отгораживающим поле размером со стадион, поднялся в небо огромный экран. Это драйв-ин-тиетр, въездной кинотеатр. Зрители въезжают в этот зал под открытым небом на своих автомашинах, получают репродуктор и смотрят кино, не слезая с сиденья.

Существуют и въездные банки. Деньги со своего счета получаешь, тоже не вылезая из машины. Подъезжаешь к кирпичной пристройке сбоку банка, опускаешь стекло, бросаешь заполненный листок из чековой книжки в металлический раструб и через несколько минут из него же извлекаешь конверт с деньгами. Переговоры с кассиром ведешь по радио. Лицо его видишь на телеэкране тут же, над раструбом чекоприемника.

Есть въездные закусовые, нехитрую снедь — заряженные сосисками или бифштексами булочки в пластмассовых коробках — получаешь в окошке, вытянув руку из окна автомашины.

Появились уже автоцеркви. Устроены они на манер въездного кинотеатра, только вместо экрана — амвон, а на нем священник. Слушай себе через репродуктор проповедь, воспаряй душой к богу, не забывая при этом прогревать мотор для дальнейшего автопробега.

Двор у соседа всегда зеленее, гласит английская поговорка. С каких-то пор ухоженность двора у соседа как символ статуса для американца заменили блеск и размеры автомашины. «Видно, Смит плохой доктор, если он ездит на маленьком «форд-фелконе» выпуска 60-х годов», — так примерно рассуждали американцы. И незадачливый Смит, чтобы не потерять пациентов, покупал большой, великолепный «крайслер-империал». «С Джонсом лучше не связываться. Какой он юрист, если около его дома стоит старенький «шевроле»?» — рассуждали жители благополучного пригорода И прозванный Джонс приобретал новейший «линкольн-континентл».

С подобным механизмом общественного мнения привыкли считать не только врач, адвокат или другой обеспеченный человек. Почти каждый американец старался купить машину побольше. Настолько большую, насколько позволяли его деньги. О стоимости бензина особенно не задумывались. Еще лет десять назад он был здесь дешевый, и казалось, что нефти этой, что била фонтаном на богатейшем и нищем Ближнем Востоке, неисчерпаемые моря.

Сегодня положение иное. «Мы еще не придумали способа для того, чтобы отлучить типичного американца от автомобиля, который он так любит», — сказал занимавший в то время пост министра энергетики США Джеймс Шлесинджер.

«Отлучать» американца от автомобиля потребовалось потому, что мир вступил в период, который не совсем точно назван был периодом энергетического кризиса. Времена дешевого топлива навсегда ушли в прошлое. Упрочившие свои позиции нефтепроизводящие страны круто повысили цены на главное экспортное сырье. Начался процесс, последствия которого по сей день ощущаются в экономике Запада.

Применительно к автомобилю резкое вздорожание бензина (в четыре-пять раз за последние восемь лет) впервые заставило задуматься над тем, сколь иррационален с общественной точки зрения тяжелый американский автомобиль. Две — две с половиной тонны металла, могучий мотор в двести — двести пятьдесят лошадиных сил, а везут они всего одного человека. Каждая миля — треть литра сожженного бензина. Каждая машина — душегубка, отравляющая городской воздух.

И стал американский автомобиль ужиматься — уменьшаться в габаритах, легчать по весу, сбавлять число рысаков, загнанных под его капот. И вот уже как «машину будущего» рекламирует «Форд» свой сверхкомпактный «эскорт» с четырехцилиндровым двигателем вместо привычного шести-, восьмицилиндрового. Появились на свет правительственные законы, ограничивающие допустимый выброс углекислого газа в воздух, устанавливающие минимальное количество миль на галлон израсходованного бензина. В стране, где общественный транспорт был почти целиком вытеснен индивидуальным автомобилем, стихийным творчеством масс стали возрождаться коллективные формы использования автотранспортных средств. В коридорах Вашингтонских учреждений я видел на стенах написанные от руки объявления — автовладельцы сколачивали группы для совместных поездок в одной машине. Конечно, на паях.

Ужимается американский автомобиль. И в этом факте проявляется нечто большее, чем последствия нефтяного кризиса, чем судьбы американской машины. Как бы ни бушевали люди Рейгана, ужимается и сама Америка. Скромнее становится место первой капиталистической державы в мире, во многом она уже и не первая. Времена безраздельного экономического, политического и военного господства Соединенных Штатов в мире уходят в прошлое.

От Вашингтона до Детройта часа полтора лета. Растаяли в глубокой синеве ночи огни американской столицы. Прошли внизу мелкие, словно щепотки рассыпанной соли, огоньки близлежащего Балтимора, и к стеклу иллюминатора прильнула бездонная темнота. Но ненадолго. Не успели пассажиры отстегнуть ремни, выпить по чашечке кофе со сладкой плюшкой — нехитрой снедью, предлагаемой авиапутешественникам на коротких маршрутах,— как за стеклом снова стало разгораться светопреставление. Пошли россыпи бесконечных огней, запылали оранжево-красные пятна, похожие на пожарища. Только в самом низу под нами зияла темная пустота. Там угадывалась водная поверхность. Мы влетели в небо обширного промышленного района, раскинувшегося на берегах Великих американских озер.

Буффало, Кливленд, Гэри, Детройт — для американца названия этих городов ассоциируются с жаром доменных печей, едим дымом химических заводов, со скрежетом металлообрабатывающих станков, с ровным бегом нескончаемого конвейера, выбрасывающего из ворот завода тысячи и тысячи сверкающих лаком автомашин. Как в свое время в Англии Манчестер, Шеффилд или Лидс, они стали пионерами промышленной революции в Америке. История и природные условия предопределили району Приозерья роль первоначальной базы массового промышленного производства в стране. Этому способствовала близость к заселенному раньше других восточному побережью. Великие озера и впадающие в них реки служили дешевыми, не требовавшими больших капиталовложений транспортными артериями. Под боком находилось необходимое сырье — железная руда в штате Миннесота, уголь в Пенсильвании и Огайо. Требовались только трудолюбие, предприимчивость, изобретательность. А этих качеств осваивавшим Новый Свет выходцам из других стран было не занимать.

...Все шире разливалось внизу море огней, уходя куда-то вверх к невидимой линии горизонта. Самолет снижался. И в сумятице светящихся точек — белых, зеленых, красных — начинал проступать геометрический рисунок — то ли огромная печатная схема из тех, что используются сейчас в телевизорах, то ли фантастическая картина художника-абстракциониста. Словно россыпи драгоценных камней, разбросанных по бархатному камзолу ночи. Светлые нити бусинок, замысловатый узор янтарных, изумрудных, рубиновых камешков. Потянулись беспросветно темные заводы — озеро Эри.

Под нами разворачивалось гигантское людское обиталище, край больших городов, сросшихся в один гигантский мегалополис. Там, внизу, были миллионы домов и несчетные башни небоскребов, закручивающиеся серпантином ленты шоссе, поднявшиеся спинами железных динозавров огромные мосты, дышащие огнем заводы. И в который раз сознанием овладевала простая и каждый раз волнующая мысль о фантастических творческих возможностях человека — хрупкого, слабого, брэнного, но бесконечно сильного своим неистребимым желанием строить, придумывать, творить.

А за окном ультрамариновыми бусами бежали посадочные огни.

Уже в аэропорту Детройт напоминает о своей основной профессии. В людном зале на ярко освещенном стенде неспешно вращаются, давая осмотреть себя со всех сторон, новенькие, сверкающие лимузины. «Форд-эскорт», «Джей-кар» компании «Дженерал моторс» — все небольшие автомашины, из тех, что здесь называют компактными. И только «крайслер», как бы презрев времена дорогого бензина, демонстрирует длинный черный лимузин «барон». Зеленоватое стекло стен, алюминий, мягкий шелест фонтана в зале, бесшумное движение эскалаторов — всем настроением аэропорта автомобильная столица Америки старается убедить тебя, что все в порядке, «business as usual»¹, как говорят американцы.

А потом уже, когда катим на такси из аэропорта в мотель, просвещают тебя подвешенными вывесками на фасадах кирпичных корпусов вдоль шоссе — «Дженерал моторс», «Форд», «Крайслер», «Юнайтед Стейтс стил».

¹ Бизнес как обычно (англ.).

«Юниройял» — химическая компания, выпускающая шины, — выставила на обочине дороги огромную, размерами с трехэтажный дом, покрывшую. А конкурирующая фирма «Файерстоун» — таких же размеров светящийся щит, сообщающий, сколько уже выпущено в этом году в Америке автомашин. Мелькнули цифры: 4 595 002. Для октября негусто. Ведь в лучшие годы здесь производилось в год до 10 миллионов легковых автомашин.

«Сламп!» — коротко откомментировал мое замечание таксист-негр. Потом, встречаясь с рабочими, руководителями автокомпаний, профсоюзными деятелями, я все время слышал это слово «сламп» (спад) или его синоним — кризис.

А Билл Витик сказал так:

— Дюже погано. Лайк грейт дипрешн.

Билл Витик, Василий Григорьевич Витик, как он просит величать его, и его брат Джон, он же Иван Григорьевич, — мои добрые детройтские друзья. Познакомился я с ними несколько лет назад, когда первый раз собирался в главный автомобильный город Америки. Позвонил Биллу Аллену, корреспонденту газеты американских коммунистов «Дейли уорлд» в штате Мичиган. Просил помочь оказать содействие, познакомиться с людьми.

— Нет проблем, — сказал ветеран-журналист. — Вам помогут братья моей жены — Билл и Джон. Рабочие-автомобилестроители. Пенсионеры. Свои ребята. К тому же говорят по-русски.

И дал мне номер телефона братьев Витиков.

Не успел разместиться в мотеле, как раздался звонок телефона.

— Геннадий? Это я, Василий. Когда хочешь меня видеть?

Голос был немолодой, надтреснутый. И я сразу представил себе моего нового заочного знакомого: сухощавый старичок, в очках, наверное, в латунной оправе, мастеровой человек из тех, что, поудобнее направив свет железной лампы, тщательно работают у верстака. Договорились встретиться на следующий день утром. Василий Григорьевич обещал приехать за мной в мотель в десять утра.

Мотель «Конгрэшнл», что на окраине Дирборна, рядом с шоссе, по которому день и ночь катят автомашины, мало чем отличается от тысяч подобных же заведений по всей стране. Двухэтажная п-образная постройка с расчерченной на прямоугольники асфальтированной площадкой на внутреннем дворе для стоянки автомашин. Двери номеров по фасаду. К верхним ведут железные лестницы и балкон во всю длину. В комнате удобная постель, белоснежная ванна с душем, столик с фирменными конвертами, цветной телевизор на вращающейся подставке (чтобы можно было смотреть и из-за стола, и сидя в кресле, и лежа в постели) и, конечно же, Библия в черном переплете. Работает кондиционер, летом подает охлажденный воздух, зимой подогревает его.

Порождение автомобильного века, мотель обеспечивает привычный отдых сотням тысяч, миллионам путешествующих за рулем, тем, кто приехал по делам, отправился с семьей в поездку по стране, мчится навестить прихворнувших стариков родителей. И где бы он ни был, этот мотель — в дымном промышленном Дирборне или в напоенном хвойным ароматом Секвойя-парке, в жаркой пустыне Аризоны или на крайнем севере Аляски, — он будет все таким же: площадка для парковки автомашин, индивидуальные двери по фасаду, кондиционер, ванная, телевизор. Разве что вместо двухэтажного он может оказаться одноэтажным, или, если мотель подороже, во дворе будет манить тебя прозрачной водой бирюзово-зеленоватый бассейн.

Утром, как было условлено, вышел во двор, чтобы встретить новообретенного детройтского друга.

Разорвав пелену туч, несмелое осеннее солнце с беспощадной четкостью рисует словно бы давно уже знакомую картину. Кирпичная стена примыкающей к мотелю закуской, бензоколонка напротив, трепещущие разноцветные флажки на веревках рядом, где выставлены на продажу подержанные автомашины. А мимо катят грузовики с ящиками, нефтеналивные цистерны, легковые автомашины. Типичный пейзаж трудового пригорода любого американского города.

Хожу, поглядываю на часы, а Василия Григорьевича нет как нет. Разные люди приезжают, паркуются во дворе мотеля, а моего мастерового не видно. Вот уже давно прохаживается у темно-вишневого «додж-дарт» крупный, дородный человек, похожий на министра. Два раза прошли мы мимо друг друга. Человек как бы поглядывал на меня с немym вопросом.

— Василий Григорьевич, это вы? — спросил я «министра».

— Я,— ответил «министр».

На этот раз Василий Григорьевич приехал вместе с братом Иваном. Если Василий чем-то похож на министра, то Иван — скорее на бывшего боксера: широкоплечий, круглолицый, со стриженной под бобрик круглой головой. Иван — он помоложе, ему шестьдесят пять — сидит за рулем, Василий, он двумя годами старше, — на заднем сиденье. Предлагают отправиться в музей Форда. Почему бы и нет? Ведь известно: чтобы лучше понять сегодняшний день, надо знать и вчерашний и позавчерашний.

Когда-то давно, в конце прошлого века, из города Самбора, что в Прикарпатье — тогда это была часть Австро-Венгерской монархии, — отправился в дальний путь отец Джона и Билла Витиков. Отправился искать счастья, гонимый нуждой, безземельем. Была еще одна причина отъезда на чужбину — не хотел украинец идти в австро-венгерскую армию. Высадился паренек в Нью-Йорке, прошел все мытарства, которые выпадали на долю почти каждого, кто ступил на берег неподалеку от статуи Свободы зывавшей к старому миру:

Пусть придут ко мне
Твои усталые, нищие,
Твои мятущиеся толпы,
Жаждающие дышать свободно,
Отчаявшиеся отбросы
Твоих переполненных берегов.

Постепенно перебрался на запад. Был грузчиком, шахтером, потом стал работать в котельной фордовского завода. Так вот и появились в Детройте американцы по фамилии Витик. Так же как американцы с фамилиями Зворыкин, Зубок, Манишевич, Лагардия, Лю... Они были русскими, украинцами, белорусами, поляками, евреями, итальянцами, китайцами, а стали американцами.

Недалеко от Вашингтона до Детройта. Миль восемьсот на северо-запад, а совсем другой коленик. Куда делось пышное увядание природы, провожавшее нас в окрестностях американской столицы. Серое небо, далеко зашедшая осень с оголившимися деревьями, растительность скромная, даже чахлая. Повяло чем-то северным. И на всем печать дыхания промышленности: запах жженой резины в воздухе, приземистые фабричные корпуса вдоль шоссе, переплетение железнодорожных рельсов на товарной станции, обрывки старых шин, куски картонных ящиков, валяющиеся по краям дороги. Совсем нет зеленой, ухоженной земли, образцово-показательного свечения золотой осени, оставшихся позади, в Вашингтоне.

Мягко катит наша машина по шоссе. Уверенно, четко ведет ее меньшей из братьев Витиков. А старший философствует.

— Уся экономика от аутомобил,— говорит Василий Григорьевич.

Он мешает английские, русские, украинские слова, но опорно не хочет переходить на понятный всем нам английский. Встретились русские, и он говорит по-русски. Американец Уильям Витик демонстрирует лояльность стране своих предков.

— В Америке все основано на автомашине, все вращается вокруг автомашины, — не без пафоса рассуждает старый рабочий. — Ведь автомобиль — это не только машина. Это и авторемонтные станции, и бензоколонки, и бензин, и дороги... А цемент и асфальт для дорог, металл для корпусов, резина для колес, стекло. А страховые компании, адвокаты, дорожная полиция... Кабы машины немає, все зупинилось бы. А вообще-то что такое машина? — мудрствует Василий Григорьевич. — Железо, клей да резина. Ее специально лепят так, чтобы года через три развалилась на куски. К тому времени, когда выплатишь последний взнос за купленную машину. А что было бы, если бы машины служили лет десять—пятнадцать? Застой. Беда.

Солнечные блики скользили по его лицу, высвечивая глубокие морщины, бежали по натруженным пальцам рук, и «министр» превращался в пожилого, много повидавшего, много потрудившегося на своем веку крестьянина.

— Трамвай тут був,— вступает в разговор Витик-младший, когда мы выехали на центральную улицу Дитрборна.

Трамваев в Америке давно уже нет. Остались, кажется, только в Сан-Франциско. Да и то только как туристская достопримечательность — взбегают на горки и катятся вниз, прикрепленные к движущейся под мостовой цепи. И городской транспорт, автобус, например, тоже почти вымер. Господствует индивидуальный автомобиль.

Кругом на больших щитах названия тех, кто его производит, четырех китов американского автомобилестроения — «Дженерал моторс», «Форд мотор компани», «Крайслер», «Америкэн моторс».

Но чаще всего здесь встречается начертанное старомодными витиеватыми буквами, так, как оно писалось на радиаторах первых машин этой компании, имя — Форд. Потому что Дирборн — вотчина Форда.

По обеим сторонам дороги простирались ухоженные зеленые поля.

— Это — земля Форда, — объясняют братья.

Справа потянулся высокий кирпичный забор, охвативший обширную территорию, из-за которого доносился рев моторов.

— Испытательный полигон Форда. Здесь обкатывают новые машины.

Среди зеленых полей выросло многоэтажное высокое стеклянное здание с развевающимися на флагштоках флагами многих стран мира. Похоже на здание ООН в Нью-Йорке. «Всемирная штаб-квартира компании „Форд“» — написано четкими буквами на фасаде этого зеленоватого коробка.

На горизонте, таинственно поблескивая темными стеклянными плоскостями, поднялись коричневато-золотистые кубы какого-то современного строения.

— Гостиница «Хайят ридженс», — говорят братья. — Тоже построена на деньги Форда и принадлежит ему.

Можно подумать, все здесь — заводы, гостиницы, магазины, земля, даже само небо — принадлежит всемогущему Форду.

В своей повести «Автомобильный король» Эптон Синклер рассказывает о том, как в конце прошлого века механик-самоучка, служащий электрической компании, проживавший на окраине Детройта, построил самодвижущуюся повозку. Как в дождливый день 4 июня 1896 года он выволок из сарая, в котором раньше хранился уголь, странный тарантас без оглобель. Как, пыхнув дымком, затарахтел самодельный двигатель внутреннего сгорания, и повозка сама собой двинулась вперед, покатила на высоких тонких колесах, сопровождаемая шумной стаей ликующих ребятишек. А на высоком сиденье, держа одной рукой крюкообразный руль, а другую положив на рычаг ременной передачи, сидел этот странный, вызывавший кривотолки соседей сын местного фермера-переселенца из Ирландии Генри Форд.

«Мой „бензиновый жучок“, — напишет много позднее Генри Форд I, — был первым и долгое время единственным автомобилем в Детройте. Он считался чем-то мешавшим людям жить, поскольку производил шум и пугал лошадей. Кроме того, он закупоривал уличное движение. Если я оставлял свою машину где-то в городе, вокруг собиралась толпа, раньше чем я успевал снова ее завести. Если я оставлял ее без присмотра хотя бы на минуту, какой-нибудь любознательный человек обязательно старался поехать на ней. В конце концов я стал возить с собой цепь и прикреплять ее к фонарному столбу всегда, когда оставлял машину где-либо. Затем возникли неприятности с полицией. Трудно сказать почему, ибо в те дни, насколько мне известно, не существовало законов, ограничивающих скорость на дорогах. Тем не менее мне пришлось получить специальное разрешение от мэра города, и таким образом в течение некоторого времени я имел честь быть единственным шофером в Америке, обладающим водительскими правами».

Музей Форда встречает узорчатыми литыми воротами в стиле ограды Букингемского дворца, за которыми возвышается старомодное кирпичное здание с башней и шпилем. Очень знакомое здание.

— Индепенденс-холл. Точная копия, — говорит Василий Григорьевич.

Индепенденс-холл — Зал независимости — знаменитое здание в Филадельфии, где в 1776 году восставшие колонисты приняли написанную Томасом Джефферсоном Декларацию независимости — документ, провозгласивший рождение нового государства. Оказывается, Форд сначала хотел просто купить Индепенденс-холл и перенести его сюда, в Дирборн, кирпичик по кирпичику. Но план этот осуществить не удалось. Историческая реликвия, национальная гордость американцев должна остаться на своем месте, заявили возмущенные представители общественности. На этот раз всемогущий доллар вынужден был отступить.

Музей Форда — это колоссальный пакгауз, куда со всей страны сволокли технику, предметы материальной культуры Америки в ее развитии.

Старые стиральные машины, чугунные печи, первобытные электроплиты, ружья, паровые двигатели, первые самолеты, последний могучий локомотив.

На стендах изобилие всякой всячины — кремневые ружья и индейские томагавки, старинные часы и знаменитые скрипки. Выстроились бок о бок ставшие коллекционной редкостью большешколесые велосипеды и неуклюжие зерноуборочные комбайны, лоснящиеся рычагами паровые двигатели и похожие на суфдуки радиоприемники. Стоят рядом первые тракторы «фордзон», «фергюсон», названия которых знаешь из книг по истории. Висит под потолком алюминиевый остроугольный самолет, на котором Чарлз Линдберг перелетел через Атлантический океан. Неподалеку громоздкий фордовский трехмоторник, что под командованием адмирала Ричарда Бэрда совершил в 1928 году полет над Южным полюсом.

И, конечно, автомашины. Вот уж где раздолье для автолюбителя! Каких только нет. И первые, только что отпчковавшиеся от пролетки и окрашенные в яркие цвета гоночные машины с длиннющими двенадцатицилиндровыми моторами, и тот самый президентский «линкольн-континентл», на котором 22 ноября 1963 года, не зная, что это его последний день, ехал по улицам Далласа сорокашестилетний Джон Ф. Кеннеди. Прозрачный пуленепробиваемый колпак, накрывающий его сегодня, был тогда снят.

А вот любопытный экспонат, не вызывающий столь мрачных воспоминаний. Первый в мире светофор. Он висит под потолком, неказистый, вытянутый черный ящик с тремя круглыми, как и сегодня, красным, желтым и зеленым стеклами.

— Я був тогда молодой,— говорит Василий Григорьевич.— Висел он на перекрестке Вудворт-авеню и Форд-стрит. А переключал его полицейский из будки. Смотрел туда-сюда. Если на авеню было, скажем, четыре машины, а на стрит две, давал зеленый свет тем, кто едет по авеню. Собиралось больше машин на Форд-стрит — и он открывал им дорогу.

Дощечка сообщает, что изобрел светофор суперинтендант Детройтского отделения полиции У. Л. Потс в 1920 году.

История техники порой дает зигзаги. С удивлением рассматриваешь большой, похожий на телегу первых переселенцев электрогрузовик; построенный в 1898 году, он четверть века исправно нес службу на одном из заводов. Еще недавно его восприняли бы как ископаемое чудовище. Сегодня автостроители снова экспериментируют с электромобилем — простым по конструкции и управлению, а главное — не загрязняющим воздуха.

Венчает экспозицию локомотив-исполиин, последний из железных бизонов парового века. Огромный, высотой до ажурного потолка выставочного зала, растянувшийся чуть ли не во всю его глубину, он вознесся над посетителями своим могучим черным туловищем, гордясь мускулатурой в восемь тысяч лошадиных сил.

На боку локомотива кнопка. Нажмешь ее — и через невидимые репродукторы в зал врывается ушедший век: шип пара, перестук колес и залихватый, такой волнующий, словно голос твоего детства, паровозный гудок.

— Ностальгия,— вилетается в симфонию звуков густой мужской голос из репродуктора.— Что-то непонторимое, присущее только веку пара, что навсегда останется в памяти нашего поколения.

Бизонов в Америке истребили люди. Стального гиганта вместе с железными дорогами истребляет автомобиль.

Расчувствовались мои провожатые:

— Помнишь, Джон, как мы первый раз ехали поездом из Детройта в Нью-Йорк? Ты тогда сильно перепугался, когда паровоз дал гудок.

У примитивной стиральной машины чуть не прослезились:

— В такой стирала белье наша мама.

Идем к выходу. В углу, за загородкой, у всех на виду парень в халате плетет травяные веники. Не иначе как в век электроники и космоса это ремесло, как и сами веники, стало экзотикой, подобной изготовлению каменного оружия первобытным человеком.

Джон и Билл предлагают продолжить экскурсию, направиться в Гринфилд-вилледж.

Деревня Гринфилд начинается тут же, рядом с музеем. Это тоже музей, но только под открытым небом.

Сев в вагончики, которые тащит желтый паровоз времен Гражданской войны между Севером и Югом, можно проехать по искусственному городку, на улицах которого выстроились здания-знаменитости со всех концов страны. Вот лаборатория Эдисона, привезенная из штата Нью-Джерси. Неподалеку дом братьев Райт из штата

Огайо. Вот дом Бербанка из Массачусетса. На этот раз настойчивость и доллары мистера Форда взяли свое. Все сволокли сюда, в Дирборн. Есть даже здание суда из городка Поствилл в штате Иллинойс, в котором начинал свою юридическую карьеру будущий президент США Авраам Линкольн. Внутри простецкого двухэтажного дома, обшито потемневшими от времени досками, все как было в то время, когда судил да рядил «честный Эйб». Красного дерева возвышение для судьи, скамья для подсудимых, стулья для присяжных. На стол небрежно, будто судья только что вбежал, брошены цилиндр и трость. Но самый главный экспонат — в соседней комнате. Под стать президентскому «линкольн-континентлу». Защищенное стеклянным футляром — опять этот прозрачный колпак, отсутствовавший в то время, когда бы он был так нужен! — старое кресло-качалка с потемневшей обивкой. В верхней части изголовья — расплывшееся черное пятно. 14 апреля 1865 года в этом кресле лидер победоносных северян был смертельно ранен. Случилось это во время спектакля в вашингтонском театре Форда... Неподалеку в киоске продаются копии газеты «Нью Йорк геральд» от 15 апреля 1865 года, сообщающие подробности гибели президента, вызывавшего такую ненависть рабовладельцев.

Доходы музеев Форда и Гринфилд-вилледж приносят немалые. На каждом шагу, чуть ли не за каждый павильон надо платить. Но будем объективны. Не непосредственная денежная выручка главное назначение этого музейно-увеселительного комплекса в окрестностях автомобильной столицы США. Рассказывая и показывая впечатляющую историю бурного роста науки и техники, быстрого превращения страны из сельскохозяйственной в индустриальную, он воспекает предприимчивость, сметку, изобретательность американцев, разжигает патриотические чувства.

И главный герой, купающийся в лучах славы, — сам Генри Форд I. Собственно говоря, почти вся обширная экспозиция служит как бы пьедесталом, на котором возвышается Сам.

Вот он катит навстречу нам, сухощавый, остроглазый, в модном котелке, одной рукой сжимая похожий на рычаг руль своего первенца — «квадрацикла». Снимок во всю стену вводит в зал, где как драгоценные реликвии перед вами предстают и самодельные отвертки, которыми фермерский сын чинил часы соседям, и первый массовый автомобиль Форда модели «Т», и последняя новинка компании — «форд-эскорт». А в соседней «деревне» собраны реликвии погабаритнее — сельский дом, в котором герой родился, кирпичный сарай, из которого выехала первая в Детройте безлошадная повозка, мастерская, в которой Генри приучал к техническому ремеслу своего сына Эдсела.

В противоположность тому, что думают многие американцы, Форд не изобрел автомобиля. Почти на десять лет раньше того дня, когда по детройтской улице протарахтел «квадрацикл», мотоцикл с бензиновым двигателем построил в Германии Даймлер. Год спустя патент на трехколесный автомобиль с таким же мотором взял соотечественник Даймлера — Бенц. Появились к этому времени первые автомобили и в других странах.

Что действительно сделал Форд и что теперь прочно ассоциируется с его именем — это организация массового производства автомашин. В этом смысле он стоит у истоков массового производства вообще и зарождения как следствие общества массового потребления. Механик-самоучка оказался дальновидным стратегом бизнеса и блестящим организатором производства. В то время — начало нашего века — автомашина была экзотической новинкой, предметом роскоши. Первые автопромышленники делали ставку на индивидуальное изготовление дорогостоящих, сверкающих латунию, обитых кожей механических экипажей. В основном они строились для состязаний в скорости. Озарение, снизошедшее на Генри, заключалось в том, что гораздо большие доходы можно получить, выпуская тысячи, сотни тысяч дешевых автомашин, чем единицы дорогих. Но для того, чтобы наладить поток, надо было изменить всю привычную для механических мастерских организацию работы. И он первым применил конвейер.

Этот первый автоконвейер и образ самого основателя династии автокоролей ярко рисует американский писатель Э. Л. Доктору в своем романе «Рэттайм».

«В Хайленд-парке, штат Мичиган, первый автомобиль модели «Т» шатко съехал с конвейерной линии в траву под ясными небесами. Черный и нескладный коробок, высоко стоящий над землей. Изобретатель смотрел на него издали. Котелок «дерби» на затылке. Челюсти пережевывают соломинку. В левой руке карманные часы. Рабо-

датель множества людей, среди которых порядочно иностранцев, он твердо верил, что большинство человеческих существ тупы и не способны к достойной жизни. Он изобрел и разработал идею разбивки рабочих операций на простейшие элементы так, чтобы любой олух мог их производить. Вместо того чтобы обучать каждого сотням всяких манипуляций, связанных с постройкой автомобиля, вместо того чтобы таскаться туда-сюда за разными деталями, почему бы этому каждому не стоять на одном месте, делая одну и ту же операцию снова и снова, между тем как детали будут проплывать мимо него на движущихся ремнях. В этом варианте мы совершенно независимы от умственных способностей трудящегося. Человек, который всовывает винт, не накидывает на него гайку, так говорил изобретатель своим сотрудникам. Человек, который накидывает гайку, не закручивает ее. Идея этих движущихся поясов озарила его однажды на бойне, где он увидел, как коровьи туши, висящие на стропях, проплывают над головами мясников. Он передвинул языком соломинку из одного угла рта в другой и посмотрел на часы. Часть его гения состояла в том, что он казался своим сотрудникам и своим конкурентам не таким смекалистым, как они сами. Носком ботинка он повозился в траве. Ровно через шесть минут идентичный автомобиль появился на съезде, задержался на один момент, словно показываясь холодному утреннему солнцу, а потом скатился вниз и стукнулся в задок первача. До этого Генри Форд был простым производителем машин. Сейчас он испытал такой мощный экстаз, какого до него не сподобился ни один американец, не исключая и Томаса Джефферсона. Он заставил машину повторять саму себя до бесконечности. Производители работ, менеджеры и помощники ринулись к нему с рукопожатиями. На их глазах были слезы. Он выделил шестьдесят секунд на выражение чувств, а затем отослал всех по рабочим местам».

То, о чем поведал Доктору, произошло в 1913 году. Машина, на сборку которой раньше уходило двенадцать с половиной часов, изготавливалась теперь за семьдесят три минуты. В середине 20-х годов заводы Форда выпускали ежегодно около 2 миллионов автомобилей модели «Т».

Под синкопированные ритмы рэгтайма — раннего фортепианного джаза — «жестяные Лиззи», как прозвали американцы непрехотливые машины, покатали по дорогам страны.

Началась автомобильная эра в истории Америки с ее высокой мобильностью и расточительностью природных ресурсов.

С легкостью человека, быстро на подъем, и с его почти рабской зависимостью от железного повелителя.

С небоскребами, тянущимися ввысь, и небом, затянутым смогом.

С прекрасными шоссе и непробиваемыми пробками на них в часы пик.

С гибелью на этих дорогах за годы «автолюбви» Америки более 2 миллионов человек — в три с лишним раза больше числа погибших во всех войнах, которые вела страна за двести лет.

Статья автомобильных расходов во многих семьях превысила расходы на питание.

Штамповать автомашины принялись многие предприимчивые американцы — Олдс, Паккард, Бьюик, Додж, Крайслер, Шевроле, Виллис. Появились десятки автокомпаний, в том числе превосходящая Форда по объему производства компания «Дженерал моторс». Страна была насыщена, а затем и перенасыщена автомашинами: в 1920 году одно авто на тринадцать человек, в 1930-м — одно на пятерых американцев, в 1950-м — одно на трех, в 1980-м — одно на двух.

Возникла гипертрофированная экономика, в которой на производство, продажу и обслуживание автомашин приходится примерно пятая часть всех рабочих рук и пятая часть общенационального дохода. Автопромышленность и связанные с нею отрасли поглощают две трети производимой в стране резины, одну треть всего цинка, четвертую часть всей стали, шестую часть алюминия. Автомашины стали съедать почти сорок процентов всей потребляемой страной нефти.

Всесокрушающее наступление американского автомобиля, помогая осваивать огромную страну, таило в себе зерна будущих проблем.

Как в век динозавров в борьбе за существование побеждал тот, у кого были острее зубы и кто сам был больше. За семьдесят лет «Форд мотор компани» из механической мастерской на окраине Детройта превратилась в транснациональную компанию с капиталом, превышающим бюджет иного государства. Более двадцати заводов в Северной Америке, заводы и торговые представительства почти в ста странах мира. Полмиллиона рабочих и служащих, половина из них — за рубежом, занятых

производством и сбытом легковых автомашин, грузовиков, тракторов, а также выполнением заказов Пентагона на аэрокосмическую продукцию,— таковы сегодняшние параметры компании. Решающее слово в управлении ее делами принадлежит отпрыскам автокороля — внукам основателя династии — Генри II, Бенсону, Вильяму и правнуку Эдселу, «зарабатывающим» в год на одних ее дивидендах 20 миллионов долларов.

Вспомнилось, как в предыдущий приезд в Детройт нам удалось побывать на заводе в местечке Ривер-Руж, самом большом и самом старом из заводских комплексов «Форда». По территории предприятия мы разъезжали на машине. Тянулись кирпичные корпуса инструментального и модельного цехов, автосборочного завода, стального, сталелитейного, поднимались в небо шипящие ядовитым желтоватым газом коксовые батареи. На реке Руж разгружались суда, названные именами ныне живущих отпрысков автомобильного короля. На железнодорожном узле стояли готовые к отправке составы с погруженными на платформы в два ряда «мустангами» и «эскортами».

— Завод «Руж» — это город в городе, в котором трудятся двадцать семь тысяч человек, — с заученным восторгом повествовал сидевший за рулем краснолицый, очень оборотистый человек из отдела связи с гостями. — Здесь у нас все свое. Своя система энергоснабжения, система водоснабжения, своя железная дорога, своя пожарная станция, своя полиция. Сталь мы производим сами, железная руда, уголь, известь поступают сюда с фордовских шахт в Мичигане, Западной Вирджинии и Кентукки. Стекло тоже свое.

Неукротимое стремление владело автокоролем — если уж нельзя купить всю страну, то стать независимым от нее в пределах «своего царства», устроить все по своему, в соответствии со своими представлениями о добре и зле.

А идеи у старика Генри были! И не только в области конструкции автомоторов и организации работы конвейера. Он считал: все люди делятся на две категории — меньшинство, родившееся для того, чтобы думать, творить, и большинство, предназначенное использовать мускулы, тем более счастливое, чем примитивнее и однообразнее работа. Он без устали доказывал, что человек должен жить в неустанном труде, скромности, страхе божьем, и считал профсоюзы дьявольской выдумкой. Будь на то его воля, он выжег бы их каленым железом по всей стране, как не допускал их на своих заводах.

...Мы шли по цехам автомобильного завода, темноватым, шумным, обступавшим тебя со всех сторон металлом. Железный пол под ногами, стальные рельсы конвейера с движущимися шасси автомашин, снующие грузоподъемники, готовые сбить тебя с ног. Провожатый сыпал цифрами.

— В машине двенадцать тысяч частей. Один и тот же «мустанг» может иметь более двух миллионов комбинаций — сочетание различных моторов, разных коробок передач, различных сидений, разного оборудования. Каждая машина делается в соответствии с заказом покупателя. Фактически мы выпускаем индивидуальные машины.

Мимо нас проплывали части будущих автомобилей. Справа продвигалась по рельсам рама автомашины. Откуда-то сбоку по подвесной дороге приплывал кузов и, направляемый руками рабочих, садился на раму. На другом «перекрестке» в машину встраивался двигатель. Дальше пришепывались колеса.

Но ведь двигатель может быть разным — и обычным для этой модели — четырехцилиндровым, и шести- и даже восьмицилиндровым. Колеса тоже могут быть разными — простыми, из особой резины, «спортивными», имитирующими спицы. За тем, чтобы соответствующая деталь попала в нужную минуту на нужный перекресток, следят электронно-вычислительные машины.

И все же общее впечатление от автосборочного цеха — это царство не технического прогресса с людьми в белых халатах у мерцающих огоньками пультов, а первородного индустриального ада, где работающий подобен грешнику, жарящемуся на раскаленной сковороде. Справа из дыры в железном полу, над которым движутся обретающие деталями автомашины, торчат курчавая черная голова и руки, в руках подобие электродрели — автоматический гаечный ключ. Машина еще надвигается на человека, а он уже прилип к ее днищу своим автоключом. Машина движется и тянет за собой присосавшегося к ней рабочего. Еле успев завинтить гайку, он бросается назад к нависающей новой машине.

Здесь живое существо — конвейер, существо огромное, неумолимое, подчиняющее себе всех и вся. Человек — всего лишь механический придаток к нему.

Их много, этих голов, высывающихся из ям «преисподней», — черных и каштановых, со слипшимися от пота льяными кудрями и медно-рыжих. Действия людей подобны движениям простейшего рычага: корпус влево-вправо, руки с автоключом вверх-вниз. Вспомнился трогательно-смешной герой чаплинского фильма, как, очумев от конвейера, он бегал по заводу и все время норовил закрутить гаечным ключом пуговицы на костюмах встречных и даже их носы.

Конечно, конвейер — дитя нашего века. Без него невозможно было бы массовое производство товаров. Но какие античеловеческие формы принимает конвейер в обществе, где главной пружиной является стремление к наживе! Встречаясь потом с детройтскими рабочими и профсоюзными активистами, я слышал множество историй о тяжелых, нередко трагических последствиях продолжающегося из года в год ускорения конвейерной ленты, изматывающего труда на ней в течение десяти, а то и двенадцати часов в день: историй ранней инвалидности, душевного расстройства и как минимум полной апатии человека ко всему в жизни, когда после смены он добирается домой.

Срабатывал безжалостный экономический механизм. Предпринимателю выгоднее выплачивать рабочему сверхурочные, но иметь меньший штат, поскольку на каждого работающего компания делает отчисления в пенсионный, медицинский и прочие фонды. А рабочий, подстегиваемый инфляцией, как говорится, рад «подзашибить». Вот и получалось, что вместо установленной законом сорокачасовой рабочей недели трудились люди на заводах компаний «Форд», «Дженерал моторс», «Крайслер» по пятьдесят — шестьдесят часов.

Одни работали на пределе физических и нервных сил, другие безнадежно выстайвали в очередях на биржах труда.

Так было в «лучшие времена», когда еще не навалился на страну экономический спад. В поте лица своего добывает хлеб насыщенный американский автомобилестроитель, о высоких зарплатах которого так любят говорить адвокаты компании.

...Железо, железо со всех сторон: лязг движущегося конвейера, завывание механических отверток, шипение вспышек электросварки...

Вот и конец процесса сотворения автомашины.

Молодая женщина заправляет ее пятью галлонами бензина.

Человек в белом халате, похожий на художника, наносит кисточкой последний штрих, покрывая возможные царапины (баночки с разноцветными красками покачиваются перед ним на специальном станочке).

Вот новичок проходит в душевой отсек, где его обдаёт бьющими со всех сторон струями душа.

В машину садится человек, поворачивает ключ зажигания. И, вздрогнув, как новорожденный от шепка, с заколотившимся сердцем-мотором еще один железный конь обрел самостоятельную жизнь...

Сверкающие лаком белые, красные, желтые, серебристо-серые, они выкатывались во двор, в равнодушное свечение детройтского полдня. Каждые пятьдесят шесть секунд из ворот цеха выбегал новый «мустанг».

Так было до тех пор, пока не разразилась беда. Произошло нечто вроде аварии на шоссе, когда машина идет на полной скорости. Вдруг забарахлил мотор, обмякли тормоза, спустили шины, и бесподобный американский автомобиль — большой, комфортабельный, с двумя сотнями лошадей под его капотом — неумолимо понесло в кювет.

Но если разобраться, ничего неожиданного в случившемся не было.

Тучи над Детройтом собирались уже давно...

Хибарка стояла среди белесой пустыни под иссиня-серым небом, предвещающим бурю. Черные голые деревья корявыми изваяниями торчали из песка, не отбрасывая теней. Вокруг ни души, ничего живого. Только безбрежная, ярко освещенная пустыня, да закручивающееся вихрями небо, да белый череп лошади на переднем плане. Что случилось с людьми? Скосило их какое-то бедствие? Умерли от голода и жажды, не дойдя до желанной цели? Покинули навсегда эти неприветливые места?

Несколько сюрреалистическая картина в кафетерии мотеля «Конгрэшил» дышала тревогой. Безлюдье, суровый враждебный мир, какой, наверное, представлял порой перед первыми американскими поселенцами.

Время крытых фургонов, запряженных лошадьми-битюгами, что двигались через поля и реки все дальше и дальше на Запад, давно уже стало достоянием Голливуда. Но мир опасностей, подстерегающих за переправой, мир тревог, враждебный человеку мир и сегодня не покидает американцев. Только опасности и беды стали много сложнее и непредсказуемее, чем набеги краснокожих или мор из-за неурожая.

— Яки холера. Капут,— коротко объясняет нынешнюю ситуацию в Детройте Билл Витик.

Мы ехали на прием в штаб-квартиру Форда. Главная улица Дирборна Мичиган-авеню, и раньше не ахти какой Бродвей,— цепь депрезентабельных мастерских, бензоколонок, магазинчиков, простецких закусовых — выглядит теперь особенно уныло. Какой-то опустевшей, притихшей. За пыльными окнами магазинов, за решетками на Аверях мастерских то и дело видишь надпись: «Closed» — «закрыто».

Справа от дороги вырос высокий, длинный, на целый квартал кирпичный корпус завода «Кадиллак». На тротуаре — ни души, да и решетчатые ворота на запоре. Зато около приземистого, из светло-серого бетона здания биржи труда царит оживление. У подъезда с навесом, напоминающим козырек дота, толчея людей в разноцветных куртках.

Недавно завод «Кадиллак» закрыли, рабочих уволили, рассказывал детройтский старожил. Много ли теперь найдется охотников покупать эти шикарные, жадные на бензин машины, выпускаемые компанией «Дженерал моторс»? Закрылись и завод компании «Крайслер» тут же, в Детройте, фордовские заводы в штатах Нью-Джерси и Калифорния, сталелитейные заводы в штатах Огайо, Индиана. Автомобильный завод в Ривер-Руж, на котором мы когда-то побывали, работает на треть своей мощности. Каждую неделю — новые и новые увольнения.

— А знаете ли, что это такое — лишиться работы, даже если вы временно будете получать пособие? Все приобретено в рассрочку — дом, машина, телевизор. Не оплатил очередной счет — и немає хаты, немає кар, немає ти-ви,— популярно растолковывал Билл.

Собираясь в Детройт, я прочитал кучу газетных и журнальных статей, посвященных положению в автомобильной промышленности США.

Журналисты и экономисты не скупились на темные краски. Писали о том, что столь глубокого и продолжительного спада, как нынешний, американская автопромышленность не переживала со времен великого кризиса 30-х годов. Говорили, что Детройт борется за само свое существование.

Факты, приводившиеся печатью, выглядели действительно мрачно. Более дюжины автозаводов по всей стране закрылись, некоторые из них, возможно, навсегда. Триста тысяч автомобилестроителей остались без работы, еще семьсот тысяч «лишних» людей выдали смежные отрасли промышленности. Разорились около полутора тысяч дилеров, торгующих автомобилями. «Форд мотор компани» понесла в 1981 году убытки в размере более одного миллиарда долларов. «Крайслер», спасенный от банкротства крупным правительственным займом, потерял за тот же год 475 миллионов. Меньшая из четверки компания — «Америкэн моторс» — выжила только потому, что 46 процентов ее акций приобрела французская фирма «Рено». Лишь супергигант «Дженерал моторс» свел концы с концами. И это после того, как в предыдущем году убытки американских автокомпаний составили 4,2 миллиарда долларов!

Катясь под гору, американский автомобиль увлек за собой десятки других отраслей производства. За воротами предприятий оказались рабочие резиновых заводов штата Огайо, сталелитейщики Индианы, шахтеры Монтаны, текстильщики Северной Каролины. Со всей силой проявились отрицательные последствия слишком широкой зависимости американской экономики от автомобилестроения.

Американцы говорят: «Стоит Детроиту чихнуть, как простужается вся Америка...»

Сердце американского машиностроения стало давать перебои, и острые спазмы ощутили в самых отдаленных районах страны.

«Это же второй Перл-Харбор!» — воскликнул импульсивный президент компании «Крайслер» Ли Иакокка. Гипербола имела под собой вполне конкретные основания. На складах американских автокомпаний пылились и ржавели тысячи громоздких «бьюиков», «фордов», «крайслеров», а по дорогам Соединенных Штатов все гуще шли верткие «тойоты», компактные «датсуны», миниатюрные «хонды». Американские автозаводы закрывались, но в то же самое время под боком у Детройта в Стерлинг-Хайтс строился авгосборочный завод западногерманской фирмы «Фольксваген», в штате

Теннесси готовилась к выпуску легких грузовиков японская компания «Датсун», а под крышей «Америкэн моторс» все активнее «шуровали» спецы из французского «Рено». Иностранные компании, прежде всего японские, сообщали газеты, уже отхватили почти треть автомобильного рынка США.

Сухую статистику американских экономистов и журналистов захлестывали волны эмоций. В чувственных, выплеснувшихся на страницы газет и журналов, ощущались недоумение и уязвленное самодобие. «Что случилось с промышленностью, которая была воплощением успеха американского бизнеса?» — вопрошал обозреватель журнала «Тайм». «Почему вдруг резко оборвался автобум, продолжавшийся почти непрерывно с окончания второй мировой войны?» — недоумевал автор аналитического эссе в журнале «Юнайтед Стейтс-ньюс энд Уорлд рипорт».

«Монополия американского автомобиля рухнула, внезапно воцарилось соревнование», — бодро отвечал им Марвин Раньон. В голосе неунывающего бизнесмена проступали нотки злорадства. Бывший работник компании «Форд», мистер Раньон успел сориентироваться: сегодня он возглавляет филиал японской автомобильной компании «Ниссан мотор» в США.

Первые раскаты грома донеслись до Детройта в начале 70-х годов.

То были дни, когда нефтедобывающие страны резко подняли цены на свое основное экспортное сырье. Разразился так называемый нефтяной кризис — воцарилась паника на капиталистических биржах, наступили перебои с горючим.

На берегах озера Эри не вняли сигналу опасности. Американец никогда не откажется от своих привычек, от стремления обладать самым большим, самым мощным, самым комфортабельным автомобилем, говорили в офисах здешних автокомпаний и продолжали штамповать свои «кадиллаки», «линкольны», «бьюики», «понтяки», «доджи». Недальновидность стратегов американской автопромышленности имела коммерческую изнанку: продажа одного крупногабаритного автомобиля приносила компаниям больший доход, чем сбыт двух-трех малолитражек.

Но привычки, вкусы формируются жизнью, она же их меняет. Ярко-оранжевые цифры стоимости бензина на щитах у бензоколонок сдвинулись и замелькали со скоростью счетчиков на этих же бензозаправочных станциях, — увеличение в два, три, четыре раза. Вместо 33 центов за галлон высокооктанового бензина в 1970 году американец платит сегодня 1 доллар 20 — 1 доллар 30 центов.

«Хромированные броненосцы», дающие десять—двенадцать миль на каждый галлон съеденного горючего, стали не по карману большинству американцев.

Произошло то изменение конъюнктуры, о котором весело говорил переметнувшийся на сторону «противника» бывший фордовский служащий: монополия американских автомашин на внутреннем рынке рухнула. Раньше здешние автокомпании могли не беспокоиться насчет конкуренции из-за рубежа — таких автомобилей, каких жаждало сердце американца, не производили нигде, кроме Соединенных Штатов. Но кошелек американца стал тощать, сердце дрогнуло. Он начал озабоченно осматривать горизонт, приглядывая себе нечто поменьше, поскромнее, позкономичнее. Тут-то и началось то, что было прозвано «японским вторжением».

Плотина сравнительно невысоких таможенных ограждений не смогла сдержать напора. На американские шоссе, в улицы городов устремились «тойоты», «датсуны», «хонды», «субару». Покупая их, житель Нью-Йорка, Лос-Анджелеса или Чикаго обнаружил, что они не только экономичнее, но и зачастую надежнее американских автомобилей. (В то время как американские компании, форсируя продажу автомобилей, тратили средства и силы прежде всего на изменение внешних аксессуаров машины, выбрасывая каждый год на рынок «новые модели», иностранные конкуренты занимались совершенствованием двигателя, ходовой части и других важных узлов.) А главное, даже после выплаты экспортных пошлин японская машина продавалась по цене на несколько сотен долларов меньше, чем аналогичные американские модели, выпуск которых со скрипом налаживал Детройт.

Промышленность некогда отсталой азиатской страны стала забивать американскую тем, что еще недавно считалось неотъемлемой принадлежностью США, — современной технологией, более высокой механизацией, лучшей организацией массового производства. Страницы газет и журналов заполнили описания того, как широко применяются на японских заводах роботы, рассказы о компактной рациональной планировке этих предприятий, о высоком чувстве ответственности японского рабочего за качество выпускаемой продукции.

Заговорили о том, что американский автомобилестроитель потерял вкус к работе, особенно по понедельникам и пятницам. Как укор ему «Тайм» поведал трагически-назидательную историю Такуя Сакаи, капитана японского сухогруза «Фуджи Мару». Причалив к пристани лос-анджелесского порта. Такуя Сакаи обнаружил, что двести машин «субару», находившихся на борту судна, повреждены просочившейся в трюм водой. Считая, что во всем виноват он сам, капитан пытался совершить харакири. Когда ему это не удалось, он перерезал себе горло.

Нет, журнал, конечно, не требовал, чтобы детройтский рабочий, совершивший оплошность на конвейере, немедленно порешил себя. Но чтобы он еще быстрее пошел-велвался, проникся духом ответственности за продукцию фирмы и, главное, согласился подтянуть ремень во имя повышения конкурентоспособности своей компании — об этом дружно заговорили все издания монополистической прессы. Рабочий, по их логике, должен был расплачиваться за просчеты автокоролей, за весь гипертрофированно-автомобильный уклад жизни Америки, в котором машина из транспортного средства, подчиненного человеку, превратилась в нечто доминирующее над ним.

Если разобраться, в бедах Детройта не было ничего нового или неожиданного. И не только потому, что сигналы о надвигающейся непогоде поступали уже давно. Еще раньше чем забуксовал американский автомобиль, стала сдавать свои позиции на внутреннем рынке телевизионная промышленность США, уступать в конкурентной борьбе с иностранной продукцией сталелитейная.

Стал пробуксовывать весь экономический механизм страны. В бедственном состоянии автомобильной промышленности резко проявился общий кризис монополистической экономики США, обремененной периодическими спадами, нарастающим устареванием некогда передовых предприятий, все более тяжелым грузом военных расходов. Уже не первый год в своем «дружеском кругу», собираясь на полузакрытые совещания, американские промышленники и банкиры били тревогу: рост производительности труда в США замедлился и даже начал падать, расходы на научно-исследовательские и конструкторские работы в мирных отраслях экономики снижаются, отдельные виды производства уже отстают от аналогичных отраслей промышленности в других странах. Еще недавно «киты» американского бизнеса любили поговорить о том, что страна нуждается в «реиндустриализации» — широком обновлении оборудования и технологии на предприятиях, для того чтобы побороть процесс «одряхления Америки».

Называли даже приблизительные размеры расходов, которые потребуются для реализации этих честолюбивых задач — от нескольких сотен миллиардов до биллиона долларов.

Ну где же взять эти средства, если удовлетворение appetитов Пентагона провозглашено администрацией Рейгана священной задачей Америки? Около двух биллионов долларов вознамерился проглотить за пять лет ненасытный Гаргантюа из пятиугольного здания на берегах Потомака. До «реиндустриализации» ли уж тут? Сегодня стало как никогда ясно, что проведение политики «и пушки и масло» непосильно даже для такой богатой страны, как США. Ни в социальном плане, ни в экономическом.

Беды американской автомобильной промышленности получили такой широкий резонанс потому, что удар на этот раз пришелся по слишком больному месту. Был поколеблен сам символ американизма, воплощение американской мечты.

Символика происшедшего, если вдуматься, гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд.

Проблемы Детройта — это проблемы Америки под увеличительным стеклом.

Ужимающийся американский автомобиль — символ сокращения влияния США в мире, их обостряющихся внутренних противоречий.

...За солидным столом темной фанеровки сидел немолодой человек с очень знакомым лицом. Живые глаза его за стеклами очков в золоченой оправе излучали приветливость, смешанную с настороженностью. Так вот он кто, этот представитель руководства компании, что соблаговолил дать мне аудиенцию в стеклянном небоскребе «всемирный штаб-квартиры Форда»! Мой старый знакомый Ларри Уиндеккер. Тот самый Уиндеккер, которого я интервьюировал несколько лет назад в первый приезд в Детройт.

Постарел мой фордовский приятель, поубавилось волос на яйцеобразной голове, добавилось морщин на гладковыбритом лице. Но как и положено руководителю ком-

лании при встрече с прессой, бодр, улыбчив, уверен в себе. «Business as usual», говорит мистер Уиндеккер всем своим обликом от сверкающей альпийской белизны макушки до тонких крепких пальцев, сжимающих карандаш.

О, эта уверенная улыбка делового американца! Она как символ успеха, как сверкающая броня, защищающая рыцаря, как бронзовый загар на теле голливудской дивы. Улыбайся всегда, невзирая ни на что! Даже если фирма вот-вот пойдет с молотка, если на душе кошки скребут, а сердце сжимается от смертельной усталости. Выдавать свои чувства, выказывать слабость? Ни в коем случае! Невозмутимая уверенность, бодрость, белоснежная улыбка — как знак качества. О'кэй! Все в порядке! Business as usual!

— Кофе? С молоком? — задает Уиндеккер ритуальный вопрос начала любой встречи и, откинувшись на спинку кожаного кресла, испытующе рассматривает меня.

В сложной, разбросанной по всему миру фордовской империи мистер Уиндеккер занимает пост заведующего отделом исследований и анализа. Не знаю, как насчет исследований, но по части дипломатии Уиндеккер большой дока. Недаром, видимо, среди руководителей компании на его плечи возложена хлопотная и тонкая работа — беседы с настырными иностранцами.

Вспомнилось, как при нашей первой встрече он разливался соловьем, доказывая, что невзирая ни на что американец не изменит своей любви к большой автомашине — символу успеха, богатства, процветания.

— Пусть другие, — говорил он, — переходят на выпуск железных букашек-таракашек. Мы будем держаться за «полноразмерный» автомобиль.

Через год-другой «Форд» тоже стал уменьшать габариты своих машин, их вес, ставить более экономичные моторы. Просто в то время вторая по силе автокомпания США еще не занялась перестройкой производства на новые модели, отставала от своего могущественного конкурента — «Дженерал моторс».

Но разве можно было признаться в этом? Какой бизнесмен признается в слабости?

На этот раз Ларри Уиндеккер валил все на общее состояние экономики в стране.

— Да, — говорил он, — более дюжины заводов закрылись. Да, увольнения в автомобильной и смежных отраслях промышленности превысили миллион человек. Но это естественно. Когда экономическая ситуация размягчается, — он тщательно избегал слов «спад» и «кризис», — тогда производство автомобилей резко падает. — Наша экономика, как бы вам получше объяснить... — он сосредоточился глазами на резиновом кончике карандаша, ища там точный и яркий образ, улыбнулся вдруг счастливой находке и радостно закончил: — Наша экономика подобна пьянице. Нашел на человека запой — бросил работу, семью, шатается по пивным. Но прошла неделя — и образовался человек, вернулся к своим обязанностям. Снова как стеклышко! Работает с удвоенной энергией.

Конторский карандаш с резиновым наконечником плясал в восковых пальцах аналитика-дипломата. Как кисть живописца, как палочка в руке дирижера. Порой он даже превращался в подобие разящего меча.

— Японцы, — мистер Уиндеккер проткнул стоявшего рядом со столом противника-невидимку, — выкачивают из нашей страны миллионы и миллионы долларов. Лишают работы сотни тысяч американцев. А правительство смотрит на это оквозь пальцы. Не хочет повышать таможенных пошлин. Эти бюрократы в Вашингтоне, — распаялся Уиндеккер, — они даже ездят на иностранных машинах!

В голосе моего собеседника звучали горечь и негодование. Я и не подозревал, что этот ровный, приветливый, улыбчивый человек способен на такие эмоции.

Из объяснений мистера Уиндеккера следовало, что японские автокомпании если и не обманывают, то китро совращают американцев. Американские машины сходных моделей ничуть не хуже иностранных, дают не меньше миль на галлон бензина, не уступают по вместительности, внушал он. Но настырные японцы, пользуясь налоговыми поблажками своего правительства и попустительством американского, ухитряются продавать в США машины ниже, чем наши отечественные. К тому же они сумели внушить американцам, что их машины лучшего качества. На самом деле это мистификация. Японцы мастера по части внешнего оформления товаров. Выглядят как конфетка. Но что там внутри? Взгляните внутрь!

— Шустрые люди! — сокрушался фордовский аналитик. — За ними не угонишься. Каждый раз, когда мы уменьшаем размеры автомашины, у них в запасе уже есть что-то меньшее.

Карандаш мистера Уиндеккера занял горизонтальное положение над столом, затем замер ниже на невидимой отметке, еще ниже.

— Меньше и меньше. Меньше и меньше.

Последнюю горизонталь мистер Уиндеккер обозначил где-то совсем неподалеку от пола.

Громы и молнии, которые фордовский деятель обрушил на Страну Восходящего Солнца, меня несколько не удивили. Неожиданными были несколько резких выпадов Ларри Уиндеккера по адресу Вашингтона. Он бичевал «оторвавшихся от жизни» администраторов за законы, устанавливающие нормы безопасности для автомашин, допустимый уровень загрязнения окружающей среды, минимальное число миль на каждый галлон бензина. Все эти требования, негодовал он, связывают бизнесмена по рукам и ногам.

Но всего больше его возмущало то, что правительство до сих пор не подняло защитных таможенных барьеров. В Европе, говорил он, пошлины на импортную автомашину составляют 15 процентов ее стоимости. В Канаде — тоже 15, а в США — только 2,9 процента. Это же все равно что оставить футбольные ворота без вратаря. Забивайте голы, дорогие соперники! Забивайте, сколько вам влезет!

Принципы как башмаки, заметил некий ученый циник, когда они изнашиваются, их выбрасывают.

Сколько было произнесено американцами речей о политике «открытых дверей» в международной торговле. О ней говорили президенты и промышленники, сенаторы и негодянты. Ее возводили в общечеловеческий принцип справедливых торговых отношений между странами. Флагом «открытых дверей» размахивали до тех пор, пока он помогал бизнесу заморского гиганта проникать на чужие рынки, подминать иностранных конкурентов. Но вот соотношение экономических сил в мире стало меняться. То в одной, то в другой области промышленного производства американцы начали терять доминирующее положение.

И флаг «открытых дверей» полетел за борт вдогонку за другим «устаревшими принципами».

Как говорится, капля точит камень. Поток времени перекраивает берега жизни, меняются принципы, идеи, меняются и люди. Заметно изменившимся предстал на этот раз мой фордовский знакомый. Куда делись его бывшие благодушие, невозмутимость. Стал беспокойнее, суетливее, тень озабоченности то и дело ложится на высокое чело, стирая с лица фирменную улыбку.

Словно вспомнив о своих функциях дипломата-пропагандиста, мистер Уиндеккер твердо положил на стол плясавший в его руке карандаш.

— В общем, все войдет в норму, — сказал он бодрым голосом. — Если только мир не перевернется вверх тормашками, американец не откажется от автомашины. Начнется общий подъем экономики, и Детройт оживет... Как забудьга после запыля, — вернулся он к своему полюбившемуся образу. — Страхнем нафталин законсервированных заводов, и колеса закрутятся еще быстрее. Те, кому посчастливится вернуться на конвейер, заработают, как тысяча чертей. Правда, вернуться не все. Производительность поднимется. Многим, очень многим придется самим подумать о своем трудоустройстве. Такова цена прогресса... Да, кто-то должен платить за прогресс, — повторил мистер Уиндеккер, сочувственно вздохнул, как будто именно на его плечах — немолодых и немощных — лежал всей своей тяжестью этот жестокий американский прогресс.

Даунтаун, деловая часть города Детройта, выставила напоказ семью стеклянных цилиндрических небоскребов, претенциозно названных Ренессанс-центром. Создание эксцентричного архитектора из Атланты Джона Портмена, они похожи на сросшиеся боками гигантские консервные банки. Отражая небо и причудливые очертания друг друга, небоскребы то сверкают раскаленной сталью, то становятся воздушно-прозрачными, то под вечер наливаются свинцовой синевой. Эффектно и жутковато! Как видение некоего бездушно-геометрического будущего.

Внутри гигантских стеклянных банок шумят искусственные водопады, высятся, как на майамском берегу, настоящие пальмы, и куда-то прямо в поднебесье бесплумные эскалаторы уносят хорошо одетых людей. Внутри небоскребов власть, деньги и богатство автограда — административные учреждения, банки, магазины, дорогой отель. В самом низу, в затемненном подземелье разместился фешенебельный ресторан, где ужин при свечах начинается с того, что, приветствуя прекрасных дам, красавец негр

в облегающем фигуру фраке, оскалив зубы подобием улыбки, ставит на стол розу в хрустальной вазе. А кончается, как и положено, предъявлением счета, который в отличие от прочих ресторанов — наценка за розу? — тешит глаз богача суммой не меньшей, чем недельный заработок человека с конвейера.

Стекланные исполины поднялись в небо на набережной реки Детройт. Снисходительно, сверху вниз поглядывают они на противоположный, низкосилуэтный берег, где начинается другая страна, где невысокими домами, заводами и складами раскинулся канадский городок Уинсор. Страна-то другая, а рекламные щиты поверх зданий американские, все те же киты автобизнеса и смежных отраслей — «Дженерал моторс», «Форд», «Крайслер», «Ю.пиройял», «Файерстоун».

Сверкающий зеркальным блеском Ренессанс-центр не просто группа небоскребов. Нет, это декларация в стекле и стали. Построенный на деньги группы монополий, прежде всего компании «Форд», он призван заявить на всю страну о решимости бизнеса спасти страну от упадка. А упадок этот и сегодня зримо проступил вокруг — серыми облупившимися стенами старых зданий неподалеку от шикарных небоскребов, пустырями, запущенностью.

Нынче воскресенье. Поэтому, наверное, Даунтаун казался особенно неприветливым. По воскресеньям деловой район города пустынен. Витрины не сияют электричеством, неон вывесок меркнет. Улицы заполняются серой тишиной.

Мы остановились на перекрестке, там, где еще можно было идти, потому что дальше начинались цементные подъезды к небоскребам, принимавшие лишь автомашины и исключавшие пешеходов. Справа виднелась унылая, сегодня пустая площадка для парковки. Слева поднимались темные каменные громады, какие строили в годы молодости автомобильного короля.

Первый встреченный нами детройтец был, как говорится, под мухой. Он подошел к нам, слегка покачиваясь. Лет пятидесяти пяти, с простецким лицом, в потертой джинсовой куртке.

— Я не знаю, о чем вы говорите, — сказал человек (мы по-русски обсуждали, куда направиться дальше). — Но предупреждаю вас... — Он протянул к нам руку, и в сжатом кулаке я увидел нож. Правда, он был сложен. Большой складной нож. — Вот видите, — сказал он, и мятое лицо его исказила полуулыбка-полугримаса. — Я хожу с ножом, потому что в этом... — выругался, — городе тебя в любой момент могут выпотрошить и прирезать.

Неприятный холодок, пробежавший по спине, сменился теплом благодарности. Оказалось, что это не браг, а доброжелатель. Увидев, что его краткая речь произвела на нас впечатление, незнакомец смягчился и сказал, что вообще-то, если нам хочется, можно зайти в бар на противоположной стороне улицы, откуда он вышел. Бренди там приличное, и дерут не так дорого, как в других местах.

Но желание гулять по вечерним улицам как-то пропало. Холодный ветер стал еще бесцеремоннее забираться под плащ, и мы поспешили назад в тепло и укрытие автомашины.

— В туристских книгах, — сказал Билл Витик, повернув ключ зажигания, — Детройт называют «Motor capital of the World» (автомобильной столицей мира). Детройтцы переименовали это выражение в «Murder capital of the World» (мировую столицу убийств).

Для невеселого острячества у жителей автограда были, оказывается, веские причины.

В мрачной табели о рангах город занимает первое место в США. При равной с Северной Ирландией численности населения — полтора миллиона человек — в Детройте убивают за год в четыре раза больше, чем в Ольстере. Но ведь там уже не первый год идет нечто вроде гражданской войны.

Да, внушительный комплекс зданий отгрохали «отцы города» на набережной реки Детройт. И футуристические нагромождения Ренессанс-центра. И вместительный Кобо-холл — место проведения съездов и конференций. И Форд-аудиториум, куда по вечерам на концерты симфонического оркестра съезжаются из своих офисов и загородных коттеджей «лучшие люди» города. Но уж очень локализован этот детройтский «Ренессанс». Нечто вроде белого сэттльмента в колониальной стране. Островок в море суровой жизни лишений, забот. И само слово «возрождение» звучит издевкой для тех, кто плавает в этом беспокойном море, думая лишь о том, чтобы удержаться на поверхности.

В этот мир другой Америки ты попадаешь сразу же, как только отойдешь в сторону от стеклянно-бетонного оазиса на набережной. Тебя обступают потемневшие кирпичные дома с типичными признаками трущобного района. С невесть когда ремонтировавшимися стенами, запыленными окнами, за которыми просматриваются тусклые лампочки без плафонов. Многие дома заброшены, полуразрушены. Хотя в городе тысячи людей, которые отдали бы последнее, чтобы иметь крышу над головой. На ступенях сидят чернокожие парни. Сидят с выражением тяжелого безразличия на лицах, не зная, куда деть себя. Статистика, публикуемая газетами, сообщит тебе, что безработица в Детройте составляет восемнадцать процентов, а среди черной молодежи — почти сорок процентов, что страшным бедствием города стали разгул преступности, наркомания.

Нет, Ренессанс-центр не вытянул к возрождению Детройт, как не сделал страну счастливой массовый автомобиль. Самый индустриальный город США — Детройт стоит на первом месте по доле населения, занятого в обрабатывающей промышленности, и по проценту работающих на крупных предприятиях стал, как писал один американский журналист, «тем местом, где сошлись городские проблемы, чтобы перечеркнуть достижения Америки XX века».

Ночь. Лихой живописец-дождь смешивает на влажной палитре асфальта яркие краски. Выплеснул киноварь и зелень светофоров, польхнул дрожащими солнцами отраженных фар, а по сторонам непроглядная темень да изредка свет из распахнувшейся двери злачного заведения, силуэт бедолаги, оказавшегося в такой некомфортный час на тротуаре.

Проехали спящую Грисуолд-стрит — детройтский Уолл-стрит. Пошли трущобного типа дома, перемежающиеся пустырями. Словно кварталы, расчищенные после бомбежки. Здесь, рассказал Билл Витик, были негритянские волнения. В 60-е годы. Довели людей до ручки. Вот и начались демонстрации, столкновения с полицией. Стали громить магазины.

— Дуже осерчали. Усе спалили,— говорит Витик-старший на своем украинско-русском языке.— А ведь черные — хорошие люди. Я работал с ними на заводе, знаю. Трудлюбивые, добрые, всегда готовы помочь.

Показались подсвеченные уличными фонарями корпуса.

— Когда я здесь работал, на заводе было сто десять тысяч человек. В последнее время только двадцать шесть тысяч.

— Почему?

— Автоматизация.

Выехали на пустынную площадь.

— Здесь проходили большие демонстрации безработных. Двадцать—тридцать тысяч человек собирались на этой площади. Я тогда был профсоюзным организатором. А он,— кивок в сторону притихшего на заднем сиденье старшего брата,— участвовал в сидячей забастовке на заводе «Крайслер», что продолжалась девяносто девять дней.

Братья Витики, хотя они и считают себя русскими, по всему жизненному опыту своему — настоящие американцы. Через все прошли, что довелось испытать американским рабочим: напряженный труд на конвейере, забастовки, увольнения, борьбу за создание профсоюзов.

В годы второй мировой войны братья честно защищали свою страну в войне с фашистами. Джон Витик служил на Тихом океане во флоте. Пехотинец Билл сражался в Европе. Казалось бы, свой патриотизм доказали не на словах, а на деле. А вернулись домой и попали в списки подрывных элементов. Знали об их прогрессивных взглядах, о том, что сестра замужем за коммунистом.

— Подхожу как-то к дому,— вспоминает Иван Григорьевич,— а эта холера стоит у дверей.

— Кто?

— Агент эф-би-ай. Спрашивает: «Джон Витик?» — «Йес». — «Я должен допросить вас, задать кое-какие вопросы». Я говорю: «Отвечать не буду. Когда придет повестка в суд, тогда еще подумаю, говорить или нет». А он говорит: «Ты, сукин сын, ты знаешь закон». Потом этого типа не раз замечал у нашего порога. Ходил за мной по пятам, все расспрашивал соседей: где я бываю, чем занимаюсь по вечерам.

— То было в годы маккартизма,— уточняет старший брат.

— А как сейчас?

— Сейчас получше.

Но, оказывается, не во всем. В некотором роде братья Витик и сегодня неблагонадежные. Раз в полгода должны являться в полицейское управление для регистрации. Это за то, что они принадлежат к обществу американцев славянского происхождения, объединившихся вокруг «Украинского дома».

В один из вечеров, проведенных в Детройте, в тот час, когда заходящее солнце позолотило кирпичные стены домов, мы подъехали к непрезентабельному, похожему на складское помещение зданию в рабочем пригороде. «Дом американцев украинского происхождения», объявляла вывеска над входом. Постучали в закрытую дверь.

— Здравствуй, товарищ! Я привез к тебе человека из Советского Союза,— сказал кому-то Иван Григорьевич.

Дверь открылась. К нам, прихрамывая, вышел невысокий человек с крупными, резкими чертами лица.

— Бруно,— представился он.

Это был казначей кооперативного общества и смотритель дома Бронислав Мазуркевич. Бывший автомобилестроитель, инструментальщик. Человек левых убеждений, осужденный в годы маккартизма на длительное тюремное заключение.

— Нас тут снова пытаются прижать. Говорят, что мы красивые. Но я ничего не боюсь! — бросает на ходу Мазуркевич. И рубит ладонью воздух.

Историю нашего нового знакомого мы узнали от братьев Витиков, сидя за стойкой бара, у которого орудовал решительный Бруно. Узнали также, что дом содержится на пах членами общества, что в зале устраиваются встречи с советскими музыкантами, спортсменами, туристическими группами, организуются просмотры советских фильмов. Рассказали нам, что по праздникам на сцене дома выступает самодеятельный ансамбль «Волга» под руководством племянницы Витиков, наполовину украинки, наполовину шотландки. Ансамбль, в котором, говоря словами одного из наших добрых гидов, танцуют и поют «три украинца, поляк, еврей, армянец и канадский негр».

— Давайте позвоним Ивану,— сказал Бруно.— Он тоже будет рад встретиться с советским человеком.

И через каких-то пятнадцать—двадцать минут в зал ввалился немолодой, крупный человек в теплой клетчатой куртке, подчеркивавшей квадратные очертания его фигуры.

— Иван,— сказал человек, крепко пожимая мне руку.

Круглая голова основательно сидела на его сильных плечах. На загорелом румяном лице весело поблескивали глаза. По всему было видно, что это веселый, хваткий человек, из тех, что нигде не пропадут.

— Мой товарищ и помощник Иван Кравчук,— представил его Бруно.

— Помощник,— поправил его вошедший. И, горделиво усмехнувшись, кивнул на братьев и Бруно:— Как врублю по-русски, они только дивятся.

Он говорил по-русски значительно лучше, чем все остальные, говорил почти что правильно. Потому что судьба у детройтца Ивана Гордеевича Кравчука сложилась иначе, чем у большинства его друзей по обществу. Какие только зигзаги не дает это непредсказуемое стечение обстоятельств и событий, именуемое фаталистически судьбой!

Отец Ивана Кравчука, тоже родом из Западной Украины, так же как отец братьев Витик, еще перед первой мировой войной отправился за океан. Но семью с собой не взял. Дескать, сначала надо осмотреться, обосноваться. Потом их вызовет. Но началась война, все перемешалось. Мать Ивана Гордеевича с детьми оказались на Волге, где-то в районе Жигулей. Только в 1931 году отец, укorenившийся на чужой земле, воссоединился с женой и детьми. Иван к этому времени окончил начальные классы советской школы.

Так и получилось, что русский с берегов Волги, из тех мест, где три десятилетия спустя вырос советский автомобильный гигант, поневоле стал детройтцем, американским автомобилестроителем. Правда, не сразу. Сначала был чернорабочим, потом подмастерьем на сталелитейном заводе, научился ремонтировать прокатные станы, сделался специалистом в этом деле.

— Я малограмотный,— говорит Кравчук.— Но, по правде сказать, всегда славился своей ловкостью.

Крупный, уверенный в себе, веселый, он не скрывает гордости своими силенками.

— О це-це! — восклицает он, когда братья Витик и Бруно начинают говорить. — Не понимают меня по-русски. У нас тут душевно, — добавляет Иван Гордеевич, оглядываясь вокруг.

Пустой зал выглядел довольно уныло. Низкий потолок. У противоположной от входа стены стойка бара — вот и вся обстановка в будний день. Скрашивают ощущение пустоты и бедности только плакаты на стенах. Знакомые лица — Леся Украинка, Шевченко, известный портрет Поля Робсона в пионерском галстуке.

На самом видном месте объявление: «„Отметим достойно 60-ю годовщину Советского Союза!“»

Концерт и банкет. Русско-канадский женский хор. Танцевальный ансамбль „Волга“».

А внизу буквами поменьше написано: «Комитет национальных групп включая армян, болгар, евреев, литовцев, поляков, русских и украинцев объединил все силы для того, чтобы провести это незабываемое празднество».

— Наверное, на следующий год снова поеду в Советский Союз, — говорит, улыбаясь, Иван Кравчук.

С гордостью показывали мои новые друзья свое хозяйство. Говорили о том, как трудно в годы инфляции и кризисов арендовать такое помещение. Рассказывали о своих поездках в Советский Союз, о встречах с односельчанами. С обидой говорили о том, что не доходят до них советские кинофильмы. Вот и на сей раз обошли штат Мичиган. Не будет местная телевизионная станция показывать сериал «Неизвестная война», выпущенный совместно советскими и американскими кинематографистами. А ведь в этом промышленном районе так много американцев-славян. Может быть, именно поэтому и не будут?

Я слушал их, и сердце щемило неожиданно вспыхнувшее острое чувство сопричастности с этими людьми, с их радостями и заботами. Люди моей земли, бурями начала века занесенные на чужбину. Те из них, кто не отрехся от родины своих отцов, кто стремится сохранить свой национальный облик в мясорубке все перемалывающей, все стандартизирующей Америки. Они, дети тех, кто когда-то высадился на американском берегу, все еще считают себя русскими, украинцами, армянами. А их дети, а тем более дети их детей — уже американцы. Большинство и языка-то иного, кроме английского, не знают.

Процесс естественный, неизбежный. А грустно! Старики уходят, вместе с ними уменьшаются, хиреют национальные общины.

Среди прочих плакатов и объявлений, оживлявших грубо оштукатуренные стены зала, я увидел большой групповой фотоснимок. Чинно, в два ряда, как выстраивается хор, стояли на нем дородные мужчины в русских рубахах навыпуск, круглолицые женщины в расшитых крестиком украинских платьях.

— А ведь вот это я, а это — Василий, — сказал Иван Григорьевич, показывая на помолодевших вдруг самого себя и брата. — Той Кондрат, той помер, той Оксана, та помере... Той Кузьма, той помер, був в Тернополь. там и остався.

В разъездах за границей я не раз волею случая оказывался лицом к лицу с соотечественниками, очутившимися по ту сторону кордона. Это были очень разные люди. Объединяло их, пожалуй, лишь одно — несмотря на десятилетия, прожитые на чужбине, большинство из них ощущали себя не совсем американцами или англичанами, а больше русскими или украинцами. Многие из них тянулись ко всему нашему. Не пропускали ни одного советского судна, заходящего в порт. По многу раз приходили на одну и ту же выставку, приводя с собой покорно плетущихся позади жен — англичанок и американок.

Встречались, конечно, и такие, чей косой, злобный взгляд сразу ставил все на место: перед тобой был недруг. Но настоящий враг, предатель, запятнавший себя преступлением против родины, предпочитает не раскрываться, не признается даже в том, что знает русский язык, от советского человека шарахается, как черт от ладана.

В сложных судьбах унесенных ветром проступала одаренность, сила русских людей, помогавшая им выстоять в тяжелых условиях. Трогало сердце то, что даже самые преуспевающие из них остро ощущали ущербность своего существования без

родины. И невольно думалось о том, как порой мешает нам разглядеть правду жизни еще довлеющее над нами унифицированно-негативное отношение к соплеменникам за границей.

...Умиротворяюще шуршали фонтаны. Бесшумные эскалаторы вносили в холл для отъезжающих уверенных в себе людей. Утренний свет постепенно наполнял зал, словно стараясь убедить всех, что ночные тревоги остались позади, за этими стеклянными стенами. Всем своим обликом — сверканием свежевывмытых полов, бойкой пестротой киосков и магазинчиков, добротностью одежды пассажиров и их чемоданов — детройтский аэропорт объявлял: «Business as usual».

В самом центре зала на стенде возвышалось нечто задрапированное полотнищем, сшитым из флагов чуть ли не всех стран мира. То была еще не явившаяся взорам публики новая автомашина. В назначенный день и час при скоплении корреспондентов и дилеров, под вспышки фотокамер, под звон бокалов она предстанет перед всеми как шедевр искусства, как статуя великому человеку на городской площади.

И сев за ее руль, обнажив зубы в патентованной улыбке, президент компании «Форд мотор» Филипп Колдуэлл поднимет вверх большой палец жестом, не требующим перевода, — «на большой!».

Пестрые клочки одеяла, укутывавшего новорожденного, недвусмысленно объявляли: «Перед вами ответ Форда иностранным конкурентам, вызов, брошенный всему миру». Саму красотку никто еще не видел. Но, подогревая упавший интерес американцев к отечественной продукции, рекламные агентства уже «проболтались»: чудо-машина имеет четырехцилиндровый мотор и будет давать 30 миль на галлон бензина.

Да, Детройт жив. Но дни триумфа американского автомобиля, золотые дни автомобильного короля ушли навсегда. «Чтобы выжить, нам придется сбросить лишний жирок, стать потощее» — сказал мистер Уиндеккер. Он не скрывал, что патриотическая задача «похудения» отводится смитам и браунам, витикам и зворькиным, манишевичам и лагардиа — простым людям, создавшим своими руками американский автомобиль, который забуксовал, чуть не перевернулся и который надо теперь выволакивать с обочины на шоссе...



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

А. С. БЛАНК



ПЛЕННИКИ СТАЛИНГРАДА

В потоке неофашистской литературы, заполнившей книжный рынок Западной Германии, немалое место занимают «труды» фальсификаторов истории, стремящихся опровергнуть неопровержимое: отнести к злым наветам все, от чего согрогнулся мир, узнав о чудовищных злодеяниях гитлеровцев во второй мировой войне. Не было, ничего не было (ни концлагерей с их индустрией уничтожения людей — газовыми камерами, ни пыток, ни массовых расстрелов мирного населения — женщин, стариков, детей), лжесвидетельствуют «очевидцы». А что же было? А было — вот уж поистине с больной головы на здоровую — ...страдания бывших военнопленных в советском плену. Одна за другой выпускаются книги, содержащие подобные «воспоминания».

Вся прогрессивная общественность мира отметила сорокалетие Сталинградской битвы — великого подвига Советской Армии в историческом сражении второй мировой войны. По-своему отметили эту дату реваншистские, неофашистские силы ФРГ. Здесь выпустили «юбилейную медаль» в память о «немецких мучениках, погибших в советском плену».

Шумный шабаш устроили члены «союза сталинградских борцов» — оказывается, есть такой в ФРГ. На юбилейном сборище вспоминалась не крупнейшая катастрофа гитлеровской армии, а... «подвиги» рыцарей 6-й армии, замученных в советском плену

Чтоб ложь обрела видимость исторической достоверности, в ФРГ создали некую «научную базу» для антисоветской пропаганды — издали многотомное сочинение «К истории немецких военнопленных во второй мировой войне», из которых несколько томов о немецких военнопленных в СССР.

В нашей стране и за рубежом печатались труды, дающие правдивую, объективную картину о положении пленных немцев в СССР, о подлинно гуманном к ним отношении. Большое внимание привлекла, в частности, книга доктора исторических наук, профессора А. С. Бланка «Немецкие военнопленные в СССР», вышедшая в ФРГ. Приведенные в ней факты, свидетельства оказались столь убедительными, что западно-германские рецензенты назвали ее книгой «против старой и по-новому препарированной неправды».

В публикуемых ниже записках «Пленники Сталинграда» А. С. Бланк, развивая эту тему, приводит новые факты, разоблачающие неофашистских клеветников.

Плубоко в прорези обветшалой подкладки офицерской сумки — единственной вещи, оставшейся у меня со времен войны, — я нашел несколько смятых линованных страничек из самодельной записной книжки... Беглые, поблекшие от времени, неразборчивые заметки: «27.03.43 — бес. с пл. Р.», «эксперт-психолог», «газ. с П. 8.04.43 г.», «вн.—Ш.», «Л. Ш. уже видит», «бес. с П» (!), «поэт», «Д. 4.07.43. М-ва»... Заметок много — все в таком же духе.

Они были понятны мне одному, эти рабочие планы на предстоящий день. Сделаны они были в стенах Спасо-Евфимиева монастыря в маленьком городке Суздале, тогда еще Ивановской области, в первой половине 1943 года. Здесь в лагере для военно-

пленных офицеров и генералов находились тогда генералитет и офицерский корпус группировки фашистского вермахта, взятой в плен в результате разгрома гитлеровцев в битве на Волге. Мне, молодому советскому офицеру, предстояло работать с ними, жить среди них.

Начну по порядку...

В телеграмме, которая была получена из Москвы в первых числах января 1943 года, говорилось: «Срочно откомандировать из частей в Москву, в распоряжение НКВД СССР для выполнения специального задания солдат и офицеров, знающих немецкий язык, имеющих высшее и незаконченное высшее образование и положительную боевую и партийно-политическую характеристику».

Несколько часов на сборы и получение документов и несколько дней на пересадки, вернее перебежки с эшелона в эшелон, — и вот вечером я, ошалелый от дороги и отвыкший от ритма жизни большого города, стою на погруженной в темень Комсомольской площади столицы, по которой движутся автомашины с сиднями фарами. Еще полчаса — и я в бюро пропусков НКВД СССР на Кузнецком мосту. Звоню из кабины по указанному мне дежурным телефону, докладываю, что прибыл.

На следующий день я получил заказанный заранее на мое имя пропуск. В течение часа беседовал с сотрудниками НКВД. Они подробно интересовались моей тогда еще очень короткой биографией, расспросили о семье — родителях, брате. Я рассказал, что в 1937—1938 годах, еще школьником, работал пионервожатым в детском доме для детей республиканской Испании в Одессе, а начав учиться на истфаке университета, занимался историей Лейпцигского процесса. Затем пошел вопросы о немецком языке.

— Изучал его с детских лет, мать — преподаватель иностранных языков, читаю свободно, знаю наизусть много стихов, большие куски из «Фауста», многие баллады Шиллера, люблю Гейне, разговорной же практики почти не имел, — сказал я.

Сотрудник НКВД улыбнулся:

— Ничего, скоро вы ее получите, да еще какую! — Отметил мне пропуск и сказал: — В ближайшие дни мы вас снова вызовем.

Следующий вызов через четыре дня.

— Поедете в лагерь военнопленных в Суздаль. От Москвы недалеко, двести с лишним километров. Работа ответственная и интересная. Выехать надо немедленно. Желаем успеха.

Этим заключилась краткая беседа.

Меньше чем через сутки я был уже в Суздале. Со дня на день ждали здесь прибытия основного контингента — офицеров и генералов вражеской армии, взятых недавно в плен под Сталинградом. Вскоре приехала первая партия — лейтенанты, капитаны, майоры. Затем подполковники и полковники. Мы готовились к приему большой группы генералов во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом. Подолгу беседуя с офицерами разных рангов и должностей, мы составляли мнение о 6-й армии вермахта — ядре сталинградской группировки гитлеровцев. Она считалась одной из самых прославленных в вооруженных силах фашистского рейха. В 1940 году ее части победоносным маршем прошли по Франции. С первых дней войны с Советским Союзом 6-я армия — на Восточном фронте. Здесь служили отборные офицеры. Командовал ею до 1942 года один из наиболее приближенных к Гитлеру военачальников — генерал-фельдмаршал фон Рейхенау. Среди офицеров, как строевых, так и особенно штабных, много людей с громко звучащими фамилиями — сыновья и родственники высокопоставленных гитлеровцев с приставкой «фон» перед фамилией, и штрафники высокого ранга, то есть такие, кто занимал привилегированное положение в государственном или партийном аппарате рейха, в органах СС и был носителем ценной секретной военной, политической и технической информации, но чем-то провинился и отправлен на фронт искупать свою вину.

В составе 6-й армии воевал Эрнст Александр Паулюс, сын нового командующего, сменившего умершего Рейхенау. Кстати, нынешний лидер западногерманских правых, глава ХСС Франц Йозеф Штраус всегда с гордостью вспоминает, что воевал в составе 6-й армии, но избежал котла, так как был ранен и вывезен самолетом в рейх.

Среди офицеров вермахта ходили мифы о рыцарских традициях 6-й армии. В действительности же путь этой армии по советской территории отмечен кровавым следом. Рейхенау требовал от ее частей жестокого террора и беспощадности к мирному

населению оккупированных территорий, к партизанам и сочувствующим им, предусматривал казни и экзекуции. В его приказе по армии от 10 октября 1941 года говорилось:

«В вопросе поведения войск по отношению к большевистской системе имеются еще во многих случаях неясные представления. Основная цель похода против еврейско-большевистской системы — полный разгром государственной мощи и искоренение азиатского влияния на европейскую культуру.

В связи с этим перед войсками возникают задачи, выходящие за рамки обычных обязанностей воина...

К борьбе с врагом за линией фронта еще недостаточно серьезно относятся. Все еще продолжают брать в плен коварных, жестоких партизан и вырождков-женщин; к одетым в полувоенную или гражданскую форму отдельным стрелкам из засад и бродягам относятся все еще как к настоящим солдатам и направляют их в лагерь для военнопленных. Пора начальствующему составу пробудить в себе понимание борьбы, которая ведется в настоящее время».

Насыщенная эсэсовской прослойкой — чинами СД, командами спецназначения, а также полевой жандармерии и абвера, — 6-я армия с полным пониманием отнеслась к этому приказу.

Паулюс, находясь уже в плену, говорил, что он отменил этот «позорный приказ» своего предшественника, но расправы с мирным населением, однако, продолжались.

В первых числах февраля 1943 года военнопленные генералы и старшие офицеры вермахта, взятые в плен под Сталинградом, покинули разрушенный город на Волге. Удобные железнодорожные вагоны, организованное питание, чистое белье служили в течение трех дней пути предметом постоянных разговоров и удивления. Ведь что и говорить, большинство немецких военнопленных верили фашистским выдумкам об «ужасах большевистского плена». Генерал Артур Шмидт и группировавшиеся вокруг него офицеры не переставали нашептывать: погодите, все еще впереди...

Впереди был небольшой городок в двадцати километрах к северо-западу от Москвы. Сюда военнопленные прибыли через три дня. За два месяца жизни здесь генералы 6-й армии вермахта успели привыкнуть к порядкам в советском плену — четкому режиму, питанию и медицинскому обслуживанию, библиотеке, чистоте.

Как будто бы по молчаливому уговору военнопленные избегали в первые недели лагерной жизни разговоров на серьезные темы. Обсуждались эпизоды лагерных будней, вспоминались прежние события личной жизни, близкие друзья, находившиеся в Германии. «Все мы еще испытывали своего рода умственный паралич, находились в состоянии шока, вызванного ужасами пережитого...» — вспоминал об этом времени адъютант командующего армией полковник Вильгельм Адам.

В конце апреля 1943 года военнопленные генералы и полковник Адам получили приказание подготовиться к переезду на новое место. Вскоре они прибыли в Суздаль — некогда славную столицу древнейшего русского княжества с тысячелетней историей.

Невольно для себя почти на каждом шагу военнопленные, даже самые закоренелые малoverы, отмечали образцовый порядок, существовавший в этом лагере, опрятные жилые помещения, чистое белье и, пожалуй, главное — сытную пищу. Что касается генералов и старших офицеров, то они получали не просто сытные, а разнообразные и питательные продукты, ежедневный табачный паек папиросами высшего сорта «Казбек».

Нельзя сказать, чтобы условия содержания контингента вызывали у работавших в этом лагере советских людей одобрение. Все они много слышали и читали о немецких лагерях. Все хорошо знали о зверствах гитлеровцев на советской земле, о разрушениях сел, городов, многие пережили фронт, потерю родных и близких, и им было трудно спокойно смотреть на хорошо оборудованные и чистые лагерные столовые, теплые жилые комнаты, зал для концертов самодеятельности, бани, библиотеку — и все это для тех, кто вторгся на нашу землю, заливая ее потоками крови.

То, что мы узнавали о дискуссиях среди немецких военнопленных по отдельным репликам самых откровенных врагов или, наоборот, самых доверчивых офицеров, отнюдь не увеличивало наши симпатии к временным жителям Спасо-Евфимиева монастыря, где помещался лагерь. «Это пропаганда, — говорили одни, — самая изощренная пропаганда русских. Они хотят расслабить нас, усыпить нашу бдительность, выставить

фюрера лжецом и клеветником, чтобы побудить нас к измене присяге», «Русские просто боятся возмездия за плохое обращение с нами», «Они хотят иметь свой шанс на случай поражения» — были и такие голоса. Кое-кто даже разъяснял, что в этом, мол, феномене прощения нет ничего удивительного. Мягкосердечные славяне «пасуют перед народом господ, чувствуют свою неполноценность и отдают должное... рыцарям германского духа». Были суждения и литературно-психологического порядка. «Достоевский, — говорили «интеллектуалы», — давно объяснил русскую душу. Для нее характерен комплекс „любовь—ненависть“». Кто-то даже припомнил Толстого с его непротивлением злу.

Мы обменивались мнениями по поводу этих суждений и удивлялись самодовольству и тупости, высокомерию и примитивизму наших подопечных.

Множество необычных проблем встает перед советским человеком, попавшим на работу в лагерь военнопленных. Ни на минуту не забывая, что ты среди врагов, правда уже не вооруженных, но отнюдь не ставших еще ни друзьями, ни хотя бы нейтральными. И ничто не может изменить этого ощущения — ни учтивое козыряние встречающихся в зоне лагеря офицеров и чисто немецкое щелканье каблуками, ни беспрекословная услужливая готовность выполнять любое распоряжение офицеров лагеря, ни бесконечные «яволь». У некоторой части военнопленных открыто заискивающее выражение лица. Но все это не обманывало, не снижало чувства обостренной настороженности и почти фронтовой бдительности.

Однако мы знали, что в одноликой на первый взгляд массе обезоруженных и внешне вполне покорных солдат и офицеров есть (и непременно должны быть) не только наши враги, военные преступники, но и просто обманутые гитлеровскими посулами рядовые немцы, люди, желающие лишь одного — сохранить жизнь, а может быть, и противники гитлеровского режима. И когда сотни офицеров и солдат замирали по команде «смирно» на утренней поверке, которую они по-своему называли ашпель, и староста лагеря — военнопленный офицер — отдавал рапорт начальнику лагеря полковнику Новикову, каждый понимал, что этот замерший на мгновение строй солдат и офицеров вражеской армии, в сущности, представлял собой микроскопически маленькую модель всего гитлеровского вермахта и, может быть, даже всего рейха с его большими и малыми фюрерами, фанатичными нацистами и милитаристами старопрусского образца, с одной стороны, с призванными из запаса рабочими, крестьянами, интеллигентами — с другой, среди которых, кроме приверженцев фашизма и его сознательных противников, были и те, кто просто искренне радовался своему нахождению в плену как верному избавлению от кошмаров и постоянных опасностей войны.

Среди немецких офицеров и генералов в лагере находились бывший командующий 6-й армией генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс, бывший командир 51-го армейского корпуса генерал артиллерии Вальтер фон Зейдлиц, бывший командир 11-го армейского корпуса генерал пехоты Штрекер, бывший командир 14-го танкового корпуса генерал-лейтенант Шлёммер, генерал-майоры Корфес, Латтман, Ленски, генерал-лейтенант Дебуа, начальник штаба 6-й армии генерал-лейтенант Шмидт, полковники, подполковники, майоры, офицеры всех званий, рангов и возрастов. Вместе с немцами в лагерь были доставлены итальянские, румынские и венгерские генералы и офицеры, разделившие участь своих союзников — немцев, разгромленных под Сталинградом. Были здесь и испанцы из фалангистско-франкистских головорезов, и несколько военных капелланов — итальянцев, в том числе и отлично говоривший по-русски падре Алажани, прошедший специальный курс обучения в «русской коллегии» Ватикана. Были в лагере и военные священники — немцы (католики и протестанты).

Почти все военнопленные держались первое время очень настороженно. Многократно повторяемые измышления геббельсовской пропаганды об ужасах советского плена не могли не оставить следа в сознании этих людей. И хотя они уже около месяца находились в руках советских властей, которые не только неукоснительно придерживались международных норм обращения с военнопленными, но создали для них вполне благоприятные условия, настороженность не проходила.

Активные гитлеровцы, которых немало было среди группы военнопленных, неустанно подогревали настороженность все новыми и новыми провокационными слухами о каких-то особых мероприятиях, которые якобы готовили советские органы.

Между тем в лагерях для генералов и старших офицеров работали опытные, вдумчивые советские люди, в подавляющем большинстве коммунисты, обладавшие большими знаниями, выдержкой, идейной убежденностью. Колоритной фигурой был, на-

пример, начальник лагеря в Суздале Александр Степанович Новиков, в прошлом пограничник, маленький, подвижный, боевой, резкий в движениях, с отрывистой речью, с умной, слегка насмешливой улыбкой, с голосом, изредка срывающимся на фальцет. Все это делало его похожим на русского полководца Суворова. Новиков пользовался большим уважением у пленных генералов и офицеров суздальского лагеря. Они видели в нем мужественного солдата — он и был таким, — человека прямого, чуждого дипломатии. Слово свое он обычно держал твердо, говорил — резал правду-матку в лицо. Новиков всю жизнь служил строевым командиром, обладал способностью быстро ухватить «зернышко» — самую суть вопроса — в любом споре и любой полемике, которую ему приходилось вести со своими многоопытными и многочисленными подчиненными. Конфликты, возникавшие среди военнопленных генералов и офицеров, Новиков разрешал легко, иногда по-солдатски слишком уж прямолинейно, но мудро и справедливо.

Много сил для того, чтобы открыть глаза младшим офицерам вермахта, одурманенным гитлеровской пропагандой, приложил старший лейтенант Петр Прокофьевич Мащев. Часами терпеливо беседовал он с заносчивыми молодыми офицерами, как говорится, с порога отвергавшими все доводы.

Майоры Карпунин, Исаев и Кашеев многое сделали для того, чтобы наладить быт военнопленных, обеспечить лагерь всем необходимым, при этом нельзя забывать, что все это делалось во время войны. Особенно большую заботу проявляли к офицерам и генералам, переболевшим в котле дистрофией и сыпняком, врачи Дубников, Соколова, Вельцер, Миленина.

Собственно, оказание военнопленным немедленной и всемерной медицинской помощи составляло одну из главных задач советских офицеров, работавших в лагере. Надо было лично видеть этих солдат 6-й армии гитлеровского вермахта, многие из которых после сталинградского котла с трудом обретали человеческий облик, чтобы представить себе всю глубину потрясения, которое пережили солдаты и офицеры вермахта.

Большинство прибывавших военнопленных были сильно истощены, что явилось причиной дистрофии. Советские врачи принимали самые различные меры, чтобы восстановить их силы и здоровье. Легко ли было это делать во время войны, когда высококалорийные продукты ценились на вес золота? Делалось же, однако, буквально все что возможно, и результаты быстро сказывались: многие больные начинали понемножку ходить, исчезала отечная одутловатость лица.

Страшнее дистрофии сыпняк. Поголовную вшивость удалось, правда не без трудностей, ликвидировать сравнительно быстро, но многие немцы прибыли в лагерь уже больными, переполнили лагерьный лазарет. Наши неутомимые врачи, медицинские сестры и санитарки сутками не выходили из палат. Борьба шла за каждую жизнь. В специальных госпиталиях для военнопленных, находившихся неподалеку от лагеря, десятки врачей и медицинских сестер тоже спасали от смерти немецких офицеров и солдат. Многие из наших людей становились жертвами тифа. Тяжело заболели врачи Лидия Соколова и Софья Киселева, начальник медицинской части госпиталя молодой врач Валентина Миленина, медицинские сестры, переводчик Рейтман и многие другие. Несколько наших работников погибли от тифа.

Все, что происходило за высокими каменными стенами лагеря, держалось, разумеется, в секрете. Но в маленьком городке трудно сохранить тайну: среди населения шли разговоры о том, что в зону прибыли важные немцы. Один ветхий старичок, у которого я на рынке покупал самосад, всерьез уверял меня, что в лагерь привезли «самого Геринга — главного помощника Гитлера».

Немецкие солдаты и офицеры, обманутые гитлеровцами и на протяжении ряда лет слепо повиновавшиеся приказам фашистского командования, впервые получили в советском лагере для военнопленных возможность трезво оценить сложившуюся обстановку, осмыслить и понять величайшее значение катастрофы, постигшей гитлеровскую Германию под Сталинградом. Впервые за многие годы они получили возможность безбоязненно выражать свое истинное отношение к фашистскому строю и политике гитлеровского правительства. Они все больше проникались патриотическим чувством ответственности за судьбу своей страны и своего народа.

Суздальский лагерь оказался самым трудным: процесс прозрения и освобождения от нацистского дурмана шел здесь медленней, сложнее, чем в других. И неудивительно. В Суздале ведь находились самые крепкие орешки из всех военнопленных — гене-

ралы и старшие офицеры одной из отборных армий гитлеровского вермахта. Но и в этом лагере процесс дифференциации становился все более осязаемым. Из еще недавно безликой массы военнопленных, объединяемой одним словом «контингент», постепенно начинали выделяться отдельные личности. Вот на одном из аштелей в первые же дни пребывания в лагере к начальнику лагеря полковнику Новикову, щелкнув каблуками, подошел молодой немецкий офицер.

— Лейтенант Риббентроп,— представился он. И немедленно, видимо наблюдая за тем, какой эффект произведет его фамилия, добавил: — Да-да, Риббентроп, родной племянник господина рейхсминистра...

— Чего же вы хотите? — сухо спросил Новиков.

— Я просил бы вас не смешивать меня с ними,— ответил лейтенант и презрительным жестом указал на расходившихся после проверки пленных офицеров.— Помните,— добавил он, нагло ватосмеиваясь,— что я ценная монета, а в скором времени и ваш козырь на спасение, полковник.

Выслушав перевод, Новиков отошел на несколько шагов и, прищурившись, посмотрел на долговязого немца.

— Козырь на спасение, говоришь. Ценная монета? Ну что ж, может быть, и верно,— проговорил он, обращаясь ко мне и лукаво подмигивая.— Создадим министерскому племяннику особые условия, а? Ведь этого вы хотите? — спросил он преисполненного важности лейтенанта.

Тот подтвердил. В тот же день лейтенанта Риббентропа изолировали от товарищей, выполнили его желание — не смешивать его с остальными военнопленными.

О демарше молодого фон Риббентропа доложили в этот же день в Москву. Последовало приказание подробно побеседовать с ним, выяснить, что он знает о своем дяде, какие связи имеет, что собой представляет. Это поручили мне. Вот так и появилась в моем блокноте записка «Бес. с пл. Р.» — беседа с племянником Риббентропа.

И вот он сидит передо мной — долговязый молодой немец с прыщавым лицом. Курит предложенные мною папиросы и каждые пять минут норовит положить ногу на ногу и покачивать носком сапога. Мне приходится каждый раз напоминать ему, чтобы сел прилично и что мы с ним не в казино. «Яволь», — говорит Риббентроп, опускает ногу и подтягивается. А через некоторое время снова разваливается на стуле и забрасывает ногу на ногу.

— Мой дядя Иоахим всегда был другом России,— говорит он.— Вы не поверите, но даже после начала восточного похода (так они нередко называли нападение фашистской Германии на Советский Союз) у него дома на письменном столе стояла фотография, на которой он был снят рядом со Сталиным в Кремле. Дядя очень дорожил ею...

— Да,— говорю я,— но ведь этот снимок был сделан двадцать третьего августа тридцать девятого года, когда ваш дядя подписал в Москве договор о ненападении с СССР, который вы, немцы, по-разбойничьи нарушили. Если бы не это, вы, лейтенант, не сидели бы сейчас здесь.

— Ах, это верно. Но знаете,— и тут он переходит на доверительные интонации,— дядя Иоахим всегда был против этой войны. Он и сейчас сочувствует русским. Дядя хорошо знает коварство англичан, он много лет служил в Лондоне, а с русскими надо жить в мире. Если бы мы были вместе, никто не мог бы нас победить... Фюрер это все хорошо понимает,— продолжал министерский племянник,— но, к сожалению, он не всегда прислушивается к советам дяди. И знаете,— он придает своему голосу многозначительность,— дядя ведь на подозрении у рейхсфюрера Гимmlера. Да-да, Гимmlер ненавидит дядю, а заодно и рейхслейтера Бормана. (Это уже становится интересным, но я стараюсь не спугнуть лейтенанта и слушаю равнодушно.) Он доложил фюреру, что предки тети Аннелиз, дядиной супруги, были мишляинги (полукровки.— А. Б.) и что ее кровь содержит еврейские примеси. Это, конечно, ложь. Узнав об этой ужасной,— именно так он и выразился,— клевете, дядя имел беседу с Гейдрихом, он обещал рассеять все подозрения, но Гейдрих недавно погиб...

Мы неторопливо беседуем о семье Риббентропа...

— Все были очень приличными коммерсантами и людьми слова,— сказал лейтенант.

Он плохо отозвался о нравах некоторых высокопоставленных нацистов. («Этот Гимmlер оставил жену и дочь Гудрун, живет вне брака с женщиной, содержит ее, прижил с ней двух детей».) Однако окончательная победа рейха в войне не вызывает у лейтенанта, конечно, никакого сомнения.

— Ваш полковник (Новиков.— А. Б.) совершенно напрасно так круто поступил со мной. Я желал ему добра: ведь к моим словам прислушаются и его судьба была бы облегчена. Я надеюсь, он не коммунист и не комиссар? — спросил Риббентроп.— В этом случае даже мне не удалось бы ему помочь.

Пришлось успокоить лейтенанта: полковник Новиков обойдется без его содействия.

Мы прощаемся, и он, щелкнув каблучками, в сопровождении конвоира гордо отправляется в изолятор. А я сажусь записывать по свежим следам содержание нашей беседы. Сегодня вечером шифровка уйдет в Москву.

Родственников вообще оказывается достаточно много. Нередко к нам заходят офицеры, которые просят записать где-либо, что их дядя (тетя, шурин, двоюродный брат и даже сосед) был коммунистом или социал-демократом или сидел в концлагере, а в это время его семье помогали. Пожилой капитан Лигниц, например, настойчиво просил отметить в каких-либо документах, что он знал о том, что у его соседа Штрубеля в Любеке собираются несколько человек, чтобы по вечерам слушать передачи Московского радио. Знал, но не донес. Хотя, если бы дошел, не ходил бы в свои годы только капитаном.

— Запишите это, пожалуйста, в мою анкету,— просил Лигниц.

Вполне вероятно, что откровенному признанию одного из таких родственников я обязан тем, что получил возможность лично побывать у Георгия Димитрова и иметь с ним недолгую беседу.

Как-то вечером после апелла подошел ко мне молодой военнопленный офицер — лейтенант Герберт Вернер и сказал, что он близкий родственник обер-прокурора Вернера, того самого, который выступал в качестве государственного обвинителя на Лейпцигском процессе. Вернер заметил, что во время процесса, будучи еще мальчиком, подолгу спорил с прокурором, доказывая, что мужество Димитрова достойно восхищения. «На этой почве,— рассказывал Герберт,— даже возник семейный конфликт...» И дальше молодой Вернер уверял, что его симпатии всегда были на стороне Димитрова.

Когда в июне 1943 года мне было поручено сопровождать товарища Вильгельма Пика, приехавшего на десять дней в Суздаль для выступления перед офицерами и генералами вермахта, я рассказал ему об откровениях лейтенанта Вернера. Было известно, что Пика и Димитрова связывает близкая дружба. И я подумал, что он расскажет Димитрову об этом курьезе.

И вот в начале июля телефонный звонок из Москвы и приказание явиться в наркомат. Приезжаю, докладываю начальству и на следующий день вхожу в большой кабинет. Меня провожает туда женщина-секретарь, а в кабинете уже находятся трое: Г. Димитров, имевший болезненный и усталый вид, В. Пик и еще один незнакомый мне товарищ.

— А, старый знакомый,— приветливо сказал Вильгельм Пик. И обращаясь к Димитрову:— Это о нем я тебе рассказывал, ему молодой Вернер клялся в любви к тебе,— шутливо добавил он.

Говорили по-немецки. Г. Димитров пригласил меня садиться. Принесли чаю. Он спросил, как настроены молодые офицеры из числа военнопленных, те, кому двадцать—тридцать лет.

— Это ведь особенно важно, если хотите, это важнее, чем настроения генералов. Они вернутся в свободную Германию, свободную от фашистов и от капиталистов и юнкеров, где им предстоит начинать жизнь. Найти свое место в новом обществе. Товарищ Вильгельм (Пик.— А. Б.),— продолжал Димитров,— рассказывал, что вы в Суздале раздали военнопленным анкету, произвели опрос.

Я рассказал товарищу Димитрову, что на вопросы нашей анкеты 22 процента ответили, что в победу гитлеровской Германии больше не верят, 13 — что не одобряют политику Гитлера. А на вопрос, что побудило следовать за фашистской кликой, свыше 70 процентов ответили: привычка подчиняться властям. Эти цифры заинтересовали Г. Димитрова.

— По мере того как Красная Армия будет продвигаться на запад, настроения будут резко меняться,— сказал он.— Нас особенно заботит судьба растленной Гитлером немецкой молодежи. В антифашистских школах здесь, в Советском Союзе, она быстро избавляется от нацистского дурмана, особенно после Сталинграда. Но ведь нам предстоит отобрать у нацистов всю молодежь или, по крайней мере, ее большинство. Для этого надо не пожалеть сил. Ты рассказывал мне, Вильгельм,— продолжал Димит-

ров,— о молодых солдатах, сдавшихся добровольно в плен Красной Армии, которые пошли в распоряжение фашистских войск в районе Великих Лук, чтобы убедить гарнизон капитулировать. Где они теперь, чем занимаются? (Речь шла, как я позже узнал, об антифашистах-солдатах Гейнце Кесслере, Франце Гольде и лейтенанте Августине.)

Товарищ Пик ответил:

— Это замечательные парни, Георгий, они работают всюду, и скоро для них будет еще больше работы.

В середине июля 1943 года в одном из городов Подмосковья состоялась учредительная конференция, на которой был основан Национальный комитет «Свободная Германия». Гейнце Кесслер был избран его членом. (Ныне он член ЦК СЕПГ, заместитель министра национальной обороны ГДР и начальник Главного политического управления Национальной Народной Армии.)

— Когда молодой солдат и тем более офицер вермахта становится убежденным антифашистом, это внушает оптимизм,— сказал Г. Димитров. И, улыбаясь, добавил: — А этот твой Вернер просто хотел, наверно, получить в награду дополнительный паек как тайно сочувствовавший важному государственному преступнику. Ты ему не очень-то верь,— сказал он.

На этом и закончилась наша беседа. Г. Димитров пожелал мне успехов, и мы попрощались. Обаяние Г. Димитрова, простота (он, как говорится, на равных разговаривал с совсем еще молодым человеком) — все это глубоко запечатлелось в моей памяти. А записал я об этом факте тогда кратко: «Д. 4.07.43. М-ва».

Тема родственников и сочувствующих увела нас, однако, от лагерных будней. Одна из моих записей, «эксперт-психолог», напомнила такой случай.

Получил я приказание выслушать военнопленного психолога Цильке, который уже несколько дней добивался приема у начальника лагеря или его заместителя. «По особо секретному делу»,— многозначительно подчеркивал он каждый раз. Посыльный из числа совсем молодых военнопленных солдат — немцы, румыны и итальянцы называют их плантонами — приводит ко мне офицера средних лет с погонами капитана. Нам уже известно, что Цильке вовсе не капитан, а гауптштурмфюрер СС. Он сначала отрицает принадлежность к СС, затем начинает убеждать, что гауптштурмфюрер и капитан, в сущности, одно и то же. Через час Цильке уже откровенничает: служил он, оказывается, под началом обер-фюрера СС профессора д-ра Вальтера Вюста в «генеалогическом бюро» при личном штабе Гимmlера и был экспертом по расовым вопросам. Функции его заключались в том, чтобы выносить окончательное заключение в спорных и недостаточно ясных случаях. Известно, что согласно нацистским законам, окончательно оформившимся в 1938 году, лица, у которых оба родителя были евреями, подлежали депортации или заключению в концлагерь, а затем попадали под действие «окончательного решения» (еврейского вопроса), то есть физически уничтожались. Такому же обращению (на нацистском профессиональном жаргоне «особому обращению») подлежали и полукровки — те, у кого один из родителей еврей. Сложнее было с теми, у кого оказывалась четверть еврейской крови. Эти могли жить, но полноценными гражданами не считались, не могли занимать должности в государственных учреждениях, быть членами партии, служить в армии. Хотя их и не обязывали носить желтую нарукавную повязку с шестиконечной звездой Давида, им не разрешалось заниматься многими профессиями, посещать общественные учреждения для арийцев, лечиться в общих больницах, пользоваться спортивными сооружениями — бассейнами, стадионами, — предназначенными для чистокровных арийцев, и т. п. Далее шли имеющие одну восьмую еврейской крови. Эти могли работать всюду, кроме государственных учреждений по особому списку, аппарата НСДАП, конечно, СС и т. д.

Всеми этими вопросами ведали «генеалогическое бюро» при личном штабе рейхсфюрера СС, управление по расовым вопросам при центральном аппарате НСДАП и соответствующее управление главного управления имперской безопасности, подчинявшееся рейхсфюреру СС, и децернат, то есть отдел в составе гестапо. Последний возглавлял Эйхман. Цильке использовался и там в качестве эксперта-референта.

В условиях нацистской Германии нередки были случаи, когда всеми правдами и неправдами евреи добывали себе новые, арийские документы, меняли фамилии, старались стать четвертькровками — это давало шанс на спасение. Словом, многие пытались «улучшить» свою родословную хотя бы на одну ступеньку. Некоторым это уда-

валось, но когда что-либо вызывало подозрение или следовал донос (а ведь доносы на своего соседа, сослуживца, друга, собутельника, конкурента, приятеля и т. д. в гестапо приняли в рейхе гигантские масштабы), документальные подтверждения подлога отсутствовали — словом, когда случай был запутанным и сложным, тогда призывали на экспертизу Эриха Цильке.

Он, выросший в Вильнюсе, прошедший юные и молодые годы в Риге — городах, обильно населенных евреями, — считался высшим авторитетом в деле распознавания ставшихся укрыться от смерти лиц еврейской национальности

— У меня глаз и слух настолько точны, — говорил мне Цильке, — а знаю я практически все типы евреев, что обмануть меня невозможно.

На основании заключений, выносимых Цильке, сотни людей отправлялись в печь. Но коварна судьба! Цильке, не чуждый гомосексуальных влечений, однажды, осматривая подозреваемого мальчика, предложил ему прийти к себе на квартиру вечером... Отец мальчика, возмущенный тем, что его подозревают в неарийском происхождении, донес о предложении Цильке, сделанном его сыну. Эксперта поймали на квартире с поличным, выгнали со службы, судили и направили в штрафной батальон, откуда он сумел перебраться в обычный полк, входивший в состав 6-й армии, — помогло СД. На фронте попал в советский плен и сразу же поспешил заявить о своей ненависти к нацизму!

Более того, очутившись в суздальском лагере, Цильке решил ни более ни менее заняться... антифашистской работой! Он рассказывал мне, что кроме экспертиз по расовым вопросам привлекался самим шефом гестапо Мюллером в качестве эксперта-психолога. Присутствуя на допросах нередко вместе с Мюллером, Цильке должен был наблюдать за поведением истязуемого и давать заключение, правду он говорит или следует продолжать выбивать показания дальше.

— Я в девяноста девяти случаях из ста могу отличить правду от лжи, — похвалялся Цильке.

Именно поэтому он и попросил принять его, чтобы, как он сказал, используя свой опыт, «помочь вам отличить настоящих антифашистов от примазавшихся и неискренних». За это эксперт требовал индульгенцию — обещания не привлекать его к суду за совершенное в прошлом.

Когда я доложил своему непосредственному начальнику майору Исаеву и полковнику Новикову о беседе с Цильке, их возмущению не было предела. Экспансивный Новиков даже задохнулся от гнева. А успокоившись, сказал:

— Побежали крысы с тонущего корабля, хоть он еще и держится на воде, а эта крыса особая, она чует конец издалека.

Вскоре Цильке отвезли в Москву, где подробно расследовалась его деятельность.

Старшие офицеры-военнопленные делали в лагере все для того, чтобы сохранить остатки 6-й армии как цельную воинскую единицу. Они создали подпольный центр, задачами которого были борьба с антифашистским влиянием, воспитание офицеров и солдат в духе сохранения верности фюреру. В этот фашистский центр входили представители всех офицерских рангов. Его возглавлял командир отборного в 6-й армии «полка немецких мастеров» — полковник Артур Бойе. Личность эта заслуживает того, чтобы на ней остановиться особо.

Сын крупного купца, кадровый офицер германской армии, Бойе прошел боевую школу еще в конце 20-х годов на улицах и в рабочих предместьях городов Германии. Он служил капитаном полиции, а с приходом Гитлера перешел на службу в СС.

Опьяненный успехами и легко доставшимися крестами во Франции и других европейских странах, Бойе со своим 134-м полком 44-й пехотной дивизии пришел в Советский Союз. Внешне лояльный, сдержанный, вежливый, этот кавалер всех германских орденов и руководил в суздальском лагере тайным фашистским центром. Центр этот действовал в полном контакте и под непосредственным руководством военнопленных немецких генералов, в частности генерал-лейтенанта Шмидта, бывшего начальника штаба 6-й армии. Не оканчивая военных академий, Шмидт, однако, беспримерно быстро выдвигался Гитлером на высокие посты. В качестве особо доверенного лица Гитлера он был назначен начальником штаба к Паулюсу.

Все другие военнопленные генералы и в лагере продолжали, как нам казалось, побаиваться Шмидта, во всяком случае явно предпочитали, чтобы об их разговорах

с советскими офицерами он знал как можно меньше. Шмидт влиял, вероятно, и на Паулюса — они часто беседовали наедине¹.

Кстати, Шмидт — единственный из генералов, который все время выражал недовольство чем-нибудь, умышленно искал повода для бесконечных назойливых и довольно наглых жалоб. Целую неделю, например, он ворчал, что на гарнир к мясным блюдам подают кашу из пшенной или овсяной крупы. «Мы не куры и не лошади!» — кричал он. А во время посещения лагеря комиссией из Москвы выкинул «штутку» — вдруг громко заржал по-лошадиному. «Это от овсяной каши, — объяснил он с издевкой, — а скоро начну кричать петухом — от пшена».

Но это я вспоминаю так, к слову. Видно, в данном случае генерал Шмидт решил подать подчиненным пример личной храбрости, а заодно и остроумия. На самом же деле нацистская деятельность Шмидта носила характер основательный. Трудолюбие начальнику штаба 6-й армии было не занимать. Он возглавил борьбу против антифашистских влияний. Днями напролет он просиживал за книгами, штудирова работы классиков марксизма, доклады и выступления Сталина, делая пометки и выписки. Хитроумно подбирая цитаты, по-своему толкуя отдельные места этих материалов, изобретательно, хотя далеко не всегда логично комбинируя, Шмидт пытался дать теоретическое обоснование своей демагогической, провокационной платформе (необходимость бдительности и имелась в виду, когда я записал в свой блокнот «вн.—Ш.» — «внимание — Шмидт»). Правда, «теоретические работы» Шмидта успеха не имели. У генерала явно не хватало философской подготовки, была в глаза эклектичность его рассуждений, элементарная неосведомленность в вопросах политики, неуклюжесть принятых им некогда на веру постулатов нацистского мировоззрения.

Более преуспел Шмидт в вопросах практической пропаганды. По его указанию среди младших офицеров и солдат распространялась «правда о Сталинградском сражении». Состояла она в том, что эта битва явилась, дескать, лишь отдельным, частным эпизодом, поражением, которые неизбежны во всякой крупной войне. Серьезных последствий она не имела и иметь не будет. Этому верили. Может быть, потому, что хотели верить. Может быть, в силу умения Шмидта, набившего руку на сочинении победных реляций, подавать факты в удобном читателю виде.

Легенды оказались недолговечными, и число сторонников их таяло месяц за месяцем. Но тут уж Шмидт ни при чем. Шмидт дал своим прихвостням команду распространить слухи о предстоящем десанте гитлеровцев на Суздаль, цель которого — освобождение офицеров и генералов из плена. Находились такие, которые и этому верили². Ни на минуту не сомневался он в победе гитлеровской Германии, с презрением говорил о Браухиче и Боке, которые упустили время зимой 1941 года. Пожалуй, именно Шмидт являлся главным препятствием на пути тех генералов и офицеров, которые колебались и сочувственно присматривались к антифашистскому движению. А такие уже были.

Вокруг Шмидта группировались наиболее отъявленные гитлеровцы.

Вот хотя бы Гейтц. До ухода на фронт — председатель военного трибунала, грубый, свирепый солдафон старопрусского милитаристского образца. В его корпусе, окруженном, как и другие соединения 6-й армии, на берегах Волги, солдатам и офицерам ежедневно выносились десятки смертных приговоров.

Худощавый, седой, подвижный генерал-майор Фриц Роске. Командиром дивизии его назначили уже в окружении под Сталинградом, да и генеральский чин он получил незадолго до того, а потому всячески старался выказать свою верность присяге, долгу, фюреру. С ядовитым презрением отзывался он о своих коллегах, читавших газету для военнопленных или посещавших доклады и лекции, которые организовывало командование лагеря.

Генерал Карл Штрекер, бывший командир армейского корпуса. Он разыгрывал из себя исполнительного служаку, действовавшего по принципу «приказ есть приказ». Части соединения, которым командовал Штрекер, окруженные в Сталинграде на территории поселка Баррикада, продолжали бессмысленное сопротивление дольше других немецких частей — до 2 февраля 1943 года.

¹ В послевоенные годы Шмидт жил в Гамбурге, занимался коммерческой деятельностью. Его, убежденного нациста и реваншиста, проинтервьюировали в великолепном фильме «Память», поставленном Г. Н. Чухраем лет десять назад, наши киножурналисты. Шмидт остался верен себе: он ничего не понял и ничему не научился.

² Конечно, никакой связи с рейхом не было. Но фашистская разведка проявляла большой интерес к обитателям суздальского лагеря. В Суздале и окрестностях были разоблачены и обезврежены ее агенты, которые имели задание изучить подступы к лагерю и обстановку внутри его.

Возле Шмидта, Штрекера, Гейтца, Роске нередко собирались и другие генералы — Дебуа, Лейзер, Шлёмер, Дреббер, Роденбург, Магнус, Сикст фон Арним, Зайне, генерал медицинской службы Ренольди... Лейтмотив их бесед весной 1943 года — прогнозы сроков предстоящего освобождения их из плена гитлеровскими войсками. В том, что это непременно произойдет, почти никто из них не сомневался. Спорили лишь о сроках: оптимисты предсказывали лето 1943 года, пессимисты — осень или зиму.

Тактическую линию этой группы выразил генерал-лейтенант Генрих Дебуа — в первую мировую войну однополчанин Гитлера. В беседе с генералами и старшими офицерами Дебуа заявил: «Мы здесь, в плену, продолжаем быть солдатами. Это наш фронт».

В соответствии с этой установкой реакционное ядро генералов и офицеров пыталось создать непроходимый вал для антинацистского влияния среди немецких офицеров. Прежде всего были взяты на учет все офицеры и генералы, которые читали газеты для военнопленных, посещали в лагерном клубе доклады и лекции, и особенно те, кто беседовал с советскими политработниками или приезжавшими в лагерь немецкими коммунистами. С целью наблюдения за колеблющимися по территории лагеря расставляли специальных людей. Строго учитывались также все высказывания военнопленных, их реакция на сводки о положении на фронте и т. п. Провинившихся, то есть начинавших заметно колебаться в верности идеям гитлеризма, подпольный нацистский центр вызывал на сугубо конспиративные беседы, им угрожали жестокой расправой по возвращении на родину, бойкотом и позорным клеймом предательства. Им давали понять, будто бы центр, даже находясь в плену, продолжает сохранять тайную связь с рейхом по сугубо засекреченным каналам и что семьи изменников по требованию центра могут быть подвергнуты репрессиям в Германии.

На собрания, организовывавшиеся командованием лагеря, специально посылались люди, которым поручалось задавать провокационные вопросы, пускать лживые слухи, запугивать тех, кто добросовестно пытался разобраться в происходивших событиях. Для этого использовалась каждая возможность. Так, например, во время выступления одного немецкого антифашиста, происходившего в лагерном клубе, неожиданно погас свет. И немедленно из глубины темного зала раздались громкие возгласы: «Предатели! Мы всех вас повесим, вернувшись домой!» А через несколько минут, когда свет снова зажегся, в зале воцарился образцовый порядок.

Действовавший в лагере центр не ограничивался угрозами и запугиваниями. Он пытался также применить и методы идеологического воздействия на офицеров и солдат. Так, военнопленные офицеры организовали хор, репертуар которого состоял из безобидных на первый взгляд песен и баллад старой Германии, воспевавших дух, стойкость и мужество германского воина.

По указанию фашистского центра в лагере регулярно праздновались дни рождения и прочие юбилеи военнопленных генералов, причем даты их поразительно совпадали с днем рождения Гитлера, началом второй мировой войны, взятием Парижа, капитуляцией Франции и т. д. Особенно упорно боролся фашистский центр за сохранение запрещенного командованием лагеря фашистского приветствия «хайль Гитлер» с вытянутой вперед правой рукой. Военнопленных, отказавшихся отвечать на такое приветствие, запугивали и оскорбляли.

И все же итоги Сталинграда берут свое. Каждый день появляются новые прозревающие.

«Нам надо переварить Сталинград», — сказал бывший командир полка полковник Штейдле. Это мягкий в обращении, гуманный, вдумчивый человек. Он тяжело болел в первые недели плена и ощутил на себе заботу наших врачей, которые в буквальном смысле слова вернули его к жизни (моя запись: «Л. (Луитпольд) Ш. (Штейдле) уже видит»). Его антинацистские настроения, по-видимому, возникли еще до плена. За время болезни, как он сам рассказывал, можно было о многом подумать и многое переоценить.

К нему часто обращаются как к третьей стороне. Майор Кюльман, например, просил совета, надо ли рассказывать советским офицерам, что шурин у него коммунист и сидел в концлагере. А полковник фон Арнсдорф — олицетворение прусской милитаристской чванливости и фанаберии — в доверительной беседе признался, что его жена на четверть еврейка и еще на четверть поляка.

— Может быть, стоит сказать об этом русским — они будут больше доверять мне? — спрашивал Арнсдорф.

Штейдле советовал однозначно:

— Мы не вправе рассчитывать на поблажки, вспомните, сколько горя мы принесли этому народу и этой стране. Нам нет прощенья, и мы должны нести свой крест до конца.

Авторитет Штейдле был высок у всех групп военнопленных, и именно этот высококультурный и уважаемый человек стал одним из первых старших офицеров-антифашистов в лагере (Штейдле после войны многие годы был министром здравоохранения Германской Демократической Республики, затем обер-бургомистром Веймара).

Большим авторитетом среди офицеров, в особенности среди призванных из запаса чиновников, служащих, коммерсантов, пользовался молодой инженер-майор Герберт Штеслейн. Одним из первых он открыто осудил преступную политику гитлеровской клики и выступил с призывом не ждать пассивно конца войны, а активно включиться в антифашистскую борьбу.

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что выступления и беседы Герберта Штеслейна и Луитпольда Штейдле оказывали в первые месяцы плена наибольшее влияние на офицеров (Г. Штеслейн на родине, в ГДР, стал заместителем редактора «Националь-цайтунг» в Берлине).

А вот и первая ласточка из числа генералов. Генерал-майор Отто Корфес, бывший командир 295-й пехотной дивизии. Он вообще был мало похож на генерала вермахта. Даже внешне — больше напоминал учителя. Много читал, внимательно слушал беседы, речи и доклады лекторов, посещал собрания младших офицеров и солдат. Отто Корфес мало высказывался, больше молчал, но видно было, что его одолевала сомнения и, вероятно, нелегкие мысли. Он сказал как-то, что не знает больше такого народа, который после всего того, что ему причинили, мог найти в себе великодушие быть таким гуманным в отношении своих пленных. (Отто Корфес жил затем в ГДР, многие годы занимался научной работой в области истории. Автор ряда статей. Историей занимается сейчас в ГДР и его дочь.)

Генерал фон Зейдлиц внешне прямица противоположность Корфесу. Но и у него, по-видимому, быстрее шел процесс переосмысления пережитых событий. Он много читал, интересовался преимущественно политической литературой, внимательно следил за антифашистской печатью. Фон Зейдлиц и Корфес возглавляли небольшую группу генералов, которые быстрее других переживали процесс прозрения. Выдержанно и корректно держались в лагере генералы Мартин Латман (он стал после войны начальником одного из главков Министерства машиностроения ГДР) и Александр Эдлер фон Даниэльс. Они с явным неодобрением относились к наглым выходкам Шмидта и спесивому поведению своих коллег, много читали. Конечно, политические взгляды первых антинацистски настроенных генералов, как правило, были довольно расплывчаты, непоследовательны и наивны.

Одной из рано сложившихся офицерских групп с демократическими убеждениями была группа в составе полковника ван Хоовена, бывшего начальника связи 6-й армии (после войны он стал начальником отдела в Центральном бюро путешествий ГДР), командира полка майора Бюхлера, капитана Домашека и старшего лейтенанта Фридриха Рейера. Развернув разъяснительную работу в Суздале, инициативная группа сразу же натолкнулась на ряд серьезных препятствий со стороны фашиствующих старших офицеров. Началось с того, что часть офицеров стала бойкотировать членов инициативной группы, не приветствовала их при встречах, осыпала насмешками и бранью. Другая часть военнопленных офицеров, хорошо зная членов инициативной группы, под влиянием их авторитета, рангов и военных заслуг стала задумываться над своими позициями, искать встреч и бесед с инициаторами, откровенно рассказывать им о своих колебаниях, страхах.

Несмотря на деятельность фашистского центра, число антигитлеровски настроенных офицеров росло, и тогда реакционные генералы и офицеры решили дать открытый бой инициативной группе. Случай, что называется, помог.

Было общее собрание военнопленных офицеров лагеря. С докладом выступил полковник ван Хоовен. Он убедительно, спокойно доказал неизбежность военного разгрома Германии, необходимость спасения немецкого народа и устранения Гитлера как главного виновника бедствий нации.

— Когда перед великим немецким патриотом Морицем Арндтом, находившимся в плену, встала альтернатива: верность князьям или верность нации — он не колебался

ответил: «Долой князей, да здравствует верность народу!» — так закончил доклад полковник ван Хоовен.

Доклад неоднократно прерывался выкриками фашиствующих офицеров: «Это предательство! Стыдитесь, на вас германский мундир!» Но большинство со вниманием слушали доклад.

После ван Хоовена слово попросил староста лагеря полковник фон Арнсдорф. — То, что здесь говорилось, — заявил он, — недостойно германского офицера. Мы здесь, в плену, не должны заниматься политикой и не хотим этого. Но если нас спросят, мы скажем: «Мы верны нашей родине и присяге».

Послышались редкие и неуверенные хлопки. И вскоре затихли. Многие молчали, смущенно отворачиваясь друг от друга. Обсуждение доклада фактически не состоялось: никто из присутствующих не пожелал выступить открыто.

Инициаторам собрания казалось тогда, что они потерпели поражение. Однако на деле собрание принесло немалые результаты. Именно с этого момента началось ясно видимое размежевание между фашистски настроенными и начинающими прозревать. Конечно, среди военнопленных офицеров, заявивших о своем присоединении к антифашистскому движению, были и такие, которые руководствовались карьеристскими целями, например лейтенант граф фон Эйнзидель, правнук полководца Мольтке. Впоследствии он изменил Национальному комитету и, вернувшись в ФРГ, по-ренегатски обливал грязью свое прошлое и своих бывших товарищей.

Идейное размежевание происходило и среди генералов. Вполне четко определились три группы. Генералы Латтман, Корфес, Зейдлиц, Ленски, Вульц и Даниэльс считали необходимым искать пути для борьбы против гитлеровского режима, за прекращение войны и спасение Германии от военного разгрома. Другая группировка состояла из реакционеров, нацистски настроенных генералов. К ней относились Шмидт, Гейтц, Роденбург, Сикст фон Арним, Роске и другие. Наконец, третья группировка, возглавляемая Ф. Паулюсом, держалась внешне лояльно, выжидательно.

Позиции антифашистски настроенных генералов и офицеров значительно укрепились после посещения суздальского лагеря председателем Коммунистической партии Германии товарищем Вильгельмом Пиком, которого мне было поручено сопровождать в течение всех десяти дней его пребывания в Суздале в июне 1943 года.

Вильгельм Пик выступал на общем собрании военнопленных лагеря. Говорил он страстно, горячо, убежденно. Напомнил о той борьбе, которую вела коммунистическая партия против фашизма еще до прихода к власти гитлеровцев, образно, на нескольких ярких примерах и сопоставлениях показал, к чему привел Гитлер немецкий народ.

— Путь, по которому ведет Гитлер немцев, это не только путь бесчестия и позора, но и путь невиданной еще национальной катастрофы, — сказал он. — Совершенно напрасно надеяться на то, что гитлеровская Германия может еще выиграть войну или закончить ее на приемлемых для нее условиях. Есть только один путь спасения страны — свержение Гитлера и немедленное окончание войны. Борьба за это составляет задачу не одной только коммунистической партии. Высший патриотический долг каждого честного немца — в Германии, на фронте или в плену, независимо от политических взглядов и убеждений — состоит в том, чтобы содействовать свержению гитлеровского правительства и окончанию войны. Надо понять, — подчеркивал Вильгельм Пик, — всю лживость и фальшь глупой легенды об ударе в спину, которую усиленно распространяют нацистские шептуны и провокаторы. Подлинную заботу о родине и народе проявляют не те, кто, прикрывшись ложно понимаемой офицерской честью, уходит от решения жизненных вопросов ее судьбы и будущего, а те, кто поднял знамя антифашистской борьбы, кто обращается с горячим словом правды к своим братьям на фронте и в тылу, кто осознал необходимость покончить с гитлеровской кликой, — именно тот и только тот является настоящим патриотом, достойным великих в прошлом традиций немецкой нации.

Когда Вильгельм Пик кончил свою речь, аплодировало уже больше людей, чем в момент его появления на трибуне. Часть офицеров выглядела растерянно. Большинство генералов и некоторые офицеры смотрели на происходящее отсутствующим взглядом, а некоторые с известной долей иронии.

Потом Вильгельм Пик беседовал с группами солдат и офицеров, отвечал на вопросы. Поздно вечером закончилась эта встреча.

Известный немецкий поэт Иоганнес Бехер, приехавший в лагерь вместе с Пиком, в течение многих вечеров мягко, задушевно беседовал с группой интеллигентов. Их интересовало многое: жизнь антифашистов в эмиграции, положение интеллигенции в Советском Союзе, а главное, что будет с ними, с Германией, каков будет итог войны. Помню, как-то поздно вечером мы пошли с Бехером прогуляться в поле. После жаркого дня наступил свежий, удивительно светлый июньский вечер: Бехер молчал, наслаждаясь тишиной и прохладой. Потом заговорил неторопливо, раздумчиво:

— Мы, немцы, несчастный народ. Во-первых, потому что принесли много горя другим, опозорили себя.. Во-вторых, две войны за двадцать лет, море крови, жестокость впиалась в души людей. Прав был Маркс, когда говорил, что нации, как и женщине, не прощается минута слабости, когда она позволила насильнику овладеть ею... Я оптимист,— продолжал Бехер,— я верю в свой народ. Я часть его. Но думаю, что еще одной войны немцы не выдержат. Эта должна быть последней. Иначе немцы уйдут в историческое небытие. Но посмотрите, ведь даже после Сталинграда все эти шмидты, гейтцы, бое ровным счетом ничему не научились, ничего не поняли. Ведь они до сих пор верят, что фюрер пришлет десант, который освободит их из плена! Да-да,— сказал он, заметив мое удивление.— Они вчера пытались меня в этом убедить! (Эта беседа обозначена в моем блокноте словом «поэт».)

На собраниях военнопленных все чаще завязывались оживленные дискуссии. Выступали по-разному. Одни под влиянием победы Красной Армии в Сталинградской битве и гуманных условий советского плена уже начали прозревать, преодолевать колебания. Другие предпочитали отмалчиваться. Немало было и тех, кто откровенно злобствовал, угрожая молодым антифашистам.

Москва ежедневно подробно интересовалась настроениями нашего контингента. Это было закономерно — ведь по ним можно было в известной мере судить о тех глубинных процессах, которые происходили в сознании миллионов поданных рейха и военнотружущих вермахта. Летом 1943 года мне и офицеру А. Б. Рейтману — оба мы по образованию историки — поручили наши наблюдения и впечатления обобщить в специальной весьма объемистой справке — меморандуме, который мы озаглавили «К вопросу о зарождении и развитии антифашистских настроений среди офицеров и генералов немецкой армии, взятых в плен под Сталинградом». Документ пошел в Москву, его размножили, уже после войны мне показали экземпляр его, на первой странице в левом углу стоял росчерк «И. Ст.», свидетельствующий о том, что материал прочитан Верховным Главнокомандующим, и дата — 21 июля 1943 года...

Но какие бы колоритные личности из фашистских офицеров и генералов ни находились среди контингента, наибольшее внимание, естественно, приковывал генерал-фельдмаршал Паулюс. Я общался с ним подолгу и ежедневно (это и означают записи в блокноте 1943 года — «газ. с. П.», то есть чтение газет фельдмаршалу, и «бес. с П.», то есть беседы с ним).

Неприветливым зимним утром 3 февраля 1943 года по всем городам и деревням тысячелетнего рейха «от Фленсбурга до Фрейбурга» было объявлено о днях национального траура. В казарменных дворах и заводских цехах, в бомбоубежищах и лазаретах, на корабельных мачтах и фасадах старинных ратуш, над рейхсканцелярией и комендатурами концлагерей приспустили имперские флаги. Из репродукторов доносились скорбные голоса дикторов.

Империя хоронила своего фельдмаршала: «Сражение в Сталинграде закончено. До последнего вдоха верная своей присяге 6-я армия под образцовым командованием генерал-фельдмаршала Паулюса пала перед лицом превосходящих сил врага и неблагоприятных обстоятельств. Под флагом со свастики, укрепленным на самой высокой руине Сталинграда, свершился последний бой. Генералы, офицеры, унтер-офицеры и рядовые сражались плечом к плечу до последнего патрона».

А он был жив. Так же как и тысячи генералов, офицеров, унтер-офицеров и рядовых, сражавшихся плечом к плечу. Сражение закончилось, бесконечные колонны тянулись по заснеженной степи на сборные пункты, где их ожидали кружка горячего чая, кусок хлеба и кусок колбасы, крыша над головой и — это самое главное! — тепло. Впервые за много дней можно не только расстегнуть, но даже снять прокопченную шинель, стянуть с ног окаменевшие сапоги. Так начиналась для каждого из них — от солдата до фельдмаршала — новая жизнь. Так начал свою жизнь в плену Паулюс.

В сентябре 1940 года начальник оперативного управления генерального штаба сухопутных войск гитлеровского вермахта Фридрих Паулюс, один из способнейших немецких генералов, возглавил разработку плана нападения на Советский Союз, получившего кодовое название «Барбаросса». Спустя шесть лет, осенью 1946 года, он выступил на Нюрнбергском процессе над главными военными преступниками в качестве свидетеля обвинения. В своих показаниях он изобличил агрессивные планы германского фашизма, и в частности подготовку к разбойничьему нападению на Советский Союз. Встав на путь новой жизни, Паулюс остался верен ему вплоть до своей смерти в 1957 году. Живя последние годы в Дрездене, он не устал повторять: новая война была бы гибелью для немцев, никогда более война не должна начаться с немецкой земли. Эти мысли начали созревать еще в Суздале.

В лагере Паулюс вел строго регламентированный образ жизни. Утренняя зарядка, прогулка в одиночестве, несколько часов работы в небольшом фруктовом саду, окружавшем двухэтажный дом, где жили генералы (сейчас этого дома нет, его снесли), беседы с генералами и своим адъютантом Адамом, по-видимому наиболее близким ему человеком, и чтение. Фельдмаршал старался, и безуспешно, поддерживать необходимый физический тонус.

Много времени проводил Паулюс за чтением. По его просьбе ему достали «Капитал» Маркса на немецком и французском языках. Он долгие часы занимался тем, что переводил гениальное творение Маркса с французского на немецкий язык, а затем сверял сделанный им перевод с немецким оригиналом и радовался, когда достигалось совпадение текстов или когда его перевод приближался к оригиналу. Но «Капитал» интересовал фельдмаршала не только как материал для перевода. В апреле или начале мая, помнится, он попросил достать ему «Диалектику природы» и «Анти-Дюринг» уже на немецком языке, а однажды попросил указать ему ленинские работы, в которых приводятся оценки Клаузевица.

Хорошо запомнилась одна беседа с фельдмаршалом в его комнате вечером в конце мая 1943 года.

— Как странно,— сказал Паулюс,— что я, немец, впервые читаю труды великих немцев Маркса и Энгельса именно в русском плену.— И, помолчав, добавил: — А может быть, именно в этом и есть глубокий и символический смысл.

Потом он долго и подробно расспрашивал о том, как изучают коммунистическую теорию в высших учебных заведениях нашей страны, изучают ли немецких классиков, особенно интересовался Лессингом, знают ли немецких философов.

В отличие от многих своих коллег Паулюс был широко образованным человеком. Помню, как удивил он выдающегося советского ученого А. М. Кирхенштейна, который был тогда заместителем Председателя Президиума Верховного Совета СССР и Председателем Президиума Верховного Совета Латвийской ССР и встретился с Паулюсом, проезжая через Суздаль. Фельдмаршал со знанием дела говорил о новом лечении туберкулеза, о целебных свойствах швейцарского курорта Давоса, о работах немецких физиологов.

Выдержка и самообладание Паулюса импонировали. Можно привести такой пример. Как уже говорилось, гитлеровское командование скрывало от населения факт сдачи в плен Паулюса и других генералов сталинградской группировки. Родные и близкие считали их погибшими и продолжительное время не имели о них вообще никаких известий. Разумеется, генералы и офицеры, находившиеся в плену, также ничего не знали о своих близких. Письма, которые в соответствии с конвенцией о военнопленных посылались в Германию через Международный Красный Крест, задерживались гитлеровской цензурой и не доставлялись адресатам. Советское командование предприняло необходимые меры, чтобы доставить жене фельдмаршала Паулюса письмо от мужа и получить от нее ответ. Можно представить себе — и фельдмаршал, опытный военачальник, хорошо понимал это,— какие трудности пришлось преодолеть советским разведчикам, работавшим в рейхе, чтобы осуществить это мероприятие. И вот фельдмаршала приглашают в кабинет начальника лагеря. Присутствуют несколько советских генералов, полковник Новиков и я, переводчик.

— У нас есть для вас сюрприз,— говорит один из них.— Узнаёте почерк? — спрашивает, передавая в руки Паулюса конверт.

Паулюс надел очки и внимательно посмотрел на конверт. Его руки, обычно спокойные и неторопливые, стали заметно дрожать. Но он сдержал себя, не вскрыл конверт тут же, а поблагодарил, спрятал его в карман кителя и продолжал несколько минут вести беседу. Закончив ее, он вышел из кабинета и направился к себе. Только там

он прочитал письмо. В этот день Паулюс ни с кем не беседовал и допоздна гулял в одиночестве. Наутро он вошел в свой обычный бытовой режим.

Паулюс подвергался нажиму со стороны фашиствующих генералов, которые требовали, чтобы фельдмаршал как старший по званию среди военнопленных официально заявил, что антифашистская деятельность равнозначна предательству. С таким требованием в июне 1943 года однажды пришел к Паулюсу Гейтц. В грубой и бестактной форме он стал диктовать Паулюсу пункты своего ультиматума: объявить предателями антифашистски настроенных офицеров, поручить брать на особый учет тех офицеров, которые посещают антифашистские митинги и собрания. Гейтц потребовал, чтобы Паулюс официально пригрозил всем военнопленным, что генералитет найдет каналы для передачи в рейх сведений об антифашистах-военнопленных. И их семьи постигнет страшное наказание. Он добавил, что говорит не только от своего имени, но и по поручению группы других генералов — Роденбурга, Шмидта и Сикста фон Арнима.

Паулюс выслушал его не перебивая. Потом сказал:

— Вы, кажется, забыли, генерал, что вы больше не председатель имперского военного трибунала и даже не командир корпуса, расстреливающий своих солдат. (За последние дни на Волге в 8-м армейском корпусе, которым командовал Гейтц, было вынесено и приведено в исполнение 364 смертных приговора военнослужащим вермахта.— А.Б.) Вы здесь военнопленный, прошу это помнить.— После небольшой паузы Паулюс добавил:— Я больше не задерживаю вас, господин генерал, вы свободны.

В этот вечер ужин, принесенный, как всегда, ординарцем, остался нетронутым. Паулюс сидел весь вечер в одиночестве, и даже его ближайший друг и бывший адъютант полковник Адам, который зашел к нему на несколько минут, сразу же вышел из комнаты фельдмаршала, оставив его одного. С этого времени Паулюс больше не разговаривал с Гейтцем и Роденбургом, он лишь отвечал на их приветствие.

В конце июня 1943 года состоялась оживленная беседа Ф. Паулюса с генерал-лейтенантом Шмидтом. В ней участвовал и полковник В. Адам. Она касалась одного из самых острых вопросов, неизменно волновавшего военнопленных, в особенности офицеров и генералов: кому давалась воинская присяга при вступлении в вермахт — фюреру или немецкому народу? И второе: освобождает ли от обязательства быть верным фюреру сознание того факта, что он ведет преступную политику по отношению к своему же народу?

Паулюс колебался. Негромко, как бы рассуждая вслух, он сказал, что в создавшейся обстановке верность фюреру не всегда означает верность народу.

— События последнего времени,— добавил он,— заставляют нас задуматься над сущностью и содержанием понятия присяги.— Помолчав немного, напомнил, что в первые часы его пребывания в плену советские генералы подчеркнули, что они разграничивают немецкий народ и гитлеровскую клику.— Это было, вероятно, первое заявление политического характера, которое мы услышали от Советов в плену,— сказал Паулюс.

Шмидт едва сдерживался, всем своим видом он выражал гнев и возмущение.

— Мы же не дети, господа, чтобы доверять этой пропаганде красных. Вся эта болтовня о народе не больше чем приманка для легковерных. Но надеюсь, что среди нас их не будет,— сказал Шмидт, испытующе глядя на собеседников.

— Нет, Шмидт, не так все это просто, как вам представляется. Вы правы. Мы действительно уже не дети. И именно потому обо всем этом надо хорошо подумать.— Паулюс встал и прошелся по комнате, давая понять, что беседа закончена.— Мы еще вернемся к дискуссии на эту тему,— сказал он.

Шмидт и Адам попрощались и вышли.

Для характеристики поведения Паулюса в то время показательным был такой эпизод. Из рассказов солдат и офицеров 6-й армии было известно, что фельдмаршал не одобрял зверств гитлеровцев в отношении мирного населения оккупированных советских территорий. Полковник Адам в своих воспоминаниях пишет, будто командующий даже разгневался, когда, прибыв в оккупированный Белгород, увидел на городской площади виселицу с повешенными советскими патриотами. Паулюс напомнил командиру корпуса, что он отменил приказ Рейхенау о терроре против мирного населения. «Почему же продолжают казни?»— спросил Паулюс. «Были найдены убитыми наши солдаты, комендант гарнизона приказал казнить заложников». «И этим вы думаете

добиться результатов? Скорей наоборот.— И приказал: — Распорядитесь, чтобы этот позор немедленно убрали с площади».

Возможно, что старый офицер Паулюс, воспитанный еще в догитлеровское время, не мог не ощущать по отношению к карателям чувства брезгливости. Это не исключено. Но ни о каком активном протесте с его стороны против гитлеровской политики тотального террора, конечно, не могло быть и речи. Показательно, что, когда в присутствии Паулюса уже в годы плена заходила речь о фашистских зверствах, он неизменно отмалчивался. Так, когда в Суздаль приехал тогдашний первый секретарь Ивановского обкома партии Г. Н. Пальцев, только что вернувшийся из поездки по освобожденным районам Смоленской области, и гневно спросил Паулюса: «Почему вы чините такие неслыханные ни в одной войне бесчинства и зверства?» — фельдмаршал ушел в глухую оборону и сухо ответил:

— Мне об этом ничего не известно. Армия подобными делами не занимается. В этом весь Паулюс — крайне противоречивая личность.

Глубокое впечатление произвело на Паулюса регулярное знакомство с советской прессой. Не владея русским языком, фельдмаршал просил ежедневно знакомить его с содержанием «Правды», «Известий», «Красной звезды», а нередко просил перевести ту или иную статью или изложить по-немецки ее содержание. Я это делал ежедневно. Часто Паулюс мысленно возвращался к прочитанному и высказывал мнение по поводу той или иной статьи. Например, Паулюс обратил внимание на передовую статью «Правды» от 9 апреля 1943 года под заголовком «Вся страна восстанавливает Сталинград». Он попросил перевести ее.

— Жаль, — заметил фельдмаршал, — что мне не доведется увидеть этот город своими глазами... Здесь написано, что советские старатели добыли дополнительно для восстановления Сталинграда несколько пудов золота. Это тоже символично: кровь, обильно пролитая здесь, и золото, добытое для возрождения этого города. Да, это будет сказочный, светлый город на берегу Волги. Через десять лет, нет, двадцать лет он возродится! — воскликнул фельдмаршал.

Однажды в июне 1943 года Паулюс обратил внимание в «Правде» на статью писателя Леонида Первомайского под названием «Ненависть». В ней говорилось о сталинградском рабочем Петре Алексеевиче Гончарове, обработчике металла на бломиние заводе «Красный Октябрь», ставшем в годы войны снайпером. Фашисты уничтожили всю семью Гончарова, в том числе и его четырех сыновей. Когда Гончаров пришел в родной поселок, то на пепелище своего дома нашел только утюг, который не сгорел в огне. Так и стоял советский солдат над утюгом — единственным предметом, оставшимся от прежней, довоенной жизни.

Паулюс попросил дважды перечитать ему это место из статьи в «Правде». Он замолчал и лишь спустя некоторое время сказал:

— Сколько времени понадобится, чтобы искупить страшное зло, которое мы принесли на эту землю. Нет, искупить невозможно — ведь нельзя вернуть погибших детей. Можно лишь действовать, чтобы никогда не повторилось происшедшее. Это составит задачу многих будущих поколений.

Паулюс нередко с удивлением отмечал, насколько недостаточны его познания в области литературы, искусства и истории русской культуры. Однажды, например, он попросил перевести статью Николая Тихонова о Ленинграде, напечатанную в «Правде» 27 мая 1943 года. Там упоминались имена гениальных писателей и художников, музыкантов и ученых, полководцев и зодчих, живших и творивших в городе на Неве. Среди них Суворов и Кутузов, Ушаков и Макаров, Ломоносов и Павлов, Пушкин и Гоголь, Кипренский и Федотов, Чайковский и Глинка.

— А ведь я почти никого из них не знаю, — с горечью сказал Паулюс. — Как мы были изолированы от всей русской культуры! Кроме Суворова и Кутузова, я ни о ком толком ничего не знаю. Только слышал музыку Чайковского и знаю фамилию вашего большого поэта Пушкина. Но никогда ничего написанного им не читал.

В конце июня 1943 года Паулюс ознакомился с сообщением Советского Информбюро об итогах двух лет Великой Отечественной войны. Слушая перевод статьи, фельдмаршал делал краткие пометки в блокноте. Он подчеркивал каждый вывод, формулировавшийся в сообщении: провал авантюристических планов гитлеровского командования, основательный подрыв военной мощи фашистской Германии, кризис в ее тылу, усиление международной изоляции нацистского рейха, рост сопротивления в оккупированных захватчиками странах... И главное: силы Красной Армии значительно окреп-

ли, советский тыл в труднейших условиях доказал свою прочность и непоколебимость, международное положение СССР прочно и устойчиво как никогда раньше. Паулюс вынужден был признать, что эти выводы носят реальный характер и соответствуют действительному положению вещей. Сомнение он выражал лишь по поводу заключения о кризисе нацистского тыла и росте движения Сопротивления.

— Это преувеличение, свойственное пропаганде в каждой воюющей стране,— говорил Паулюс.— Нет-нет,— повторял он,— тыл, я уверен в этом, продолжает следовать за своим фюрером никто там не смеет бороться против него, немцы очень послушная нация, привыкшая к порядку.— И в голосе Паулюса слышались едва уловимые нотки горечи.

Впрочем, нельзя утверждать, что летом 1943 года у Паулюса появились уже антифашистские настроения. Нет, в это время имели место лишь сомнения в правильности стратегии гитлеровского командования, досада за просчеты и ошибки ставки фюрера И, кроме того, удивление перед тем новым, неведомым ранее миром, который открылся ему в лице Советского Союза и советских людей. Как честный человек, Паулюс вынужден был признать, что у него было насквозь фальсифицированное, искаженное до неузнаваемости представление о советских людях, о Красной Армии, о всей нашей стране и нашем общественном строе.

Паулюс безоговорочно признавал историческое значение Сталинградской битвы и величие воинского подвига, совершенного в битве на Волге Красной Армией и всем советским народом. Когда в «Правде» за 21 июня 1943 года фельдмаршал встретил фразу: «Слово «Сталинград» в сознании всего мира связано с торжеством исторической справедливости», он сказал:

— Справедливость в этом мире существует, по-моему, только в природе, в человеческом обществе ее трудно найти. Но как символ подвига вашего народа и армии слово «Сталинград», конечно, войдет в историю навечно. Это бесспорно.

Однажды во время беседы в июне 1943 года Паулюс спросил меня, изучают ли в советских университетах историю Древней Греции, и, получив утвердительный ответ, сказал:

— Вы помните спартанского царя Леонида, который принес себя и триста своих воинов в жертву, пав в безнадежном, с военной точки зрения, бою в Фермопильском ущелье? — И после паузы продолжал: — Роль царя Леонида была предназначена мне. Именно поэтому он (Гитлер.— А. Б.) за день до конца боев в котле присвоил мне звание генерал-фельдмаршала. Фельдмаршалы, считал он, в плен не сдаются — они стреляются. Но... режиссер просчитался. Вместо Фермопил получились Каннны. А это уже другая драма... Наше телеграфное агентство утверждает, что у меня при себе во время пребывания в котле постоянно были два пистолета и ампула с быстродействующим ядом. А я остался живым и в полном сознании сдался в плен. Но удивляться могут только люди, которые не пережили Сталинград. Те, кто там побывал, стали мудрее и старше на десятилетия.

Медленно, но заметно менялись поведение и настроение пленного фельдмаршала.

Паулюс перестал уклоняться от бесед с офицерами и генералами — членами «Союза немецких офицеров», с руководящими деятелями созданного в июле 1943 года Национального комитета «Свободная Германия», с советскими людьми. В 1943 году он признавал уже, что Германия не может достигнуть победы в войне, и считал, что только немедленное прекращение военных действий, отвод гитлеровских войск и заключение мира могут спасти Германию от полного разгрома и оккупации. И тут же у фельдмаршала возникал вопрос: пойдет ли Советское правительство и его союзники на заключение мира с Гитлером? Невозможность такого шага он отчетливо признавал. Отсюда неминуемо следовал вывод: чтобы спасти Германию, надо устранить Гитлера.

Весной, летом и осенью 1943 года Паулюса, как можно было судить по его поведению и некоторым высказываниям, одолевала внутренняя борьба. Он изредка делился своими мыслями, причем делал это без всякой связи с разговором, происходившим ранее. Однажды — это было в конце августа — во время прогулки фельдмаршал сказал мне:

— Если бы не каприз фюрера, то вся моя судьба сложилась бы иначе.— И, помолчав, добавил: — Ведь уже в июне сорок второго года моя кандидатура намечалась на пост начальника штаба оперативного руководства верховного главнокомандова-

ния вермахта. Йодль должен был уйти, а я занять его место. Вот и сидел бы сейчас в глубоком бункере, на родине, а не бродил бы по дорогам России.

— Но что помешало вашему назначению?

Паулюс усмехнулся:

— Гитлер, поколебавшись, сказал: «Как ни важен этот пост, но Сталинград важнее. Пусть закончит дело в Сталинграде». А Кейтель поддержал эти соображения Гитлера. Уж кто-кто, а он ни за что не хотел видеть меня в генштабе.

— Вы считаете Кейтеля опытным полководцем? — спросил я.

— Нельзя сказать, какой он полководец. Он не командовал боевыми частями и соединениями, но он хорошо знает все рубежи и минированные поля в главной квартире... И он побил своеобразный рекорд: он обладатель самого большого числа высших наград.

— Но ведь и вы, господин фельдмаршал, не обижены высшими наградами?

— Для меня это уже не имеет значения. Фельдмаршала Паулюса больше не существует. Если вы победите, то я вряд ли вернусь на родину. А если я вернусь, то никому не нужен разбитым стариком инвалидом. Если начнем побеждать мы, то меня убьют ваши. Они не допустят, чтобы я вернулся в рейх. Такая же участь постигнет и всех моих товарищей. И думаю, что вообще большинство военнопленных.

— Почему же вы так думаете? Ведь с вами гуманно обращаются. Вы живете в хороших условиях. Вам оказывают уважение.

— Да, это правда. Все изменится лишь в одном случае — если Германия одержит победу. Но я в это верю мало, а сейчас совсем мало.

Как крупный военачальник, обладавший большим опытом работы в генеральном штабе, Паулюс хорошо понимал, какое значение имел разгром немецко-фашистских войск под Курском и Орлом летом 1943 года. Он начертил в своем блокноте какую-то схему, которая, видимо, была понятна лишь ему одному. Большой лист бумаги был весь испещрен стрелками, значками, цифрами, вопросительными знаками, сокращениями. Каждый день после прочтения очередной сводки Советского Информбюро Паулюс подходил к большой карте, висевшей в клубе лагеря, и через лупу долго рассматривал ее. Потом шел к себе и делал отметки в блокноте, где большими кружками обвел слова «Леро», «Локсо», «Ксрук», написанные латинскими буквами. В общем, нетрудно догадаться, что это написанные наоборот названия советских городов — Орел, Оскол, Курск... Прямоугольники, выдвинутые на линию разграничения, должны были означать соединения советских и немецких войск. От каждого прямоугольника стрелка выводила на поля к каким-то цифровым подсчетам. На вопрос, что это за блокнот, Паулюс однажды ответил:

— Скучно без штабной работы. Я ведь по призванию теоретик. Таким, по крайней мере, считали меня все мои друзья.— А потом с горечью добавил: — Плохо, когда теоретик принимает на себя несвойственную ему миссию.

— Вы хотите сказать, что плохо командовали Шестой армией?

— Приговор вынесет история, но тот факт, что я нахожусь здесь, уже говорит о многом. Впрочем, свой солдатский долг я выполнил до конца.

Беседы с Паулюсом становились все доверительнее и откровеннее. Однажды ему была предложена прогулка в лес, находившийся километрах в пятидесяти от Суздаля.

— Мы хотим показать вам настоящий русский лес,— сказал начальник лагеря, протягивая Паулюсу и Адаму берестяные лукошки.— Советую дать полный отдых нервам, забыть по возможности о войне,— заметил он шутиво.

Получасовая езда на «виллисе» по проселочной дороге — и Паулюс со своими спутниками очутились где-то вдали от реальной жизни. Мы забыли, казалось, что где-то грохочет война, необычно ярко, в полнеба светило августовское солнце. Грибы попадались часто. Фельдмаршал с какой-то детской непосредственностью радовался каждой находке. Одетый в телогрейку поверх мундира, он в эту минуту напоминал мирного сельского счетовода или учителя, а не военачальника, командовавшего отборными частями фашистского вермахта, и трудно было представить, что это один из авторов злодейского плана «Барбаросса».

Грибная прогулка сделала свое дело. Щеки Паулюса порозовели, он необычно оживился. Часа через два мы сделали привал на поляне. Свежий лесной воздух, довольно плотный обед из тушенки и необычность ситуации повлияли самым неожиданным и благотворным образом на фельдмаршала. Он встал, отошел в сторону от спут-

ников — Вильгельма Адама, шофера и сержанта, закончивавших обед,— закурил и лег на траву, разбросав руки.

— Сейчас, когда я переживаю трудные дни,— сказал он после долгого молчания,— для меня большим утешением является мысль, что моя жена жива и здорова. Я ни за что так не благодарен, как за доставленное вашими коллегами известие и за те несколько строк, которые были написаны ее рукой. Это был поистине рыцарский шаг...

Однажды без всякой видимой связи с предыдущим зашел у нас разговор о Гитлере. Я высказывался более чем энергично. Потом заговорил фельдмаршал:

— Я часто встречался с ним и думаю, что знаю его. Он неврастеник, но у него феноменальная память. Он знает наизусть номера всех дивизий и даже многих полков на различных участках фронта, фамилии почти всех генералов. Карта фронта всегда у него перед глазами. Но все это служит преступной цели. Вся его энергия и воля направлены против интересов нации. Он субъективен в оценках до предела, не слушает никаких разумных советов. Фанатизм и маниакальность — он весь в их власти. Ведь мощь Советов он оценивал по меньшей мере в два раза ниже, чем это было в действительности, и под его влиянием мы все тоже сильно ошиблись. А те, кто видел правду, боялись ее высказать. Даже робкие возражения он не желал слушать. Возражавший или сомневавшийся попадал в немилость со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но это речь идет о военной мощи. Что же касается политической силы Советов, их влияния на массы и авторитета в народе, то этого он не представляет вообще. Душу современного русского человека он не понимает. Да и никто из нас, в сущности, ее не понимал. Некоторые судили о ней по Достоевскому. А я вот уже в плену прочитал эту книгу,— Паулюс протянул немецкое издание книги Николая Островского «Как закалялась сталь»,— и подумал: если бы там,— он неопределенно указал рукой в сторону,— отчетливо представляли себе, что в Красной Армии есть много Корчагиных, в наши расчеты были бы внесены существенные изменения.

— Скажите, господин фельдмаршал, неужели весь немецкий генералитет, а в его среде есть, вероятно, немало умных и дальновидных людей, слепо и фанатично повинуются этому полуграмотному извергу? Ведь есть среди генералов люди с широким кругозором и умением критически мыслить?

— Да, многим его стратегия казалась авантюрной. Но он начал побеждать, и... голоса недовольных стихли. Он пытался сделать Германию великой, и ему это удалось. По крайней мере до начала восточного похода. А это нравилось всем.— Помолчав, он добавил с сарказмом: — Ваша пропаганда в первые месяцы войны обращалась в своих листовках к немецким рабочим и крестьянам, одетым в солдатские шинели, и призывала их складывать оружие и перебегать в Красную Армию. Я читал ваши листовки. Многие ли перешли к вам? Лишь кучка дезертиров. Предатели бывают в каждой армии, в том числе и в вашей. Это ни о чем не говорит и ничего не доказывает. И если хотите знать, кто сильнее всего поддерживает Гитлера, так это именно наши рабочие и крестьяне. Это они привели его к власти и провозгласили вождем народа и нации. Это при нем люди из окраинных переулков, парвеню стали новыми господами. Видно, в вашей теории о классовой борьбе не всегда сходятся концы с концами. Да и неверно, что он полуграмотный изверг. Фюрер знает философию, любит музыку, даже в напряженнейшие дни в ставке он находит время, чтобы послушать Вагнера. Кроме того, он любит цветы и животных.

— И тем не менее он изверг, господин фельдмаршал,— возражал я.— Это по его приказу совершаются чудовищные преступления. В душегубках и крематориях уничтожают женщин и детей, превращают в руины города и села. Не можете же вы это отрицать. Теперь о предателях. Ведь те, кто перешел к нам из частей вермахта, не предатели, а патриоты. Они нашли мужество, рискуя своей жизнью и жизнью близких, сделать первый шаг в борьбе за освобождение родины от фашизма. Что касается предателей, встречающихся, хотя и редко, у нас, то что сказать о них? Это отщепенцы, человеконенавистники, а чаще всего трусы или преступные элементы. Вы упомянули о рабочих и крестьянах. Нет, не они привели вашего фюрера к власти — это сделали хозяева концернов. Вам, конечно же, известны имена Тиссена, Крушта, Флика и подобных? На их деньгах вырос нацизм. Их деньгами питалась лживая пропаганда Геббельса, сумевшая одурманить этих людей из окраинных переулков, а также часть рабочих... Но подлинные рабочие — это те, кто и сейчас борется против Гитлера. Это ими заполняются концлагеря, это они борются против фашизма и сохраняют честь не-

мецкого народа. И будущее за ними. Что же касается Гитлера и его банды, то они позор немецкой нации, их имена будут прокляты историей...

— Да,— сказал в раздумье Паулюс.— Эти люди из СС действительно творят черные дела. Но отвечает за все Гитлер, он один за все от начала и до конца. Сейчас он тащит за собой всю нацию в бездну... Если бы он мог уйти — уйти на Эльбу или даже на Святую Елену... Но он не уйдет, хотя и любит подражать Наполеону. В этом наше несчастье. Гибель Германии неизбежна. Вопрос только во времени. Германия погибнет из-за него. Это рок, судьба, фатум...

Был я очевидцем и даже в какой-то мере участником известной встречи председателя компартии Германии Вильгельма Пика с Паулюсом в конце июня 1943 года. Сначала мы были в комнате троим, затем я вышел, оставив их одних.

Надо было видеть замешательство Паулюса, когда Пик, войдя к нему в комнату, назвал себя: «Депутат рейхстага Пик» — и предложил побеседовать о судьбах народа и родины. Фельдмаршал заметно колебался, принять ли предложение. С одной стороны, традиционные понятия об офицерской чести с другой — искренняя боль о своей стране, ввергнутой гитлеровскими заправками в пучину бедствий, мучительные поиски выхода из тупика.

Было очень заметно, как трудно Паулюсу сохранять обычную выдержку. Он начал разговор сухо, внешне неохотно и даже неприязненно. Все аргументы Вильгельма Пика фельдмаршал попытался сразу же опровергнуть одним заявлением:

— Я солдат, воспитан в понятиях солдатской чести и если не могу сражаться вместе со своими братьями, я, как военнопленный, обязан молчать. Это мой долг перед родиной, перед армией.

Но в словах Вильгельма Пика была неопровержимая логика.

— Нас разделяет очень многое,— говорил он,— мы, вероятно, никогда не будем одинаково думать и одинаково смотреть на вещи и события. Но есть и то, что нас объединяет. Мы оба немцы и любим Германию. А тот, кто любит отечество, должен его спасать. Путь спасения есть только один — свергнуть Гитлера и немедленно закончить войну.

Вильгельм Пик рассказал Паулюсу, что в ближайшем будущем предстоит создание Национального комитета «Свободная Германия», в который, несомненно, войдут многие военнопленные солдаты и офицеры «Эта беседа,— вспоминал впоследствии фельдмаршал,— была для нас, генералов, первым голчком к тому, чтобы, выйдя за узкие рамки чисто военного мышления, заняться, хотя бы вначале на ощупь, также всем комплексом политических вопросов». Именно эта беседа определила в дальнейшем окончательный переход Паулюса на путь антифашистской борьбы. А мне вечером того же дня Вильгельм Пик сказал: «Это хорошо, что ты историк. Сейчас мы историю здесь делаем, а потом ее надо будет правдиво описать. Вот тебе и работа на послевоенные годы». Эти слова оказались пророческими.

Как сам Паулюс признавал впоследствии, важную роль в присоединении к антифашистскому движению сыграло то, что он получил новые сведения о зверствах немецко-фашистских захватчиков на оккупированных территориях и бесчеловечном обращении с советскими военнопленными. Наконец, события 20 июля 1944 года, в которых участвовали генералы Эицлебен, Бек, Геппнер, Фелльгибель, хорошо лично ему знакомые, показали, что и в Германии единственный выход из войны видели в устранении Гитлера.

Но при всем несомненном значении упомянутых факторов решающую роль в завершении идейной эволюции Паулюса сыграли, конечно, крупные победы Красной Армии, одержанные на фронтах Великой Отечественной войны в 1943 и 1944 годах.

«Развитие военных событий до лета 1944 года позволило мне осознать, что Гитлер не намерен сделать вывод из ставшего бесперспективным положения и что поэтому он ввергает немецкий народ в невообразимую катастрофу,— писал Ф. Паулюс в это время.— К тому же я получил возможность составить более полное представление о систематических зверствах и мероприятиях по истреблению населения оккупированных областей, которые проводились по приказу Гитлера. Мне стало ясно: Гитлер не только не мог выиграть войну, но и не должен выиграть, что было бы в интересах человечества и в интересах германского народа.

Особенно сильно угнетала меня мысль, что в связи с этим оказались бессмысленными жертвы, принесенные 6-й армией под Сталинградом, где наступил перелом

в войне. Они лишь способствовали затягиванию войны и увеличению общих потерь немецкого народа».

8 августа 1944 года, в тот день, когда в Берлине по приказу Гитлера был повешен генерал-фельдмаршал Вицлебен, генерал-фельдмаршал Паулюс отказался от сдержанности, которую проявлял более полутора лет. Вечером он выступил в передаче радиостанции «Свободная Германия» и заявил о своем вступлении в антифашистское движение. «Так я пришел к выводу,— писал спустя много лет Паулюс,— что теперь уже важно было не то, чтобы окончить войну на сносных условиях, а скорее то, чтобы поощрять враждебные нацизму силы и разложением фронта добиться прекращения борьбы и тем самым избежать ужасной окончательной катастрофы»³.

— Плен — это всегда тяжелый период в жизни человека,— сказал мне бывший военнопленный офицер доктор Макс фон Хумельтенберг.

Ученый-славист, переводчик советской детской литературы, ныне он живет и работает в Потсдаме. Мы гуляли с ним по улицам Берлина незадолго до тридцатилетия Сталинградской битвы.

— Жизнь в отрыве от родных и близких, от родной земли, постоянно в обществе солдат, а от этого поневоле грубеешь,— все это очень нелегко. Кроме того, постоянно мучает совесть и за то, что сделано самим тобой, и за то, что совершено твоими соотечественниками. В плену нелегко, нечего и говорить. Но советский плен для всех нас стал решающей вехой, рубежом в нашей жизни. Все наши представления оказались опрокинутыми, все наше мироощущение круто изменилось. И конечно, мы с близкого расстояния рассмотрели советских людей, которые добросовестно и честно лечили нас, одевали, кормили, давали нам и духовную пищу, сохранили нам жизнь и здоровье. Не только мы, но и наши дети и внуки благодарны им за это.

³ Заявление Паулюса, так же как и происшедшее ранее присоединение фон Зейдлица и других немецких генералов к антифашистскому движению «Свободная Германия», произвело на руководство рейха столь ошеломляющее впечатление, что внешнеполитической разведке было поручено произвести идентификацию подписей этих военачальников с фотографиями их подписей, напечатанными в антифашистской прессе и листовках. Экспертиза установила безусловную подлинность подписей (W. Shellenberg. *Memoires Köln*, 1959, S. 451).

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Г. БЕЛАЯ

★

«СТИЛЬ ПАМЯТИ»

Проблема традиции в наших спорах

Ушли в прошлое крайности тех лет, когда традиция сбрасывалась «с парохода современности», — сегодня традиция осознана как необходимая предпосылка существования общества и культуры. Ее именем кланутся в современных спорах о поэзии, прозе, драматургии. О ней пишут теоретики литературы и критики, художники и режиссеры. Она стала знаком перемен, совершившихся в нашем общественном и художественном сознании. С нею оказалось связанным решение важнейшего вопроса о путях и судьбах искусства XX века, о художественном воплощении актуальных тем.

Идея традиции обрела новую, живую и сложную, жизнь.

В чем же эта сложность в наши дни?

...В 1967 году вышла книга Е. Дороша «Живое дерево искусства». В ней рассказывалось о древних рукописях, старых русских деревнях, только что вышедшем «Привычном деле» В. Белова. Критика отмечала: Дороша интересует «все изначальное, исходящее из первоисточника, из основы основ, — будь то поэзия, архитектура, живопись, говор, названия деревень». Но главное — в книге Дороша ощущалась живая связь времен и присутствовало чувство их «естественного родства», позволявшее автору все время сопрягать сиюминутное с тем, что уходит корнями в глубокие пласты исторической жизни и культуры. При обостренном чувстве истории, отмечал Дорош, возникает «иллюзия одновременного существования в разных столетиях»: это укрепляет дух человека, обогащает чувство исторического и национального самосознания.

Но писатель видел не только это. Он рассказывал и о своем знакомстве с юношей-художником, который сознательно «поворотился спиной к прошлому, к искусству

предков». «Эта его эстетическая неразвитость и отсутствие чувства истории, что я назвал бы неразвитостью этической... — писал Е. Дорош, — не столько огорчили меня, сколько вызвали чувство сострадания. Из всего многообразия летнего московского дня он выбрал бензозаправочную колонку и... пропыленные грузовики и такси. Я подумал о том, как пустынен его мир. И вина здесь на всех нас».

Прошло пятнадцать лет. С тех пор мы заселили мир современного молодого человека лампами, имитирующими керосиновые, черными досками проблематичной давности, деревянными скамьями в городских кухнях, создающими изысканный стиль, крестьянскими юбками с оборками, дорогами альбомами по древней живописи.

Усилия стилизаторства, однако, ведут лишь к тому, что старое и новое как бы меняются местами. На фоне «уважения к преданию» стала заметна тенденция к гипертрофированному, почти экзотическому поклонению традиции как чему-то неизменному и стабильному. Широко распространилось умонастроение, где само слово «традиция» стало отличительным знаком, метой особого миропонимания — со своими святынями и с решительным неприятием всего, что не попадает в круг этих святынь. Развернулся спор не то чтобы «архаистов» с «новаторами», а скорее сплелся, для кого традиция — понятие этически бесспорное, но исторически подвижное, с теми, для кого она дана изначальным и навсегда в том виде, в котором впервые родилась. Борьба этих двух тенденций легко прослеживается в современной критике.

Споры подчас разгораются вокруг самого понятия «традиция». «Можно подумать, будто кто-то когда-то определил, что — в точности — есть новаторство, что есть традиция!..» — воскликнул несколько лет на-

зад А. Урбан. Татьяна Глушкова отнеслась к этому вопросу серьезно. Решив определить, что же есть традиция, она предложила свои формулировки, где традиция предстала в резко негативном отношении ко всему новому (в полемическом лексиконе Т. Глушковой самое бранное выражение — «дерзостный реформатор»). Увы, вместо определений нам предложено несколько эмоциональных метафор, выдаваемых, однако, за определения. Традиция — «это и есть сама жизнь поэзии, вечно дрящущаяся, действительная для каждого поэта предпосылка и общая «формула» всякого творчества», — пишет Т. Глушкова в статье «Традиция — совесть поэзии». «...талант это способность быть в традиции и Мера таланта — это мера природной, органической сращенности с традицией Талант — традиционен Он «обращен» на традицию, чем смысл вне ее... Четрадиционный поэтический талант есть понятие нереальное». И наконец — исчерпывающее, на взгляд автора, набранное жирным шрифтом определение: «...традиция — это воплощенная в творчество философия искусства поэзии».

При чтении этих строк возникает недоумение: почему нарушается элементарный закон логики и неизвестное определяется через неизвестное? Почему говоря слово «новаторство», нам предлагают расшифровку слова «прогресс» хотя это разные понятия? Почему определение традиции дается через отрицание традиции «обнимает собою все непреходящее .. искусстве, все то, что в нем неизменно, не подвластно инициативе никакого дерзостного реформатора»? Почему, наконец, игнорируются реальные исторические факты и Пушкин, например, из «дерзостного реформатора», каким мы его знали, превращается в узкое железобетонное русло? «Традиция у нас одна, — сурово говорит Т. Глушкова, — пушкинская». И далее: «В ней одной (единой) заключена та множественность, что зовется «традициями русской классической поэзии», да и поэзии вообще».

Подобные эмоциональные заклинания мало что проясняют в существе дела, но обнаруживают некое сходство методов утверждения традиции и не столь давнего ее отрицания. Истовость, с которой клянутся именем традиции, не уступает той, которая сопровождала два-три десятилетия назад ее неприятие.

Говорить о терминологической неопределенности понятия «традиция» не приходит-

ся. Оно изначально предполагало связь времен. «Традиция, — читаем мы в книге «Традиция в истории культуры», — в общеполитическом смысле этого слова представляет собой определенный тип отношения между последовательными стадиями развивающегося объекта, в том числе и культуры, когда «старое» переходит в новое и продуктивно «работает» в нем».

В этом определении сохраняется не только идея динамичности (передачи), но и сохраняется то, что объясняет нам природу традиции: традиция — это «тип отношений» между «старым» и «новым». Двуединство, заложенное в самой природе понятия, внешне выражается в том, что «традиция» либо выступает в паре со словами «...и современность», «...и новаторство» (что адекватно мысли о «старом», переходящем в «новое» и «продуктивно работающем в нем»), либо предполагает их сосуществование. Критерий жизнеспособности традиции — историческая продуктивность «старого». Таким образом, традиция внутренне способна к трансформации.

Эта диалектика «старого» и «нового», устойчивого и подвижного была и остается самым сложным звеном вопроса о художественной традиции. Их отношения переменчивы: то верх берет начало устойчивости, то, напротив, подвижности. Поэтому истолкование художественной традиции зависит не только от уровня полноты накопленных историко-литературных фактов, но и от философии истории, философии общественного развития, от умозрения, свойственного эпохе. Категория традиции, таким образом, свободна от чисто эстетической или публицистической замкнутости — она всегда открыта в смежные области: в проблемы духовной культуры, в этику, в сферу общественного сознания.

В определении, которое мы привели выше, в его акцентах, вроде бы сугубо академичных, отчетлив отзвук нашего времени. Он в мысли о традиции как «развивающемся объекте» Тут обнаруживает себя не только богатый опыт, но и стремление современного общественного сознания к историзму мышления. Вне исторического подхода к действительности писатели и критики не смогли бы достичь такого понимания традиции и ее роли в общественном сознании. Искусстве, нравственной жизни, когда традиция выступает не только как «концентрация народного опыта», но и как преемственность и взаимозависимость эпох.

Ясно, что наш подход к традиции должен быть диалектичен, соединять внимание к тому устойчивому, что в ней заключено, и чуткость к внутренней ее подвиж-

ности. Такой диалектичности явно не хватает в ряде высказываний о традиции, принадлежащих не только молодым поэтам, но и маститым прозаикам. Художник сегодня, пишет, например, С. Залыгин, «чувствует современный стиль — творческий и повседневный стиль всей окружающей его жизни, он стремится их уловить наиболее точно и выразить наиболее полно, в то же время он всегда находится во власти творческой традиции, ему никогда и никуда не уйти от вполне конкретных художественных произведений, которые на века стали эталонами, которые учат его вечности искусства, вообще вечности и уже по одному этому — традиционны».

Все это так. Но хотя вслед за этими словами С. Залыгин и напишет, что его не надо понимать буквально, что традиция «не дает нам возможности повторить ее», многое в его высказывании звучит как бы с вызовом. «И самый новый, самый «модерновый» художник,— пишет Залыгин,— хочет он того или нет, в чем-то и кого-то повторяет хотя бы потому, что он тоже человек и ему даны человеческие, а не какие-то другие слух, зрение, мышление и переживания».

Но почему так тесно сдвинут здесь «новый» и «модерновый»? Современному писателю даны художественные традиции «настолько прочные и устойчивые,— пишет С. Залыгин,— что они придают определенную устойчивость и традиционность даже всему тому, что традиция отрицает, опровергает их «в принципе» и «целиком». » Но в литературе, существующей века, традиции всегда «даны», на протяжении веков для всех они стали «прочными» и «устойчивыми». Чем наше-то время в этом смысле иное? Не тем, вероятно, что нам «дано», а тем, как и что берем, какой смысл этому устойчивому и устоявшемуся придаем.

Смысл же этот становится все более определенным. Он заключается в том, что в понимании традиции часто выдвигается на первый план начало стабильности. И в этом тоже знак времени.

Конечно, и для такого преимущественного внимания есть свои основания: тут и неприятие какого-либо разрыва связей между прошлым и настоящим, и острая реакция на угрозу военной катастрофы. Много значит сегодня и обострившееся историческое, национальное самосознание современного человека. Писатели хотят укрепить дух человека, усилить чувство ответственности; они хотят вылечить человека от древнейшей, как говорил Юрий Трифонов, болезни — эгоизма. Они расширяют круг

ценностей, среди которых человек должен чувствовать себя спокойно и уверенно, и среди этих ценностей — труд, дом, любовь к ближнему, теплота сердечного чувства.

Но нельзя не видеть, что современное искусство ответило на эти объективные побуждения по-разному. Такие художники, как В. Белов, В. Распутин, В. Шукшин, В. Астафьев, Евг. Носов, В. Кручин, обращаясь к прошлому, к традиции, стремятся напомнить человеку о его предназначении, поверить этические нормы современности обращением к давнему опыту, примерами нравственного отношения к труду, детям, отечеству. Несомненная поэтизация истории и традиции оправдана в их книгах тем, что писатели ставят вопрос о должном, пытаясь убедить нас в жизнеспособности своего идеала и ссылаясь на реальный человеческий опыт. Их художественные открытия ничего общего не имеют с той модой на ретроспективность и стилизацию, следы которой можно наблюдать в некоторых книгах, пьесах, фильмах, где авторы тешат зрителя медленным и любовным разглядыванием старинных интерьеров, тщательно повязанных шейных платков, серебра и золота, парчи и бархата: красиво!

Поначалу казалось, что это вполне естественная для нашего века ностальгия по гармонии.

В книге «Лев Толстой и кинематограф» Л. Аннинский, пытаясь разгадать причины нашей «нужды в Толстом», писал: «Как передать окутывающий у Толстого действие словесный дымок, все время отсылающий нашу мысль к тому, что это не просто действие, но действие традиционное, всегдашнее, вековое прочное, устоявшееся, принятое поколениями...»

Тяга к устойчивости была подана как черта современности нашего мироощущения. «Осваивая ближний, ощущаемый мир, мы со второй половины 60-х годов,— пишет критик,— начали заново вживаться в старые добрые интерьеры, описанные Тургеневым, Чеховым, Островским. Слово заново увидели дом и землю — в этом смысле всех программных экранизаций того времени.

Но прошло время, и «старые добрые интерьеры» — стиль ретро — начали претендовать на роль чуть ли не выразителя нашего времени! Можно привести в этой связи слова искусствоведа Н. Воронова, заметившего что «стиль памяти», как он его назвал «только реализует наше инфантильное стремление окружить себя предметами убедительными, капитальными, обстоятельными способствующими возникновению того чувства неизбежности, уве-

ренности в окружающем и будущем, которое было у нас в детстве».

Но спросим: к лицу ли нам эта инфантильность? Ко времени ли она? Соответствует ли миру, в котором мы живем?

Нет. И потому призыв, нередко звучащий в литературе: назад, к традиции, — требует самого трезвого к себе отношения.

Верно ли, что «стиль памяти» «ничего не утверждает и не пропагандирует», что он явление «не мировоззренческого, а мироощущенческого порядка» (Н. Воронов)?

Думаю, что не так все просто. Ведь в таком традиционализме есть своя система: вспомним вышеприведенные примеры, когда традиция определялась через перечисление признаков, которых не должно быть у настоящего искусства.

А вот какую «программу» утверждает в этом случае стихотворение Ю. Кузнецова «Вина»:

Мы пришли в этот храм не венчаться,
Мы пришли в этот храм не взрывать,
Мы пришли в этот храм попроситься,
Мы пришли в этот храм зарыдать.

Вероятно, прав тот же Н. Воронов, заметивший, что «стиль памяти» — это не утверждение, а отрицание. Обязательно — «в противовес, то есть в отрицание чего-то». Так бывает, когда живое чувство истории подменяется гипертрофированным отношением к традиции, а чувство нового пасует перед глухой тоской по прошлому.

Сплошь и рядом любовь к ретроспекции переводит многие верные положения в эмоциональный, даже заклинательный план, не продвигая ни на вершок решение серьезных проблем. Это проявилось, в частности, в отношении к творчеству Пушкина. Здесь проступают те же тенденции, что и во всем движении ретро. Популярной формулой стал призыв «вперед, к Пушкину!».

За последние годы появилось несколько — наперечет! — серьезных статей, обосновывающих «идею» Пушкина, ее важность для современной русской литературы и современного человека. В этих статьях Пушкин предстает «своего рода предвосхищающей мерой — направлением, которым пошла „народная тропа“». Так пишет П. Палиевский в статье с заглавием, обнажающим ее основную идею: «Пушкин как человеческая задача русской литературы».

«Иначе говоря, — читаем мы в этой статье, — он стал началом, связью, в которой было заложено все будущее... получается так, что русская литература разрастается не только от Пушкина, но и к Пушкину,

тянется своими ветвями к этому идеалу, которого не может пока исчерпать, и только удаляется, удивляясь всякий раз полноте, предположенной позади, которую нужно еще исполнить». Палиевский более всего апеллирует к личности Пушкина, считая, что Гоголь, сказавший: «Пушкин... это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет», — и Достоевский, поставивший Пушкина «перед русским человеком как задачу», как бы запрограммировали идеал русского человека, ориентируя его на духовный склад Пушкина, главное в котором — его «первоначальное совершенство, соразмерное и простое, нигде не торчащее вбок ни одной мыслью, которые только потом разорвутся, пойдут сталкиваться, враждовать или заключать союзы, разрушаться в одинаковость, обнаруживать близость и т. п.».

Можно ли вернуть этот «потерянный рай»? Считая, что «движение в решении этой человеческой задачи продолжается», Палиевский трезво видит, что «усилия писателей сосредоточены на том, чтобы его возратить; взять же и возвратиться просто — нельзя».

Такая постановка вопроса вполне правомерна, если говорить о нравственном идеале литературы, типе творческой личности и предназначении человека. Но, к сожалению, она получила вульгаризированное и сниженное толкование в массовой текущей критике и в ней стала похожа на регрессивную утопию.

И получается, что, говорит ли критика о Пушкине на высоком уровне, клянется ли она его именем, не вдумываясь в смысл его деятельности, Пушкин остается в одиночестве. Истолкование его творчества как бы двоится: оно стало символом духовного совершенства, метафорой гармонии; и в то же время его реальные связи с последующим развитием, и в частности с нашим временем, так слабо прояснены, что пока он действительно только «удаляется».

Если же говорить о существе дела, то мнимые защитники Пушкина крайне односторонне, как верно заметил Ал. Михайлов, истолковывают его традицию, нарочито терпя «из виду его роль как новатора, разрушителя многих устаревших традиций — в поэзии, прозе, драматургии».

Нельзя не прислушаться поэтому к голосу тех, кто, высоко ценя Пушкина («начало всех начал»), в то же время считает, что целостное представление о традициях классической литературы есть, как пишет Ст. Лесневский, «результат духовной работы почти двух столетий. Пушкин не был до-

статочно авторитетен для читателей, воспитанных на поэзии Ломоносова и Державина, которая казалась им значительно пушкинской. Вместе с тем эти имена, как будто отнесенные гением Пушкина, дальнейшим развитием поэзии снова выдвинуты и сегодня находятся, несомненно, в ореоле классики. Ломоносовско-державинская традиция, казалось бы растворенная Пушкиным, подхвачена, продолжена, вослед Пушкину, Баратынским, Тютчевым, Маяковским, Заболоцким... Вспомним Жуковского... Победенный (по его словам) и на время заслоненный своим великим учеником, учитель Пушкина вновь дарит нам «стихов пленительную сладость». Традиция Жуковского, поистине классическая, воспринятая и преображенная Пушкиным, одухотворяла лирику Баратынского, Лермонтова, Тютчева, Фета, Блока... Происходит взаимовлияние, переосмысление классических традиций».

Но увлеченность традицией породила таких ее адептов, которые часто не видят и не понимают связи культурных эпох, да еще при этом позволяют себе крайне беззаботное отношение к самим фактам истории литературы. Таков недавний спор о «книжности» современной поэзии на страницах «Литературного обозрения». В Курбатов в статье «Горе от ума», фиксируя обилие литературных ассоциаций, мелькающие в современных стихах имена литературных героев, поэтов и писателей, живших в разные века и в разных странах, увидел в этом знак вторичности, грозящей литературе, «недуг постоянной оглядки на классические имена»; правда, критик не мог не признать, что «принцип мышления современного человека качественно отличен от мышления даже читателя пятидесятих годов», что всеобщее образование позволяет ныне поэтам «смело пускаться в параллели самого далекого свойства—исторические, филологические, археологические, живописные... Поумнело время, поумнела поэзия». Почему бы и не порадоваться? — спрашивает Курбатов. И отвечает: это значило бы уступить руководство поэзией уму, в то время как ею всегда руководила душа. Ум же «без согласия с душой есть просто рассудок».

Но почему же без согласия? Почему, если книга прочно утвердилась в жизни, произошло это без участия души?

В ходе дискуссии на страницах «Литературного обозрения» критики неоднократно ссылались на стихи и статьи А. Кушнера, защищавшего право поэзии на «книжность». Следование традиции, считает Кушнер, это и подключение к ней и отталкива-

ние от нее, но никогда не разрыв. «Книжность», «преображенная цитата» — это одно из средств (и одновременно проявлений) трансформации традиции. Но Кушнер не был поддержан.

В обилии литературных реминисценций, включенных в текст имен художников-предшественников силен, конечно, налет модничанья, желания щегольнуть образованностью, что всегда поверхностно и особенно разговору не заслуживает. Гораздо более интересен глубинный слой явления: обращение к предшественникам означает осмысленный интерес к культуре прошлого. И потому нам небезразлично, к кому же сегодня высок этот интерес, как входит культура прошлого в художественное сознание современного писателя. Сам же по себе вопрос о цитатах в литературных ассоциациях ничего не решает. Они могут быть проявлением поверхностной ретроспективности, выдаваемой за историзм. Но в применении к творчеству крупного художника и вообще к зрелой литературе вопрос о цитатах и литературных ассоциациях — это, в сущности, вопрос о возможности использовать «готовые формы» (или — иначе — отстоявшиеся в традиции устойчивые образы, мотивы, отдельные элементы формы и т. п.). Нельзя не признать, что они занимают особое место в литературе нового времени: «„Литературность“ литературы нового времени при постепенном спаде внешне традиционного начала компенсируется усилением литературных ассоциаций» (Д. С. Лихачев).

Решающей аргументацией здесь является анализ конкретных художественных явлений. Что же есть позитивного с интересующей нас точки зрения в критических статьях последнего времени?

Исследуя большой историко-литературный материал, критики приходят к выводу, что крупных поэтов объединяет чуждость ко всему живому в языке, и это характерно для отечественной и мировой традиции.

«...сознательное, порою прямо подчеркнутое «укоренение» в традиции — факт очевидный и показательный» и для 70-х годов пишет И. Подгаецкая И далее: «Новизна» поэта — не в полном отторжении от предшественников но во введении своего индивидуального слова образа, переживания, видения мира в контекст поэтической традиции. И это вовсе не означает перепада, повторения, неоригинальности» Что же касается «переключки», пишет И. Подгаецкая, откликаясь на упомянутые споры о «книжности», то «такой путь «присвое-

ния» (термин Вяземского) отечественной и иноязычной литературы избрал некогда Пушкин, у которого, например, в «Руслане и Людмиле» исследователи обнаружили заимствования и реминисценции более чем из 150 авторов, а до него к такого рода «присвоению» прибегали Мольер и Лафонтен, чьи лирические басни причудливо соединяли в себе разом Эзопа, Горация, Рабле, Вергилия и Маро. Такая возможность,— считает И. Подгаецкая,— открывается перед поэзией лишь тогда, когда поэт хочет осознать себя как творческую индивидуальность, которая, вбирая в себя опыт предшественников, чувствует себя в силах «растворить» его в собственном стиле так, что ни прямое цитирование, ни память о разностильных и даже контрастных друг другу авторах не вступят в противоречие с собственным мироощущением» (статья «Историзм лирики»).

Поэтому так важна при решении этой проблемы не декларативная, а реальная опора на историко-литературные факты.

Напечатанная в том же «Литературном обозрении» статья «У истоков „Двенадцати“» (М. Петровский) обнаруживает в поэме Блока отзвуки и городского романа (вообще музыкальной жизни начала века — Блок был свидетелем «вспышки массового спроса на все поющиеся жанры»), и творчества Андреева, и «Бесов» Достоевского. Не конкретные параллели (они, кстати, сделаны с необычайной тщательностью и добротой аргументированы) интересуют автора, но постановка новой и сложной проблемы «писатель в контексте культуры». Тема эта назрела давно и жизненно необходима нашему современнику. Она дает возможность реконструировать духовную подпочву нашего времени, протянуть не мнимые, но истинные линии между прошлым и настоящим — с тем чтобы постоянное ощущение связи всего со всем, факт единства человеческой культуры стал для нас ясно ощущаемой реальностью. Всякое же иное декларативное, локальное рассмотрение «книжности», отвергающее ее как неминуемую вторичность, оказывается непродуктивным и мало что прибавляет к нашему пониманию современности.

Вопрос этот вливается в русло более широкой проблемы. Все настойчивее и доказательнее звучат голоса тех, кто считает неправомерным исходить из представления об одной художественной традиции, якобы определяющей лицо русской классической литературы и наследующей ее опыт литературы советской (как это происходит с фигурой Пушкина). Вопрос о полноте тра-

диций является сегодня одной из принципиальных проблем литературной критики. Современное представление о традициях опирается на идею взаимосвязей культур, в ходе которых традиции и формируются и обретают новую жизнь. Не борьба, не отталкивание «нового» от «старого», не разрыв, а взаимодействие — такой подход к традиции отражает современное понимание мировой культуры и ее движения. Традиция при таком понимании есть предпосылка не только существования культуры, но и ее развития.

Ситуация тем самым сложнее и потенциально богаче, чем кажется на первый взгляд. Она открывает большие возможности для разработки и конкретных вопросов истории литературы и общих проблем культуры.

Круг проблем, связанных с процессом вхождения культуры прошлого в современность, имеет еще один важный аспект: он связан с длительными дискуссиями об интерпретации классики.

В сущности, внутренний сюжет этой проблемы — напряженное размышление: как надо обращаться с классикой — учиться у нее или бороться с нею? Л. Аннинский формулирует жесткую альтернативу: дух (Толстого) или буква? Верность букве оборачивается «бессилием рабской любви». Верность духу более плодотворна, хотя и она ставит человека в жесткие условия: «...надо выбирать, решаться, надо знать свой путь в Толстом». Это не каждому художнику под силу; и все-таки закон един для всех: «С классиком — взаимодействовать, а иначе — гибель». — так формулирует его Л. Аннинский, склоняясь к активности духа художника-интерпретатора (режиссера) и порой все-таки прощая ему произвол.

За всеми рассуждениями критика стоит реальная и нерешенная проблема.

«...Швейцер верил,— пишет Аннинский,— что в романе (речь идет об экранизации «Воскресения». — Г. Б.) заложены нашему времени. Именно их он и хотел извлечь». Ну а другие ценности. возразим мы здесь критику, те, до которых мы сегодня еще не доросли или нужды в которых еще не ощутили,— как быть с ними? На словах признавая многозначность художественного произведения, неисчерпаемость скрытых в нем смыслов, мы на деле нередко подходим к произведению с позиции духовного потребительства, подрывая его под свой рост. «Наше миропонимание,— писал об отношении к классике

Я. Билинчис, — долго предполагалось нами словно бы совершенно завершенным и лишь отбирающим, как бы осеняющим в прошлом нечто себе «соответствующее»... Сейчас это соотношение решительно меняется. Мы все больше хотим найти не себя в классике, но ресурсы в себе для того духовного уровня, какой несли и утверждали Толстой или Чехов». Критика же подчас не столько стремится открыть в старой литературе новые ценности, сколько утвердить свои ценности и спроецировать их на классику. Станный обратный ход...

Традиция есть «тип отношений» между «старым» и «новым». Здесь важна не только соотносительная связь, но и мысль о том, что только то «старое» ценно в «новом», которое продуктивно работает в нем. Акцент этот крайне важен. Именно то в традиции оказывается жизнеспособным, что, единожды родившись как художественное открытие, на века сохраняя свой потенциал. Он реализуется в историческом развитии, часто почти неузнаваемо отличаясь от того явления, которое некогда его породило, и все-таки сохраняя связь с ним.

Проблема исторической продуктивности художественного открытия, практически еще совсем не разработанная применительно к развитию советской литературы, с естественностью выдвигается сегодня вперед, становится первоочередной задачей. Именно в ее свете отчетливо видна вся тщета искусно гипертрофированного традиционализма.

Так, в книге Ю. Селезнева «Вечное движение» как «традиционная» толкуется и проза В. Астафьева и В. Белова, к «традиционной прозе» отнесено и творчество С. Залыгина: «Русская традиционная школа...»

А между тем при внешней традиционности проза и В. Астафьева, и В. Распутин, и В. Шукшина, и многих других писателей истинно новаторская в том смысле, что открывает новые пласты социальной жизни, новые исторические характеры, предлагает новые стилевые решения. Случайно ли, что столько споров было вокруг проблемы национального характера у Шукшина? Однако нет до сих пор ни одной статьи об обширной галерее новых социальных типов, открытых и изображенных Шукшиным. В духе отвлеченных истин часто толкуется и творчество посмертно признанного А. Вампилова. А ведь у него немало новых художественных типов. Пишут ли критики об этом? Пишут, но мало и редко.

Между тем жизнь ставит нас перед новыми вопросами. Так, когда появилось «Привычное дело», С. Залыгин не только объяснил «таинственную убедительность» произведений Василия Белова счастливым сочетанием «сегодняшнего» слуха и зрения и органической верой в традицию, но и видел в «традиционности» Белова ясно осознанную творческую задачу. Он считал, что любое произведение Белова о современной деревне «как бы предназначено для сравнительного восприятия, для того, чтобы читатель то и дело обращался к своей собственной памяти, вызывая в ней картины других деревень, образы других людей, чтобы он чувствовал традицию не саму по себе, не изолированно, а в ее соприкосновении и взаимодействии с днем сегодняшним. Чтобы он еще и еще раз самостоятельно проверял ее нынешнюю жизнеспособность и необходимость».

Но прошло время, и появились новые книги — и «Воспитание по доктору Споку» с их раздражением против города, и «Лад» с его идеализацией старого крестьянского уклада. У Белова появилась склонность к назиданию, дидактике. Обнаружил себя счет от противного, так свойственный традиционализму. Как верно заметил И. Золотусский, «Лад» родился «из тоски по лучшему, что было в крестьянстве...». И еще замечает критик: «„Домостроевские“ мечтания Белова вовсе не мечты. Это попытка новое время поставить на почву традиции. Дать этому времени устойчивость и ту же самую осанку».

Но возможно ли это? «Той же самой» (что у старого крестьянства) осанки не было уже у Ивана Африкановича. Это критика залила его елеем — сам же он был драматичней и ближе к нашей сложной социальной реальности, чем о нем писали. Новые социальные типы, резко очерченные, были и в «Канунах». Почему же, выходя в открытое море современной жизни, писатель сводит ее изображение к очерковым зарисовкам с назидательной мыслью? И полезно ли для его дальнейшего развития такое «укоренение» в традиции?

Уязвимость позиции В. Белова чувствуют сегодня и его критики. Не случайно И. Золотусский на одной странице пишет, что «Лад» — «это книга примера, книга-урок», а на другой осторожно напоминает Белову, что «лад может существовать везде. Ибо носитель лада человек, а не место, где он живет...».

Эта кажущаяся непоследовательность критика симптоматична: она сигнал о необходимости видеть новое и по-новому.

Нельзя не заметить, какой трезвый путь прошел, например, Гр. Матевосян от повести «Мы и наши горы» до «Ташкента», где уже не осталось никаких иллюзий насчет спасительной силы традиции, взятой сама по себе. По-новому звучит тема традиции в «Дате Туташхиа» Амирэджиби, где автор ставит персонажей в экспериментальную ситуацию и столкновением Даты Туташхиа и Мушни Зарандиа показывает, что «вера отцов» — только предварительное условие становления человека, решающий же фактор — лично выстраданное мировоззрение. Идея движения времени, меняющего всех и все, год от года крепла в творчестве Ю. Трифонова, и его проза последних лет насыщена изображением меняющихся и меняющих лицо мира человеческих отношений...

Отождествление понятия «традиция» с вневременным, внеисторическим и неподвижным началом жизни встречает все большее сопротивление внутри самой литературы.

Как заметил в одной из дискуссий Ал. Михайлов, «осознанный историзм —

это, помимо прочего, ощущение искусства в нравственной, политической и эстетической атмосфере своего времени». Противопоставление традиций современности означает разрыв в «цепи исторического развития». Ошибку традиционалистов Ал. Михайлов видит именно во внеисторичности позиции, когда «традиция не подвержена влиянию времени», в отказе от рассмотрения традиции в свете диалектических отношений между «старым» и «новым», отчего прежде всего страдает социальная и эстетическая интерпретация явлений современности.

...Возрождение интереса к традиции всегда связано с преодолением вины перед недооцененным прошлым, чувством необходимости восстановить «естественное родство» между историей и современностью. Сегодня мы стоим перед столь же острой проблемой: нам надо преодолеть вину перед не до конца оцененной и познанной современностью. Только ощутив традицию как важнейшую составляющую современности, мы сможем понять ее истинную роль в нашей жизни.



М. Б. ХРАПЧЕНКО

★

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Статья первая

И несмотря на большое количество статей и книг, посвященных этой теме, она все еще остается недостаточно проясненной, даже в основных своих «параметрах». Такое положение является следствием, может быть, не столько малой продуктивности уже выполненных исследований (среди них есть и очень ценные работы), сколько сложности и многогранности самой проблемы. Нельзя не учитывать и того, что развитие литературы, так же как и литературоведения, лингвистики, раскрывает все новые и новые стороны этого явления.

Изучение языка художественной литературы имеет разные аспекты, и прежде всего два основных — лингвистический и литературоведческий. Они существенно отличаются друг от друга. Действительное их сочетание оказывается делом нелегким. И даже ученым, одинаково успешно работающим в обеих областях науки — лингвистике и литературоведении, — до сих пор не удавалось достичь в полной мере нужного единства этих двух далеко не тождественных подходов к языку художественной литературы.

Между тем при рассмотрении даже некоторых существенных аспектов этой обширной проблемы (а именно такую задачу ставит перед собой автор настоящей статьи) возникает настоятельная необходимость обращаться к тем ее сторонам, которые в равной мере интересуют лингвистов и литературоведов. Сюда относится в первую очередь вопрос о связях и соотношениях языка художественной литературы с общенародным литературным языком.

Два с лишним десятилетия тому назад на страницах специальной печати происходила оживленная дискуссия о стилях языка и речи. Многие участники этой дискуссии

сходились на том, что язык художественной литературы представляет собой особый стиль наряду с такими стилями литературного языка, как обиходно-бытовой, официально-деловой, научный, публицистический и т. д. Количество стилей, их обозначение у разных авторов были неодинаковыми. В ходе дискуссии выяснилось, что само понятие «стиль языка» отличается значительной неопределенностью. Признаки языковых стилей описывались весьма расплывчато.

Но, пожалуй, наибольшие трудности возникли в связи с рассмотрением языка художественной литературы как одного из стилей литературного языка. Стилиевые его свойства характеризовались еще более неуверенно и туманно, чем особенности других языковых стилей. В дискуссии указывалось на то, что сама художественная литература вбирает в себя самые различные речевые стили, в том числе обиходно-бытовой язык, язык деловой письменности и т. д. Одновременно с тем отчетливо выяснилось и другое, труднопреодолимое препятствие на пути теории языковых стилей: как совместить будто бы существующий единый стиль языка художественной литературы со множеством стилей, которые реально проявляют себя в развитии самой литературы.

Известно, что каждый крупный художник слова создает свой комплекс средств изображения жизни, внутреннего мира человека, свой стиль. Это означает, что индивидуальных стилей множество. В процессе развития литературы возникли стили ряда литературных направлений, таких, например, как классицизм, символизм и др. Национальные особенности литературных направлений нередко также называются стилями. Отсюда стиль английского романтизма, французского символизма и т. д. Помимо

того некоторые ученые настаивают на том, что существуют, особенно в средневековой литературе, стили отдельных жанров — стиль агиографической литературы, пасторали, рыцарского романа, воинской повести и др.

При таком многообразии литературных стилей понятие единого стиля языка художественной литературы, в сущности, теряет свой смысл. Становится очевидной несоизмеримость его с такими, например, стилями языка, как официально-деловой, публицистический. Дискуссия 50—60-х годов не принесла ясных результатов, она зашла в тупик, и, может быть, отчасти из-за неудачных попыток втиснуть язык художественной литературы в прокрустово ложе одного из стилей языка.

Еще более сложным решение проблем языка художественной литературы представляется, если учитывать современные теории о знаковой природе языка и речи. Теории эти, получившие широкое распространение, отличаются немалыми внутренними противоречиями. Не существует единства и в отношении к знаковым теориям языка. И хотя в настоящее время преобладает положительное их восприятие, нередко выступления в печати и противников знаковой естественного языка.

Как бы ни оценивать знаковые теории языка в целом, в том числе и в гносеологическом плане, невозможно отрицать, что знаковые черты присущи языку, языковому общению. К. Маркс писал: «Название какой-либо вещи не имеет ничего общего с ее природой. Я решительно ничего не знаю о данном человеке, если знаю только, что его зовут Яковом»¹.

Хорошо известно, что названия предметов, явлений в различных языках мира разные. Весьма неодинаковы и их структура, их грамматический строй. Определенное сходство в наименованиях предметного мира, процессов жизни, так же как и в грамматическом строе, наблюдается в родственных языках, принадлежащих к одной языковой семье. Но это, однако, не уменьшает значения того факта, что каждый сложившийся язык обладает своей лексикой, своей особой структурой. У каждого языка существуют свои особые способы передачи результатов познания мира, свои особые пути и способы выражения мыслей и чувств человека.

Все это служит основанием для построения семиотической теории языка, для того, чтобы признать язык в целом, так же

как и отдельные языки, знаковой системой, а слова, грамматические формы — знаками предметов, явлений, связей и отношений между ними, знаками, которые служат средством общения между людьми.

В теоретико-философском плане знаки, знаковые системы обычно противопоставляются процессам отражения действительности в сознании человека, в духовной деятельности людей. В процессе отражения раскрываются реальные свойства окружающего нас мира, знаки же представляют собой в определенной мере условные обозначения предметов и явлений, с которыми сталкивается человек в своем социальном бытии. Между обозначаемым и обозначающим нет причинных связей, они несут конвенциональный характер, то есть сложились в результате обычая, практики, вследствие стихийного общественного соглашения, конвенции.

Однако знаки могут служить и нередко служат средством познания мира. Это в первую очередь относится к весьма разветвленной системе знаков, которыми пользуются самые различные науки. Но это касается и других разновидностей знаков, в том числе языковых, эстетических и т. д. Соотношение между познанием мира, его отражением в сознании людей и знаковыми обозначениями явлений, предметов, их связей довольно сложное.

Уже в начальный период формирования знаковой теории языка ученые столкнулись с немалыми трудностями, возникшими вследствие того, что многие языковые явления не укладываются в жесткие рамки названной теории. В самом деле, известно, что характерную особенность знака составляет постоянство его значения. Только при постоянстве своего смысла, содержания знак может функционировать, быть средством общения. Утрачивая определенность значения, знак становится непонятным, перестает быть надежным способом передачи информации.

Между тем в любом языке имеется большое количество элементов, которые лишены однозначности и обладают — в зависимости от обстоятельств — разным содержанием. Такого рода элементы мы наблюдаем прежде всего в лексике. Полисемия (многозначность) слова — весьма распространенное явление в разных языках мира. Так в русском языке, как свидетельствуют словари, например, слово «идти» имеет около 40 значений: «жизнь» — 13, «время» — 9, «дело» — 16, «основание» — 9, «обращение» — 8, «речь» — 9, «рука» — 10, «остаться» — 11, «представить» — 11, «принять» —

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 23, стр. 110.

17 и т. д. В этой связи привлекают к себе внимание омонимы — слова, одинаковые по своему звучанию, но совершенно различные по содержанию («сплав» — это и соединение в нераздельное целое разных металлов, и транспортировка по воде леса, «балка» — овраг и особым способом используемое бревно и т. д.).

Различное значение в языке имеют не только наименования предметов, их качеств, явлений, действий, но вспомогательные лексические единицы, такие, как предлоги, союзы и другие. Обязательная связь между обозначающим и обозначаемым, между знаком и значением в языке часто нарушается и в том отношении, что содержание, свойства предмета, процессов действительности могут быть выражены разными языковыми средствами. Тут немаловажную роль играют такие языковые явления, как лексическая и синтаксическая синонимия.

Стремясь преодолеть затруднения, возникающие в связи с полисемией слова, различными способами языкового выражения означаемого, крупный и пронизательный ученый, сторонник знаковой природы языка С. Карцевский выдвинул теорию о внутренней противоречивости лингвистического знака, о его асимметричном дуализме. В статье на эту тему он писал: «Знак и значение не покрывают друг друга полностью... один и тот же знак имеет несколько функций, одно и то же значение выражается несколькими знаками...»².

Нетрудно видеть, что понятие знака здесь весьма существенно трансформируется; знаку придаются черты, которыми он не обладает. В качестве одной из основных его особенностей выдвигается многозначность. Однако ни один знак, в том числе лингвистический, оставаясь самим собою, не является многоликим в своем содержании и смысле. Постоянство значения знака, как уже сказано, представляет собой его существенное свойство, которое тесно связано с тем, что знак имеет конвенциональный характер³.

² С. Карцевский. Об асимметричном дуализме лингвистического знака (в кн.: В. А. Звегинцев. История языкознания XIX—XX веков в очерках и извлечениях. М. «Просвещение». 1965. ч. II, стр. 85)

³ Тенденция рассматривать языковой знак как нечто весьма расплывчатое и неопределенное проявляется довольно часто. Так, например, А. Лосев считает, что языковому знаку присуща не просто многозначность, а бесконечная смысловая валентность. Он пишет: «всякий языковой знак «может обладать бесконечно разнообразными значениями». Эта «бесконечная возможность значе-

В названной статье С. Карцевский замечает: «Если бы знаки были неподвижны и каждый из них выполнял только одну функцию, язык стал бы простым собранием этикеток»⁴. С этим нельзя не согласиться. Но это положение С. Карцевского как раз и подчеркивает, что язык в целом неправомерно характеризовать как знаковую систему, а его различные элементы лишь как те или иные виды знаков. Если не выдерживает критики тенденция к отождествлению языка и мышления, то несомненно, существуют и занимают в языке достаточно важное место. Одним из ясно выраженных явлений такого рода следует признать термины самых различных видов и категорий. Для того чтобы термин мог производительно функционировать, он должен быть определенным и постоянным в своем содержании, в своем значении. Во всяком случае, такова идеальная, нормативная его природа.

Отрицание идей о языке как языковой системе вовсе не означает, что ему чужды знаковые начала и свойства. Они, несомненно, существуют и занимают в языке достаточно важное место. Одним из ясно выраженных явлений такого рода следует признать термины самых различных видов и категорий. Для того чтобы термин мог производительно функционировать, он должен быть определенным и постоянным в своем содержании, в своем значении. Во всяком случае, такова идеальная, нормативная его природа.

Конечно, с течением времени термины. по мере роста человеческих знаний, претерпевают определенные изменения. Но изменения эти сводятся, во-первых, к обогащению термина новым содержанием и, во-вторых, к устранению той его неустойчивости, которая периодически возникает из образующегося несоответствия между термином и новыми данными познания мира и человека, то есть к восстановлению постоянства значения термина на новой основе.

На первый взгляд может показаться, что термины и близкая к ним по своему характеру лексика не играют большой роли в развитии и функционировании языка. Однако это не так. В академическом семнадцатитомном словаре современного русского литературного языка зафиксировано свыше

ний знака» базируется на том, что «языковой знак есть акт мышления, что мышление есть отражение действительности, которая тоже бесконечна» (А. Ф. Лосев, «О бесконечной смысловой валентности языкового знака». «Известия Академии наук СССР, серия литературы и языка». 1977. т. 36, № 1. стр. 6) Помимо того что понятие «языковой знак» при таком подходе теряет всякий смысл, в суждениях А. Лосева отождествляются язык и мышление, что представляется совершенно неверным.

⁴ С. Карцевский. Об асимметричном дуализме лингвистического знака, стр. 85.

120 тысяч слов. Различного же рода терминов, не вошедших в этот словарь и представленных в многочисленных специальных словарях, по мнению ученых, в русском языке насчитывается свыше миллиона, а вероятно, и значительно более того. До сих пор это никем точно не подсчитано. И вся эта весьма разветвленная терминология находится в постоянном действии, служит погрешностям общества. Без ее использования не могут успешно развиваться общественно-производственная деятельность людей, наука.

Могут сказать, что широкое развитие терминологии — это особенности эпохи современной научно-технической революции, раньше было совсем по-иному. Однако это не соответствует действительности. Орудия труда, техника, которыми владел человек на разных ступенях своего развития, различные процессы производства, определенные явления социальной жизни требовали своего однозначного наименования. Возникал обширный слой лексики, который по своим свойствам, по своей функции был близок к тому, что мы сейчас называем терминологией. Роль этой лексики в языковом общении людей, несомненно, была весьма значительной.

Знаковые явления в языке, если даже не касаться его морфологического уровня, проявляются, конечно, не только в названной сфере. Вместе с историческим динамизмом языка, быстрым откликом лексики на новые явления жизни в различные периоды существования языка в его составе возникают весьма устойчивые, «канонические» виды выражения мыслей, намерений, «канонические» формы обозначения событий, действий. Такие языковые формы особенно широко распространены в официально-деловой письменности, в стереотипах, которыми она насыщена. «Канонические» способы передачи информации присущи различным видам узкопрофессиональной речи, письменности. Словесные клише составляют неотъемлемую особенность языкового общения, которое связано с разного рода обрядами, церемониалами и т. д. В процессе функционирования языка нередко происходит своего рода омертвление слова, отдельных слоев лексики. Недаром говорят о стершихся словах, которые приобретают чисто знаковый характер. Языковые стереотипы периодически возникают и в художественной литературе. Особенно в период упадка тех или иных литературных школ, в пору, когда начинает господствовать эцигонство.

II

Здесь необходимо обратиться к рассмотрению отдельных сторон внутренней диалектики языкового развития. Важнейшее свойство слова, языка состоит в том, что они выражают общие черты предметного мира, явлений действительности, служат средствами их духовного обобщающего освоения. Одновременно слово, язык запечатлевают конкретные особенности самых различных вещей, явлений, событий, раскрывают многообразие окружающего нас мира, многообразие духовной жизни человека. А. Потебня писал: «Нельзя охарактеризовать развитие языка его стремлением к отвлеченности, не прибавив, что вместе с тем развивается и его способность изображать конкретные явления»⁵.

Эти же свойства слова, языка отмечает и С. Карцевский: «...язык движется между двумя полюсами, которые можно определить как общее и отдельное (индивидуальное), абстрактное и конкретное»⁶. Процессы абстрагирования и конкретизации тесно переплетаются между собой, выступают в разных формах и соотношениях в различные периоды эволюции языка.

Для понимания этих соотношений существенный смысл имеют размышления А. Потебни о внешней форме слова, его значении и внутренней форме. Внешняя форма согласно взглядам ученого — это звуковая сторона слова. Значение его определяется объемом представлений, сведений о предмете, явлении, которые слово содержит в себе. Внутренняя форма слова раскрывает запечатленные в нем первоначальные черты, признаки предмета, события: она беспристрастный свидетель происхождения слова, его жизни. Так, в слове «радуга» корень «дуг» отмечает одну из примечательных особенностей радуги — ее дугообразную форму. Первоначальный смысл слова «облако» — покрывающее, обволакивающее; слово «стол» происходит от корня «стлать» и т. д.

Внутренняя форма слова, отмечал А. Потебня, «есть тоже центр образа, один из его признаков, преобладающий над всеми остальными. Это очевидно во всех словах позднейшего образования с ясно определенным этимологическим значением (бык — ревуший, волк — режущий, медведь — едя-

⁵ А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике М. Государственное учебно-педагогическое издательство. 1958, т. I—II, стр. 347.

⁶ С. Карцевский Об асимметричном дуализме лингвистического знака, стр. 85.

щий мед, пчела — жужжащая и проч.)...»⁷. Это выделение тех или иных примет, черт предметов, явлений — один из важнейших путей обобщения действительности в слове, языке⁸.

В процессе жизни слово часто утрачивает ту свою односторонность, которая связана с обозначением отдельных черт, особенностей вещей и явлений. Слово тяготеет ко всеобщности, универсальности. Это обстоятельство, однако, вовсе не исключает того, что в любом развитом языке имеется большое количество слов, сохраняющих свою первоначальную образность.

В живой связи с выделением в слове отдельных примет реального мира находится и тот процесс обобщения жизни посредством слова, который создается метафоризацией как свойством человеческого мышления. На основе метафоризации в различных языках возникает множество новых значений слов типа — рукав рубашки и рукав реки, журавль — птица и журавль колодезный и т. д. «Ассоциация, — читаем в книге «Общее языкознание», — играет огромную роль в образовании различных переносных значений, когда на основании известных элементов сходства название одного предмета или явления может быть применено к названию другого предмета или явления»⁹. Авторы этого ценного труда считают, что «одной из главных причин образования полисемии слов является метафоризация»¹⁰.

Заложенное в слове стремление к общему, конечно, не означает, что степень всеобщности в различных словах одинакова. Она находится прежде всего в определенной зависимости от характера всеобщности, которая наблюдается в самой природе, в социальном бытии людей. Однако зависимость эта весьма сложная. Здесь мы постоянно сталкиваемся с процессом познания, его углубления. В результате этого происходит обогащение содержания, внутреннего объема многих слов, появление новых лексиче-

ских образований, возникновение новых языковых средств выражения мысли.

Помимо того обобщающие свойства лексики, объем ее содержания нередко меняются в зависимости от условий существования слова, от социальной среды, в которой оно употребляется. Так, слова, связанные с сельскохозяйственным производством, освоением природы, у людей, занятых этим производством, повседневным трудом в природе, по своему содержанию в немалой степени отличаются от смысла, внутреннего объема тех же слов при их использовании людьми, которые далеки от деревенской жизни.

Пути от конкретного к общему и от общего к конкретному в языке не обособлены один от другого. Они протекают одновременно, теснейшим образом переплетаясь между собой. Найдя наименование общим свойствам и процессам действительности, человеческая мысль стремится обозначить их специфические черты и качества. Один из важнейших способов постижения конкретных особенностей вещей и явлений жизни — это определение, эпитет, синоним. В 1979 году К. С. Горбачевич и Е. П. Хабло опубликовали интересную книгу «Словарь эпитетов русского литературного языка», дающую широкое (хотя, надо думать, и неполное) представление об эпитетах в русской разговорной речи и в произведениях художественной литературы. В сущности, каждое приведенное в Словаре слово, обозначающее предмет, явление, процесс, имеет большое, часто огромное, количество прилагательных-эпитетов, которые характеризуют самые различные их черты, стороны, выражают разное эмоциональное их восприятие. Одно из свойств эпитета состоит в том, что он «обогащает содержание высказывания, подчеркивает индивидуальный признак определяемого предмета или явления»¹¹.

В данной связи я не касаюсь эпитетов редких (по классификации авторов книги), принадлежащих художникам слова. Этот вопрос будет затронут позже. Сейчас же следует сказать о поразительном многообразии в русском языке, равно как и во многих других, прилагательных-эпитетов, несущих функцию раскрытия особенного, конкретного. Положение это могут иллюстрировать эпитеты, относящиеся к любому слову, представленному в Словаре. Например, слово «день». Он бывает ясный, дождливый, гнилой, жаркий, жгучий, голубой, звеня-

⁷ А. А. Потебня. Эстетика и поэтика. М. «Искусство». 1976, стр. 146.

⁸ В «Философских тетрадах» В. И. Ленин цитирует интересные, относящиеся к данной теме высказывания Л. Фейербаха: «Что же такое название? Отличительный знак, какой-нибудь бросающийся в глаза признак, который я делаю представителем предмета, характеризующим предмет, чтобы представить его себе в его тотальности» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 74).

⁹ «Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка». М. «Наука». 1970, стр. 73—74.

¹⁰ Там же, стр. 74.

¹¹ К. С. Горбачевич, Е. П. Хабло. Словарь эпитетов русского литературного языка. Л. «Наука». 1979, стр. 3.

щий, золотистый, нежный, промозглый, тихий, хмурый, хрустальный, быстролетный, безнадежный, бесцветный, благодатный, желанный, жестокий, изнурительный, изумительный, радостный, тусклый, сумбурный, чудесный и т. д.

Ранее было сказано о том, что слово «время» имеет 9 разных значений, а слово «жизнь» — 13. В «Словаре эпитетов...» приведено 135 прилагательных-эпитета к слову «время» и 385 (!!!) эпитетов к слову «жизнь». Среди них такие: активная, благородная, безалаберная, веселая, беспутная, восхитительная, ветреная, вольная, гнусная, интересная, исковерканная, кипучая, красивая, лживая, мужественная, нелепая, одухотворенная, пошлая, счастливая, растленная, сказочная, шальная, широкая, яркая и т. д.

Стремление передать различия (разной степени) при определении особенностей, свойств предметов, явлений, тех или иных качеств человека, желание запечатлеть оттенки мысли и чувства нашли свое выражение в широком развитии синонимов, свойственном многим языкам. Издано огромное количество синонимических словарей разных языков, в том числе и русского. Одно из последних изданий этого рода — двухтомный «Словарь синонимов русского языка» (Л. «Наука». 1970—1971) достаточно ясно характеризует русскую синонимию. Из него и взяты примеры — «пучки» слов-синонимов. Вот некоторые, характерные в том или ином отношении комплексы синонимических обозначений родственных явлений: 1) высокомерие, надменность, напыщенность, надутость, гордость, гордыня, спесь, чванство, заносчивость, кичливость; 2) жалость, сожаление, сострадание, сочувствие, участие, соболезнование; 3) зачинщик, инициатор, затейщик, запевала, заводила, заводчик, закоперщик.

Иногда высказывается та точка зрения, что синонимы — это лишь разные обозначения одного и того же предмета или явления, одного и того же качества. Однако это не соответствует истине. Внимательно присмотревшись к любому «лучку» синонимов, нетрудно видеть, что каждый из синонимов отмечает несомненные различия в близких друг другу особенностях явления, предмета. Слова «высокомерие» и «спесь» близки по значению, но не совпадают между собой, так же как не совпадают значения слов «гордость» и «чванство». Синонимы «сострадание» и «участие» тесно соприкасаются друг с другом, но они означают отнюдь не одно и то же.

«...язык неистощим в соображении слов», —

писал Пушкин. Сложная совокупность различных лексических слоев развитого языка способна охарактеризовать бесконечно разнообразный мир природы, социальных отношений, человеческих связей, духовный мир людей, их мыслей, чувств, стремлений. Обогащение и совершенствование языка происходит в тесной связи с трудовой, социальной деятельностью людей, возникновением новых процессов в жизни природы и общества, открытием ранее неизвестных человеку природных явлений, свойств, качеств вещей и т. д. Развитой язык раскрывает широкую, внутренне дифференцированную и в то же время объединенную общими началами картину мироздания, как она рисуется людям на определенном этапе развития общества. Именно на этих принципах и строятся так называемые тезаурусы — совокупность слов того или иного языка, взятых не в порядке алфавита, как это делается в разного рода словарях, а в их семантических связях, в их соотносительности друг с другом и действительностью.

Соотнесенность развитого языка с окружающим нас миром — это отнюдь не прикосновение бесконечно малого с бесконечно большим. Рассматриваемый в своих возможностях развитой язык — это поистине целый океан, вбирающий в себя познанное человеком богатство природы, жизни людей. В этом океане существуют свои гольфстримы и другие течения, свои внутренние противоречия, столкновения и даже катаклизмы.

Среди внутренних противоречий языка столкновение между его знаковыми началами и динамическим освещением действительности занимает одно из важнейших мест. Знаковые начала отнюдь не представляют собой нечто чуждое языку. Они возникают на основе обобщения, которое составляет коренное свойство языка. В его лексическом строе знаковые явления отмечают наиболее устойчивые черты и свойства, наиболее обобщенные понятия и категории. Само обобщение, выраженное в слове, в своем предельном развитии таит в себе тенденцию застывания, окостенения.

Но именно потому, что язык — живое, действенное средство человеческой активности, отражение в нем изменяющихся свойств действительности, особенного, конкретного вступает в противоречие со всем застывшим. Не только возникают новые языковые явления (слова, новые значения слов), но изменяется морфологический уровень языка, подвергаются трансформации и понятия, категории высокой обобщенности.

Это подводит нас к сложному вопросу о взаимоотношениях языка и мышления, которого нельзя не коснуться, хотя бы и в самой общей форме. В мировой и советской литературе по названной проблеме высказываются разные, нередко противоположные точки зрения. Одни из ученых считают, что в эволюции мыслительной деятельности человека главная роль принадлежит языку, другие подчеркивают фундаментальное воздействие мышления на язык, его формирование и развитие. Крупный советский психолог Л. Выготский, отмечая преобладающую роль языка, писал: «Мысль не выражается в слове, но совершается в слове»¹². По мнению ряда исследователей — в их числе и Л. Выготского, — вне слова не существует мысли. Слово не только носитель мысли, но и ее создатель.

Однако такого рода положение трудно признать справедливым. Появлению слов на ранней ступени развития языка (если не считать звукоподражательных наименований птиц, животных) предшествует аналитико-синтетическая мыслительная деятельность человека, заключающаяся в сопоставлении между собой явлений и предметов, в выделении тех их примечательных особенностей, примет, которые становятся основанием их обозначения, составляют внутреннюю форму слова. Ассоциативность, метафоризация как важнейшие факторы развития языка — неотразимые свидетельства опомного влияния мышления на глубинные процессы формирования и развития языка. Очевидным представляется также и то, что язык уже на ранних стадиях своего развития начинает оказывать влияние на мышление. Это в еще большей степени проявляется в последующие периоды эволюции языка.

Стоит сопоставить между собой внутреннее содержание различных понятий, полисемии слов в разных языках, тот громадный запас фразеологизмов, пословиц, поговорок, которыми обладают развитые языки, чтобы увидеть различия не только в их морфологическом, синтаксическом строе, но и в духовном опыте, в представлениях о действительности, которые запечатлены в языке.

Однако необходимо помнить и о том, что мышление у людей, говорящих на разных языках, в своих главных очертаниях остается сходным или одинаковым. Объясняет-

ся это физической природой человека, функциями его головного мозга, высшей нервной системы. Многочисленные языки, существующие в мире, — это различные пути, способы духовного освоения действительности, в основе которых лежат одинаковые принципы человеческого мышления. Они и ведут к адекватному постижению реального мира. Это обстоятельство подчеркивает доминирующую роль мышления в его противоречивом единстве с процессами эволюции языка, эволюции, благодаря которой само мышление развивается, совершенствуется.

Одно из крупных завоеваний лингвистической мысли последних десятилетий составляет признание системности языка, признание того, что язык является не простой совокупностью различных его свойств и особенностей или даже их конгломератом, а системным единством. Оно стихийно формировалось в процессе социальной практики людей, принадлежащих к различным расовым, этническим группам. На его рост, помимо общих принципов человеческого мышления, оказывали свое воздействие закономерности действительности, постигаемые человеком, те условия, в которых он жил и действовал.

Структуралисты-семиотики саму системность языка связывают с возникновением знаков, кодов, тех связей, которые возникли между ними, с иерархией, образовавшейся в их среде. С этой точки зрения система языка представляется внутренне однородной. Но как показывают опыт и исследования различных систем, они часто не являются таковыми. Само общество на протяжении многих тысячелетий было неоднородным — состояло из классов, которые вели между собой острую борьбу. Но это обстоятельство отнюдь не мешает обществу быть определенной системой, объединяющей людей в единое целое.

Сочетание в языке знаковых и незнаковых явлений вовсе не означает отрицания его системности, которая как раз в том и состоит, что эти несходные между собой начала тесно переплетаются одно с другим. Здесь важно подчеркнуть, что язык как система — не статическая, а динамическая величина. Ее единство особенно рельефно проявляется в процессе действительного раскрытия тех функций, которыми обладает язык.

В общую, широко разветвленную языковую систему входит и язык художественной литературы как очень важная ее часть. Он представляет собой явление, обладающее своими особенными чертами и находящееся

¹² Л. С. Выготский. Мышление и речь. М.—Л. Государственное социально-экономическое издательство. 1934, стр. 269.

в то же время в постоянном взаимодействии с различными сторонами и процессами языковой системы.

III

Относительно языка литературных произведений, его специфики существуют разные точки зрения. Довольно часто художественная речь настойчиво обособляется от повседневной, литературно-разговорной речи и более того — резко противопоставляется ей. Такая позиция свойственна прежде всего сторонникам формального метода. Известно, что его основоположники и последователи различали язык практический и язык поэтический. В то время как язык практический является средством общения, поэтический язык обладает по преимуществу экспрессивной функцией, он передает чувство художественной формы.

Идеи русских формалистов оказали довольно значительное влияние на многих западноевропейских и американских ученых. Р. Якобсон, один из виднейших представителей структурализма, в юности связанный с ОПОЯЗом, по вопросу о сущности поэзии, о языке художественной литературы развивал концепции, близкие к взглядам русских формалистов. Положение, выдвинутое им, гласит: сообщение, которое содержит в себе художественное произведение, не имеет каких-либо сторонних целей. Выражая эстетические свойства формы, оно возникает и существует ради него самого. По мнению Р. Якобсона, поэзия — это лишь особым образом организованная речь.

Взгляды сторонников формального метода, так же как и структуралистов, на искусство и язык художественных произведений неоднократно подвергались серьезно-критическому рассмотрению. Поэтому нет необходимости вновь доказывать их несостоятельность. Здесь важно лишь отметить, что изъятие литературы из сферы человеческих интересов, низведение ее к чистой форме как раз и потребовало решительного ограничения языка художественной литературы от практической речи. Одно тесно соприкасается с другим.

Однако труднопреодолимую или даже совсем неодолимую стену между общенародным литературным языком и языком художественной литературы временами воздвигают и на иных, чем у формалистов и структуралистов, основаниях, на предпосылках «содержательного» характера. В известной мере фетишизируя специфические свойства литературы, ее образного содержания, некоторые ученые приходят к выво-

ду, что язык художественных произведений является простой функцией эстетических качеств, которыми эти произведения обладают. Поэтический язык, с их точки зрения, лишь производное самой литературы как искусства. И потому он неизбежно ими обособляется от общенародного языка.

С концепцией поэтического языка как функции эстетических свойств литературы мы встречаемся в работах М. Бахтина. Во взглядах ученого по этому вопросу бросаются в глаза очевидные противоречия. С одной стороны, М. Бахтин утверждает: «Только в поэзии язык раскрывает все свои возможности, ибо требования к нему здесь максимальные: все стороны его напряжены до крайности, доходят до своих последних пределов; поэзия как бы выжимает все соки из языка, и язык превосходит здесь себя самого»¹³. И если тут по-своему, может быть и не очень доказательно, охарактеризованы связи языка художественной литературы и общенародного языка, то дальше ученый развивает идеи, разрушающие только что выдвинутые им положения: «Но, будучи столь требовательной к языку, поэзия тем не менее преодолевает его как язык, как лингвистическую определенность. Поэзия не является исключением из общего для всех искусств положения: художественное творчество, определяемое по отношению к материалу, есть его преодоление»¹⁴.

С еще большей отчетливостью эту мысль М. Бахтин высказывает в другом месте своей работы: «Эстетика должна определить имманентный состав содержания художественного созерцания в его эстетической чистоте, т. е. эстетический объект, для решения вопроса о том, какое значение имеет для него материал и его организация во внешнем произведении; поступая так, она по отношению к поэзии неизбежно должна установить, что язык в его лингвистической определенности во внутрь эстетического объекта не входит, остается за бортом его...»¹⁵ (разрядка моя.— М. Х.).

Сущность концепции М. Бахтина, как видим, заключается в том, что поэзия «выжимает все соки» из общенародного языка, но к себе внутрь она впускать его решительно отказывается, последовательно преодолевая общенародный язык, создавая свою особую

¹³ М. М. Бахтин. «К эстетике слова» (в сборнике «Контекст. 1973». М. «Наука». 1974, стр. 278).

¹⁴ Там же.

¹⁵ Там же, стр. 279—280.

речевую систему. Относительно выжимания соков многое остается неясным. Ведь в различные исторические эпохи существовали и сейчас существуют не только разные литературные течения, но и очень непохожие друг на друга творческие индивидуальности крупных художников слова. Каждый из них в своем творчестве так или иначе опирается на общенародный литературный язык и берет из него то, что ему нужно. Исчерпать возможности общенародного языка не может ни отдельный выдающийся мастер, ни крупные писатели определенного времени сообща. Да и что же в таком случае осталось бы писателям последующих периодов времени? Поэтому положение М. Бахтина о связи языка поэзии с общенародным языком нельзя рассматривать как научно обоснованную формулу.

Неясным остается вопрос и о том, какие свойства присущи новой речевой системе, которая возникает после преобразования общенародного языка в язык поэзии. Сохраняется ли, например, в языке поэзии одна из основных функций общенародного языка — коммуникативная? Если она сохраняется, то преобразование общенародного языка, следовательно, носит лишь частичный характер. В том случае если эта функция исчезает, то как, по каким законам происходит восприятие, понимание читателями художественного произведения? М. Бахтин оставил эти вопросы открытыми. В то же время именно решение этих и других сопутствующих проблем как раз и определяют продуктивность, жизненность рассматриваемой концепции.

Существенное значение имеет и то обстоятельство, что, по Бахтину, живительные токи идут от общенародного языка к языку поэзии, но обратной связи между ними не возникает, да и не может возникнуть, если учесть, что общенародный язык остается за бортом поэзии. Однако история литературы и история языка свидетельствуют о том, что язык художественной литературы, вбирая в себя богатства общенародного языка, в свою очередь оказывает на него большое плодотворное влияние.

Идеи М. Бахтина о языке поэзии получили свое отражение в работах В. Кожина. Опираясь на положения, выдвинутые М. Бахтиным, В. Кожин настаивает на том, что «форма искусства слова — не речь, а плод ее художественного претворения, т. е. принципиально, качественно иной феномен»¹⁶. Весьма характерно, что в заголовке

своей статьи автор ставит в кавычки слова «художественная речь». В. Кожин несомненно пошел дальше своего учителя. Он рассуждает уже не только о преобразовании слова в поэзии, но и о таком изменении его сущности, когда оно перестает быть словом. Вот что пишет наш автор по этому поводу: «...слово в литературном произведении не является словом как таковым; оно «включено в иную деятельность» и всецело принадлежит ей, а не речи»¹⁷ (разрядка моя.— М. Х.).

Придавая большое значение этому своему тезису, В. Кожин высказывает его и в еще более категорической форме: «...художественное «слово» не является словом в собственном смысле и его недопустимо рассматривать в соотношении с реальной, практической речью (в этом соотношении оно действительно предстает как самоцельное и самоценное явление)»¹⁸.

Движение «вперед» — в сравнении с концепцией М. Бахтина — состоит в том, что само выяснение каких-либо соприкосновений, соотношений языка художественной литературы с реальной, практической речью признается В. Кожинным недопустимым (звучит это почти как императив). Если для М. Бахтина связи между этими явлениями, хотя и односторонние, не подлежали сомнению, то В. Кожин не только их отрицает, но и делает далеко идущие выводы о самоцельности и самоценности языка художественных произведений. Но что такое самоцельность? По прямому своему смыслу слово это означает — имеющий в самом себе цель. В. Кожин неоднократно критиковал принципы формального метода, структурализма. Но чем, собственно, отличается его положение о самоцельности языка художественной литературы от мысли Р. Якобсона, согласно которой поэтическое сообщение существует ради себя самого? Идеи имеют свою логику...

«Дополнения», сделанные В. Кожинным к концепции М. Бахтина, отнюдь не улучшили ее, а явно ухудшили. Если при рассмотрении положений, выдвинутых М. Бахтиным, возникал вопрос, сохраняется ли в языке поэзии коммуникативная функция, то при «дополнениях» В. Кожина он оказывается излишним — язык художественной литературы ничего общего с «практическим» языком не имеет, и потому было бы странно говорить о коммуникативной стороне первого из них. Но тогда становится еще

¹⁶ В. В. Кожин. «Об изучении «художественной речи» (в сборнике «Контекст. 1974». М. «Наука». 1975, стр. 264).

¹⁷ В. В. Кожин. Об изучении «художественной речи», стр. 256.

¹⁸ Там же, стр. 261.

более туманным и, в сущности, фантастическим процесс бессловесной передачи (ведь «художественное слово» — это не слово) писателем своих мыслей, своего отношения к жизни, созданных им образов читательской аудитории. Бессловесное искусство слова — это удивительное открытие неизвестного до сих пор явления. Автор уверяет нас, что оно существует.

Фетишизация тех или иных свойств, специфики предмета нередко оказывает медвежью услугу исследователю, уводя его на ложный путь. Таким ложным путем предстает перед нами последовательно обособление языка художественной литературы от общенародного языка, противопоставление их одного другому. Но какими бы ни были издержки гипертрофированной специфики, совершенно невозможно согласиться и с теми учеными, которые не хотят замечать своеобразие языка художественной литературы. На мой взгляд, весьма сильное пренебрежение к его специфике выразилось в дискуссии о стилях языка, в стремлении поставить язык художественной литературы в один ряд по ранжиру с языком официально-деловой письменности.

Суть вопроса заключается вовсе не в том, что исследователи не замечали, не искали различий между языком художественной литературы и иными «подразделениями» общенародного языка. Несомненно искали, но временами, думается, не там, где следовало бы. Особенности каждого из стилей языка устанавливались, исходя из свойств коммуникативной функции языка и только из ее особенностей. Однако в языке художественной литературы находит свое рельефное выражение не только коммуникативная, но и его эстетическая функция. И это чрезвычайно важно. В то время как некоторые литературоведы, эстетика забывали о коммуникативной функции языка поэзии, литературы, лингвисты нередко, по существу, игнорировали его эстетическую функцию, ограничиваясь рассмотрением языка художественных произведений с чисто лингвистической точки зрения. И это не позволяло при сохранении традиционной системы стилей языка продвинуться вперед в решении проблемы языка поэзии, литературы.

То, что в художественной литературе так или иначе раскрывается эстетическая функция языка — это в конечном счете уже не встречает возражений и у большинства лингвистов. Но ведь эмоциональная выразительность, стремление к воздействию на воображение слушателя, читателя [эстетическая активность слова] присущи и разго-

ворной и ораторской речи, и публицистическим выступлениям. Не означает ли само это сходство между языком художественной литературы и отдельными разновидностями речи, что здесь нет принципиальных различий? А если есть, то в чем они выражаются? Проявления эстетической функции в различных пластах, «подразделениях» общенародного языка еще раз подчеркивают — и при этом с новой стороны — то важнейшее обстоятельство, что язык художественной литературы и «практический» язык и в своих функциональных основаниях тесно связаны между собой, они постоянно взаимодействуют друг с другом.

И тем не менее между эстетической функцией «практического» языка и языка поэзии, литературы есть принципиальные различия. В разговорно-бытовой речи, публицистической статье, ораторском выступлении эстетические начала раскрываются прежде всего в их эмоциональной окраске, различной эмоциональной насыщенности, которая часто имеет своей целью не только выразить внутреннее состояние человека, но и произвести впечатление на других — слушателей, читателей. В художественной литературе основная сфера проявлений эстетической функции языка — это воплощение образных обобщений действительности, внутреннего мира людей, обобщений, которые помимо своих познавательных качеств несут в себе огромный эмоциональный заряд. Он концентрируется и в общем раскрытии отношения художника к миру, в сложной системе поэтических тональностей, эмоциональных акцентов, и в той передаче многоликих душевных состояний, эмоций людей, которая характеризует самые различные жанры литературных произведений. Эстетическая функция языка художественной литературы неразрывно соединена с особым видом духовной деятельности человека, со специфическим путем освоения мира, образным его постижением. С этой точки зрения и представляется наиболее верным и продуктивным рассматривать эстетическую функцию языка художественной литературы.

Иногда высказывается мнение, что она и в литературных произведениях представляет собой лишь дополнение к той основной коммуникативной функции языка, которая в них раскрывается. В этом же духе нередко обосновывается и положение о «приращении смысла» слова в литературном контексте. Однако эстетическая функция языка художественной литературы отнюдь не является дополнительной. Возникая, основываясь на коммуникативной функции, в поэ-

тическом творчестве она играет преобладающую роль. Слово в литературно-художественных произведениях не только передает мысль, чувства писателя, не только воплощает образные обобщения, но само становится неотъемлемой частицей созданного писателем художественного мира, частицей, которая заряжена его внутренней энергией и способна нести ее читателям.

IV

Важнейшей особенностью искусства вообще и прежде всего искусства слова является стремление открыть и запечатлеть новое в действительности, до того неизвестное и чаще всего неожиданное для обычного взгляда. Для того чтобы выразить это новое, «незнаемое», запечатлеть его не во второстепенных, частных чертах, а в характерных свойствах, для того чтобы творческое открытие захватило читателя, писатель не может обойтись простым перечислением примет явления, скрупулезным его описанием. Нужны меткие, емкие слова. И не только емкие, но и впечатляющие. Писатели постоянно поглощены мыслью о таких словах.

В предисловии к роману «Пьер и Жан» Мопассан писал: «Какова бы ни была вещь, о которой вы заговорили, имеется только одно существительное, чтобы назвать ее, только один глагол, чтобы обозначить ее действие, и только одно прилагательное, чтобы ее определить. И нужно искать до тех пор, пока не будут найдены это существительное, этот глагол и это прилагательное, и никогда не следует удовлетворяться приблизительным, никогда не следует прибегать к поделкам, даже удачным, к языковым фокусам, чтобы избежать трудностей».

В сущности, об этом же говорит и Достоевский в своих полемических заметках из записной тетради, посвященных Золя «Он (Золя — М. Х.) будет описывать каждый гвоздик каблука, через четверть часа, как солнце взойдет, он будет опять описывать этот гвоздик при другом освещении. Это не искусство. Скажи мне одно слово (Пушкин), но самое нужное слово (разрядка моя. — М. Х.) А то кидается во все стороны и гасит 10.000 слов, [но] и все не может высказать, и это с самым полным самодовольствием...» Оставляя в стороне неоправданно суровую оценку творчества Золя в целом, следует подчеркнуть значительность основной мысли писателя о внутренней целеустремленности, кон-

центрированности словесного высказывания в художественном произведении.

О трудных поисках нужного слова взволнованно писал Маяковский: «Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды».

Это единое слово и служит важнейшей цели художника — охарактеризовать явление, предмет с новой, незнакомой ранее стороны. Подчеркивая необходимость строгого отбора средств словесного выражения, Достоевский особо отмечал поразительную меткость пушкинского слова, которую мы, с детства воспитанные на стихах поэта, не всегда ясно воспринимаем, настолько крепко в своем цельном виде они вошли в наше сознание. Но присмотримся к некоторым из них, стремясь ощутить объемность его поэтической лексики. Вот, например, стихотворение «Осень»:

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса...

Осень — унылая пора для тех, кто не способен видеть, почувствовать ее мощной своеобразной прелести. Для поэта она — «очей очарованье». Пушкин восхищается ее прощальной красотой. Слова эти необыкновенно широки и глубоки по своему содержанию, по своему смыслу. Сколько ассоциаций, мыслей и эмоций они вызывают! Поистине одно-два слова — и как сильно передана проникновенная мысль поэта.

В багрец и в золото одетые леса...

И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

Поэтическая речь Пушкина насыщена впечатляющими эпитетами, метафорами. Они как бы раздвигают границы окружающей среды, природы, передают глубину их эмоционального восприятия. Багряные, золотые одежды лесов — это царственный наряд. Но тут же иное — неумолимое дыхание седой зимы, отдаленные ее угрозы.

Природа для поэта не есть нечто внешнее, обособленное от него. Пушкин ощущает с нею неразрывную связь. И потому описание природы перерастает в рассказ о жизни, чувствах и мыслях самого поэта, рассказ, который так же метафоричен, как и взволнованная лирика природы:

И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русский холод...

Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят — я снова счастлив,

молод.

Ритм природного бытия и ритм жизни человека находятся и не могут не находиться в определенных соответствиях.

Но гаснет краткий день, и в камельке
забытом
Огонь опять горит — то яркий свет лиег,
То тлеет медленно — а я пред ним читаю
Иль думы долгие в душе моей питаю.

Именно в осенние дни и ночи у поэта с особой напряженностью рождается вдохновение (вспомним боддинскую осень). О нем Пушкин говорит с тем афористическим лаконизмом и меткой метафоричностью, которые так свойственны его поэтическому слову:

И забываю мир — и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным
проявленьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

Внутренняя динамичность, окрыленность рельефно раскрываются и в заключительных строках стихотворения, в которых мы встречаемся с отлитыми в совершенную форму поэтическими высказываниями художника слова:

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.

По своей образной силе стихотворение «Осень» не составляет исключения в лирике Пушкина. Оно, как и многие другие произведения поэта, открывает неисчерпаемое богатство его искусства, его поэтического языка.

А вот еще одно хрестоматийное стихотворение — «Кавказ», также посвященное теме «человек и природа», стихотворение, удивительное по красоте художественного слова. Интонация и краски в нем совсем иные, чем в «Осени». Здесь в центре внимания поэта не тихая красота среднерусской природы, а величие, очарование гор, диких скал, водопадов и одновременно ощущение достоинства, гордости самого человека. И тут нас восхищает объемность, эмоциональная сила поэтической речи:

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами в края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне...

Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят
водопады;
Под ними утесов нагие громады...

Поэт не ограничивается горным пейзажем. И среди гор, ущелий его привлекают проявления жизни, проявления самые разные, для обрисовки которых он находит характерное слово:

А там уж и люди гнездятся в горах,
И ползают овцы по злачным стремнинам,
И пастырь нисходит к веселым долинам...

И нищий наездник таится в ущелье,
Где Терек играет в свирепом веселье...

Необыкновенно выразительна заключительная строфа «Кавказа», изображающая бешенство стесненного ущельями Терека:

Играет и вост, как зверь молодой,
Завидевший пищу из клетки железной;
И бьется о берег в вражде бесполозной,
И лижет утесы голодной волной...

«Голодная волна» — это одна из тех истинных блистательных находок, которыми в изобилии насыщен поэтический язык Пушкина.

Метафора, метонимия, эпитет, иносказание — те средства поэтического обобщения, которые широко представлены в творчестве писателей разных времен и народов¹⁹. Как было уже отмечено, выделение примечательных в том или ином отношении признаков предмета, явления, метафоризация составляют существенную особенность языка вообще. Поэзия, литература всемерно развивают эти его качества, усиливают, обогащают их, действительно используют для образного освоения мира. Метафора, эпитет, иносказание в творчестве разных писателей, поэтов занимают, естественно, неодинаковое место, носят различный характер.

В русской советской поэзии метафорическая стихия, может быть, сильнее всего проявляется в поэзии Есенина. Она пронизывает ее от ранних стихотворений и до последних произведений поэта. Приведу лишь несколько примеров, характеризующих ее особенные черты.

О Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь!
С иными именами
Встает иная степь.

И если здесь Россия предстает в образе готовой к полету птицы, то в ином облике она выступает в следующих строках:

¹⁹ Итальянский поэт и философ XVII века Эмануиль Тезауро писал: «Метафора — мать поэзии, остроумия, замыслов, символов и героических девизов» (А. Ф. Лосев, В. П. Шестаков. История эстетических категорий. М. «Искусство». 1965, стр. 244).

Или:

Все стихло в чуткой темноте.

Совершенно неожиданно и в то же время убедительно такой эпитет, как «очарованный», Тютчев соединяет со словом «мгла»:

Здесь фонтан неутомимый
День и ночь поет в углу
И кропит росой незримой
Очарованную мглу.

Неожиданные связи и сопоставления в творчестве разных художников слова, естественно, находят свое особое выражение, обусловленное свойствами духовного облика поэта, его стиля. Вот как, например, сильно, оригинально звучат замечательные строки из стихотворения Я. Смелякова «Если я заболел...»:

Если я заболел,
к врачам обращаться не стану.
Обращаюсь к друзьям
(не сочтите, что это в бреду):
постелите мне степь
занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте
ночную звезду.

Я ходил напролом.
Я не слыл недотрогой.
Если ранят меня
в справедливых боях,
забинтуйте мне голову
горной дорогой
и укройте меня
одеялом в осенних цветах

Порошков или капель — не надо.
Пусть в стакане сияют лучи.
Жаркий ветер пустынь.
Серебро водопада —
вот чем стоит лечить.

Очевидно, что постижение отдаленных связей и соизмерений требует глубокой пронизательности, поэтической мудрости и такта. Эти связи и соизмерения должны быть убедительными, художественно оправданными. У крупных поэтов они по большей части такими и оказываются, производя глубокое впечатление. У поэтов меньшего дарования эти связи и соизмерения нередко отличаются произвольностью, надуманностью. Но это, помимо всего иного, означает, что таким поэтам не хватает ясности и масштабности художественного мышления.

Здесь необходимо сказать и о том, что в авангардистской литературе метафора нередко рассматривается как средство ухода от действительности, ее дематериализации. Известный испанский философ Ортега-и-Гассет писал: «Прежде метафоры в виде орнамента покоились на реальности; ныне возникло стремление убрать эти чуждые поэзии подпорки, то есть подпорки реальности и «реализовать» метафору, сделать ее *res poetica* (лат., здесь — содержание поэзии)»²².

В историческом движении литературы метафора, эпитет, иносказание существенно изменяются по своему характеру, по своей структуре.

Поэты нередко пользуются так называемой развернутой метафорой, которая порой охватывает все произведение в целом. Широко распространена развернутая метафора в творчестве романтиков. В нашем веке свое оригинальное выражение она получила в произведениях Блока («Снежная маска»), Маяковского («Про это»). Довольно часто к развернутой метафоре прибегают и другие современные писатели. На этом основании иногда говорят о становлении, развитии в современной литературе метафорического течения, к которому относят, в частности, Маяковского, Хикмета, Брехта. Нередко сюда причисляют и Кафку.

Своеобразие языка художественной литературы, однако, не сводится к использованию метафоры и других тропов. Можно привести достаточное количество примеров, когда в литературном произведении тропы встречаются сравнительно редко. Особенно это касается художественной прозы, но в известной мере положение это относится и к поэзии.

Тем не менее очевидно, что речи поэтических произведений присуща большая, чем языку художественной прозы, концентрированность, большая сжатость и эмоциональная напряженность. Отсюда ее афористичность, тяготение к динамичным поэтическим формулам.

²² «Иностранная литература», 1980, № 1, стр. 216.

КНИЖНИ ОЕ ОБ ОЗРЕНИИ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Н. Юрьев. Ядро таланта.— **Иван Драч.** Приближение к Паруйру Севяку.—
Михаил Дудин. В родстве с необозримым миром.— **Владимир Савельев.**
Дорога сквозь века

ПОЛИТИКА И НАУКА

Дм. Биленкин. Под знаком гипотезы.— **В. Милютенко.** Удача приходит к
сильным.

Литература и искусство

ЯДРО ТАЛАНТА

Г а р и ф А х у н о в. Ядро ореха. Роман. Повести. М «Известия». 1982. 510 стр.

В эту книгу, итог многолетнего труда одного из интереснейших представителей современной татарской прозы, Гарифа Ахунова, вошли три произведения писателя: роман «Клад», повести «Ядро ореха» и «Ардуан-батыр». Каждое своеобразно по материалу и решению, каждое демонстрирует новую грань дарования автора.

Татарская проза не часто приходит к русскоязычному читателю в виде такого объемистого тома. Разумеется, книга Г. Ахунова представляет нам не только ее автора, но во многом являет лицо этой прозы, позволяет судить об особенностях ее и развитии. Показательно, что наряду с очевидной национальной спецификой многие страницы демонстрируют, сколь прочными нитями татарская литература связана с литературой русской, классической и современной, а творчество самого автора — с прозой его русских коллег по перу.

В романе «Клад» мы видим неординарное решение производственной темы, однако он и шире и полнокровнее любых узких определений. Это произведение о нефтяниках, о рождении города Калимата. И о переменах в укладе жизни, о вращении современного города в почву богатого народными традициями края, об изменении психологии населяющих этот край людей, о преображении лика самой земли.

Шавали и Лутфулла, односельчане, соседи по старому Калимату,— непримиримые антагонисты. Лутфулла, рано покинув деревню, много поездил по стране, рабо-

гал на разных нефтяных приисках, стал квалифицированным рабочим, буровым мастером. И вот вернулся в родной Калимат, когда там стали добывать нефть. Лутфулла радостно идет навстречу современности, глубоко понимает новый склад отношений между людьми. Не то Шавали, целиком принадлежащий отживающему свое укладу.

Открытое в Татарии месторождение нефти привлекло людей — рабочих и специалистов — с разных концов страны, но автор держит в фокусе повествования именно жителей старого Калимата, становящихся нефтяниками. Среди них дочь старого Шавали Файруза. Рано выбившаяся из-под родительской опеки, она решительно выбрала путь, еще недавно запретный для татарской девушки из патриархальной среды. Под стать ей и ее брат Арслан — фаттически центральный герой романа, тоже рано порвавший с домом, не желая мириться с упрямым и косным характером отца. Так по семье Шавали прошла граница между старым и новым, как прошла она и по самому старому Калимату, на окраине которого, наступая на огороды, выросли нефтяные вышки.

Автор вдумчиво анализирует медленное и непростое движение героев вперед, перетекание их созидательной энергии из старых форм в новые, становление их личностей в которых крестьянская закваска своеобразно ускоряет кристаллизацию рабочего стержня.

Брак Файрузы и сына Лутфуллы Була-

та, юноши, получившего уже «по наследству» новый взгляд на мир вместе с добротой, трудолюбием и прочностью души отца, по-своему символичен. Рушатся барьеры между старым и новым Калиматом. И вот уже упрямый Шавали, сам стесняясь этого, радуется вновь приобретенному родству, и в этом далеко не только расчет: он покоряется неизбежному — стремительной ломке сонной жизни вчера еще глухого села.

Другая линия романа — судьба Карима Тимбикова. И если старому Шавали противостоит в романе Лутфулла, то Кариму — его сверстник Арслан. Собственно, это противостояние — тугой узел сюжета. Они во многом похожи, примерно одной годки, оба из крестьянских семей, выросли на глазах друг у друга. Даже женат Карим на девушке, которую Арслан любил когда-то. Оба стали нефтяниками, оба по-крестьянски основательные, волевые, трудолюбивые. Мастерски показывает писатель, как неоднозначно и непросто входит новое в сознание. Судьбы этих парней-одногодков складываются по-разному.

Карим быстро вырастает из рядового нефтяника до бригадира, о нем пишут газеты, к нему приходит слава. Кажется, Арслану далеко до него. Но что-то во внутреннем составе Карима не закончено, чего-то в нем недостает, сила его необузданна и темна. Внутренне он меняется, и этот жестокий разлад между внешним успехом, между изменением самого облика вчерашнего крестьянского парня и инертностью души выходит на поверхность в его столкновении с Арсланом. Самая ударная работа, не одухотворенная пониманием общих целей и не освященная любовью к людям, ударные темпы лишь ради процентов могут легко обернуться злом. Арслан понимает это, Карим — не в силах понять. Физическая гибель Тимбикова на буровой воспринимается как закономерный результат душевной окаменелости.

Арслан рано обрел обостренное чувство ответственности — перед собственным трудом, перед другими людьми. Не случайно в романе «Хозяева» — продолжении «Клада» — Арслан вырастает в руководителя, начальника нефтедобывающего управления.

«Клад» — название метафорическое, в нем идея романа, которую старый мастер Лутфулла передает бесхитростными словами: «В газетах мы называем нефть «черным золотом». Золото. Значит, клад. Но разве только нефть наше богатство? А люди разве не клад? Ведь люди тоже клад».

О том же размышляет и Арслан в финале романа, принимая эстафету из рук старого бригадира...

Собственно производство автор показывает в романе весьма тактично, боясь ненужными технологическими подробностями заслонить главное. Любая сцена на буровой или в кабинете руководителя управления строго оправдана, необходима для познания характеров. В центре внимания писателя не производство как таковое, но всегда человек, участник производства. И если в «Кладе» это по преимуществу вчерашние крестьяне, ставшие рабочими, то в повести «Ядро ореха» — центральной не только по положению в книге, но и по идейному накалу, по сложности затронутых в ней социально-психологических проблем — герой совершает обратный путь, отправляясь по призыву партии из города в деревню.

Повесть написана в иной, нежели роман, манере — я бы сказал, камерной. Это исповедь молодой женщины, жены героя.

Рокья выросла в городской мещанской среде, в достатке, среди людей, «умеющих жить». Первое же столкновение ее с лейтенантом милиции Халиком Саматовым, человеком открытым и прямым, смутило ее. Пусть в глубине души она ждала этой встречи, чересчур непривычными для нее были и манеры и речи Халика, так непохожего на людей, которые окружали ее в детстве. Родители подыскали ей пару, Рокья уже согласилась идти за нелюбимого, но «крепко стоящего на ногах» жениха, как того арестовали за хищения на меховой фабрике, где он служил. По иронии судьбы следствие по его делу поручили вести Саматову. И вот они встретились снова, но Рокья — в качестве свидетельницы, Халик — в роли следователя. Многое поняла Рокья, и прежде всего то, что любит Саматова.

Эта интригующая экспозиция вполне оправдана дальнейшим движением сюжета. С огромным трудом, ценою болезненных переживаний и сомнений приближается Рокья к пониманию души и характера человека, с которым она отныне связала свою судьбу. Характер Халика Саматова, быть может, самый выпуклый и полнокровный из тех, что созданы Гарифом Ахуновым. Человек неумной энергии, силы, непоседливый и непосредственный, бесребреник и правдолюбец и вместе с тем вовсе не мечтатель, а истинный хозяин и руководитель, Саматов являет собой отнюдь не средоточие прописных добродетелей, он герой из плоти.

Весьма удачны страницы повести, посвященные деятельности Саматова на посту председателя колхоза. Здесь отбор хозяйственных подробностей произведен точно, ничего ради лишь «производственности», колорита или этнографии — все нацелено на раскрытие характера главного героя.

Привлекает сама форма повести — исповедь, этот сбивчивый, рефлексрующий рассказ героини, скрупулезно, ничего не утаивая, исповедующейся в своих ошибках и грехах... Те социально-этические противоречия, из которых выпутывается Рокья, автор изображает как можно полнее, заботясь о том, чтобы «просветление» героини было психологически обосновано.

Проза Г. Ахунова тяготеет к широкому, панорамному показу жизни. Герои ее не только крестьяне и рабочие, но инженеры и руководители производства, партийные деятели. Свободно оперирует автор пространством и временем, перенося действие из больших городов в далекие поселки, из современности в прошлое. Прозе этой не свойствен лоск, стиль зачастую шершав, вместо изящества — языковая экспрессия.

И еще об одной тенденции творчества писателя надо сказать — о тяге к эпичности. «Ардуан-батыр», последняя вещь сборника, хорошо иллюстрирует это.

Само слово «батыр» (герой, богатырь), поставленное в заглавие историко-документальной повести, сразу настраивает читателя на современную былинку. Речь идет о жизни Мирсаита Ардуанова, одного из знаменитых строителей Березниковского химического комбината, возведенного на Урале в 30-х годах. Повесть не украшает суровую жизнь тех лет. Она о земле, о поте и крови, которые ее обильно полили.

Ардуанову, простому пермскому грузчи-

ку, предложили набрать артель из татар и башкир для строительства цеха водоочистки. Через несколько месяцев бригадир удалось превратить кучку вчерашних батраков в бригаду настоящих бетонщиков.

Запоминается сцена посещения стройки Серго Орджоникидзе. На его вопрос, откуда в бригаде такое сознательное отношение к труду, Ардуанов отвечает:

«— Вы, товарищ Серго, видели, наверное, какой бывает ребенок запеленатый?..»

— Приходилось.

— А видели, каков он, когда его распеленают?

— И это приходилось видеть,— с улыбкой ответил Орджоникидзе.

— Так вот... В царское время нас очень долго держали в пеленках... а кричим мы, плачем ли, никто нас не слышал. Теперь нет на наших руках и ногах этих оков, при советской — нашей! — власти мы можем взмахнуть крыльями и лететь свободно...»

Повесть написана в 1973 году, позже, чем произведения, стоящие в начале книги. Можно судить, в какую сторону развивалось творчество автора: от отображения того, что было перед глазами, — к воссозданию атмосферы, которая породила характеры первых строителей социализма, от осмысления психологического и социального — к осмыслению исторического.

Это движение к историзму закономерно, и повесть «Ардуан-батыр» была лишь первой ступенькой. Сегодня вышла в свет первая книга многотомной эпопеи «Дочь Волги», над которой писатель работает все последние годы. Нам остается лишь дожидаться, когда и это произведение Гарифа Ахунова окажется доступным русскому читателю.

Н. ЮРЬЕВ.



ПРИБЛИЖЕНИЕ К ПАРУЙРУ СЕВАКУ

Паруйр Севак. Путник. Перевод с армянского. Ереван. «Советакан грох». 1981. 295 стр.

Паруйр Севак. Неумолкаемая колокольня Поэма. Перевод с армянского Гарольда Регистана. М. «Советский писатель». 1982. 232 стр.

Мне чего-то недоставало. Что-то ускользало, не давалось в руки. Гётевская сентенция о том, что поэта можно познать тогда, когда посетишь его страну, не оправдывалась — то ли познание было неглубоким, то ли посещение этой древней страны оказалось поверхностным, не настолько впечатляющим, чтобы разобраться в таком сложном явлении, как Паруйр Севак.

И все же — еще раз... Еще раз приближаюсь к Армении. Приближаюсь к Паруйру Севаку. Сборник древней армянской народной поэзии называется «Грапесня». Один из самых древних народов на земле имеет естественное право так обозначать свои духовные истоки. Поэзия всегда была гордостью и украшением духовной сущности армян. Сейчас еще раз вновь откры-

мятник. Это запоминается. Остается навеки.

Музей функционирует уже больше года — прошли первые пятнадцать тысяч посетителей. Издалека видна школа, где учился поэт, сейчас учеников там мало-вато, как и везде на селе, в селении около трехсот домов, живет немногим более тысячи человек. Во дворе мой украинский глаз приметил иву или вербу, урени по-армянски. Дом Паруйра, музей Паруйра, могила Паруйра, Советашен, родное село Паруйра, — 1600 метров над уровнем моря. Сюда надо подниматься. Это одна из самых значительных вершин современной духовности. Армянская точка отсчета. Армянская вершина.

Я рассказал о своем посвящении поэту Эдуардасу Межелайтису — мы были на «Празднике переводческого искусства». Он поехал в Чанахчи на следующий день. Я себе представил, как Эдуардас Бенъяминович всматривается в музей в армянский перевод своего «Человека» — Паруйр перевел стихи учителя еще в далекие 60-е годы; теперь учитель, создавший книгу об Армении — «Каменное вино», — приехал услышать вечное сердцебиение своего ученика, ставшего учителем поэтов многих стран — людей и старше и моложе его. В поэзии категория возраста — понятие мало заметное.

Итак, Паруйр Севак родился в селе Чанахчи в крестьянской семье в 1924 году. Отец — Рафаэль Казарян, мать — Анаит Казарян. Значит, он — Паруйр Казарян, а Паруйр Севак — этот псевдоним от Рубена Севака, западноармянского поэта, загубленного турками в 1915 году. Прекрасная, печальная и гордая традиция — армянская. Окончил среднюю школу в родном селе в 1939 году. «Я окончил среднюю школу, так и не узнав, что такое стол и стул, — писал он в 1960 году в автобиографии. — Вместо стола мне служила доска, на которой мать раскатывала тесто. На ней я и выполнял домашние задания — писал сочинения, решал задачи, чертил... Была у меня заветная мечта, которая не оставляла меня ни днем ни ночью, — иметь полон дом книг и тетрадей, полную охапку разноцветных карандашей, которые так маняще пахнут...»

А коли книг в своей школе и в своей сельской библиотеке недостает, можно «обчитать» соседние села и близлежащие библиотеки. Такая манящая, такая знакомая, ни с чем не сравнимая радость юношеского познания мира с помощью книги.

Паруйр Севак — отличник. Школу окончил в Чанахчи на отлично. Диплом университетский в музее под стеклом — только от-

личные отметки. Защищал кандидатскую диссертацию о Саят-Нове — присудили докторскую. Все сделано на совесть, все на отлично сделано. Каждый стих. Каждая мысль. Каждое дыхание. Чувствуется проработанность, отделанность, выверенность. Обдуманность каждого шага и жеста. И вместе с тем — удивительная органичность во всем. Открытые, добрые, бесшабашные губы негроида целуют этот мир, верят во взаимность.

Мы знаем, как долго, как настойчиво и трудно искал Гёте своего героя, пока не остановился на Фаусте, персонаже немецкой древней легенды. А среди претендентов потерпели поражение Цезарь и Прометей.

Мы помним, как трудно выискивал свой типаж — народный обобщающий характер — наш Александр Довженко, простирая поиски к героям, существующим в других культурах, таким, как Насреддин, Швейк, Гаргантюа.

Мы понимаем, что выбор гениального армянского композитора Комитаса в качестве главного героя поэмы «Неумолкаемая колокольня» для Паруйра Севака решила сама трагическая судьба Армении.

Геноцид 1915 года — кровавая армянская рана. Кто посмеет прикоснуться к ней? Какого масштаба должен быть художник, врачующий такую рану? Как лечить самое душу неизлечимую? Множество вопросов сразу встает перед тобой, когда прикоснешься к «Неумолкаемой колокольне».

Нельзя, невозможно прикасаться к этой боли? Бескомпромиссен Грант Матевосян: «А ведь не только в частной жизни человека, в колодцах его психологии, но и в истории человечества есть моменты, ситуации, к которым художественная литература не должна прикасаться. Например, кровавый геноцид 1915 года. Даже гениальный Чаренц, взявшись за эту тему, потерпел неудачу. Так чего же ждать от других литераторов? Взять хотя бы «Корабль на горе» Костана Заряна. Я знаю, что ему больно. Невыносимо больно. Но эта боль словно бы гасится, нейтрализуется прикосновением художественного слова».

«Что же вы предлагаете? Молчание?» — спрашивает Алла Марченко (их беседа — в журнале «Вопросы литературы», 1980, № 12). «Нельзя молчать, ведь уничтожают не только человека, но и его крик, не только предмет, но и его тень. И все-таки это слишком больно. Я в физическом смысле заболела, когда думаю об этом, и мне не хочется, нет, я не могу об этом, об этой боли рассказывать художественным язы-

ком, внося в рассказ элемент игры, выделки, словом — искусство. Нет, на такой предельной, запредельной боли литература не делается. Этот вопрос поглотил множество гениальных усилий и ничего не дал искусству». «А Паруйр Севак с его «Неумолкнувшей колокольней?» — продолжает спрашивать критик, предполагая заставить неотразимым примером отступить оппонента. Но Грант Матевосян не отступает: «Я не считаю эту вещь удачной, хотя она принадлежит действительно великому поэту»...

Итак: «...на такой предельной, запредельной боли литература не делается». Но при этом повисает без ответа вопрос критика, вопрос всех нас: «Что же вы предлагаете? Молчание?»

Паруйр Севак ответил на этот вопрос поэмой, отдав ей лучшие творческие годы. Поэт работал над ней до последних дней своих. Говорят, он хотел специально подготовить текст поэмы для перевода на русский и другие языки, несколько сократив ее. Наверное, при этом ушли бы армянские народные песни и песни самого Комитаса, введенные поэтом и органически зажившие в тексте. Думается, их нельзя вычленивать из поэмы без ущерба для нее. И прекрасно, что поэма переведена Гарольдом Регистаном полностью.

«Писать о Комитасе было равносильно созданию летописи последнего столетия истории армянского народа, — признавался сам поэт, — летописи жизни и чаяний народа, его быта и борений, песен и боли, европейской дипломатии и турецкого варварства, этнографии и национального самопознания, его прошлого и будущего».

Главенствующее значение «Неумолкаемой колокольни» для всего творчества Паруйра Севака несомненно. Всенародное признание в Армении. Восхищенные голоса ценителей за ее пределами. Андрей Вознесенский, например: «В гулкой поэме «Неумолкающая колокольня» он раскачал колокол познания по страшной амплитуде от Комитаса до наших дней». Или Геворг Эмин:

«Эпический характер и могучее дыхание поэзии Севака полностью проявились в его поэме «Неумолкаемая колокольня», которая несомненно принадлежит к лучшим творениям нашей новой поэзии и по достоинству может занять место рядом с поэмами Чаренца, «Ара Прекрасным» Наира Зарьяна и «Библиаканом» Ширази... Эта поэма фактически является живой энциклопедией жизни армянского народа за последнее столетие, обладает множеством разнообразных достоинств, о них написаны и еще будут

написаны многочисленные статьи, исследования и книги.

В числе этих достоинств я хотел бы отметить удивительное знание народного быта и особенно язык поэмы, который не только исключительно богат, но замечательно соединяет в себе восточноармянский, западноармянский и грабар».

«Неумолкаемая колокольня» — яркий образец полифонического мышления. Паруйр Севак считал одной из особенностей современной поэзии симфонизм; одноголосию он противопоставлял многоголосие. Внутренняя связанность шести больших частей-трезвон, разделенных в свою очередь на главы, на звоны, вплетение в ткань поэмы стихов, песен и духовных гимнов самого Комитаса, подчинение всех отдельных фрагментов основной теме позволило современному поэту создать многоплановое произведение большого эпического размаха. Читатель следует за сюжетной основой — хронологической канвой важнейших событий в жизни Комитаса, — и перед ним встает судьба, трагедия древнейшего народа во всем обобщенном многоголосии его жизни. Народ бессмертен, Комитас бессмертен — основная мысль этого произведения, величественной симфонии борьбы жизни и смерти, добра и зла, света и мрака...

Ушедший из жизни в начале 70-х, Паруйр Севак умел сформулировать многие современные вопросы с такой поэтической выразительностью, что сила его голоса заставляет прислушаться многих и многих. Меня в свое время просто поразили его стихи «Задание вычислительным машинам и точным приборам всего мира», «Миру нужна чистота», «Стареем...» Это поэзия глубокого, ироничного ума, идущая из самого пламенного сердца, это выпад — только против тех, кто развитие человечества видит в полном преимуществе счетных машин над человеком, но против всего античеловеческого, всего варварского:

И сопоставьте — бетховенская глухота
Связана ли с возмущениями в атмосфере,
С мощными взрывами на потрясенной
земле.

И, если связь существует, прошу.

Что, современники, можем мы в будущем
поясните,
ждать:

Множество новых Бетховенов мир

Или количество глухонемых возрастет?
осчастливит

(Перевел О Чухонцев)

Поэт доискивается главного, вопрошая «провозвестников нового века», боясь, чтобы и они не оказались очередной химерой; поэт требователен от имени всего челове-

чества к «электрическому черепу всемогущему», «к циклопическому глазу всепроникающему»:

И подсчитайте еще напоследок, прошу вас,

Как,
Каким образом,
С помощью доброй машины какой
Может еще человек
Оставаться и быть человеком
Или же только теперь
Человеком пытается стать?

Бюракан, следящий за взнезными цивилизациями, Ереван, производящий счетные машины «Найри» мировой славы, поэт, бросающий вызов счетным машинам (стихи написаны в 1962 году!) в период энтээрвского бума,— это показатель для такой древней и безудержно рвущейся вперед страны, каковой является Армения. Согласитесь, без этого поэтического вызова, звучащего от имени человечества, какая бетховенская глухота одолела бы всех — нужно не спрашивать, а вопрошать! А как быть с претензиями? Попробуем разобраться.

Давайте разделим художников на два противоположных типа: центростремительных и центробежных. Что за странное деление, спросите вы, и какой такой центр имеется в виду? А если за точку отсчета, за центр взять селение или город, где родился будущий мастер, и попытаться исследовать, каково отношение художника к этому самому благословенному для него месту на земле? Представляю, что для Есенина село на Рязанщине и весь деревенский космос значили гораздо больше, чем прославленное Багдади для Маяковского. Мне кажется, что я даже зримо могу воссоздать бесконечное кружение «последнего певца деревни» над Рязанщиной, непрерывное приближение Есенина к какому-то ему прекрасно видимому духовному микроцентру. И такое же беспрерывное отталкивание, нескончаемый уход, центробежная сила видится мне у могучего ходока по вершинам Владимира Владимировича Маяковского. Это деление ни в коей мере не свидетельствует о том, что тому или другому типу художника не характерны бывают и черты противоположные. Но ведь даже свой взгляд на Америку Есенин назвал, приблизивши его к своему деревен-

скому миру,— «Железный Миргород», а Маяковский прямо и оттолкнувшись — «Мое открытие Америки»...

Может, поэтому и существует прекрасная непримиримость «центростремительного» Ясунари Кавабаты и «центробежного» Кобо Абэ? — ссылаюсь на японский пример, сознательно привлекая его к армянской ситуации. Может, отсюда и идут претензии «фотографа» и «очеркиста» Цмакута Гранта Матевосяна к «центробежному» Паруйру Севаку? А из породы его мышления и отношения к миру — целая когорта прославленных: Уитмен, Маяковский, Межелайтис. Остановимся на этом...

Мы все время приближаемся к нему, а расстояние между нами увеличивается с каждым годом. И так как «большое видится на расстоянии», с увеличением расстояния явление Паруйра Севака растет постепенно и уверенно. Не хочу быть заподозренным в сознательной мегаломании, но не хочу и другого: торможения своего восхищенного чувства признательности. А ведь это действительно так, как он печально заметил в маленьком стихотворении «Не без боли»:

...И это почувствовал я не без боли,
Почувствовал, что лишь после того
Как дерево спилено,
Словно впервые
Мы видим его настоящий обхват.

(Перевел В. Баласан)

Настоящий «обхват» Паруйра Севака — еще далеко не настоящий. Он принадлежит к явлениям, растущим во времени. Не случайно Вардгес Петросян в предисловии к сборнику «Путник» писал: «...Севак для нас больше, чем поэт, пусть и талантливейший; талантливые поэты были, есть и будут в любой литературе... Поэзия Паруйра Севака знаменует новый уровень нашей литературы, это не сияние очередного таланта, а явление во всем его поступательном движении».

По крайней мере, я чувствую, что в его поэзии много такого, что раскроется по-настоящему лишь в будущем. Открытость, распахнутость его огромного сердца так дорога миру, так нужна человеку.

Иван ДРАЧ.

Киев.



В РОДСТВЕ С НЕОБОЗРИМЫМ МИРОМ

Виктор Гончаров. Избранное. Стихотворения. Поэма. Лады. М. «Художественная литература». 1982. 511 стр.

Я пытаюсь положить на бумагу
Или высечь из камня
То состояние,

От которого может захватить дух,
Как это случилось со мною
В детстве...

Эти строки принадлежат моему старому другу поэту Виктору Гончарову. Он стал поэтом в годы Великой Отечественной войны. Он знает войну по тому, как в атаке тело останавливает встречная пуля — и оно, теряя движение, падает в пропасть беспомощности. Виктор Гончаров трижды падал, обливаясь кровью, на отвоеванную им святую землю России. Он умел смотреть вперед, когда бежал в атаку, не отворачиваясь от гибели. Комсомольский билет в нагрудном кармане его гимнастерки был пробит встречной пулей, пробит навывлет вместе с грудью. Но он об этом не написал, наверное, потому, что на бумаге это выглядело бы уж очень красиво и неправдоподобно и неправдоподобно красиво — не захватило бы дух. Поэтому он и писал о другом, более обыденном, более суровом. Я помню его первые стихи:

Больной, как будто бы гранату,
Бутылку бромную берет,
И снова сонную палату
Корежит хриплого: «Вперед!»
Он все идет в свою атаку.
Он все зовет друзей с собой...

Он так и погибнет на госпитальной койке, этот парень, прошитый пулеметной очередью, с бутылкой брома в руке. Он умрет в атаке, отдавая все силы, всего себя грядущей жизни, которой так и не увидит. Вместо него «внесут кого-то к нам в палату на ту же самую постель». Этот парень умрет, не приходя в себя, не выбравшись из грохочущего коловорота войны, и вместо него к нему домой придет печальная тень безжалостной женщины со странным именем Пожоронка.

О нем останется только беспощадная правда поэзии в стихах его соседа по палате Виктора Гончарова. И стихи эти всей кровотокающей, горькой своей правдой утешат души близких парня, примиренного с вечностью.

А о себе Виктор Гончаров напишет другому:

Когда тебя бессонной ночью
Снарядный визг в окоп швырнет
И ты поймешь, что жизнь коротче,
Чем южной звездочки полет,
Пусть, славя жизнь, и ночь, и осень,
Отбой горнисты протрубят...
Глотая кровь, ты сам попросишь
Своих друзей добыть тебя.
Но не добьют...
Внесут в палату.
Дадут железных капель пить,
Наложат гипс, и в белых латах,
Как памятник, ты станешь жить.
И выйдешь!
Как из пеленок.
Ты в жизнь шагнешь из простыней
Нетерпеливый, как ребенок,
Спешащий к матери своей.

Гончаров напишет это о себе, не задумываясь о том, что здесь биография его поколения, лебединая песня его жертвенной души, исповедь, наказ будущему, крик сочувствия и тревоги, обращенный в заворающий день бессмертия человечества.

У стихов Виктора Гончарова есть железная необходимость написания — признак неистребимости поэзии. А когда за стихами стоит опыт жизни и жертвенный опыт души, пытавшейся защищать сами истоки жизни, стихи вызывают то самое чувство, от которого захватывает дух, как это случилось с Виктором Гончаровым, по его собственному признанию, в детстве.

С первой же строки поэт Виктор Гончаров стал для меня человеком надежным. А ведь как это важно знать, что человек, идущий с тобою рядом по дороге жизни, — надежен! Я знал об этом, и потому, наверное, не так часто смотрел в его сторону и теперь жалею о своей невнимательности, обернувшейся против меня же.

Я давно знал стихи Виктора Гончарова. Знал и чувствовал их как бы параллельное азимуту поисков моей души направление. Знал, что на поле его действия все надежно. Иногда я все-таки брал его книги и повторял про себя:

От этого синего лая,
Лишенная теплого сна,
Котенком на крышу сарая
Забралась худая луна.
Мне б тоже куда-нибудь надо...
Опять там, где сердце болит...
Как будто сквозь заросли сада
Засада за нами следит.

Я читал и оглядывался: как и Виктор Гончаров, я учился смотреть в ту сторону, где должна закипеть буря, как и он, понимая, что поэзия не может жить без двух свойств — удивления и предупреждения.

Однажды я устроил себе праздник: обложился книгами Гончарова, перечитал его однотомник и сборник поэм — он их называет л а д а м и — «Мечта», написанный белым стихом... Я удивился его удивлениями, встревожился его тревогами и пережил вслед за ним очарование его души:

Но ты позволь мне мальчиком остаться.
Которого невзгодами секло,
Чтоб с улицы тобою любоваться,
Расплющив нос о толстое стекло

Мир Виктора Гончарова, к моему восторгу, оказался гораздо шире моего представления о нем. Он был многообразен и глубок, доверителен и мил, музыкален и строен, волшебен и живописен. Он был воистину праздничен, как это и положено поэтическому миру. И прелесть праздника, не-

поделенная молодость его души закружили мою душу.

И все я изъездил, что можно,
Куда невозможно — летал.
И сам вдруг травой придорожной,
Сухим подорожником стал.

Истинный поэт всегда необычен в своих трансформациях. Он умеет смещать времена и даты, поднимать звезды со дна лесных озер и прикреплять их на свои места на августовском небе, он может слушать живую душу дерева и соединять континенты. Сян в родстве со всем необозримым миром жизни. Может утешать плачущую бог весть по какому поводу девочку и кормить с ладони неоперившихся птенцов погибшей пеночки в гнезде.

Он может все. На то он и поэт.

Он может летать. Просто так летать. Забраться на пожарную каланчу или на башню водокачки. Забраться тогда, когда весь мир во главе с главным сторожем спит. Забраться — и полететь над школой и железнодорожной станцией, над крыльцом собственного дома и над окном знакомой девочки из параллельного класса. Ему это совсем просто, ведь он поэт.

Ах, рыбка, красноперна золотая!
Ты так мала, иди себе, гуляй.
И, рыбку солотую отпуская,
Я грустью переполнен через край.
Мне нечего просить у этой рыбки,
Нет у меня желаний сверхземных.
Качаясь в лодке, как ребенок в зыбке,
Давным-давно я убаюкал их.
Та песня, что хотелось,
Не сложилась.
Вино, что пил.
Хвороба отняла.
Та женщина, которая любила.
Упала вдруг,
Упала да разбилась,
Как стопочка
Пустая со стола.

Я дивился не только высокой человечности поэзии Виктора Гончарова, не толь-

ко прекрасному дару сочувствия, заключенному в поэтическом слове, точном и пронзительном. Я дивился еще глазам и рукам Виктора Гончарова, умеющим видеть и воспроизводить красками на бумаге и полотне, резцом в каменной плоти базальта и гранита зримый мир волшебства, сопутствующий его поэзии.

Я дивился на этом внезапно открывшемся для меня празднике нравственной чистоты и музыкальности русского слова и атмосфере самого творчества, его истоков и загадок на будущее. И снова я повторил про себя слова моего старого товарища по песне:

Когда я смотрю на то,
Что мною написано
Или сделано,
Мне кажется,
Что это всего-навсего
Только дорога
К тому, от чего захватывает дыхание.

И я понял, что мой давний друг всей необычностью своего галанта и опыта продолжает служить своему поколению и своему времени. Он не предаст прошлого ради будущего торжества жизни, остается верным подвигу своего поколения, подвигу рыцарей жизни, защитников ее песен. Его память, память его поколения — святая память.

И я опять повторяю для себя и для всех слова моего друга и сверстника по войне и песне:

Мой соловей перед зарей поет.
Все спят еще, лишь я проснулся только
От пения его мне радостно и горько,
И на душе тяжелый тает лед.

Прислушайтесь. Соловей поет. И на душе от его песни правда тает тяжелый лед. Капля по капле тает. И это так прекрасно, что захватывает дыхание.

Михаил ДУДИН.

Ленинград



ДОРОГА СКВОЗЬ ВЕКА

Анатолий Преловский. «Вековая дорога». Свод поэм. «Насыпь» — «Знамя», 1976, № 1; «Станция» — «Знамя», 1977, № 10; «Заповедник» — «Знамя», 1979, № 1; «Выстрел» — «Знамя», 1980, № 3; «Борода» — «Знамя», 1981, № 3; «Сибиряне» — «Знамя», 1982, № 6.

С волнением думаешь об издавна свойственном нашему народу размахе — в работе, в движении, в любви. И в песнях Да, и в песнях.

Еще думаешь о свойстве современной поэмы (А. Твардовский, С. Наровчатов, М. Луконин, Вас. Федоров, Е. Евтушенко, Е. Исаев, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Вад. Кузнецов) являть собой нерасторжимый сплав сердечной исповедально-

сти и широкой эпической летописи нашей действительности, столь сложной, прекрасной и драматичной одновременно, что это свойство само по себе уже является сюжетом и держит читателя в неослабном напряжении.

Не знаю
превыше счастья, славы и свобод
быть с теми, кем творится жизнь земная,
там, где родится с вечностью народ.

Эти строки о высшей свободе нелегкого труда, нелегких дорог и нелегкого долга заключают многолетний труд Анатолия Преловского — свод поэм под общим названием «Вековая дорога».

Литературная общечеловеческая и трудовая аудитория в течение последних лет с интересом следили за публикацией поэм А. Преловского в журнале «Знамя», «Насыпь», «Станция», «Заповедник», «Выстрел», «Борозда» и «Сибиряне» — собственно, в названиях этих тесно взаимосвязанных шести поэм сконцентрированы суть и направленность поэтического труда. По-своему, наиболее четко выражают его дух строки, обращенные к родине, которая,

Для бытия восставшая из быта,
привыкла даль и время обживать.
Хоть вся открыта и переоткрыта,
всегда найдется,
что в ней открывать.

Родина, которая «для бытия» восстала до самых звезд, доросла от своих безвестных таежных троп до оказавшейся на виду у всего мира Байкало-Амурской магистрали. Рассказывая о Сибири, о БАМе, «Вековая дорога» обращена ко многим важным проблемам, исследуемым всей нашей многонациональной поэзией, — проблемам нравственным, этическим и духовным, обступающим нас во всей своей реальности.

Первое впечатление автора от грянувшей войны — впечатление чисто сибирское: «В Киренске с призывниками отчаливает встречная баржа...» И мы словно переводим взгляд с этой баржи на широкоохватную картину — по всей Сибири шла и другая героическая дорога:

...Солдатами те рельсы предстали:
к святому делу призваны страной,
бой приняли. И без вести пропали.
И не вернутся к насыпи родной.
А та, их гибели не принимая,
как мать в тени ветшающих ворот
от скорби просветленная, немая,
их и доньне с фронта ждет.

Свод поэм посвящен «строителям восточных дорог страны». Естественна широта его панорамы. Естественна благодаря лично-му — памяти поэта о своем деде, казаке Попове, который был «тайги и руд ревнитель». Памяти о тех днях, когда вместе с другими сверстниками-подростками ощутил автор свою причастность ко всем нелегким — почти на пределе — военным будням страны: «Как бы на всхожесть, нас тогда на взрослость трудом недетским поверяла жизнь». Что ж, эта суровая поверка «на всхожесть» целого поколения оказалась и нужной и в конечном счете перспективной.

Герою «Вековой дороги» предстоит впе-

реди многие и многие испытания, и будет в числе их и такое: «...жогда сплеча, налево и направо, под новые моря и города валила тайгу». Вдруг встанет перед ним воспоминание: «Содрав для стройки хлеб с земли, по озими про шли мы. Клин по клину. Могли бы мы иначе? Не могли». Увидит он вновь, теперь уже сквозь годы, как «победно пшеница между шпалами росла!» Победно, добавим от себя, но и обреченно...

Поэт пристрастно раскрывает причины, по которым в жизнь героя-строителя входит вполне обоснованная тревога за окружающий нас мир, за нашу извечно кровную связь с этим миром. Чистота нашей совести — наиважнейшее среди прочих чувство в сердце творца и созидателя. Чистота нашей совести еще и в том, что она должна быть постоянно начеку, ибо в пределах хотя бы только одной Сибири «вслед за свежеприрученной далью зывают к созидателям дорог Приленье, Привитимье, Приадастье и Прикольмье: Северо-Восток, огромный край, разведанный детально...».

И весь этот «огромный край» зывает к созидателям дорог в том смысле, что ждет своего обновления, своего промышленного и экономического перерождения — именем прогресса и во имя прогресса. Ждет — и при этом крепко надеется на нашу чуткость. Ждет — и верит в нашу совесть — под неослабным контролем не только будущего, но и прошлого. Вот как говорит об этом автор «Вековой дороги»:

...шпалы, веки —
есть Дорога:
что кануло в нее, очнулось в ней.

Шли наши предки на восток, шли, не налетно соприкасаясь с неведомой им доле новью, не мимоходом и не силком пользуясь ею, шли они по-людски, не изводя «местные народцы», а зная: с ними «сообщаться вечно предстоит». И жить и совместно творить великую историю, а история, как сказал ученый — это фонарь в будущее, которое светит нам из прошлого. И не в призывном ли свете этого фонаря (теперь уже из рук самого героя свода поэм, ревнителя нашей жизни и нашей справедливости) обзывает жизнь

..пройти опять от Братска до Тайшета
встречь прошлому, грядущему вдогон...

Критика, с интересом следящая за работой А. Преловского, отмечала в поэмах «глобальную постановку вопроса о том, что такое народ, в короткий исторический этрезок времени создавший невиданное еще в истории государство, полноправным хозяином которого он является» (И. Гарха-

нов). Отмечала критика и авторское понимание созидательных процессов, происходящих в Сибири, активную жизненную позицию поэта. В «Сибирских огнях» В. Крещик писал о поэмах: «Интерес же к ним не в последнюю очередь объясняется также и общим интересом нашего народа к делам Сибири, особенно этот интерес велик у молодежи». И в самом деле, гражданский и романтический пафос поэм отчетливо совпадает с духовным самосознанием наших молодых современников. Совпадает, лишь внешне сохраняя возрастное деление на «мы» и «они», совпадает, спланивая воедино и людей и годы:

А мы-то, мы-то, строя наше чудо
на Ангаре, что знали мы тогда?
Куда шагаем?
В коммунизм.
Откуда?
От вас, красноснаменные года.
От вас, грабарни и лопаты.
Он вас, Магнитка, Днепрогэс, Турксиб.
От вас, Европу спасшие солдаты...

Работа А. Преловского в целом завершена, но, разумеется, взыскательный глаз все еще необходим, нужно избавиться от неизбежных в столь значительной работе шероховатостей типа «далекие народы большим трудом родней (!?) объединить» или от нет-нет, а повторяющихся стихотворных трафаретов вроде «магистраль, твои трудяги, жнецы твои и пахари твои».

В целом же свод поэм Анатолия Преловского «Вековая дорога» является крупномасштабным, художественно единым, живым организмом. Потому-то и надеешься, что эта работа привлечет к себе вслед за интересом читателей углубленное внимание нашей профессиональной критики. И опять же потому с чувством удовлетворения увидел я свод поэм А. Преловского выдвинутым на соискание Государственной премии СССР 1983 года.

Владимир САВЕЛЬЕВ.



Политика и наука

ПОД ЗНАКОМ ГИПОТЕЗЫ

Тайны веков. Сборник. М. «Молодая гвардия». 1977. 416 стр.
Тайны веков. Книга вторая. М. «Молодая гвардия». 1980. 254 стр.
Тайны веков. Книга третья. М. «Молодая гвардия». 1983. 287 стр.

Самый читаемый раздел журнала «Техника — молодежи», как о том свидетельствует его главный редактор В. Захарченко, — «Антология таинственных случаев». Здесь печатаются дискуссионные статьи о загадках космоса и древних поселениях, о телепатии и Несси, о следах инопланетян и необычных изобретениях, о гипотезах, предположениях, размышлениях на эти и подобные им темы.

Освещать их, конечно, надо, и все массовые научно-популярные журналы так или иначе их затрагивают. Но вот издание «таинственных» материалов периодическим сборником, каким стал сборник «Тайны веков», составленный в основном из статей «Техники — молодежи», — явление уникальное. И в принципе оправданное: полезно иметь книги, где все загадочное и сенсационное было бы рассмотрено без предвзятого мнения типа «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда», но и без намерения выдать пороса за карася.

Существуют и другие резоны. Человеку нужны романтика, умение вести полемику, богатство воображения, а значит, и нечто

таинственное, не имеющее пока однозначного объяснения. Действительно, учебники, по которым мы учились и учимся, содержательны и точны, однако, как правило, на редкость бесстрастны, отчего мир сквозь их призму слишком часто начинает видеться сплошным «существительным и котангенсом». Так при обилии знаний подчас увядает фантазия, притупляется любознательность, слабеет сила воображения, что в конечном итоге оборачивается снижением творческого потенциала. Все это серьезная проблема — личностная, педагогическая, общественная, какая угодно. И когда таинственное становится запалом творческой фантазии и отправной точкой поиска, тогда оно играет важную, серьезную роль.

Вышли уже три книги «Тайн веков». Полмиллиона экземпляров, без малого тысяча страниц текста, около полутора ста статей — солидная доза загадочного и таинственного. В нем можно выделить три основных массива: любопытные, а то и уникальные эпизоды научно-технического прошлого; загадочные явления природы и человеческой психики, взятые, правда, в довольно узком диапазоне (как правило, то, о чем «все го-

ворят»); наконец, — самый большой блок — смутные события древности, интригующие читателя случаи, наблюдения. Многие увлекательно, часто сенсационно, порой сопровождаются ошеломляющими гипотезами как специалистов, так и дилетантов, и трудно представить массовую аудиторию, где «Тайны веков» не вызвали бы громкого отклика. Тем более что в статьях, помещенных в сборниках, взята установка на допущение научной ереси. «Ведь ересь, — говорится в одном из предисловий Захарченко, — это и есть элемент нетрадиционного мышления». Другой важный принцип построения сборников — скрещение мнений, дискуссия, комментарий специалистов (правда, этот принцип, как мы увидим, выдерживается не всегда последовательно).

Анализ всех публикаций сборников — дело в рецензии невозможное да и ненужное. Но для начала отметим одну неожиданную вещь: отнюдь не каждая статья содержит в себе тайну. Ее либо нет вообще, либо она лишь мираж, рассеивающийся с появлением специалиста. Словом, подбор по принципу «это тайна» дополняется принципом «вот интересный, поразительный случай».

Пиком тут выделяется статья писателя Л. Скрягина «Галифакская катастрофа» во втором сборнике. Ничего таинственного, но... В 1917 году нагруженный взрывчатой ми веществами корабль на подходе к причалу столкнулся с другим судном. Занялся пожар, грянул едва ли не самый мощный в доатомную эпоху взрыв. Стекла домов вылетели на удалении 30 миль. Стокилограммовый обломок шпангоута метнуло за 12 миль! Над разрушенным Галифаксом встало грибообразное облако... А произошла эта трагедия из-за оплошки двух капитанов и недомыслия военных чинов.

Цена ошибки — вот о чем речь в статье. Мы еще слабо осознаем, насколько повысилась ответственность перед обществом отдельного человека, к какой катастрофе может привести его глупость или моральная безответственность в эпоху научно-технического прогресса. Право, это поважней иных тайн и феноменов, вокруг которых столько ажиотажа...

Раздел сборников, повествующий о малоизвестных, иногда ошеломляющих эпизодах развития техники (преимущественно военной), в целом представляется удачным. Немало интересного приведено, к примеру, в статьях о русском первенстве в ряде военно-морских разработок и в материалах, рассказывающих о секретном оружии наших минеров в годы Отечественной войны.

Блок «Тайны природы и человеческой психики» сложен, как уже отмечалось, в основном из расхожих, у всех на слуху сенсаций. В связи с этим стоит заметить вот что. Сенсация манит не только энтузиастов, но и неудовлетворенных честолюбцев, мифотворцев, научных графоманов, ибо на волне всеобщего и пылкого интереса легко сорвать аплодисменты и обрести шумный успех борца с научным консерватизмом. Бурная деятельность людей этого сорта, увы, часто дискредитирует саму проблему.

Страдает дело. Это можно заметить и по выводам, следующим из статей в третьем сборнике о «снежном человеке». В них приводятся свидетельства очевидцев, очерчивающие ареал расселения гипотетического гоминоида на Севере нашей страны, сообщаются интересные результаты исследований кинокадров, запечатлевших некое человекообразное существо в Калифорнии. Все спорно, но, похоже, заслуживает серьезного внимания, которого пока явно недостает. И тут нельзя не разделить тревогу одного из авторов сборника, кандидата биологических наук С. Клумова: если реликтовый гоминоид существует, то вскоре перестанет существовать! Может исчезнуть, как животное, занесенное в Красную книгу. «И тогда, — пишет С. Клумов, — мы будем горько сожалеть о наших, увы, непоправимых ошибках, о нашем пренебрежении к этой важной научной проблеме».

Будем. Однако необходимых научных экспедиций нет и вроде бы не предвидится — на всем лежит пагубное «клеймо сенсации»

В том же сборнике удачно сделана подборка материалов о необычных способностях человека. Очень сложная, спорная и неясная проблема рассмотрена разносторонне, без дурной тенденциозности. Тут и добросовестный очерк А. Викториньева о феноменальных способностях Тофика Дадашева, которого можно назвать вторым Мессингом, и деловой к этому очерку комментарий; тут интересная, хотя, к сожалению, тяжелым языком изложенная гипотеза академика В. Глушкова, пытающаяся объяснить некоторые исключительные проявления человеческой психики с позиций кибернетики, и репортаж французского журналиста с фестиваля фокусников, показывающий (что далеко не лишнее!), каких «чудес» можно достичь без всякой телепатии, биополей и тому подобного.

Наука и техника внесли в нашу жизнь реальные для нас, сказочные для былых

времен чудеса, будь то звездный на Земле огонь термоядерной плазмы или голографические, лишь осязанием отличимые от вещной действительности призраки. Однако значит ли это, что ничего таинственного, не объяснимого нынешними или завтрашними знаниями не осталось? Разумеется, нет. Чудеса и тайны есть, только на более сложном уровне развития материи, и наука еще не подобрала к ним ключа. Вероятно, они даже напоминают нам о себе, как потрескивание янтаря давало знать древним грекам об электричестве. Во всяком случае, сбрасывать со счета эту возможность было бы несерьезно.

Действительность куда богаче наших о ней представлений, но как быть в каждом конкретном случае? Вот статья В. Рубцова и Ю. Морозова «Открытие доктора Гурльта...». Опираясь на факты, зафиксированные в научной литературе, авторы рассказывают нам о странном металлическом образовании, найденном в 1885 году в слоях третичных углей. Странность находки в том, что отчасти она похожа на метеорит, а отчасти... на изделие цивилизации. Авторы добавляют, что в научных публикациях прошлого есть и другие сообщения о так называемых неизвестных ископаемых объектах, найденных в древних породах и напоминающих металлические гвозди, винты, сосуды.

Если все так, то эти сообщения можно истолковать по-разному. Как описание метеоритов своеобразной формы. Как свидетельство посещения Земли инопланетянами. Как научные ошибки, а то и фальсификации. (Ох, сколько их было! Кстати говоря, уже в наши дни была сделана попытка фальсифицировать доказательство визита инопланетян как раз с помощью «находки» в древних слоях Земли.) Комментатор статьи, кандидат геолого-минералогических наук В. Авинский, напоминает нам и о четвертой возможности: некоторые минеральные образования бывают очень похожи на «металлические гвозди» и вообще на что угодно... Все же горячкам стоит быть повнимательней к извлекаемым породам, ибо возможность посещения Земли инопланетянами, как говорится, не равна нулю.

Интересно и многопланово сделаны подборки о таинственных исчезновениях кораблей и самолетов, о шаровых молниях, о загадочных сигналах из космоса и некоторые другие материалы такого рода. Между прочим, читая их, делаешь одно попутное наблюдение. Обычно в своих оценках и выводах специалисты, ученые весьма сдержанны, когда дело касается их области зна-

ний, хотя, корректно развенчивая некоторые мнимые тайны, они взамен часто предлагают нашему вниманию подлинно серьезные и нередко более интересные проблемы, факты, загадки. Но стоит профессионалу увлечься посторонней идеей, как все подчас круто меняется. К примеру, выступая в качестве геолога, уже упомянутый В. Авинский не спешит объявить «метеорит» Гурльта изделием пришельцев. Зато в статье «Кто, как и зачем строил Баальбек?» тот же автор энергично доказывает, что древние никак не могли справиться с тысячетонным каменным блоком и, следовательно, дело не обошлось без инопланетян!

Вот так и возникает подкрепленная авторитетом ученого лжесенсация. На этот раз она не состоялась, потому что в том же (первом) сборнике кандидат исторических наук Г. Булавинцев буквально камнями на камне не оставил от построений В. Авинского. Древние египтяне, напоминает Г. Булавинцев, перемещали и более тяжелые, чем в Баальбеке, блоки и, к счастью, запечатали ход этой операции в своих рисунках, иначе их достижения тоже, чего доброго, зачислили бы по ведомству пришельцев...

Увы, наука не знает ни одного факта, наверняка доказывающего, что Землю когда-либо посетили инопланетяне. Таков ее сегодняшний вердикт, хотя после статьи В. Рубцова, Ю. Морозова «Сириус, которого мы не знаем» и комментария к ней писателя-этнографа Н. Непомнящего у читателя второго сборника скорей всего возникнет иное впечатление. Но тут авторы, видимо, слишком доверились некоторым зарубежным публикациям о необыкновенных знаниях африканского племени догонов и некритически восприняли их сенсационный настрой.

Вообще читателю сборников порой приходится нелегко. Так, например, в статье «Белые птицы Наска» (второй сборник) писатель В. Казаков утверждает, что древние «умели за 2000 лет до европейцев выплавлять алюминий... Знали тайны холодного света...». Неужели факт? Лично мне ни в одной серьезной публикации такого читать не доводилось, но я же не знаю всего, мог и проглядеть научную сенсацию, не взял же автор уважаемого журнала все с потолка! Да, но как понимать «холодный свет» — люминесцентные лампы в древности, что ли, горели?

Но это мелкие потрясения, наше доверие подвергается еще и не таким испытаниям. Третий сборник открывает статья «Защит-

ники земли русской», автор которой Д. Зенин спорит с распространенным убеждением историков, что на Руси не существовало рыцарства. Если оно было на Западе и Востоке, могла ли Русь составить абсолютное исключение? Вполне правомочная, не лишняя аргументов постановка вопроса; надо бы, однако, послушать специалиста. Следом находим статью «...И вооружены зело» историка В. Прищепенко. Он категоричен: рыцарство не только было на Руси, но и возникло-то на славянских землях, оттуда пошло «В частности.— утверждает В. Прищепенко,— из Руси на весь мир распространялись такие понятия, как броня, шолом, кольчуга, щит, перчатки... меч и копые, секира и клинок. В одних странах их использовали, приравливая к своему языку, в других переводили». Да и вообще русские рыцари, по В. Прищепенко, были на голову выше всех прочих, потому что и броня их «непреренно превосходила оборонительное снаряжение, сделанное в Западной Европе и на Востоке», и требования, предъявляемые к ним, «были значительно обширней, нежели в Западной Европе, где «неграмотным зачастую Айвенго и Ричардам полагалось знать и уметь гораздо меньше».

Вернейший способ дискредитации чего-либо — это доведение славословия до гротеска и анекдота, в чем автор статьи, согласитесь, весьма преуспел. Вряд ли намеренно, но оттого не легче: нам слишком дорого прошлое наших предков, чтобы равнодушно взирать, как его увешивают трещотками и бубенчиками похвалы.

Немало «чудесного» и в ряде других работ, даже в тех, что написаны специалистами. Впрочем, как мы уже увидели, специалист специалисту рознь. Научное звание тоже не гарантия. Так, автор, кандидат исторических наук В. Скурлатов, запросто нарушает важнейшую заповедь науки: нельзя заведомо сомнительный источник объявлять достойным доверия и опираться на него свои построения. Известно, например, что так называемая «Влесова книга» если и не фальшивка, то источник, вызывающий

сильное недоверие науки. Однако В. Скурлатова этот факт не смущает. В статье «След светоносных» (первый сборник) автор пишет: «В малоизвестной «Влесовой книге», являющейся, как предполагают, памятником языческой Руси... говорится следующее...», — и далее щедро черпает из этого источника аргументы для своих выводов. А до каких выводов можно прийти при использовании еще двух-трех лихих приемов, наилучшее представление дает статья того же В. Скурлатова «Открылись бездны — звезда полны» во втором сборнике. Хотите знать, как возникла Солнечная система? Слушайте: «понять драму системы можно, лишь поняв начало ее. А в начале была Земля, на которой мы живем и из которой родились все остальные члены солнечной семьи, включая Солнце...»

Право, можно подумать, что иные авторы решили посоревноваться, кто успешней подорвет доверие читателя к сборникам. Ведь раз, другой, третий напоревшись на грубую некомпетентность, он с сомнением начнет относиться и к прочим публикациям Я, правда, склонен считать, что одиозных статей в «Тайнах веков» не так уж много. При всем при том и для меня кое-что из явно сенсационного в сборниках теперь, естественно, тоже омрачено тенью сомнения, от которого так бы хотелось избавиться, чтобы без оглядки и недоверия пополнить свои знания весомым золотом доподлинных фактов и смелых, но безусловно научных идей.

Наверное, исправить положение мог бы более тщательный выбор квалифицированных авторов статей и комментариев к ним. Будем надеяться, что такие авторы у колыбели новых «Тайн веков» появятся. А пока воздадим должное усилиям журнала, которому в июле этого года исполнилось полвека, и вновь подчеркнем то лучшее в сборниках, что в них есть: и смелое гипотезирование, и воспитание воображения, и развигие ощущения глубокой таинственности мира — чувства, названного А. Эйнштейном «прекраснейшим». **Дм. БИЛЕНКИН.**



УДАЧА ПРИХОДИТ К СИЛЬНЫМ

Гюнтер Вальраф. Нежелательные репортажи. М. «Радуга». 1982. 296 стр.

Бестселлеры на Западе рождаются по-разному. Но обычно успех гарантирован, если автор достаточно именит, если на страницах его книги присутствует ошеломляющая человеческое воображение сен-

сация и если к тому же издатель не пожалеет средств на рекламу. Так было всегда.

Однако несколько лет назад компьютеры западногерманского Союза книготоргов-

цев зарегистрировали необычный феномен — за три года продано более 400 тысяч экземпляров книги молодого писателя Гюнтера Вальрафа «Рождение сенсации. Человек, который в «Бильд» был Хансом Эссером». Тираж для Западной Германии, прямо скажем, фантастический. По поводу этой неожиданности автор в шутку как-то сказал, что наибольшее паблисити его произведению сделал сам газетный король Аксель Цезарь Шпрингер, которого Вальраф пригвоздил своим пером к столбу позора и подверг безжалостному осмеянию.

Узнав, что рукопись «Рождения сенсации...» в печати, супербокс нажимал на все кнопки, бил во все колокола, стремясь не допустить выхода книги разоблачительных репортажей. Шпрингер не жалел денег из своих миллиардных прибылей, чтобы сделать появившуюся на роскошном фасаде его концерна глубокую трещину. Призвал на помощь западногерманскую фемиду. Нанятые адвокаты требовали по суду снимать строчки, абзацы, целые страницы, где даны особенно уничтожающие характеристики фабрикантам лжи, наглядно показан сам процесс создания одурманивающего шпрингеровского месива из секса, преступной хроники, полуправды, фальсификации и воспевания «сильной личности».

Но пока шли изнуряющие Вальрафа судебные разбирательства, в печати появилось сообщение о подготовке к изданию новой книги писателя «Свидетели обвинения. Описание «Бильд» продолжается». По личному указанию шефа концерна специальные команды рыскали по типографиям. Иногда казалось, что они напали на след. Шпрингеру даже показывали выкраденные гранки, шла торговля о цене их передачи. Но то были лишь отпечатки страниц фальшивой книги-двойни а, которую набирали из остатков написанного.

Вальрафом были приняты и другие меры предосторожности. Так, в его книге-подлиннике нет нумерации страниц (поскольку она печаталась в разных типографиях). А издана она с необычной припиской: «В стоимость книги включены возможные судебные издержки». Тираж тайно перевозили в автомашинах, развозящих мебель, как незарегистрированный товар. Даже когда Вальраф разговаривал со своим издателем, приходилось прибегать к заранее условленному коду. Если необходимо было встретиться с редактором, чтобы посмотреть верстку, то согласие звучало примерно так: «Я приду поиграть в настольный теннис и захвачу с собой шарик».

Вальрафа ни на минуту не оставляли в

покое. Дом на тихой кельнской Тееберштрассе, 20, где жил писатель, был взят под постоянный надзор. Шпрингер мобилизовал всю мощь «технотронного» общества — мини-микрофоны («клопы»), компьютеры четвертого поколения, молниеносно обрабатывающие информацию доносчиков, в доли секунды отыскивающие адреса, приметы личности, номера автомашин и т. д. Прослушивался и фиксировался каждый телефонный разговор Вальрафа.

В рабочем кабинете писателя есть папка, на которой он размашисто фломастером написал: «Маленький Уотергейт». Здесь собрано все по процессу о подслушивании. «Остальное,— говорит Вальраф,— лежит в Федеральной разведывательной службе в Пулахе. Целых 5164 подслушанных и расшифрованных с магнитофонной ленты разговора с редакцией «Штерна», с писателем Генрихом Бёллем, с лидерами «Молодых социалистов», с родными и друзьями».

Но это было лишь частью реализации выданной «лицензии на отстрел», как назвал шпрингеровскую операцию по собственной нейтрализации Вальраф. Вскрывалось и переснималось каждое его письмо. Оплаченные убийцы постарались побыстрее убрать единственного свидетеля, который мог бы пролить свет на связи «Бильд» со спецслужбами. Взломом, поджогами, попытками похищения архивов, настоящим изощренным психологическим террором отвечал газетный «Цезарь» тому, кто решил поведать миру секреты чудовищной «кухни лжи». По прямой указке всемогущего Шпрингера в спешном порядке была написана клеветническая фальшивка «Случай с Вальрафом» — попытка бросить тень на его личность, опорочить имя и подорвать доверие к разоблачениям. «Случай...» вышел в одном из правых издательств, но ввиду того, что почти никто не покупал эту книжонку, пришлось весь стотысячный тираж бесплатно рассылать в редакции газет, на радио, политикам, судебным чиновникам.

Бесспорно, скандал в «Бильд» стал заметным потрясением для общественности ФРГ. И даже среднестатистический инфантильный западногерманский Микель, у которого чтение занимает последнее место в шкале духовных ценностей, заинтересовался личностью и образом мыслей того, кто дерзнул обнажить шпалу против одного из столпов свободы печати по-западногермански. Потому-то в книжных магазинах и был отмечен повышенный спрос на книгу Вальрафа.

Сегодня с визитной карточкой писате-

ля — сборником его лучших репортажей — может познакомиться и советский читатель. Это первая книга Вальрафа, вышедшая в нашей стране Издательство «Радуга» и составитель В. Стеженский бережно отобрали из всего многопланового творчества Вальрафа то, что наиболее полно и ярко отражает его оригинальный стиль и философию, подход к социальной анатомии капитализма.

К разоблачению того или иного явления общества, в котором живет писатель, он приступает не сразу.

— У меня так, — говорил мне Вальраф, — на каждый час работы за пишущей машинкой — двадцать часов подготовки: изучения документов, встреч с людьми, калькуляции риска, разработки тактики наступления и отступления. программирования обманных вариантов, возможных последствий судебных процессов и «психологического террора». Мой стиль имеет много общего с борьбой, но скорее не с классической, а с боевым самбо, когда ты превосходящего в стиле противника ловишь на болевой прием, чтобы бросить у всех на виду на лопатки.

В горниле необычного журналистского эксперимента родился «метод Вальрафа». Он получил право на жизнь и даже узаконен федеральным судом. В методе Вальрафа меньше всего от приключений ради приключений или от приходящей на ум аналогии «журналист меняет профессию» Своими книгами писатель как бы дает систему поиска «социальной правды» в условиях капитализма, показывает пути борьбы за изменение общества, создает для широких масс своеобразный «политический букварь».

А первое желание взять в руки перо родилось у Вальрафа после прочтения захватывающих репортажей Эптона Синклера о знаменитых чикагских бойнях При этом у Вальрафа сформировался собственный неповторимый стиль и удивительный для документалиста взгляд на фантазию.

— Фантазия, — страстно говорил Вальраф во Франкфурте в 1974 году на семинаре молодых писателей, — это не удовлетворяться худшим вокруг, а уметь обращать свой взор на лучшее, сделать его привлекательным для всех. Фантазия — это не довольствоваться точным описанием всего окружающего, а стремиться изменить его к лучшему, одновременно докапываясь до причин и вытаскивая на свет божий виновников зла

Сколько выдумки в каждом рейде Вальрафа! В поисках новых разоблачений пи-

сатель в сутане монаха отправлялся в монастырь, где живут отпрыски князей. Он надевал форму солдат бундесвера. становился пациентом в сумасшедшем доме, под видом представителя правых западногерманских кругов проник в подпольные террористические организации португальского генерала Спинолы...

Каждый раз Вальраф словно выступает в спектакле, где сам и режиссер и исполнитель главной роли. Выступает без грима: он привык быть инкогнито, но с открытым лицом. В «Бильда» его внешний облик преобразили лишь глазные линзы, сменившие очки, короткая стрижка да одолженный золотой перстень. Для встречи прибывшего на переговоры в ФРГ генерала Спинолы писатель отправился в «мерседесе», взятом напрокат у одного из знакомых депутатов бундестага.

Как посол правых сил Вальраф в Дюссельдорфе обещал главе португальских заговорщиков-фашистов золотые горы — 11 миллионов марок в твердой валюте, минометы, автоматы, фугасы, солидарность в борьбе с коммунизмом, а сам ловко выуживал информацию о сети и планах реакции, именах и силах, готовящих путч. Вышедшая 30-тысячным тиражом книга «Португалия: как был раскрыт заговор» была действительно бомбой, она сорвала маску с врагов молодой демократии.

И так каждый раз — всегда премьера, острые ситуации, непредвиденные положения, хождение по лезвию бритвы. А главная цель — найти, обнажить и обличить зло.

Перевоплощение из одного образа в другой гребует больших духовных сил, собранности, железной дисциплины. Сколько раз как бы невзначай говорит об этом писатель в своей книге.

«Могу утверждать, что в тысячу раз проще играть отягощенного нимбами президента, чем, например, какое-то время жить жизнью рабочего, стоящего у конвейера...

Это не я Из зеркала на меня глядит чужое лицо. Ненавистная физиономия карьериста, этакий молодой самоуверенный деляга...

Мне страшно, так страшно, как было только один раз — в Афинах, у «черных полковников». Теперь я тоже рискую головой Разве что следы увечий будут не так заметны. Там я был невинной жертвой, здесь — должен стать соучастником преступления.

Страх разоблачения преследует меня

повсюду, даже во сне. Мне все время кажется, что я вот-вот попадусь в какую-нибудь хитрую ловушку или что моя дочка Инес вдруг вбегит в редакцию и бросится мне на шею с криком: «Привет, Гюнтер!» А еще я боюсь потерять бдительность и ненароком назваться Вальрафом по телефону или при знакомстве».

Вальрафу постоянно приходится уделять внимание самозащите. Это неудивительно, поскольку он ведет свои репортажи из «запретной зоны», из святая святых крупного капитала и «большой» политики. Они скрыты за бронированными дверями, охраняются неусыпным оком телекамер, целой армией привратников, телохранителей, платных детективов и наемных убийц.

И все же у Вальрафа всегда хватает и мужества и выдержки. Какое самообладание надо, например, иметь, чтобы ради изучения реакции боссов концерна Герлинга усесть за стол, где всегда обедают только избранные, или являться в исповедальни крупнейших соборов ФРГ и в доверительном диалоге со святыми отцами выяснять, морально ли промышленнику которого играл Вальраф, делать свой бизнес, создавая напалм — страшное оружие смерти.

А как держался в 1974 году на площади Конституции в самом центре Афин «таинственный незнакомец», приковавший себя к фонарному столбу и раздававший листовки в защиту демократии! Охранка «черных полковников» доставила его в асфалию. Показания выбивали профессионалы, обрабатывая ступни арестованного железными прутами, затем следовали одна за другой серии ударов — в солнечное сплетение, в печень, в область почек. «Обыкновенный фашизм» показывал свой звериный лик. А близорукий, казавшийся таким беспомощным и хрупким человек словно был выкован из железа. Вальраф хотел прочувствовать все, как настоящий грек-патриот. «Имя, фамилия, кем заслан?» — выходили из себя охранники. А в западно-германском посольстве Афин лежал потерянный чемоданчик Гюнтера с приклеенной кусточком скотча визиткой и надписью: «Прощу присмотреть до моего возвращения Правда, для этого потребуется определенное время». Едва приходя в себя после побоев и допросов, Вальраф просил своих соседей по камере — профессоров университета, профсоюзных активистов, коммунистов — написать все об их аресте, пытках, палачах. Эти человеческие документы писатель сумел переправить в ФРГ, чтобы издать свою «черную книгу».

Многие из тех, кого безжалостно обличал Вальраф, в почете у правителей ФРГ, даже увенчаны крестами за заслуги. Ну а сам Вальраф? Его не раз предавали анафеме, объявляли фанатиком, подпольным коммунистом, подстрекателем, врагом государства, действующим преступными методами.

Но в скромной квартире Вальрафа есть немало свидетельств истинного восхищения его журналистским подвигом, любви и уважения к нему. Это тысячи писем с адресом на конвертах: «Кёльн, рабочему писателю Вальрафу». Это приз за лучший телевизионный фильм на Международном кинофестивале короткометражных фильмов в Маннгейме. Это указ о провозглашении писателя «свободным гражданином Эллады» и ода греческого поэта Яна Куонтзохераса «Прикованный Прометей». Это номер советского журнала «Иностранная литература», где в предисловии к репортажу «Португалия: как был раскрыт заговор» Константин Симонов назвал эту работу «самым блестящим публицистическим произведением последнего десятилетия».

Когда Вальраф только начинал подготовку к «Индустриальным репортажам», заводские рабочие называли его студентом — уж слишком по виду, манерам, образу мыслей он казался им чужим. Но так было недолго. У Вальрафа, с юности заинтересовавшегося рабочей темой, быстро сформировалось чувство личной сопричастности к судьбам людей труда, то, что принято называть классовым чутьем, или, как говорит сам писатель, «пролетарским углом зрения». Вальраф очень гордится тем, что согласно статистике 60 процентов его читателей — рабочие, подмастерья, мелкие служащие, одним словом, пролетариат.

По утрам почтальон приносит писателю большую пачку писем, и почти в каждом из них читательские предложения или совет. А когда среди ежедневной корреспонденции Вальраф находит согласие на использование чего-то имени для получения рабочей квалификации, чтобы надежнее «внедриться» на то или иное предприятие, то для писателя это высший кредит доверия...

После того как гамбургский социолог Карин Бельмер обработала более 500 анкет молодых читателей Вальрафа, оказалось, что подавляющее их большинство на вопрос «Каковы Ваши впечатления от книг Вальрафа?» ответили: «В первые минуты шок от узнанного, затем чувство, которое испытывает слепой, когда к нему приходит прозрение, и огромное желание сделать что-то, чтобы описанное исчезло навсегда».

Вальраф как бы срывает пелену с глаз своих читателей, показывая зло во всей его наготе и неприглядности. И человек, успокоенный валом чистого потребительства, вдруг замечает, чего стоят моральные ценности общества, в котором он живет. В его сердце врывается страх безработного, одиночество бездомного, боль и гнев оскорбленного и униженного. Человек начинает понимать, что в системе, которую ему преподносят как «мир абсолютной свободы и защиты человеческих прав», говоря словами самого же Вальрафа, есть лишь свобода богатых стричь банковские проценты и изготавливать фальшивки, утаивать и обкрадывать, угнетать и отравлять, душиить в зародыше все живое.

Для писателя всегда важен не просто поединок с силами зла, их разоблачение, но и очищение от скверны, от того, что становится ненавистным и презираемым людьми.

Как, скажем, наглядно показать наглость и беззастенчивость ежедневной шпрингеровской стряпни? И Вальраф в содружестве с молодым карикатуристом Клаусом Штеком создает двойник «Бильд» — «Кильт». Уже в самом названии — сокращение от английского слова «убийца». В этом большой смысл: ведь известен не один случай, когда люди, затравленные «Бильд», кончали жизнь самоубийством. По вёрстке, аршинным заголовкам «Кильт» — визуальное чистое подобие любимого детища короля бульварной прессы. Но вот по утрам добровольцы доставляют газету читателям «Бильд». И для многих, кто одурочен этой ежедневной отравой, начинаются удивительные метаморфозы. Люди начинают по-

нимать, чего стоит насаждаемая Шпрингером журналистика «пяти Б» — понятий, начинающих в немецком языке с одной буквы и означающих «кровь», «женская грудь», «младенец», «зверь», «молитва».

«Бильд»? — «Нет, спасибо!» Эту наклейку можно увидеть на ранцах школьников, заднем стекле автомобилей, в студенческих столовых. Такие наклейки, как и специальную грампластинку, выпущенную с участием видных поп-групп и известных исполнителей, распространяют специальные антибильдовские центры, которых сейчас в ФРГ более 120. 200 тысяч подписей собрало обращение бойкотировать «Бильд». 400 представителей творческой интеллигенции Западной Германии подписали призыв: «Не работать на газеты Шпрингера». Эту же идею поддержали и 150 видных политиков — депутатов бундестага от социал-демократической партии, бургомистров, руководителей местных организаций.

После ряда лет подъема впервые тираж шпрингеровских газет начал падать. Читатели, и особенно рабочие, все чаще ставят под сомнение достоверность «Бильд» как источника информации.

Такова цепная реакция книг Вальрафа. «Неистовый Гюнтер» и сегодня полон новых планов:

— Мне не раз говорили, что я скоро буду писать свои репортажи с того света. Поэтому я спешу появиться здесь, на земле, где меня не ждут, лишь с той разницей, что те, ради кого я это делаю, будут знать об этом. Как говорили древние: *fortes fortuna adjuvat*.

Удача приходит к сильным.

В. МИЛЮТЕНКО.

КОРОТКО О КНИГАХ



ВЛАДИМИР МУССАЛИТИН. *Восемнадцатый скорый.* Повести. М. «Современник». 1982. 432 стр.

Встречается в газетах такая рубрика. «Письмо позвадо в дорогу». С письма, пришедшего в редакцию с дороги, выбранной по собственному разумению, начинается и повесть Владимира Муссалитина «Зима посреди лета». Эта повесть открывает новую книгу писателя «Восемнадцатый скорый». Молодой журналист Володин родом с Орловщины (это, кстати, родина самого автора), но журналистская профессия забросила его на Север, к Белому морю. Здесь за редакционным столом и находит его письмо из родных мест, написанное бывшим моряком Бородиным. Во время войны Бородин, как выясняется, плавал на транспорте «Декабрист». Транспорт был затоплен в северных водах в 1942 году...

Интуиция подсказывает Володину, что автор письма, видимо, человек недюжинный, много испытавший на своем веку. Чтобы лично познакомиться с ним, Володин выпрашивает отпуск у главного редактора и отправляется в село Студеное. Так мы узнаем героическую историю «Декабриста»...

Есть в этой истории героика и схватка людей, живущих по разным принципам (когда остатки команды «Декабриста» искали спасения на небольшом острове и смерть уносила человеческие жизни, резко схлестнулись между собой Бородин и боцман Старков). Мы вместе с журналистом Володиным, стараясь воочию представить прошлое, все яснее осознаем внутреннюю цельность и человечность Бородина. Не вдаваясь в пересказ сюжета, хочу обратить внимание на основной мотив повести. Это переключка поколений. Бородин и Володин встречаются именно как люди двух поколений, и в процессе этой по-своему символической встречи проясняется память и истина. Исповедь Бородина укрепляет веру Володина в хороших людей, в правду. Но и для самого Бородина его исповедь насущна, целебна. Она просветляет душу, помогает еще раз трезво взвесить собственные дела.

В диалогии «Красные самолеты», в повести «Восемнадцатый скорый» В. Муссалитин обращается к характерам наших молодых современников. Ершистый паренек Сережа Мальцев, герой диалогии, мечтает стать летчиком, и эта мечта помогает ему мучать, определяться в жизни. неизменно

помнить о том, что он сын погибшего солдата. Перед нами повесть о самовоспитании юного человека, опять-таки — о переключке поколений. Встреча с друзьями шилота Сурнева, трагически погибшего возле поселка, где живет Мальцев, знаменует важный рубеж в Сережиной биографии.

С героями повести «Восемнадцатый скорый» — проводницей Антониной и курсантом летнего училища Алексеем — мы расстаемся на вокзальном перроне в момент, когда их будущее еще неопределенно и тревожно. Каждый из них долго шел своей дорогой, но вот пути Антонины и Алексея неожиданно пересеклись, обозначив новую полосу жизни. Теперь эти люди связаны общей судьбой, и многое в ней будет зависеть от их способности любить, доверять друг другу.

Правда, с художественной стороны эта повесть кажется несколько тяжеловесной. Она перенасыщена бытовым материалом, социальные конфликты, которые затрагивает В. Муссалитин (сцена столкновения Антонины с бригадиром поезда), решаются в очерковом стиле. Оттенок искусственного заострения лежит и на эпизоде, рисующем несчастный случай с Антониной во время пожара в вагоне.

В своих произведениях В. Муссалитин раскрывается как писатель, умеющий заглянуть в человеческую душу. В его творчестве ощущается движение к более серьезному освоению жизненных конфликтов и проблем. И наверное, ему предстоит снова и снова исследовать, как в действительности воплощается та истина, которую однажды высказал бывший моряк Бородин: «Смысл жизни, по-моему, в том, чтобы мир еще лучше сделать. Чтобы жилось в нем всем на радость. А это зависит от доступков каждого из нас».

Александр Панков.



Р. РУБИНА. *Вьется нить. Рассказы. Повести. Перевод с еврейского.* М. «Художественная литература». 1982. 423 стр.

Начинавшая как критик и переводчик, много сделавшая для популяризации классиков еврейской литературы и современных советских еврейских писателей, Р. Рубина выпустила книгу прозы. Здесь собрано далеко не все, что создано писательницей. Но

знакомясь с книгой, легко проследить направление творчества Р. Рубиной, темы наиболее ей близкие, особенности стиля и языка (большинство переводов принадлежит самому автору).

Немалую дань отдала Р. Рубина той местечковой теме, которая занимала столь видное место в работах классиков еврейской литературы. Ее «Рассказы о тете Малке» зримо передают картины и духовную атмосферу жизни дореволюционных окраин черты оседлости. Автор повествует о еврейской бедноте, упорно стремящейся удержаться на грани полной нищеты, рисует картины социального неравенства в среде людей, обведенных чертой. Главный персонаж всего цикла — тетя Малка. К этой мудрой труженице, человеку великой жизнестойкости и оптимизма, автор относится с нескрываемой симпатией. И нас не удивляет, что в рассказах и повестях Р. Рубиной, посвященных совсем другим временам, другим людям, мы в образе многих женщин (а они в центре ее повестей) найдем черты старой тети Малки. Это произведения о самопожертвовании и нравственной устойчивости, которые проявили многие советские женщины в пору тяжких, трагических испытаний.

Если цикл произведений о тете Малке питался, как мы понимаем, рассказами близких, детскими воспоминаниями писательницы, то в произведениях о современности она рисует ту среду, в которой сформировалась как художник. Герои ряда ее повестей и рассказов — писатели и художники, актеры и театральные деятели. В этих произведениях, особенно в той повести, которая дала название всей книге, духовная и душевная жизнь художественной интеллигенции конца 20-х — начала 30-х годов раскрывается с экспрессией и накалом: тут речь идет о прочувствованном и пережитом. И читатель легко уловит в этих повестях автобиографический элемент, узнает приметы некоторых художников, оставивших глубокий след в нашей советской культуре.

Во всех произведениях Р. Рубиной есть сквозная и важнейшая тема — война нашего народа с фашистами. Героизм и предательство; кошмары фашистской оккупации; драматические тяготы эвакуации... Война разрывает и связывает судьбы, она проверяет людей на душевную прочность, на верность идеям и друзьям. Драматизм военной поры как бы высветляет все, что особенно дорого писательнице в ее героях, — нравственное упорство, умение сказать человеческое достоинство, стойкость. «Человек может все» — вот убеждение писательницы, рисующей своих героев в самых трудных, иногда неимоверно тяжелых обстоятельствах жизни.

Большое место в повестях и рассказах Р. Рубиной занимает тема детства. Собственно о детстве как особой поре в жизни человека у писательницы нет отдельного произведения. Но дети присутствуют почти в каждом из них. Глазами ребенка увидены быт еврейской дореволюционной окраины, испытания первой мировой войны, революционные события. С великим тща-

нием всматривается автор в напряженную душевную жизнь детей. И тех, на кого обрушился ураган войны, и тех, кто живет в относительно спокойном послевоенном мире.

Читая книгу Р. Рубиной, понимаешь, что она абсолютно и непоколебимо убеждена в том, что дети не только будущность нашего мира, но и его украшение, его радость. Писательница утверждает самоценность детства, и мы не можем не увидеть в этом ответ тех идей, которые исповедовал мудрый друг детства — Януш Корчак.

Проза Р. Рубиной, начавшаяся с традиционной темы и выдержанная в традиционной интонации, претерпела в своем развитии большие изменения. Читатель это заметил бы, даже если б автор не ставил в конце каждого своего рассказа, каждой повести дату. Произведения Р. Рубиной, написанные в 70-х годах, современны не только по жизненному материалу, но и по стилю. С помощью композиционных переключений действие переносится из настоящего в прошлое, и во всем этом ни намек на преднамеренность.

«Вьется нить» отнюдь не итоговая книга писательницы. И хочется верить, что вскоре появятся новые произведения Р. Рубиной, где раскроются еще неизвестные нам грани ее интересного дарования.

Лев Разгон.



ОЛЬГА ЧУГАЙ. Судьба глины. Стихи. М. «Советский писатель». 1982. 79 стр.

Хотя «Судьба глины» — первый сборник стихов Ольги Чугай, он являет собой своеобразный итог почти пятнадцатилетней работы поэтессы в литературе и открывает нам личность зрелую, со своим сложившимся взглядом на мир.

Ольге Чугай присуща любовь к материальности мира, к его животному теплу, к природе в самом широком смысле этого слова. В ее стихах нет высокомерной антропоцентричности, ибо она ощущает великое родство всего живого, она знает, что:

Человек, и дерево, и птица
Из одних волокон сплетены

В природе индивидуальное существует не в изолированном виде, но как один из узлов сложного взаимопереплетения мировых связей. И может быть, важнее ощутить свое родство со всей могучей природой, нежели свою вычлененность из нее. Поэтому не случайно, что одна из основных тем книги — это г о к и. Поэтесса обращается и к истокам человеческой культуры как таковой, и к своим собственным истокам — детству на окраине Москвы. Она хорошо помнит послевоенные годы с их обнаженным бытом, «неустройство общих судеб и квартир» («Большая Оленья»). В своих стихах О. Чугай отнюдь не чуждается бытовых сторон жизни. Но быт, так называемая житейская обыденность предстает в ее стихах как одно из проявлений бытия. Бытовой ряд

в поэзии О. Чугай сопряжен с глобальным, включен в гигантский круговорот жизни. Поэтому ей не грозит опасность впасть в «бытовщину», так раздражающую в стихах иных стихотворцев.

Ощущение своей сопряженности с ежедневной, зачастую суетной жизнью большого города не только не мешает, но помогает поэтессе осознать причастность любой человеческой судьбы к вечности, истории:

И мы с тобой — из этого сказанья,
Где ни души — лишь древние названья
С бессмертием своим наедине.
Где только степь. И мальчик на коне.

Погружаясь в прошлое, в историю с ее неуклонной сменой поколений, неумолимым чередованием жизни и смерти, О. Чугай находит в себе мужество и доброту, чтобы приветствовать новую жизнь, которая будет цвести после нас и без нас: «Солнце брызнет из-под век. Здравствуй, новый человек...»

Ольга Чугай приемлет мир, его суровые законы, его боль и радость. Приемлет с мудростью и мужеством человека, готового нести ответственность за все сказанное и сделанное: «Ответствуй, прокричит труба, за каждый вздох — ответствуй!»

Думаю, что читатель, который уже знаком со стихами О. Чугай по публикациям в периодике, теперь, после выхода книги, сможет полнее представить себе творчество этой интересной поэтессы.

Нина Габриэля.



АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВСКИЙ. Память и судьба. Статьи и очерки. Л. «Советский писатель». 1982. 367 стр.

Алексей Павловский — один из тех критиков, чьи симпатии и привязанности хорошо известны. Круг его внимания расширяется. Обостряется его интерес к поэтической ткани. Но то, что когда-то определило юношеские привязанности и интересы критика, остается неизменным. В новой книге мы находим все те же имена — Анны Ахматовой, Николая Заболоцкого, Ольги Берггольц, Николая Тихонова, некоторых других поэтов, о которых критик пишет с первых послевоенных лет. К ним прибавилось еще несколько имен, в том числе поэтов-ленинградцев военного поколения, а из более молодых — Егора Исаева.

В книге три раздела — о стихах на войне, о поэзии, решающей философские и гражданские проблемы (в основном на материале последних послевоенных лет), и, наконец, заметки о современной поэзии с ее уходом «в глубь души», как пишет автор.

Критик умеет на живые, волнующие современников поэтические явления взглянуть как бы с исторического отдаления. Умно и точно оценил он, в частности, «микрофонный» период нашей поэзии, громкую поэзию конца 50-х — 60-х годов: «На мой взгляд, «эстрадная» поэзия вернула лирику сердца в публицистику, вернула пошатнувшееся доверие к гражданскому стиху, привлекла к поэзии огромную массу читате-

лей, создав из них сначала колоссальную и чрезвычайно внимательную аудиторию».

Согласен.

Интересна статья о Николае Заболоцком — в ней критик соседствует с литературоведом. Глубина анализа, привлечение неизвестных доселе документов, точное понимание места поэта не только в литературе, но и в общественной жизни страны — достоинство этой статьи. Читая статью о Н. Заболоцком, вместе с критиком задаешь вопрос: «Когда своим воображением он заставлял земное крохотное существо дотрагиваться до звезд, чтобы прибавить света, то разве этим самым не выражал он и наше собственное нетерпеливое желание поскорее дотянуться до звезд с единственно гуманной целью осветить мир?..»

В книгу вошло несколько этюдов — небольшие статьи, каждая из которых посвящена одному произведению. Удачны этюды о «Василии Теркине» и о поэме «Киров с нами», ярко написана маленькая статья — всего несколько страниц — о стихотворении М. Светлова «Итальянец». Здесь привлечены материалы исторических исследований, дневники, даже киноленты. Привлечены как важное подспорье при анализе ткани стиха. Эти этюды помогают понять диалектику движения нашей поэзии, природу ее гражданственности, и, думаю, критик совершенно прав, говоря, что «гражданственность в нашей поэзии следует понимать свободнее обычных жанровых или тем более внутрижанровых рамок и уж, во всяком случае, не ограничивать пределами публицистики».

В статье, посвященной литературе наших дней («На дальних и ближних дорогах современности»), простительны некоторые полемические издержки. Тем не менее никак не могу согласиться с критиком, что поэзия сегодня отошла на второй план по сравнению с «блистательными завоеваниями» деревенской прозы. Просто поэзия стала реже бить на внешний эффе́кт, стала взрослее и ответственнее.

Полагаю, что и поэзия А. Ахматовой — тут мое давнее несогласие с А. Павловским! — не столь уж энциклопедически философична.. Но это в порядке спора. Что же касается книги в целом, то она отмечена не только подлинной эрудицией и высоким профессионализмом. В ней есть чувство поэзии и настоящая любовь к ней.

Дм. Молдавский.



АЛЕКСАНДР ВОЙСКУНСКИЙ. Я говорю, мы говорим... Очерки о человеческом общении. М. «Знание». 1982. 192 стр.

Нить, связывающая все главы книги в единое целое, — проблемы человеческого общения. Эта тема находится на пересечении интересов различных наук: языкознания, психологии, социологии, этнографии. Как известно, каждая наука для своего плодотворного развития выделяет какую-либо элементарную единицу анализа. В биологии это клетка, вид, в физике — атом, молекула, в фонетике — фонема и т. п. За элементарную единицу человеческой коммуникации можно принять диалог.

Казалось бы, все мы знаем, что такое диалог: обмен репликами двух партнеров. Однако это только надводная часть айсберга, так как синхронно со словесной информацией передается паралингвистическая (тоном голоса, мимикой, жестами) — в ней параллельные звуковые и бессловесные тексты скоординированы между собой. У каждого человека, подобно частоте пульса, существует свой индивидуальный «ритм диалога», который, если верить психологам, оказывает влияние даже на деловые качества людей, чья профессия связана с человеческим общением. Кроме того, ритм диалога, ритмическая повторяемость — один из сильнейших фасцинирующих (завораживающих, очаровывающих) факторов. (Отсюда, в частности, завораживающее действие музыки, стихов, птичьего пения. Или, скажем, парализующий волю «ритмический барабан», о котором говорил еще С. М. Эйзенштейн.)

Автор не ограничивается в своей книге рассмотрением чисто лингвистических и психологических аспектов человеческой коммуникации. Он анализирует роль таких посредников коммуникации, как телефон, радио, телевизор и ЭВМ. Именно в их смене известный канадский социолог М. Маклюэн видит причину изменения стилей познания и даже смену исторических эпох. Но, как справедливо отмечает А. Войскунский, «не эволюция средств коммуникации влечет за собой смену исторических эпох, а наоборот — потребности развивающегося общества вступают в противоречие с наличными каналами связи...».

Более всего автора интересуют сложные социальные, этические и психологические проблемы, возникшие благодаря стремительному внедрению ЭВМ в жизнь современного общества. Зарождение диалоговых форм взаимодействия человека и ЭВМ было своего рода революцией, расширившей сферы применения этих пока еще довольно дорогостоящих посредников коммуникации.

Возможно, одна из самых перспективных форм диалога человека и ЭВМ, считает автор, — компьютеризированные конференции, участники которых живут не только в разных городах, но и в разных странах. Такие конференции не фантастика, а реальность. Каждый их участник, поясняет А. Войскунский, анализирует высказанные мнения, готовит замечания, вопросы к коллегам, обосновывает свою точку зрения в удобное для него время. Далее автор рисует жизнь в японском городе Тама, жителям которого в порядке эксперимента приносят прямо на квартиру подготовленные с помощью ЭВМ сведения о ценах на товары, о результатах спортивных матчей, кулинарные советы, медицинские консультации и даже гороскопы.

Не исключено, что в недалеком будущем во многих квартирах наряду с телефоном и телевизором появится «домашний компьютер», соединенный с сетью ЭВМ. И тогда ЭВМ сможет играть роль домашнего секретаря, планировать вашу работу, заблаговременно извещать вас о семейных праздниках и днях рождения друзей, которых мы иногда забываем поздравить даже по телефону. Более того, вы можете не ходить в

библиотеку, а читать книги дома с дисплея, подключенного к сети ЭВМ.

В общем, наступит своего рода «компьютерная нирвана». Но не приведет ли она к одиночеству? Что нужно предпринять, чтобы дегуманизирующие последствия компьютеризации нашей повседневной жизни не были драматичны и мы, жители больших городов, не превратились бы в космонавтов на Земле в своих напичканных электроникой квартирах? Именно на эти вопросы ищет ответ автор книги «Я говорю, мы говорим...».

Ю. Орфеев,

кандидат философских наук.



А. СПИРИДОНОВ. В служенье ремеслу и музам. М. «Металлургия». 1982. 191 стр.

О чем эта книга? «Об истории открытия и освоения меди, о ее роли в развитии материальной культуры человечества, о применении ее в современной технике и в быту...» — сказано в издательской аннотации. Итак, перед нами научно-популярная работа. Легко предвидеть, что нелюбитель этого жанра, едва пробежав глазами аннотацию, оставит книгу на прилавке. И, беру на себя смелость утверждать, напрасно.

Обстоятельства, связанные с открытием того или иного металла, перипетии его практического освоения имеют подчас увлекательный сюжет. «Судьба» меди, пожалуй, особенно интересна. Медь, по современным представлениям историков металлургии, была первым металлом, который люди научились выплавлять из руды. Иначе говоря, медь положила начало эре металлургии. За всю историю цивилизации найдется немного научных и технических достижений, которые имели бы такое же огромное значение для развития материальной, да и духовной культуры человечества (рукотворное преобразование мертвой природы камня, каким явилась выплавка из куска руды огненного металла, дало могучий толчок в осмыслении человеком окружающего мира, преобразовании природы).

С медью непосредственно связано и начало эры электричества. пионерные изобретения Гальвани, Вольты, Фарадея, Якоби, создание уникального по своим возможностям медного лазера... Сегодня производство и потребление меди служит одним из основных показателей уровня экономического развития стран.

Наконец, еще с доисторических времен медь широко использовалась в разных видах искусства. Достаточно вспомнить шедевры древнейшей скульптуры или «Медного всадника», «медь» духового оркестра, ударные музыкальные инструменты, колокола и колокольца, знакомый перезвон кремлевских курантов. Вероятно, и этих немногих примеров уже достаточно, чтобы судить, насколько богат и разнообразен фактический материал книги. Каждая из ее глав посвящена тому или иному аспекту науки и практики, связанному с исследованием и применением меди. Читатель побы-

вает в знаменитых археологических экспедициях, сенсационные находки которых дали новые сведения о первобытной металлургии. Он познакомится с работой геологов и горняков, с секретами древних и современных металлургов, с открытиями, исследованиями, поисками.

Особая глава посвящена истории русской и советской меди. Здесь рассказано о непревзойденных литейщиках Андрее Чохове и Иване Моторине, о выдающемся организаторе русской промышленности и сподвижнике Петра I Василии Татищеве, о Ломоносове и Менделееве...

22 декабря 1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов прозвучали знаменитые слова Ленина: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны». Чтобы осуществить план ГОЭЛРО чтобы донести энергию рек и угля до каждого уголка нашей родины, требовалось огромное количество меди. Представить, в каких условиях делала первые шаги наша ме-

деплавильная промышленность, можно хотя бы из такого факта: стройматериалы для Балхашского горно-металлургического комбината, который назвали медной Магниткой, зачастую приходилось доставлять на верблюдах за сотни километров. А сегодня в Лондоне, где находится международная биржа металлов, советская медь зарегистрирована как металл эталонного качества.

Достоинства книги определяются не только умением автора просто и живо рассказать о вещах, обычно удаленных от внимания неспециалистов. А. Спиридонов, горный инженер по образованию и журналист по профессии, на мой взгляд, весьма удачно использовал и свои технические знания, и возможности нынешней своей профессии. Может быть, поэтому ему удалось не просто составить своеобразную энциклопедию одного металла, но и в определенной мере показать историю движения, развития человеческой мысли.

М. Аджиев.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

- В. И. Ленин.** Государство и революция 160 стр. Цена 20 к.
Х. А. Альварес. Избранные статьи и речи. 1939—1980. Перевод с испанского 367 стр. Цена 90 к.
Е. Богат. Понимание («Личность. Мораль. Воспитание») 359 стр. Цена 60 к.
И. Гуро, А. Андреев. На жестоком берегу. Повесть о Марцелии Новотко. («Пламенные революционеры») 399 стр. Цена 1 р. 40 к.

ВОЕНИЗДАТ

- У. Вандрей.** Тишина всегда настораживает. Роман. Перевод с немецкого. 135 стр. Цена 85 к.
В. Верстаков. Афганский дневник. 141 стр. Цена 25 к.
Л. Вьюнник. Поющее море. Стихи. 24 стр. Цена 10 к.
В. Цыбин. Земли моей призыв. Стихотворения и поэмы. 223 стр. Цена 1 р. 30 к.
А. Шевченко. Огонь под пеплом Повесть 270 стр. Цена 1 р. 10 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- С. Абрамов.** Однажды, вдруг, когда-нибудь. Повести. 287 стр. Цена 1 р. 20 к.
Б. Василевский. Отчет. Рассказы. 285 стр. Цена 1 р. 20 к.
Л. Корнюшин. Отчая земля. Роман. 512 стр. Цена 2 р.
А. Кривоносов. По поздней дороге. Повести. 447 стр. Цена 1 р. 70 к.

«РАДУГА»

- Ветры залива.** Сборник рассказов. Перевод с арабского. 263 стр. Цена 1 р. 10 к.
Дни, что нас сближают. Рассказы болгарских писателей. 70-е годы. Перевод с болгарского. 367 стр. Цена 2 р. 30 к.
И. Кадлец. Возвращение из Будапешта Виола. Баллада о мрачном боксере. Повести Перевод с чешского. 286 стр. Цена 1 р. 90 к.
Н. Хинмет. Человеческая панорама. Поэтическая эпопея в 5-ти книгах. Перевод с турецкого 558 стр. Цена 2 р. 70 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- К. Маликов.** Стихи Перевод с киргизского. 222 стр. Цена 85 к.
Г. Оттлик. Училище на границе. Роман Перевод с венгерского 382 стр. Цена 2 р. 20 к.
Современный португальский рассказ. Сборник. Переводы с португальского. 431 стр. Цена 2 р. 60 к.
О. Челидзе. Избранное. Перевод с грузинского. 303 стр. Цена 2 р.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- Я. Брыль.** Немного о вечном. Статьи, портреты, заметки. 335 стр. Цена 50 к.
К. Ваншеннин. Жизнь человека. Лирика. баллады, поэмы. 208 стр. Цена 50 к.
С. Георгиевская. Колокола Повести. 495 стр. Цена 1 р. 90 к.
И. Пташиков. Тартак. Найдорф. Повести. Перевод с белорусского 431 стр. Цена 1 р. 60 к.

«СОВРЕМЕННОК»

- В. Астафьев.** Царь-рыба. Повествование в сказах. 384 стр. Цена 1 р. 60 к.
Д. Гранин. Два крыла. («О времени и о себе») 365 стр. Цена 90 к.
В. Калугин. Герои русского эпоса. Очерки о русском фольклоре. 351 стр. Цена 95 к.
С. Романовский. Круг жизни. Рассказы. повесть. 285 стр. Цена 1 р. 30 к.
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
В. Брюсов. Повести и рассказы 368 стр. Цена 1 р. 90 к.
М. Горький. В людях. Повесть. 303 стр. Цена 85 к.
Н. Добролюбов. Что такое обломовщина? 48 стр. Цена 10 к.
Л. Толстой. Юность Повесть. 221 стр. Цена 80 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- В. Богомолов.** Иван. Повесть 127 стр. Цена 1 р. 20 к.
Э. Т. Гофман. Золотой горшок и другие истории. Перевод с немецкого. 366 стр. Цена 1 р. 20 к.
Н. Огарев. Мой русский стих. живое слово... Стихотворения. («Поэтическая библиотека школьника») 159 стр. Цена 35 к.
Л. Разгон. Московские повести Предисловие Ю. Давыдова 479 стр. Цена 1 р. 10 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

- Алтай Шагай.** Героический эпос. Перевод с бурятского А. Преловского. Иркутск Восточно-Сибирское книжное издательство 185 стр. Цена 85 к.
Низами Ганджеви. Сокровищница тайн Филологический перевод с фарси и комментарий Р. Аллева. Бакв «Этм» 259 стр. Цена 2 р.
Зебунниса. Диньшод, Анбар-атын Избранное. Перевод с узбекского, таджикского, персидского С. Иванова. («Избранная лирика Востока»). Ташкент. Издательство ЦК КП Узбекистана. 126 стр. Цена 65 к.
А. Плитченко. Земляничный холм. Новая книга стихов. Новосибирск Западно-Сибирское книжное издательство 158 стр. Цена 60 к.

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел 200-08-29.

Сдано в набор 24.06.83 г.

Подписано к печати 6.09.83 г.

А 04160

Формат бумаги 70x108^{1/8}. Высокая печать Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ л.)

26,77 уч.-изд. л. Тираж 363.000 экз (1-й завод 1—183.000 экз.) Зак 2270.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл. 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл. 5.

Выписывайте газету «Известия»!

Оформление подписки будет проводиться до 31 октября 1983 года с доставкой с января, а с 1 ноября — с доставкой с февраля и последующих месяцев 1984 года.

Подписка принимается без ограничений предприятиями «Союзпечати», отделениями связи и общественными распространителями по месту работы, учебы и жительства.

Подписку можно оформить с перерывом на часть срока (отпуск, каникулы в высших и средних учебных заведениях).

Газета «Известия» с 1 июля ежедневно выходит на шести страницах.

Подписная цена прежняя:

на год — 9 рублей, на 6 месяцев — 4 рубля 50 копеек, на 3 месяца — 2 рубля 25 копеек, на один месяц — 75 копеек.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»